

ПОРТРЕТЫ



М. Горький



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М ГОРЬКИМ

М. Горький

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПОРТРЕТЫ

Предисловие К. И. Чуковского



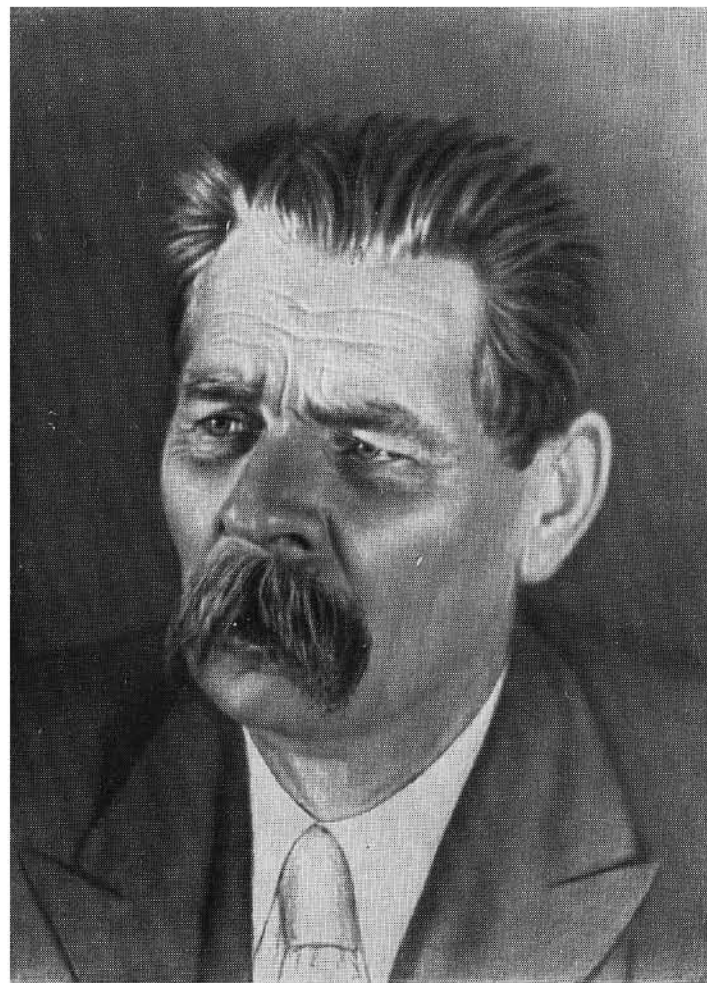
ВЫПУСК 14
(358)

МОСКВА
1967

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

8Р
Г71

Издание 2-е



Л.Торжков

М. ГОРЬКИЙ И „ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ“

Мне кажется, не было такого периода в жизни Алексея Максимовича, когда бы он не увлекался каким-нибудь новым лицом среди своих бесчисленных знакомых.

В каждого он вглядывался так ненасытно, словно тот был величайшей загадкой, которую нужно во что бы то ни стало — и возможно скорей — разгадать.

К каждому человеку, большому и малому, он подходил с таким жарким вниманием, какого я за всю свою жизнь ни у кого не видал.

Когда в Петрограде возникло содружество самых ранних писателей советской эпохи: Федин, Тихонов, Слонимский, Зощенко, Всеволод Иванов, Каверин, — Горький встретил их с открытыми объятьями, и я помню ту внезапную молодую улыбку, которая всякий раз появлялась у него на лице, едва он заговаривал о них.

С такой же улыбкой, как о близком родном, говорил он тогда о Сергееве-Ценском. И несколько позднее — о Леониде Леонове.

Там же, в Петрограде, во времена «Всемирной литературы», в 1920—1921 годах, его очаровал востоковед Сергей Ольденбург, академик, которого он словно впервые открыл для себя. Он крепко привязался к ученому, и оба они стали — правда, ненадолго — неразлучны.

Неугасима была его жажда изучать деяния, стремления, характеры и, главное, мысли встречаемых им людей и «людишек». Не потому ли во всех его книгах они проходят бесконечной вереницей: в одной только его повести «В людях» — 87 человек! А в «Детстве», в «Моих университетах», в «Исповеди», в «Климе Самгине» их число, я думаю, перевалило за тысячу. И в каждого он всматривался зорко, тревожно и требовательно.

Этим зорким, требовательным и тревожным вниманием к людям порождена драгоценная книга его мемуаров — «Литературные портреты». Те зарисовки и очерки, которые вошли в эту книгу, создавались им в разное время — на протяжении тридцати с чем-то лет. Теперь, когда они собраны вместе, книга кажется специально написанной для «Жизни замечательных людей».

Эта книга — учебник любви к тому лучшему, боевому и творческому, что есть в человеке, к изумительной красоте человеческих душ.

Обычно знаменитые деятели бывают так поглощены своей личностью, своим жизненным подвигом, своей необычайной судьбой, что, когда им случается писать мемуарную книгу, они изображают в ней только себя, а прочие люди маячат где-то вдали, на задворках, в качестве фона для центральной фигуры.

Другое дело — воспоминания Горького. Он, с детства до старости преклонявшийся перед величием человека — творца и воеводы, неминуемо должен был создать — и создал! — такую мемуарную книгу, в которой сам он в тени, в стороне, а на первом плане — чудотворцы, герои и праведники, достойные восторженных гимнов.

Те, например, страницы, где он с такой любовью вспоминает Каронина-Петропавловского, Алексина, Гарина, Анненского, явно продиктованы ему пылким желанием научить молодое поколение читателей преклоняться перед своими духовно прекрасными предками.

Еще ярче, еще сильнее сказалось его радостное изумление перед «неистощимыми богатствами души человеческой» в его воспоминаниях о Ленине, Красине, Иване Скворцове...

Но, конечно, дело не в одних славословиях. Эта книга призывает читателя не только восхищаться большими людьми, но и следовать за ними в самом главном — в неутомимой активности, в неравнодушном и деятельном отношении к жизни.

Таковы его воспоминания о неутомимом жителе Арзамаса — Федоре Владимировском. Федор Владимировский был священник, то есть по всей своей идеологии враждебен ему. Но, несмотря ни на что, память о нем дорога Алексею Максимовичу, так как, живя среди «бездеятельных и безучастных» мещан, он из года в год вел сокрушительный бой «с упрямым своекорыстием богатых и подленькой глупостью бедняков».

Вообще в книге есть целый цикл таких мемуаров, где хвала тому или иному лицу сочетается с суровым осуждением и пнемом.

Таковы, например, воспоминания о Савве Морозове: осуждая темное дело наживы, которому невольно и вольно служил этот большой человек, Горький не перестает восхищаться той — в высшей степени парадоксальной — активностью, с которой Савва Морозов стремился служить революционному обновлению родины.

Таковы же горьковские воспоминания о Леониде Андрееве. С первых лет своей литературной работы Леонид Андреев стал дорог Алексею Максимовичу как человек, щедро одаренный природой. В своей книге Горький нередко любит Леонидом Андреевым и настойчиво повторяет о нем, что это «человек редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественный в своих поисках истины». Но в то же время не скрывает от себя, что этот милый ему человек поработен фальшивой философией, что он во власти ущербных идей, которые возбуждают в нем, Алексее Максимовиче, пламенное негодование и протест.

Таковы же его воспоминания о Льве Николаевиче Толстом — смелые, правдивые, поэтические, суровые, мудрые.

Хотя Горький ненавидит толстовство и пылко ополчается против толстовского непротivления злу, это не мешает ему благоговейно восторгаться Толстым, «Человеком всего человечества». Такое сложное, «двупланное» отношение к Толстому в литературе проявлялось не раз, но так художественно, образно, с той убедительностью, какая свойственна лишь произведениям большого искусства, оно продемонстрировано здесь, в горьковских «Заметках», впервые.

«Заметки» о Толстом сохранились не полностью. Одно время Алексей Максимович был убежден, что они потеряны, и как-то ночью, в декабре 1919 года, вызвал меня к себе на Кронверкский и чуть не до рассвета пересказывал их по памяти (мне и нескольким своим домочадцам) — далеко не в том порядке, в каком он расположил эти «Заметки» в печати. Пом-

ню, я был потрясен их могучей художественностью и тогда же под первым впечатлением решил, что это лучшее произведение Горького...

Не только здесь, но повсюду в этой горьковской книге, во всех ее набросках и очерках, та же превосходная портретная живопись. Очень внимательный к идеям и чувствам изображаемых лиц, Горький в то же время ни на миг не бросает красок и кистей живописца. Физиономии, позы, прически, жесты, мимика, походка, одежда каждого, о ком он вспоминает, встают перед ним с ослепительной яркостью. Его феноменальная память воскрешает каждого человека живьем — не только как носителя таких-то и таких-то убеждений и мнений, но и как реальную, осязаемую и зримую личность. Здесь художническое зрение Горького доходит иногда до ясновидения. Оно больше всего помогает ему выявлять внутреннюю сущность людей.

Вспомните хотя бы в те краски, которыми он изображает нелюбимого им человека — миллионера-старообрядца Бурова:

«С лица, измятого старостью, на меня недоверчиво и скользко взглянули маленькие, усталые глазки, веко одного из них было парализовано и отвисло, обнажая белок, расписанный красными жилками, из угла глаза, от переносицы, непрерывно стекала слеза. Зрачки показались мне мутными, но вдруг в них вспыхнули зелененькие искры, осветив на секунду это мордовское лицо умильной усмешкой».

И вот какими штрихами изображает он Михаила Вилонова, рабочего, большевика!

«Он был создан природой крепко, надолго, для великой работы. Монументальная, стройная фигура его была почти классически красива».

— Какой красивый человек! — восхищались каприйские рыбаки, когда Вилонов, голый, грелся на солнце, на берегу моря.

Правильно круглый череп покрыт темным бархатом густых, коротко стриженных волос, смуглое лицо хорошо освещено большими глазами, белки — синеваты, зрачки — цвета спелой вишни; взгляд этих глаз сначала показался мне угрюм и недоверчив. Лицо его нельзя было назвать красивым: черты слишком крупные и резки, но — увидав такое лицо однажды, не забываешь никогда».

Эта книга — образец для всех нас, пытающихся писать мемуары. К этому трудному делу — к писанию мемуаров — Алексей Максимович упорно побуждал литераторов.

— Знание своих предков, — сказал он однажды, — отлично вооружает потомков.

Мы, чувствуя свою неумелость, не смели приступить к этой работе.

Но вскоре, тотчас же после смерти Леонида Андреева, Горький потребовал (буквально потребовал), чтобы каждый из нас непременно — и возможно скорее! — написал для печати обо всех своих встречах с покойным писателем.

— Вы знали его? — обратился он к Александру Блоку. — Напишите о нем... Да и вы все, — посмотрел он на нас, — тоже напишите, что вспомните.

Мы исполнили это требование — каждый в меру своих сил и способностей, и таким образом составила целая «Книга

о Леониде Андрееве». Для этой-то «Книги» Алексей Максимович и написал свои воспоминания о нем.

С давних лет великий писатель мечтал об издании целой серии книг — «Жизнь замечательных людей». Еще в 1916 году в конце декабря он обратился к Герберту Уэллсу с письмом:

«Я прошу Вас, Уэллс, написать книгу для детей об Эдисоне, об его жизни и трудах. Вы понимаете, как необходима книга, которая учит любить науку и труд».

И тогда же — Ромену Роллану:

«Очень прошу Вас написать биографию Бетховена для детей... Фритиоф Нансен дает «Жизнь Христофора Колумба» и т. д.

Через два-три месяца он пишет К. А. Тимирязеву:

«...Я прошу Вас, не возьмете ли Вы на себя труд составить биографию Дарвина».

Издание задуманных им биографий не могло тогда осуществиться. Но в 1933 году, больше тридцати лет тому назад, Горькому посчастливилось осуществить эту мечту. У него оказались два превосходных помощника — Александр Николаевич Тихонов (Серебров) и Михаил Ефимович Кольцов. С Александром Николаевичем Горький сработался давно. Инженер по профессии, блестящий организатор, человек широкого размаха, помогавший Алексею Максимовичу во всех его тогдашних начинаниях — в издании разных журналов и книг, в устройстве «Всемирной литературы», Дома ученых и Дома искусств, он вложил все свои силы в это новое «предприятие» Горького — в «Жизнь замечательных людей». Не забудем, что он и сам был незаурядным писателем. Его книга «Время и люди» (с воспоминаниями о Чехове, Горьком, Комиссаржевской, Шалапине, Савве Морозове) вошла в золотой фонд русской мемуарной словесности. Горький относился к нему с неизменным доверием.

Михаил Кольцов — один из самых обаятельных людей, каких я когда-либо знал, был тогда полон неистраченных сил. Его громокипящие статьи в газете «Правда» стяжали ему в те времена славу первого журналиста эпохи.

Следуя указаниям Горького, эти испытанные его друзья и помощники вскоре дали советским читателям первые книги о замечательных людях — о Репине, Желябове, Данте, Бальзаке, Гейне. Книжки были написаны Игорем Грабарем, Дживилеговым, Александром Дейчем и другими. Всех книг до настоящего времени вышло 464 — общим тиражом в 26 миллионов. В этих книгах описана жизнь самых разнообразных людей: Карла Маркса и — Минлухи-Маклая, Ломоносова и — Роберта Коха, Гоголя и — Марата, Линкольна и — Александра Ульянова, Качалова и — Циолковского, Роберта Бернса и — Софьи Перовской.

Конечно, не все эти жизнеописания отвечают тому идеалу, который утверждён для всех нас книгой мемуаров Алексея Максимовича Кое-что в этих жизнеописаниях он, вероятно, нашёл бы плохим неудачным. Но нет сомнения, что иные из них — а пожалуй, и многие — вызвали бы горячее его одобрение.

КОРНЕИ ЧУКОВСКИЙ

Владимир Ленин умер.

Даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, «который среди всех современников ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность».

Немецкая буржуазная газета «Prager Tageblatt», напечатала о Ленине статью, полную почтительного удивления пред его колоссальной фигурой, закончила эту статью словами:

«Велик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в смерти».

По тону статьи ясно, что вызвало ее не физиологическое удовольствие, цинично выраженное афоризмом: «Труп врага всегда хорошо пахнет», не та радость, которую ощущают люди, когда большой беспокойный человек уходит от них, — нет, в этой статье громко звучит человеческая гордость человеком.

Пресса русской эмиграции не нашла в себе ни сил, ни такта отнестись к смерти Ленина с тем уважением, какое обнаружили буржуазные газеты в оценке личности одного из крупнейших выразителей воли к жизни и бесстрашия разума.

Писать его портрет — трудно. Ленин, внешне, весь в словах, как рыба в чешуе. Был он прост и прям, как все, что говорилось им.

Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска, его героизм — это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убежденного в возможности на земле социальной справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей.

То, что написано мною о нем вскоре после его смерти, — написано в состоянии удрученном, поспешно и плохо. Кое-чего я не мог написать по соображениям «такта», надеюсь вполне

понятным. Проницателен и мудр был этот человек, а «в многой мудрости — много печали».

Далеко вперед видел он и, размышляя, разговаривая о людях в 19—21 годах, нередко и безошибочно предугадывал, каковы они будут через несколько лет. Не всегда хотелось верить в его предвидения, и нередко они были обидны, но, к сожалению, не мало людей оправдало его скептические характеристики. Воспоминания мои о нем написаны, кроме того что плохо, еще и непоследовательно, с досадными пробелами. Мне следовало начать с Лондонского съезда, с тех дней, когда Владимир Ильич встал передо мною превосходно освещенный сомнениями и недоверием одних, явной враждой и даже ненавистью других.

Я и сейчас вот все еще хорошо вижу голые стены смешной своим убожеством деревянной церкви на окраине Лондона, стрельчатые окна небольшого, узкого зала, похожего на классную комнату бедной школы. Это здание напоминало церковь только извне, а внутри ее — полное отсутствие предметов культа, и даже невысокая кафедра проповедника помещалась не впереди, в глубине зала, а — у входа в него, между двух дверей.

До этого года я не встречал Ленина, да и читал его не так много, как бы следовало. Но то, что удалось мне прочитать, а особенно восторженные рассказы товарищей, которые лично знали его, потянуло меня к нему с большой силой. Когда нас познакомили, он, крепко стиснув мою руку, прощупывая меня зоркими глазами, заговорил тоном старого знакомого, шутиливо:

— Это хорошо, что вы приехали! Вы ведь драки любите? Здесь будет большая драчка.

Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то не хватало в нем. Картавит и руки сунул куда-то под мышки, стоит фертом. И вообще, весь — как-то слишком прост, не чувствуется в нем ничего от «вождя». Я — литератор. Профессия обязывает меня подмечать мелочи, эта обязанность стала привычкой, иногда — уже надоедливой.

Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову, он стоял скрестив руки на груди и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомленный своими обязанностями учитель еще на одного нового ученика. Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я поклонник вашего таланта». Кроме этого, он не сказал ничего, что моя память удержала бы. И на протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить «по душам».

А этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая одною рукой сократовский лоб, дергая другою мою руку, ласково поблескивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать», оказалось, что он прочитал ее в рукописи, взятой у И. П. Ладъжниково. Я сказал, что торопился написать книгу, но — не успел объяснить, почему торопился, — Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя.

«Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала — поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом; смех его привлек рабочих, подошел, кажется, Фома Уральский и еще человека три.

Я был настроен очень празднично, я находился в среде трех сотен отборных партийцев, узнал, что они посланы на съезд полутораста тысячами организованных рабочих, я видел перед собою всех лидеров партии, старых революционеров Плеханова, Аксельрода, Дейча. Праздничное мое настроение было вполне естественно и будет понятно читателю, если я скажу, что за два года, прожитых мною вне родины, обычное самочувствие мое сильно понизилось.

Понижаться оно начало с Берлина, где я видел почти всех крупнейших вождей социал-демократии, обедал у Августа Бебеля, сидя рядом с очень толстым Зингером и в среде других, тоже весьма крупных людей.

Обедали мы в просторной, уютной квартире, где клетки с канарейками были изящно прикрыты вышитыми салфеточками и на спинках кресел тоже были прищиплены вышитые салфеточки, чтобы сидящие не пачкали затылками чехлов. Все вокруг было очень солидно, прочно, все кушали торжественно и торжественно говорили друг другу:

— Мальцейт¹.

Слово это было незнакомо мне, но я знал, что французское «маль» по-русски значит — плохо, немецкое «цейт» — время, вышло, плохое время.

¹ На доброе здоровье (нем.).

Зингер дважды назвал Каутского «мой романтик». Бебель с его орлиным носом показался мне человеком немножко самодовольным. Пили рейнское вино и пиво, вино было кислое и теплое, пиво хорошее; о русской революции и партии с.-д. говорили тоже кислотовато и снисходительно, а о своей, немецкой партии — очень хорошо! Вообще — все было очень самодовольно, и чувствовалось, что даже стулья довольны тем, что их отягощают столь почтенные мякоти вождей.

К немецкой партии у меня было «щекотливое» дело: видный ее член, впоследствии весьма известный Парвус, имел от «Знания» доверенность на сбор гонорара с театров за пьесу «На дне». Он получил эту доверенность в 1902 году в Севастополе, на вокзале, приехав туда нелегально. Собранные им деньги распределялись так: 20% со всей суммы получал он, остальное делилось так: четверть — мне, три четверти в кассу с.-д. партии. Парвус это условие, конечно, знал, и оно даже восхищало его. За четыре года пьеса обошла все театры Германии, в одном только Берлине была поставлена свыше 500 раз, у Парвуса собралось, кажется, 100 тысяч марок. Но вместо денег он прислал в «Знание» К. П. Пятницкому письмо, в котором добродушно сообщил, что все эти деньги он потратил на путешествие с одной барышней по Италии. Так как это, наверно, очень приятное путешествие лично меня касалось только на четверть, то я счел себя вправе указать ЦК немецкой партии на остальные три четверти его. Указал через И. П. Ладыжникову ЦК отнестись к путешествию Парвуса равнодушно. Позднее я слышал, что Парвуса лишили каких-то партийных чинов, — говоря по совести, я предпочел бы, чтоб ему надрали уши. Еще позднее мне в Париже показали весьма красивую девицу или даму, сообщив, что это с ней путешествовал Парвус.

«Дорогая моя, — подумалось мне, — дорогая».

Видел я в Берлине литераторов, художников, меценатов и других людей, они различались друг от друга по степеням самодовольства и самолюбования.

В Америке весьма часто видел Мориса Хилквит, который хотел быть мэром или губернатором Нью-Йорка, старика Дебса, который одиноко и устало рычал на всех и на все, — он только что вышел из тюрьмы, — видел очень многих и очень много, но не встречал ни одного человека, который понимал бы всю глубину русской революции, и всюду чувствовал, что к ней относятся как к «частному случаю европейской жизни» и обычному явлению в стране, где «всегда или холера, или револю-

ция», по словам одной «гэнсом¹ леди», которая «сочувствовала социализму».

Идею поездки в Америку для сбора денег в кассу «большевиков» дал Л. Б. Красин; ехать со мною в качестве секретаря и организатора выступлений должен был В. В. Воровский, он хорошо знал английский язык, но ему партия дала какое-то другое поручение, и со мною поехал Н. Е. Буренин, член боевой группы при ЦК(б); он был «без языка», начал изучать его в дороге и на месте. Эсеры, узнав, с какой целью я еду, конечно живо заинтересовались поездкой; ко мне — еще в Финляндии — пришел Чайковский с Житловским и предложили собирать деньги не для большевиков, а «вообще для революции». Я отказался от «вообще революции». Тогда они послали туда «бабушку», и перед американцами явились двое людей, которые, независимо друг от друга и не встречаясь, начали собирать деньги, очевидно, на две различных революции; сооразить, которая из них лучше, солиднее, — у американцев, конечно, не было ни времени, ни желания. «Бабушку» они, кажется, знали и раньше, американские друзья сделали ей хорошую рекламу, а мне царское посольство — устроило скандал. Американские товарищи, тоже рассматривая русскую революцию как «частное и неудавшееся дело», относились к деньгам, собранным мною на митингах, несколько «либерально», в общем я собрал долларов очень мало, меньше 10 тысяч. Решил «зайти» в газетках, но и в Америке нашелся Парвус. Вообще поездка не удалась, но я там написал «Мать», чем и объясняются некоторые «промахи», недостатки этой книги.

Затем я переехал в Италию, на Капри, там погрузился в чтение русских газет, книг, — это тоже очень понижало настроение. Если зуб, выбитый из челюсти, способен чувствовать, он, вероятно, чувствовал бы себя так же одиноко, как я. Очень удивляла клоунская быстрота и ловкость, с которой знакомые люди перескакивали с одной «платформы» на другую.

Приезжали из России случайные революционеры, разбитые, испуганные, обремененные на самих себя и на людей, которые вовлекли их в «безнадежное предприятие».

— Все пропало, — говорили они. — Все разбито, истреблено, — сослано, посажено в тюрьмы!

Было очень много смешного, но — ничего веселого. Один гость из России, литератор, и — талантливый, доказывал мне, что я будто бы сыграл роль Луки из пьесы «На дне»: пришел, наговорил молодежи утешительных слов, она мне поверила и

¹ Прекрасной (англ.).

набила себе шишек на лбу, а я — убежал. Другой утверждал, что меня съела «тенденция», что я — «конченный человек» и отрицает значение балета только потому, что он — «императорский». Вообще было весьма много смешного, глупого, и часто казалось, что из России несется какая-то гнилая пыль.

И — вдруг, точно в сказке, я на съезде Российской социал-демократической партии. Конечно — праздник!

Но праздновал я только до первого заседания, до споров по вопросу о «порядке дня». Свирепость этих споров сразу окледила мои восторги и не столько тем, что я почувствовал, как резко расколота партия на реформаторов и революционеров, — это я знал с 903 года, — а враждебным отношением реформаторов к В. И. Ленину. Оно просачивалось и брызгало сквозь их речи, как вода под высоким давлением сквозь старую пожарную «кишку».

Не всегда важно — что говорят, но всегда важно, как говорят. Г. В. Плеханов в скюртуке, застегнутом на все пуговицы, похожий на протестантского пастора, отрывая съезд, говорил, как законоучитель, уверенный, что его мысли неоспоримы, каждое слово — драгоценно, так же как и пауза между словами. Очень искусно он развешивал в воздухе над головами съездовцев красиво закругленные фразы, и когда на скамьях большевиков кто-нибудь шевелил языком, перешептываясь с товарищем, почтенный оратор, сделав маленькую паузу, вонзал в него свой взгляд, точно гвоздь.

Одна из пуговиц на его скюртуке была любима Плехановым больше других, он ее ласково и непрерывно гладил пальцем, а во время паузы прижимал ее, точно кнопку звонка, — можно было думать, что именно этот нажим и прерывает плавное течение речи. На одном из заседаний Плеханов, собираясь ответить кому-то, скрестил руки на груди и громко, презрительно произнес:

— X-xe!

Это вызвало смех среди рабочих-большевиков, Г. В. поднял брови, и у него побледнела щека; я говорю: щека, потому что сидел сбоку кафедры и видел лица ораторов в профиль.

Во время речи Г. В. Плеханова в первом заседании на скамьях большевиков чаще других шевелился Ленин, то — съезживаясь, как бы от холода, то — расширяясь, точно ему становилось жарко; засовывал пальцы куда-то под мышку себе, потирал подбородок, встряхивая светлой головой, и шептал что-то М. П. Томскому. А когда Плеханов заявил, что «реви-зионистов в партии нет», Ленин согнулся, лысина его покраснела, плечи затряслись в беззвучном смехе, рабочие, рядом

с ним и сзади его, тоже улыбались, а из конца зала кто-то угрюмо и громко спросил:

— А по ту сторону — какие сидят?

Коротенький Федор Дан говорил тоном человека, которому подлинная истина приходится родной дочерью, он ее родил, воспитал и все еще воспитывает. Сам же он, Федор Дан, является совершенным воплощением Карла Маркса, а большевики — недоучки, неприличные ребята, что особенно ясно из их отношения к меньшевикам, среди которых находятся — «все выдающиеся теоретики марксизма», сказал он.

— Вы — не марксисты, — пренебрежительно говорил он, — нет, вы не марксисты! — И толкал в воздух, направо, желтым кулаком. Кто-то из рабочих осведомился у него:

— А когда вы опять пойдете чай пить с либералами?

Не помню, выступал ли на первом заседании Мартов. Этот удивительно симпатичный человек говорил юношески пламенно, и казалось, что он особенно глубоко чувствует драму раскола, боль противоречий.

Он весь содрогался, начался, судорожно расстегивал воротник крахмальной рубашки, размахивал руками; обшлага, высканывая из рукава пиджака, закрывали ему кисть руки, он высоко поднимал руку и тряс ею, чтобы водрузить обшлаг на его законное место. Мне казалось, что Мартов не доказывает, а — упрасивает, умоляет: раскол необходимо изжить, партия слишком слаба для того, чтобы разбиваться на две, рабочий прежде всего нуждается в «свободах», надобно поддерживать Думу. Иногда его первая речь звучала почти истерически, обилие слов делало ее непонятной, а сам оратор вызывал впечатление тяжелое. В конце речи и как будто вне связи ее, все-таки «боевым» тоном, он все так же пламенно стал кричать против боевых дружин и вообще работы, направленной к подготовке вооруженного восстания. Хорошо помню, как на скамьях большевиков кто-то изумленно воскликнул:

— Вот те и раз!

А, кажется, М. П. Томский спросил:

— Может, нам и руки обрубить, для того чтоб товарищ Мартов успокоился?

Повторяю: не уверен, что Мартов говорил на первом заседании, я упомянул о нем только для того, чтоб рассказать, как говорили.

После его речи рабочие, в помещении перед залом заседания, угрюмо беседовали:

— Вот вам и Мартов! А — «искрист» был!

— Линяют товарищи интеллигенты,

Красиво, страстно и резко говорила Роза Люксембург, отлично владея оружием иронии. Но вот поспешно взшел на кафедру Владимир Ильич, картаво произнес «товарищи». Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту я, как и все, был «поглощен» его речью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл. Очень трудно передать необычное впечатление, которое он вызывал.

Его рука, протянутая вперед и немного поднятая вверх, ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса идти своим путем, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией, — все это было необыкновенно и говорилось им, Лениным, как-то не от себя, а действительно по воле истории. Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре — точно произведение классического искусства: все есть, и ничего лишнего, никаких украшений, а если они были — их не видно, они так же естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке.

По счету времени он говорил меньше ораторов, которые выступали до него, а по впечатлению — значительно больше; не один я чувствовал это, сзади меня восторженно шептали:

— Густо говорит...

Так оно и было; каждый его довод развертывался сам собою — силою, заключенной в нем.

Меньшевики, не стесняясь, показывали, что речь Ленина неприятна им, а сам он — более чем неприятен. Чем убедительнее он доказывал необходимость для партии подняться на высоту революционной теории для того, чтобы всесторонне проверить практику, тем озлобленнее прерывали его речь.

— Съезд не место для философии!

— Не учите нас, мы — не гимназисты!

Особенно старался кто-то рослый, бородатый, с лицом лавочника, он вскакивал со скамьи и, заикаясь, кричал:

— Э-загово-орчки... в э-заговорчки играет! Б-бланкисты!

Одобрительно кивала головой Роза Люксембург; она очень хорошо сказала меньшевикам на одном из следующих заседаний:

— Вы не стоите на марксизме, а сидите, даже — лежите на нем.

Злой, горячий ветерок раздражения, иронии, ненависти гу-

лял по залу, сотни глаз разнообразно освещали фигуру Владимира Ильича. Незаметно было, что враждебные выпады волнуют его, говорил он горячо, но веско, спокойно; через несколько дней я узнал, чего стоило ему это внешнее спокойствие. Было очень странно и обидно видеть, что вражду к нему возбуждает такая естественная мысль: только с высоты теории партия может ясно увидеть причины разногласий среди ее. У меня образовалось такое впечатление: каждый день съезда придает Владимиру Ильичу все новые и новые силы, делает его бодрее, уверенней, с каждым днем речи его звучат все более твердо и вся большевистская часть членов съезда настраивается решительнее, строже. Кроме его речей, меня почти так же взволновала прекрасная и резкая речь против меньшевиков Розы Люксембург.

Свободные минуты, часы он проводил среди рабочих, спрашивал их о самых мизерных мелочах быта.

— Ну, а женщины как? Заедает хозяйство? Все-таки — учатся, читают?

В Гайд-парке несколько человек рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал:

— Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой, такой же умный человек — Бебель или еще кто. А вот чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого, — не верится!

Другой рабочий добавил, улыбаясь:

— Этот — наш!

Ему возразили:

— И Плеханов — наш.

Я услышал меткий ответ:

— Плеханов — наш учитель, наш барин, а Ленин — вождь и товарищ наш.

Какой-то молодой парень юмористически заметил:

— Сюртучок Плеханова-то стесняет.

Был такой случай: по дороге в ресторан Владимира Ильича остановил меньшевик-рабочий, спрашивая о чем-то. Ильич замедлил шаг, а его компания пошла дальше. Придя в ресторан минут через пять, он, хмурясь, рассказал:

— Странно, что такой наивный парень попал на партийный съезд! Спрашивает меня: в чем же все-таки истинная причина разногласий? Да вот, говорю, ваши товарищи желают заседать в парламенте, а мы убеждены, что рабочий класс должен готовиться к бою. Кажется — понял...

Обедали небольшой компанией, всегда в одном и том же

маленьком, дешевом ресторане. Я заметил, что Владимир Ильич ест очень мало: яичницу из двух-трех яиц, небольшой кусок ветчины, выпивает кружку густого, темного пива. По всему видно было, что к себе он относится небрежно, и поражала меня его удивительная заботливость о рабочих. Питание их заведовала М. Ф. Андреева, и он спрашивал ее:

— Как вы думаете: не голодают товарищи? нет? Гм, гм... А может, увеличить бутерброды?

Пришел в гостиницу, где я остановился, и вижу: озабоченно шуршит постель.

— Что это вы делаете?

— Смотрю — не сырые ли простыни.

Я не сразу понял: зачем ему нужно знать — какие в Лондоне простыни? Тогда он, заметив мое недоумение, объяснил:

— Вы должны следить за своим здоровьем.

Осенью 18 года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина?

— Простота. Прост, как правда.

Сказал он это как хорошо продуманное, давно решенное.

Известно, что строже всех судят человека его служащие. Но шофер Ленина, Гиль, много испытывавший человек, говорил:

— Ленин — особенный. Таких — нет. Я везу его по Мясницкой, большое движение, едва еду, боюсь — изломают машину, даю гудки, очень волнуюсь. Он открыл дверь, добрался ко мне по подножке, рискуя, что его спибнут, уговаривает: «Пожалуйста, не волнуйтесь, Гиль, поезжайте, как все». Я — старый шофер, я знаю — так никто не сделает.

Трудно передать, изобразить ту естественность и гибкость, с которыми все его впечатления вливались в одно русло.

Его мысль, точно стрелка компаса, всегда обращалась острием в сторону классовых интересов трудового народа. В Лондоне выдался свободный вечер, пошли небольшой компанией в «мюзик-холл» — демократический театрик. Владимир Ильич охотно и заразительно смеялся, глядя на клоунов, эксцентриков, равнодушно смотрел на все остальное и особенно внимательно на рубку леса рабочими Британской Колумбии. Маленькая сцена изображала лесной лагерь, перед нею, на земле, двое здоровых молодых перерубали в течение минуты ствол дерева объемом около метра.

— Ну, это, конечно, для публики, на самом деле они не могут работать с такой быстротой, — сказал Ильич. — Но ясно, что они и там работают топорами, превращая массу дерева в негодные щепки. Вот вам и культурные англичане!

Он заговорил об анархии производства при капиталистиче-

ском строе, о громадном проценте сырья, которое расходуется бесплодно, и кончил сожалением, что до сей поры никто не догадался написать книгу на эту тему. Для меня было что-то неясное в этой мысли, но спросить Владимира Ильича я не успел, он уже интересно говорил об «эксцентризме», как особой форме театрального искусства.

— Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнашку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а — интересно!

Года через два, на Капри, беседуя с А. А. Богдановым-Малиновским об утопическом романе, он сказал ему:

— Вот вы бы написали для рабочих роман на тему о том, как хищники капитализма ограбили землю, растратив всю нефть, все железо, дерево, весь уголь. Это была бы очень полезная книга, синьор махист!

Прощаясь, в Лондоне, он сказал мне, что обязательно придет на Капри отдохнуть.

Но раньше, чем он собрался приехать, я увидел его в Париже, в студенческой квартирке из двух комнат, — студенческой она была только по размерам, но не по чистоте и строгому порядку в ней. Надежда Константиновна, сделав нам чай, куда-то ушла, мы остались вдвоем. Тогда разговаривалось «Знание», и я приехал поговорить с Владимиром Ильичем об организации нового издательства, которое объединяло бы, по возможности, всех наших литераторов. Редактуру издательства за границей я предлагал Владимиру Ильичу, В. В. Воровскому и еще кому-то, а в России представлял бы их В. А. Десницкий-Строев.

Мне казалось, что нужно написать ряд книг по истории западных литератур и по русской литературе, книги по истории культуры, которые дали бы богатый фактический материал рабочим для самообразования и пропаганды.

Но Владимир Ильич разрушил этот план, указав на цензуру, на трудность организовать своих людей; большинство товарищей занято практической партийной работой, писать им — некогда. Но главный и наиболее убедительный для меня довод его был приблизительно таков: для толстой книги — не время, толстой книгой питается интеллигенция, а она, как видите, отстывает от социализма к либерализму, и нам ее не столкнуть с пути, ею избранного. Нам нужна газета, брошюра, хорошо бы восстановить библиотечку «Знания», но в России это невозможно по условиям цензуры, а здесь по условиям транспорта: нам нужно бросить в массы десятки, сотни тысяч листовок, такую

кучу нелегально не перевезешь. Подождем с издательством до лучших времен.

С поразительной, всегда присущей ему живостью и ясностью он заговорил о Думе, о кадетах, которые «стыдятся быть октябристами», о том, что «перед ними один путь направо», а затем привел ряд доказательств в пользу близости войны, и, «вероятно, не одной, но целого ряда войн», — это его предвидение вскоре оправдалось на Балканах.

Встал, характерным жестом сунул пальцы рук за жилет под мышками и медленно шагал по тесной комнатке, прищуриваясь, поблескивая глазами.

— Война будет. Неизбежно. Капиталистический мир достиг состояния гнилостного брожения, уже и сейчас люди начинают отравляться ядами шовинизма, национализма. Я думаю, что мы еще увидим общеевропейскую войну. Пролетариат? Едва ли пролетариат найдет в себе силу предотвратить кровавую склоку. Как это можно сделать? Общеевропейской забастовкой рабочих? Для этого они недостаточно организованы, сознательны. Такая забастовка была бы началом гражданской войны, мы, реальные политики, не можем рассчитывать на это.

Остановясь, шаркая подошвой по полу, угрюмо сказал:

— Пролетариат, конечно, пострадает ужасно — такова, пока, его судьба. Но враги его — обесселят друг друга. Это — тоже неизбежно.

И, подойдя ко мне, он сказал, как бы с изумлением, с большой силой, но негромко:

— Нет, вы подумайте: чего ради сытые гонят голодных на бойню друг против друга? Можете вы назвать преступление более идиотическое и отвратительное? Страшно дорого заплатят за это рабочие, но в конце концов выиграют они. Это — воля истории.

Он часто говорил об истории, но никогда в его речах я не чувствовал фетишистического преклонения пред ее волей и силой.

Речь взволновала его, присев к столу, он вытер вспотевший лоб, хлебнул холодного чая и неожиданно спросил:

— Что это за скандал был у вас в Америке? По газетам я знаю, в чем дело, но — как это вышло?

Я кратко рассказал ему мои приключения.

Никогда я не встречал человека, который умел бы так разительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич. Было даже странно видеть, что такой суровый реалист, человек, который так хорошо видит, глубоко чувствует неизбежность великих социальных трагедий, непримиримый, непоколебимый в

своей ненависти к миру капитализма, может смеяться по-детски, до слез, захлебываясь смехом. Большое, крепкое душевное здоровье нужно было иметь, чтобы так смеяться.

— Ох, да вы — юморист! — говорил он сквозь смех. — Вот не предполагаю. Черт знает как смешно...

И, стирая слезы смеха, он уже серьезно, с хорошей, мягкой улыбкой сказал:

— Это — хорошо, что вы можете относиться к неудачам юмористически. Юмор — прекрасное, здоровое качество. Я очень понимаю юмор, но не владею им. А смешного в жизни, пожалуй, не меньше, чем печального, право, не меньше.

Условились, что я зайду к нему через день, но погода была плохая, вечером у меня началось обильное кровохарканье, и на другой день я уехал.

После Парижа мы встретились на Капри. Тут у меня осталось очень странное впечатление: как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях.

Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне:

— Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на возможность моего примирения с махистами, хотя я вас предупредил в письме: это — невозможно. Так уж вы не делайте никаких попыток.

По дороге на квартиру ко мне и там я пробовал объяснить ему, что он не совсем прав: у меня не было и нет намерения примирять философские распри, кстати — не очень понятные мне. К тому же я, от юности, заражен недоверием ко всякой философии, а причиной этого недоверия служило и служит разноречие философии с моим личным, «субъективным» опытом: для меня мир только что начинался, «становился», а философия шлепала его по голове и совершенно неуместно, несвоевременно спрашивала:

«Куда идешь? Зачем идешь? Почему — думаешь?»

Некоторые же философы просто и строго командовали:

«Стоя!»

Кроме того, я уже знал, что философия, как женщина, может быть очень некрасивой, даже уродливой, но одета настолько ловко и убедительно, что ее можно принять за красавицу. Это рассмешило Владимира Ильича.

— Ну, это — юмористика, — сказал он. — А что мир только начинается, становится — хорошо! Над этим вы подумайте серьезно, откуда вы придете, куда вам давно следует прийти.

Затем я сказал ему, что А. А. Богданов, А. В. Луначарский,

В. А. Базаров — в моих глазах крупные люди, отлично, всесторонне образованные, в партии я не встречал равных им.

— Допустим. Ну, и что же отсюда следует?

— В конце концов я считаю их людьми одной цели, а единство цели, понятное и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философические противоречия...

— Значит — все-таки надежда на примирение жива? Это — зря, — сказал он. — Гоните ее прочь и как можно дальше, дружески советую вам! Плеханов тоже, по-вашему, человек одной цели, а вот я — между нами — думаю, что он — совсем другой цели, хотя и материалист, а не метафизик.

На этом беседа наша и кончилась. Я думаю, что нет надобности напоминать, что я воспроизвел ее не в точных словах, не буквально. В точности смысла — не сомневаюсь.

И вот я увидел пред собой Владимира Ильича Ленина еще более твердым, непреклонным, чем он был на Лондонском съезде. Но там он волновался, и были моменты, когда ясно чувствовалось, что раскол в партии заставляет переживать его очень тяжелые минуты.

Здесь он был настроен спокойно, холодновато и насмешливо, сурово отталкивался от бесед на философские темы и вообще вел себя настороженно. А. А. Богданов, человек удивительно симпатичный, мягкий и влюбленный в Ленина, но немножко самолюбивый, принужден был выслушивать весьма острые и тяжелые слова:

— Шопенгауэр говорит: «Кто ясно мыслит — ясно излагает», я думаю, что лучше этого он ничего не сказал. Вы, товарищ Богданов, излагаете неясно. Вы мне объясните в двух-трех фразах, что дает рабочему классу ваша «подстановна» и почему махизм — революционнее марксизма?

Богданов пробовал объяснить, но он говорил действительно неясно и многословно.

— Бросьте, — советовал Владимир Ильич. — Кто-то, кажется — Жорес, сказал: «Лучше говорить правду, чем быть министром», я бы прибавил: и махистом.

Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и, проигрывая, сердился, даже унывал как-то по-детски. Замечательно: даже и это детское уныние, так же как его удивительный смех, — не нарушали целостной слитности его характера.

Был на Капри другой Ленин — прекрасный товарищ, веселый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в мире, с поразительно мягким отношением к людям.

Как-то поздним вечером, когда все ушли гулять, он говорил

мне и М. Ф. Андреевой, — невесело говорил, с глубоким сожалением:

— Умные, талантливые люди, не мало сделали для партии, могли бы сделать в десять раз больше, а — не пойдут они с нами! Не могут. И десятки, сотни таких людей ломает, урождает этот преступный строй.

В другой раз он сказал:

— Луначарский вернется в партию, он — менее индивидуалист, чем те двое. На редкость богато одаренная натура. Я к нему «питаю слабость» — черт возьми, какие глупые слова: питать слабость! Я его, знаете, люблю, отличный товарищ! Есть в нем какой-то французский блеск: Легкомыслие у него тоже французское, легкомыслие — от эстетизма у него.

Он подробно расспрашивал о жизни каприйских рыбаков, о их заработке, о влиянии попов, о школе — широта его интересов не могла не изумлять меня. Когда ему указали, что вот этот поповик — сын бедного крестьянина, он сейчас же потребовал, чтоб ему собрали справки: насколько часто крестьяне отдают своих детей в семинарии и возвращаются ли дети крестьян служить попами в свои деревни?

— Вы — понимаете? Если это не случайное явление — значит, это политика Ватикана. Хитрая политика!

Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым людям».

Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шалыпина и не мало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделяли Ленина на особое место. Обаятелен был его смех — «задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться детской наивностью «простых сердец».

Старый рыбак, Джованни Спадаро, сказал о нем:

— Так смеяться может только честный человек.

Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» — лесой без удилица. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь леси:

— Нози: дринь-дринь. Каппи?

Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника:

— Ага! Дринь-дринь!

Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака:

«Синьор Дринь-дринь».

Он уехал, а они всё спрашивали:

— Как живет синьор Дринь-дринь? Царь не схватит его, нет?

Не помню, до Владимира Ильича или после его на Капри был Г. В. Плеханов.

Несколько эмигрантов каприйской колонии — литератор Н. Олигер, Лоренц-Метнер, присужденный к смертной казни за организацию восстания в Сочи, Павел Вигдорчик и еще, кажется, двое — хотели побеседовать с ним. Он отказался. Это было его право, он — был большой человек, приехал отдохнуть. Но Олигер и Лоренц говорили мне, что он сделал это в форме очень обидной для них. Нервозный Олигер настаивал, что Г. В. сказано было нечто об «усталости от обилия желающих говорить, но не способных делать». Он, будучи у меня, действительно не пожелал никого видеть из местной колонии, — Владимир Ильич видел всех. Плеханов ни о чем не расспрашивал, он уже все знал и сам рассказывал. По-русски широко талантливый, европейски воспитанный, он любил щегольнуть красивым, острым словом и, кажется, именно ради острого словца жестоко подчеркивал недостатки иностранных и русских товарищей. Мне показалось, что его остроты не всегда удачны, в памяти остались только неудачные: «не в меру умеренный Меринг», «самозванец Энрико Ферри, в нем нет железа ни золотника» — тут каламбур построен на слове ферро — железо. И всё — в этом роде. Вообще же он относился к людям снисходительно, разумеется, не так, как бог, но несколько похоже. Талантливейший литератор, основоположник партии, он вызвал у меня глубокое почтение, но не симпатию. Слишком много было в нем «аристократизма». Может быть, я сужу ошибочно. У меня нет особенной любви к ошибкам, но, как все люди, я тоже ошибаюсь. А факт остается фактом: редко встречал я людей до такой степени различных, как Г. В. Плеханов и В. И. Ленин. Это и естественно: один заканчивал свою работу разрушения старого мира, другой уже начал строить новый мир.

Жизнь устроена так дьявольски искусно, что не умея ненавидеть, невозможно искренно любить. Уже только эта одна, в корне искажающая человека, необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение.

В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который с такой глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастиям, горю, страданию людей.

В моих глазах эти чувства, эта ненависть к драмам и трагедиям жизни особенно высоко поднимают Владимира Ленина, человека страны, где во славу и освящение страдания написаны самые талантливые евангелия и где юношество начинает жить по книгам, набитым однообразными, в сущности, описаниями мелких, будничных драм. Русская литература — самая пессимистическая литература Европы; у нас все книги пишутся на одну и ту же тему о том, как мы страдаем, — в юности и зрелом возрасте: от недостатка разума, от гнета самодержавия, от женщин, от любви к ближнему, от неудачного устройства вселенной; в старости: от сознания ошибок жизни, недостатка зубов, несварения желудка и от необходимости умереть.

Каждый русский, посидев «за политику» месяц в тюрьме или прожив год в ссылке, считает священной обязанностью своей подарить России книгу воспоминаний о том, как он страдал. И никто до сего дня не догадался выдумать книгу о том, как он всю жизнь радовался. А так как русский человек привык выдумывать жизнь для себя, делать же ее плохо умеет, то весьма вероятно, что книга о счастливой жизни научила бы его, как нужно выдумывать такую жизнь.

Для меня исключительно велико, в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастиям людей, его яркая вера в то, что несчастье не есть неустранимая основа бытия, а — мерзость, которую люди должны и могут отместить прочь от себя.

Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом материалиста. Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку, — Человеку с большой буквы.

В 17—18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными.

Он — политик. Он в совершенстве обладал тою четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия.

У меня же органическое отвращение к политике, и я плохо

верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы — в особенности. Разум, не организованный идеей, — еще не та сила, которая входит в жизнь творчески. В разуме массы — нет идеи до поры, пока в ней нет сознания общности интересов всех ее единиц.

Тысячелетия живет она стремлением к лучшему, но это стремление создает из плоти ее хищников, которые ее же порабащают, ее кровью живут, и так будет до поры, пока она не осознает, что в мире есть только одна сила, способная освободить ее из плена хищников, — сила правды Ленина.

Когда в 17 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои «тезисы», я подумал, что этими тезисами он приносит всю ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Эта единственная в России активная сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосется в ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории русского народа.

Научная, техническая — вообще квалифицированная интеллигенция, с моей точки зрения, революционна по существу, своему, и вместе с рабочей, социалистической интеллигенцией — для меня была самой драгоценной силой, накопленной Россией, — иной силы, способной взять власть и организовать деревню, я — в России 17 года не видел. Но эти силы, количественно незначительные и раздробленные противоречиями, могли бы выполнить свою роль только при условии прочнейшего внутреннего единения. Пред ними стояла грандиозная работа: овладеть анархизмом деревни, культивировать волю мужика, научить его разумно работать, преобразить его хозяйство и всем этим быстро двинуть страну вперед; все это достижимо лишь при наличии подчинения инстинктов деревни организованному разуму города. Первейшей задачей революции я считал создание таких условий, которые бы содействовали росту культурных сил страны. В этих целях я предложил устроить на Капри школу для рабочих и в годы реакции, 1907—1913, усиленно пытался всячески поднять бодрость духа рабочих.

Ради этой цели тотчас после февральского переворота, весной 17 года, была организована «Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук» — учреждение, которое ставило задачей своей, с одной стороны, организацию в России научно-исследовательских институтов, с другой — широкую и непрерывную популяризацию научных и

технических знаний в рабочей среде. Во главе ассоциации встали крупные ученые, члены Российской Академии наук, В. А. Стеклов, Л. А. Чугаев, академик Ферсман, С. П. Костычев, А. А. Петровский и ряд других. Деятельно собирались средства; С. П. Костычев уже приступил к поискам места для устройства исследовательского института по вопросам зооботаники.

Для большей ясности скажу, что меня всю жизнь угнетал факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие в нем социальных эмоций. Диктатура политически грамотных рабочих, в тесном союзе с научной и технической интеллигенцией, была, на мой взгляд, единственно возможным выходом из трудного положения, особенно осложненного войной, еще более анархизировавшей деревню.

С коммунистами я расходился по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой интеллигенцией, в число которой входят и все «большевики», воспитавшие сотни рабочих в духе социального героизма и высокой интеллектуальности. Русская интеллигенция — научная и рабочая — была, остается и еще долго будет единственной ломовой лошадкой, запряженной в тяжкий воз истории России. Несмотря на все толчки и возбуждения, испытанные им, разум народных масс все еще остается силой, требующей руководства извне.

Так думал я 13 лет тому назад и так — ошибался. Эту страницу моих воспоминаний следовало бы вычеркнуть. Но — «написано пером — не вырубишь топором». К тому же: «на ошибках — учимся» — часто повторял Владимир Ильич. Пусть же читатели знают эту мою ошибку. Было бы хорошо, если бы она послужила уроком для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих наблюдений.

Разумеется, после ряда фактов подлейшего вредительства со стороны части спецов я обязан был переоценить — и переоценил — мое отношение к работникам науки и техники. Такие переоценки кое-чего стоят, особенно — на старости лет.

Должность честных вождей народа — нечеловечески трудна. Но ведь и сопротивление революции, возглавляемой Лениным, было организовано шире и мощнее. К тому же надо принять во внимание, что с развитием «цивилизации» — ценность человеческой жизни явно понижается, о чем неоспоримо свидетельствует развитие в современной Европе техники истребления людей и вкуса к этому делу.

Но скажите голосом совести: насколько уместно и не слишком ли отвратительно лицемерие тех «моралистов», которые говорят о кровожадности русской революции, после того как они в течение четырех лет позорной общеевропейской бойни не только не жалели миллионы истребляемых людей, но всячески разжигали «до полной победы» эту мерзкую войну? Ныне «культурные нации» оказались разбиты, истощены, дичают, а победила общечеловеческая мешчанская глупость: тугие петли ее и по сей день душат людей.

Много писали и говорили о жестокости Ленина. Разумеется, я не могу позволить себе смешную бестактность защиты его от лжи и клеветы. Я знаю, что клевета и ложь — узаконенный метод политики мешчан, обычный прием борьбы против врага. Среди великих людей мира сего едва ли найдется хоть один, которого не пытались бы измазать грязью. Это — всем известно.

Кроме этого, у всех людей есть стремление не только принизить выдающегося человека до уровня понимания своего, но и попытаться свалить его под ноги себе, в ту лишнюю, ядовитую грязь, которую они, сотворив, наименовали «обыденной жизнью».

Мне отвратительно памятен такой факт: в 19 году, в Петербурге, был съезд «деревенской бедноты». Из северных губерний России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших северских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды, — уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это темное, мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить прекрасное.

Не следует думать, что поведение «деревенской бедноты» было подчеркнуто мною по мотивам моего скептического отношения к мужику, нет, — я знаю, что болезненным желанием изгадить прекрасное страдают и некоторые группы интеллигенции, например те эмигранты, которые, очевидно, думают, что, если их нет в России, — в ней нет уже ничего хорошего.

Злостное стремление портить вещи исключительной красоты имеет один и тот же источник с гнусным стремлением опорочить во что бы то ни стало человека необыкновенного.

Все необыкновенное мешает людям жить так, как им хочется. Люди жаждут — если они жаждут — вовсе не коренного изменения своих социальных навыков, а только расширения их. Основной стон и вопль большинства:

«Не мешайте нам жить, как мы привыкли!»

Владимир Ленин был человеком, который так помешал людям жить привычной для них жизнью, как никто до него не умел сделать это.

Ненависть мировой буржуазии к нему обнаженно и отвратительно ясна, ее синие, чумные пятна всюду блещут ярко. Отвратительная сама по себе, эта ненависть говорит нам о том, как велик и страшен в глазах мировой буржуазии Владимир Ленин — вдохновитель и вождь пролетариев всех стран. Вот он не существует физически, а голос его все громче, победоноснее звучит для трудящихся земель, и уже нет такого угла на ней, где бы этот голос не возбуждал волю рабочего народа к революции, к новой жизни, к строительству мира людей равных. Все более уверенно, крепче, успешней делают великое дело ученики Ленина, наследники его силы.

Меня восхищала ярко выраженная в нем воля к жизни и активная ненависть к мерзости ее, я любовался тем азартом юности, каким он насыщал все, что делал. Меня изумляла его нечеловеческая работоспособность. Его движения были легки, ловки, и скупой, но сильный жест вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами, обильной мыслью. И на лице, монгольского типа, горели, играли эти острые глаза неутомимого борца против лжи и горя жизни, горели, прищуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, сверкая гневом. Блеск этих глаз делал речь его еще более жгучей и ясной.

Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блещут в воздухе. Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды.

Необычно и странно было видеть Ленина гуляющим в парке Горького, — до такой степени срослось с его образом представление о человеке, который сидит в конце длинного стола и, усмехаясь, поблескивая зоркими глазами рулевого, умело, ловко руководит прениями товарищей или же, стоя на эстраде, закинув голову, мечет в притихшую толпу, в жадные глаза людей, изголодавшихся о правде, четкие, ясные слова.

Они всегда напоминали мне холодный блеск железных стружек.

С удивительной простотой из-за этих слов возникала художественно выточенная фигура правды.

Азарт был свойством его природы, но он не являлся корыстным азартом игрока, он обличал в Ленине ту исключительную бодрость духа, которая свойственна только человеку, непоколебимо верующему в свое призвание, человеку, который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до конца понял свою роль в хаосе мира, — роль врага хаоса. Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать «Историю костюма», часами вести спор с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскаленным солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазыми ребятами рыбаков. А вечером, слушая рассказы о России, о деревне, завистливо вздыхал: «А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и — почти все!»

Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно «заливался» смехом, иногда до слез. Краткому, характерному восклицанию «гм-гм» он умел придавать бесконечную гамму оттенков, от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, доступный человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни.

Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глазами, он нередко принимал странную и немножко комическую позу — закинет голову назад и, наклонив ее к плечу, сунет пальцы рук куда-то под мышки, за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое и смешное, что-то победоноснопегушиное, и весь он в такую минуту светился радостью, великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды и несправедливости ради осуществления дела любви.

До 18 года, до пошлейшей и гнусной попытки убить Ленина, я не встречался с ним в России и даже издали не видал его. Я пришел к нему, когда он еще плохо владел рукой и едва двигал простреленной шеей. В ответ на мое возмущение он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:

— Драка. Что делать? Каждый действует как умеет.

Мы встретились очень дружески, но, разумеется, пронзительные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, «заблудившегося», с явным сожалением.

Через несколько минут Ленин азартно говорил:

— Кто не с нами, тот против нас. Люди, независимые от истории, — фантазия. Если допустить, что когда-то такие люди были, то сейчас их — нет, не может быть. Они никому не

нужны. Все, до последнего человека, втянуто в круговорот действительности, запутанной, как она еще никогда не запутывалась. Вы говорите, что я слишком упрощаю жизнь? Что это упрощение грозит гибелью культуре, а?

Ироническое, характерное:

— Гм-гм...

Острый взгляд становится еще острее, и пониженным голосом Ленин продолжает:

— Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в руках — не угроза культуре, нет? Вы думаете, Учредилка справилась бы с их анархизмом? Вы, который так много шумите об анархизме деревни, должны бы лучше других понять нашу работу. Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм — просто.

— Союз рабочих с интеллигенцией, да? Это — не плохо, нет. Скажите интеллигенции, пусть она идет к нам. Ведь, по-вашему, она искренно служит интересам справедливости? В чем же дело? Пожалуйста к нам: это именно мы взяли на себя колоссальный труд поднять народ на ноги, сказать миру всю правду о жизни, мы указываем народам прямой путь к человеческой жизни, путь из рабства, нищеты, унижения.

Он засмеялся и беззлобно сказал:

— За это мне от интеллигенции и попала пуля.

А когда температура беседы приблизилась к нормальной, он проговорил с досадой и печалью:

— Разве я спорю против того, что интеллигенция необходима нам? Но вы же видите, как враждебно она настроена, как плохо понимает требования момента? И не видит, что без нас она бессильна, не дойдет к массам. Это — ее вина будет, если мы разобьем слишком много горшков.

Беседы с ним на эту тему возникали почти при каждой встрече. И хотя на словах его отношение к интеллигенции оставалось недоверчивым, враждебным, — на деле он всегда правильно оценивал значение интеллектуальной энергии в процессе революций и как будто соглашался с тем, что, в сущности, революция является взрывом именно этой энергии, не нашедшей для себя в изжитых и тесных условиях возможности закономерного развития.

Помню, я был у него с тремя членами Академии наук. Шел разговор о необходимости реорганизации одного из высших научных учреждений Петербурга. Проводив ученых, Ленин удовлетворенно сказал:

— Это я понимаю. Это — умники. Все у них просто, все сформулировано строго, сразу видишь, что люди хорошо зна-

ют, чего хотят. С такими работать — одно удовольствие. Особенно понравился мне этот...

Он назвал одно из крупных имен русской науки, а через день уже говорил мне по телефону:

— Спросите С., пойдет он работать с нами? —

И когда С. принял предложение, это искренно обрадовало Ленина, потирая руки, он шутил:

— Вот так, одного за другим, мы перетянем всех русских и европейских Архимедов, тогда мир, хочет не хочет, а — перевернется!

На 8 съезде партии Н. И. Бухарин, между прочим, сказал:

— Нация — значит буржуазия вместе с пролетариатом. Ни с чем не сообразно признавать право на самоопределение какой-то презренной буржуазии.

— Нет, извините, — возразил Ленин, — это сообразно с тем, что есть. Вы ссылаетесь на процесс дифференциации пролетариата от буржуазии, но — посмотрим еще, как оно пойдет.

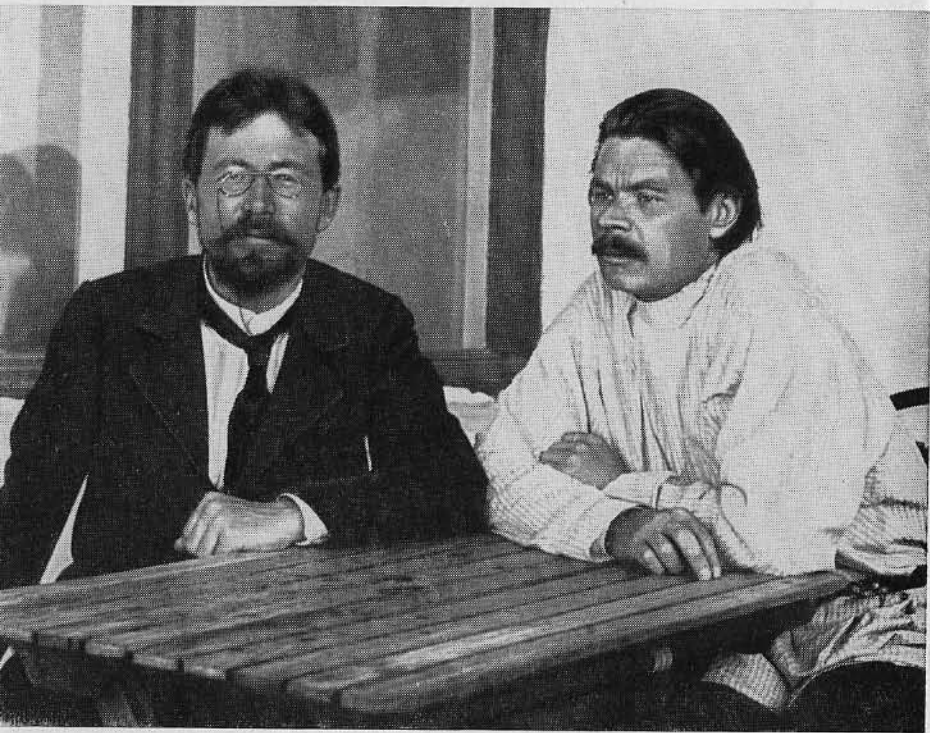
Затем, показав на примере Германии, как медленно и трудно развивается процесс этой дифференциации, и упомянув, что «не путем насилия внедряется коммунизм», — он так высказался по вопросу о значении интеллигенции в промышленности, армии и кооперации. Цитирую по отчету «Известий» о прениях на съезде:

«Этот вопрос на настоящем съезде должен быть решен с полной определенностью. Мы можем построить коммунизм лишь тогда, когда средства буржуазной науки и техники сделают его более доступным массам.

А для этого надо взять аппарат от буржуазии, надо привлечь к работе всех специалистов. Без буржуазных специалистов нельзя поднять производительной силы. Их надо окружить атмосферой товарищеского сотрудничества, рабочими комиссарами, коммунистами, поставить в такие условия, чтобы они не могли вырваться, но надо дать возможность работать им лучше, чем при капиталистах, ибо этот слой, воспитанный буржуазией, иначе работать не станет. Заставить работать из-под палки целый слой нельзя. Буржуазные специалисты привыкли к культурной работе, они двигали ее в рамках буржуазного строя, то есть обогащали буржуазию огромными материальными предприятиями и в ничтожных дозах уделяли ее для пролетариата. Но они все-таки двигали культуру — в этом их профессия. Поскольку они видят, что рабочий класс не только



В. И. Ленин и А. М. Горький. Петроград, 1920 г.



А. П. Чехов и А. М. Горький. Ялта, 1900 г.

ценит культуру, но и помогает проведению ее в массах, они меняют свое отношение к нам. Тогда они будут поработаны морально, а не только политически устранены от буржуазии. Надо вовлечь их в наш аппарат, а для этого надо иногда и на жертвы идти. По отношению к специалистам мы не должны держаться системы мелких придилок. Мы должны дать им как можно более хорошие условия существования. Это будет лучшая политика. Если вчера мы говорили о легализации мелкобуржуазных партий, а сегодня арестовывали меньшевиков и левых эсеров, то через эти колебания все же идет одна самая твердая линия: контрреволюцию отсекают, культурно-буржуазный аппарат использовать».

В этих прекрасных словах великого политика гораздо больше живого, реального смысла, чем во всех воплях мещанского, бессильного и, в сущности, лицемерного «гуманизма». К сожалению, многие из тех, кто должен был понять и оценить этот призыв к честному труду вместе с рабочим классом, — не поняли, не оценили призыва. Они предпочли вредительство из-за угла, предательство.

После отмены крепостного права многие из «дворовых людей», холопов по натуре, тоже оставались служить своим господам в тех же конюшнях, где, бывало, господа драли их.

Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта.

— Чего вы хотите? — удивленно и гневно спрашивал он. — Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушию? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем лезет контрреволюция, а мы — что же? Не должны, не в праве бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем: то, чего мы хотим, никто не может сделать, кроме нас. Неужели вы допускаете, что, если бы я был убежден в противном, я сидел бы здесь?

— Какою мерой измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в драке? — спросил он меня однажды после горячей беседы. На этот простой вопрос я мог ответить только лирически. Думаю, что иного ответа — нет.

Я очень часто одолевал его просьбами различного рода и порою чувствовал, что мои ходатайства о людях вызывают у Ленина жалость ко мне. Он спрашивал:

— Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками?

Но я делал то, что считал необходимым, и косые, сердитые взгляды человека, который знал счет врагов пролетариата, не отталкивали меня. Он сокрушенно качал головою и говорил:

— Компрометируете вы себя в глазах товарищей, рабочих.

А я указывал, что товарищи, рабочие, находясь «в состоянии запальчивости и раздражения», нередко слишком легко и «просто» относятся к свободе, к жизни ценных людей и что, на мой взгляд, это не только компрометирует честное, трудное дело революции излишней, порою и бессмысленной жестокостью, но объективно вредно для этого дела, ибо отталкивает от участия в нем немалое количество крупных сил.

— Гм-гм, — скептически ворчал Ленин и указывал мне на многочисленные факты измены интеллигенции рабочему делу.

— Между нами, — говорил он, — ведь многие изменяют, предательствуют не только из трусости, но из самолюбия, из боязни сконфузиться, из страха, как бы не пострадала возлюбленная теория в ее столкновении с практикой. Мы этого не боимся. Теория, гипотеза для нас не есть нечто «священное», для нас это — рабочий инструмент.

И все-таки я не помню случая, когда бы Ильич отказал в моей просьбе. Если же случалось, что они не исполнялись, это было не по его вине, а, вероятно, по силе тех «недостатков механизма», которыми всегда изобиловала неуклюжая машина русской государственности. Допустимо и что-то злое нежелание облегчить судьбу ценных людей, спасти их жизнь. Возможно и здесь «вредительство», враг циничен так же, как хитер. Мечь и злоба часто действуют по инерции. И, конечно, есть маленькие, психически нездоровые люди с болезненной жадой наслаждаться страданиями ближних.

Однажды он, улыбаясь, показал мне телеграмму:

«Опять арестовали скажите чтобы выпустили».

Подписано: Иван Вольный.

— Я читал его книгу, — очень понравилась. Вот в нем я сразу по пяти словам чувствую человека, который понимает неизбежность ошибок и не сердится, не лезет на стену из-за личной обиды. А его арестуют, кажется, третий раз. Вы бы посоветовали ему уехать из деревни, а то еще убьют. Его, видимо, не любят там. Посоветуйте. Телеграммой.

Нередко меня очень удивляла готовность Ленина помочь людям, которых он считал своими врагами, и не только готовность, а и забота о будущем их. Так, например, одному генералу, ученому, химику, угрожала смерть.

— Гм-гм, — сказал Ленин, внимательно выслушав мой

рассказ. — Так, по-вашему, он не знал, что сыновья спрятали оружие в его лаборатории? Тут есть какая-то романтика. Но — надо, чтоб это разобрал Дзержинский, у него тонкое чутье на правду.

Через несколько дней он говорил мне по телефону в Петроград:

— А генерала вашего — выпустим, кажется, уже и выпустили. Он что хочет делать?

— Гомозмульсию...

— Да, да — карболку какую-то. Ну вот, пусть варит карболку. Вы скажите мне, чего ему надо...

И для того, чтоб скрыть стыдливую радость спасения человека, Ленин прикрывал радость иронией.

Через несколько дней он снова спрашивал:

— А как — генерал? Устроился?

В 19 году в петербургские кухни являлась женщина, очень красивая, и строго требовала:

— Я княгиня Ч., дайте мне кость для моих собак!

Рассказывали, что она, не стерпев унижения и голода, решила утопиться в Неве, но будто бы четыре собаки ее, почуяв недобрый замысел хозяйки, побежали за нею и своим волевым решением заставили ее отказаться от самоубийства.

Я рассказал Ленину эту легенду. Поглядывая на меня искоса, снизу вверх, он все прищуривал глаза и наконец, совсем закрыв их, сказал угрюмо:

— Если это и выдуманно, то выдуманно неплохо. Шуточка революции.

Помолчал. Встал и, перебирая бумаги на столе, сказал задумчиво:

— Да, этим людям туго пришлось, история — мамаша суровая и в деле возмездия ничем не стесняется. Что ж говорить? Этим людям плохо. Умные из них, конечно, понимают, что вырваны с корнем и снова к земле не прирастут. А трансплантация, пересадка в Европу умных не удовлетворит. Не вживутся они там, как думаете?

— Думаю — не вживутся.

— Значит — или пойдут с нами, или же снова будут хлопотать об интервенции.

Я спросил: кажется мне это, или действительно он жалеет людей?

— Умных — жалею. Умников мало у нас. Мы — народ по преимуществу талантливый, но ленивого ума.

И, вспомнив некоторых товарищей, которые изжили классовую зоопсихологию, работают с «большевиками», он удивительно ласково заговорил о них.

Человек изумительно сильной воли, Ленин в высшей степени обладал качествами, свойственными лучшей революционной интеллигенции, — самоограничением, часто восходящим до самоистязания, самоуродования, до рахметовских гвоздей, отрицания искусства, до логики одного из героев Л Андреева: «Люди живут плохо — значит, я тоже должен плохо жить».

В тяжелом, голодном 19 году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Когда в его неудобную квартиру приносили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания товарищам. Приглашая меня обедать к себе, он сказал:

— Копченой рыбой угощу — прислали из Астрахани.

И, нахмутив сократовский лоб, скосив в сторону всевидящие глаза, добавил:

— Присылают, точно барину! Как от этого отвадишь? Отказаться, не принять — обидишь. А кругом все голодают.

Неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку, занятый с утра до вечера сложной, тяжелой работой, он совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей. Сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит, не отрывая пера от бумаги:

— Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу. Тут один товарищ, в провинции, скучает, видимо — устал. Надо поддержать. Настроение — не малая вещь!

Как-то в Москве прихожу к нему, спрашивает:

— Обедали?

— Да.

— Не сочиняете?

— Свидетели есть — обедал в кремлевской столовой

— Я слышал — скверно готовят там.

— Не скверно, а — могли бы лучше.

Он тотчас же подробно допросил: почему плохо, как может быть лучше?

И начал сердито ворчать:

— Что же они там, умелого повара не смогут найти? Люди работают буквально до обморока, их нужно кормить вкусно, чтобы они ели больше. Я знаю, что продуктов мало и плохи

они, — тут нужен искусный повар — И — процитировал рассуждение какого-то гигиениста о роли вкусных приправ в процессе питания и пищеварения. Я спросил:

— Как это вы успеваете думать о таких вещах?

Он тоже спросил:

— О рациональном питании?

И тоном своих слов дал мне понять, что мой вопрос неуместен.

Старый знакомый мой, П. А. Скороходов, тоже сормович, человек мягкой души, жаловался на тяжесть работы в Чеке. Я сказал ему:

— И мне кажется, что это не ваше дело, не по характеру вам.

Он грустно согласился

— Совсем не по характеру.

Но, подумав, сказал.

— Однако вспомнишь, что ведь Ильичу тоже, наверное, частенько приходится держать душу за крылья, и — стыдно мне слабости своей.

Я знал и знаю немало рабочих, которым приходилось и приходится, крепко сжав зубы, «держать душу за крылья» — насиловать органический «социальный идеализм» свой ради торжества дела, которому они служат.

Приходилось ли самому Ленину «держать душу за крылья»?

Он слишком мало обращал внимания на себя для того, чтобы говорить о себе с другими, он, как никто, умел молчать о тайных бурях в своей душе. Но однажды, в Горках, лаская чьих-то детей, он сказал:

— Вот эти будут жить уже лучше нас, многое из того, чем жили мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой.

И, глядя вдаль, на холмы, где крепко осела деревня, он добавил раздумчиво:

— А все-таки я не завидую им. Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Все будет понята, все!

Детей он ласкал осторожно, какими-то особенно легкими и бережными прикосновениями.

Как-то пришел к нему и — вижу — на столе лежит том «Войны и мира».

— Да, Толстой! Захотелось прсчитать сцену охоты, да

вот вспомнил, что надо написать товарищу. А читать — совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмутив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазами, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого.

И, потирая руки, засмеялся, довольный.

Я нередко подмечал в нем черту гордости Россией, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной любви к рабочему народу.

На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, изорванные и спутанные акулой, заметил:

— Наши работают бойчее.

А когда я выразил сомнение по этому поводу, он, не без досады, сказал:

— Гм-гм, а не забываете вы России, живя на этой шишке?

В. А. Десницкий-Строев сообщил мне, что однажды он ехал с Лениным по Швеции, в вагоне, и рассматривал немецкую монографию о Дюрере.

Немцы, соседи по купе, его спросили, что это за книга. В дальнейшем оказалось, что они ничего не слышали о своем великом художнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и дважды, с гордостью, он сказал Десницкому:

— Они своих не знают, а мы знаем.

Как-то вечером, в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исаея Добровейн, сказал:

— Ничего не знаю лучше «Appassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:

— Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят,

и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм, — должность адски трудная!

Сам почти уже больной, очень усталый, он писал мне 9.VII. 1921 года:

Алексей Максимович!

Переслал Ваше письмо Л. Б. Каменеву. Я устал так, что ничегошеньки не могу.

А у Вас кровохарканье и Вы не едете! Это ей же ей и бессовестно и нерационально.

В Европе, в *хорошей* санатории будете и лечиться и втрое больше дело делать. Ей-ей. А у нас — ни леченья, ни дела — одна *суетня*. **Зряшная суетня**.

Уезжайте, вылечитесь. Не упрямитесь, прошу Вас!

Ваш Ленин.

Он больше года с поразительным упрямством настаивал, чтобы я уехал из России, и меня удивляло: как он, всецело поглощенный работой, помнит о том, что кто-то где-то болен, нуждается в отдыхе?

Таких писем, каково приведенное, он написал разным людям, вероятно, десятки.

Я уже говорил о его совершенно исключительном отношении к товарищам, о внимании к ним, которое пронизательно догадывалось, даже о неприятных мелочах их жизни. Но в этом его чувстве я никогда не мог уловить своекорыстной заботливости, которая иногда свойственна умному хозяину в его отношении к честным и умелым работникам.

Нет, это было именно сердечное внимание истинного товарища, чувство любви равного к равным. Я знаю, что между Владимиром Лениным и даже крупнейшими людьми его партии невозможно поставить знака равенства, но сам он этого как бы не знал, а вернее — не хотел знать. Он был резок с людьми, споря с ними, безжалостно высмеивал, даже порою ядовито издевался — все это так.

Но сколько раз в его суждениях о людях, которых он вчера распинал и «разносил», я совершенно ясно слышал ноты искреннего удивления пред талантами и моральной стойкостью этих людей, пред их упорной и тяжелой работой адовых условий 1918—1921 годов, работой в окружении шпионов всех стран и партий, среди заговоров, которые гнилыми нарывами

вздувались на истощенном войною теле страны. Работали — без отдыха, ели мало и плохо, жили в непрерывной тревоге.

Но сам Ленин как будто не испытывал тяжести этих условий и тревог жизни, потрясенной до самых глубочайших основ своих кровавой бурей гражданской распри. И только один раз, в беседе с М. Ф. Андреевой, у него, по ее словам, вырвалось что-то подобное жалобе:

— Что же делать, милая Мария Федоровна? Надо бороться. Необходимо! Нам тяжело? Конечно! Вы думаете: мне тоже не бывает трудно? Бывает — и еще как! Но — посмотрите на Дзержинского, — на что стал похож он! Ничего не поделаешь! Пусть лучше нам будет тяжело, только бы одолеть!

Лично я слышал от него лишь одну жалобу:

— Жаль — Мартова нет с нами, очень жаль! Какой это удивительный товарищ, какой чистый человек!

Помню, как весело и долго хохотал он, прочитав где-то слова Мартова:

«В России только два коммуниста: Ленин и Коллонтай».

А посмеявшись, сказал, со вздохом:

— Какая умница! Эх...

Именно с уважением и удивлением он сказал, проводив из кабинета одного товарища «хозяйственника»:

— Вы давно знаете его? Он был бы во главе кабинета министров любой европейской страны.

И, потирая руки, посмеиваясь, добавил:

— Европа беднее нас талантливыми людьми.

Я предложил ему съездить в Главное Артиллерийское Управление посмотреть изобретенный одним большевиком, бывшим артиллеристом, аппарат, корректирующий стрельбу по аэропланам.

— А что я в этом понимаю? — спросил он, но — поехал. В сумрачной комнате, вокруг стола, на котором стоял аппарат, собралось человек семь хмурых генералов, все седые, усатые старики, ученые люди. Среди них скромная штатская фигура Ленина как-то потерялась, стала незаметной. Изобретатель начал объяснять конструкцию аппарата. Ленин послушал его минуты две, три, одобрительно сказал:

— Гм-гм! — и начал спрашивать изобретателя так же свободно, как будто экзаменовал его по вопросам политики:

— А как достигнута вами одновременно двойная работа механизма, устанавливающая точку прицела? И нельзя ли связать установку хоботов орудий автоматически с показаниями механизма?

Спрашивал про объем поля поражения и еще о чем-то, —

изобретатель и генералы оживленно объясняли ему, а на другой день изобретатель рассказывал мне:

— Я сообщил моим генералам, что придете вы с товарищем, но умолчал, кто — товарищ. Они не узнали Ильича, да, вероятно, и не могли себе представить, что он явится без шума, без помпы, охраны. Спрашивают: «Это техник, профессор? Ленин?» Страшно удивились: «Как? Не похоже! И — позвольте! — откуда он знает наши премудрости? Он ставил вопросы как человек технически сведущий! Мистификация!» — Кажется, так и не поверили, что у них был именно Ленин...

А Ленин, по дороге из ГАУ, возбужденно похихатывал и говорил об изобретателе:

— Ведь вот как можно ошибаться в оценке человека! Я знал, что это старый честный товарищ, но — из тех, что звезд с неба не хватают. А он как раз именно на это и оказался годен. Молодчина! Нет, генералы-то как окрысились на меня, когда я выразил сомнение в практической ценности аппарата! А я нарочно сделал это, — хотелось знать, как именно они оценивают эту остроумную штуку.

Залился смехом, потом спросил:

— Говорите, у И. есть еще изобретение? В чем дело? Нужно, чтобы он ничем иным не занимался. Эх, если б у нас была возможность поставить всех этих техников в условия, идеальные для их работы! Через двадцать пять лет Россия была бы передовой страной мира!

Да, часто слышал я его похвалы товарищам. И даже о тех, кто — по слухам — не пользовался его личными симпатиями, Ленин умел говорить, воздавая должное их энергии.

Я был очень удивлен его высокой оценкой организаторских способностей Л. Д. Троцкого, — Владимир Ильич подметил мое удивление.

— Да, я знаю, о моих отношениях с ним что-то врут. Но — что есть — есть, а чего нет — нет, это я тоже знаю. Он вот сумел организовать военных спецов.

Помолчав, он добавил потише и невесело:

— А все-таки не наш! С нами, а — не наш. Честолюбив. И есть в нем что-то... нехорошее, от Лассалья..

Эти слова: «С нами, а — не наш» — я слышал от него дважды, второй раз они были сказаны о человеке тоже крупном. Он умер вскоре после Владимира Ильича. Людей Владимир Ильич чувствовал, должно быть, очень хорошо. Как-то, входя в его кабинет, я застал там человека, который, пятясь к двери задом, раскланивался с Владимиром Ильичем, а Владимир Ильич, не глядя на него, писал.

— Знаете этого? — спросил он, показав пальцем на дверь; я сказал, что раза два обращался к нему по делам «Всемирной литературы».

— И — что?

— Могу сказать: невежественный и грубый человек.

— Гм-гм... Подхалим какой-то. И, вероятно, жулик. Впрочем, я его первый раз вижу, может быть, ошибаюсь.

Нет, Владимир Ильич не ошибся; через несколько месяцев человек этот вполне оправдал характеристику Ленина.

О людях он думал много, обеспокоенный тем, что, по его словам:

— Аппарат у нас — пестренький, после Октября много влезло в него чужих людей. Это — по вине благочестивой и любимой вами интеллигенции, это — следствие ее подлого саботажа, да-с!

Это он говорил, гуляя со мною в Горках. Не помню, почему я заговорил об Алексинском, кажется, он выкинул в это время какую-то дрянную штуку.

— Можете представить: с первой же встречи с ним у меня явилось к нему чисто физическое отвращение. Непобедимое. Никогда, никто не вызывал у меня такого чувства. Приходилось вместе работать, всячески одергивал себя, неловко было, а — чувствую: не могу я терпеть этого выродка!

И, удивленно пожав плечами, сказал:

— А вот негодяя Малиновского не мог раскусить. Очень это темное дело, Малиновский...

Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго «заботливого друга».

— Загадочный вы человек, — сказал он мне шутливо, — в литературе как будто хороший реалист, а в отношении к людям — романтик. У вас все — жертвы истории? Мы знаем историю, и мы говорим жертвам: опрокидывайте жертвенники, ломайте храмы, долой богов! А вам хочется убедить меня, что боевая партия рабочего класса обязана прежде всего удобно устроить интеллигентов.

Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что беседовать со мною Владимиру Ильичу было приятно. Он почти всегда предлагал:

— Приедете — позвоните, повидаемся.

А однажды сказал:

— Потолковать с вами всегда любопытно, у вас разнообразнее и шире круг впечатлений.

Распрашивал о настроении интеллигенции, особенно внимательно об ученых, — я в то время работал с А. Б. Халатовым в «Комиссии по улучшению быта ученых». Интересовался пролетарской литературой:

— Чего вы ждете от нее?

Я говорил, что жду много, но считаю совершенно необходимым организацию литвуза с кафедрами по языкознанию, иностранным языкам — Запада и Востока, — по фольклору, по истории всемирной литературы, отдельно — русской.

— Гм-гм, — говорил он, прищуриваясь и похохатывая. — Широко и ослепительно! Что широко — я не против, а вот — ослепительно будет, а? Своих-то профессоров у нас нет по этой части, а буржуазные такую историю покажут... Нет, сейчас нам этого не поднять. Годика три, пяток подождать надо.

И жаловался:

— Читать совершенно нет времени!

Усиленно и неоднократно подчеркивал агитационное значение работы Демьяна Бедного, но говорил:

— Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди.

К Маяковскому относился недоверчиво и даже раздраженно:

— Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и все у него не то, по-моему, — не то и мало понятно. Рассыпано все, трудно читать. Талантлив? Даже очень? Гм-гм, посмотрим! А вы не находите, что стихов пишут очень много? И в журналах целые страницы стихов, и сборники выходят почти каждый день.

Я сказал, что тяготение молодежи к песне — естественно в такие дни и что — на мой взгляд — посредственные стихи легче писать, чем хорошую прозу, и времени требуют стихи — меньше; к тому же у нас очень много хороших учителей по технике стихосложения.

— Ну, что стихи легче прозы — я не верю! Не могу представить. С меня хоть кожу сдерите — двух строчек не напишу, — сказал он и нахмурился. — В массу надобно двинуть всю старую революционную литературу, сколько ее есть у нас и в Европе.

Он был русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывал свою страну, — издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу ее — исключительную талантливость народа, еще слабо выра-

женную, не возбужденную историей, тяжелой и нудной, но талантливость всюду, на темном фоне фантастической русской жизни блестящую золотыми звездами.

Владимир Ленин, большой, настоящий человек мира сего, — умер. Эта смерть очень больно ударила по сердцам тех людей, кто знал его, очень больно!

Но черная черта смерти только еще резче подчеркнет в глазах всего мира его значение, — значение вождя всемирного трудового народа.

И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была еще более густа — все равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира.

И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память.

Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его — живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал.

А. П. ЧЕХОВ

Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был маленький клочок земли и белый двухэтажный домик. Там, показывая мне свое «имение», он оживленно заговорил:

— Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание — очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно все знать, батенька, все!

Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное, острое внимание к его словам.

— Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас — это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него... унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, ставроной, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который

носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ, — вы понимаете? — воспитывать народ! Нельзя же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати годам ларингит, ревматизм, туберкулез... ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь, девять месяцев в году живет, как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А созовет он к себе товарищей — его обвинят в неблагонадежности, — глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков!.. Отвратительно все это... какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете, — когда я вижу учителя, — мне делается неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват... серьезно!

Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:

— Такая нелепая, неуклюжая страна — эта наша Россия.

Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, лонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой:

— Видите, — целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдемте, — чаю дам, за то, что вы такой терпеливый...

Это часто бывало у него: говорит так тепло, серьезно, искренно и вдруг усмехнется над собой и над речью своей. И в этой мягкой, грустной усмешке чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену мечтаний. И еще в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликатность...

Мы тихонько и молча пошли в дом. Тогда был ясный, жаркий день; играя яркими лучами солнца, шумели волны; под горой ласково повизгивала чем-то довольная собака. Чехов взял меня под руку и, покашливая, медленно проговорил:

— Это стыдно и грустно, а верно: есть множество людей, которые завидуют собакам...

И тотчас же, засмеявшись, добавил:

— Я сегодня говорю все дряхлые слова... значит — старею!

Мне очень часто приходилось слышать от него:

— Тут, знаете, один учитель приехал... больной, женат, — у вас нет возможности помочь ему? Пока я его уже устроил...

Или:

— Слушайте, Горький, — тут один учитель хочет познакомиться с вами. Он не выходит, болен. Вы бы сходили к нему, — хорошо?

Или:

— Вот учительницы просят прислать книг...

Иногда я заставлял у него этого «учителя»: обыкновенно учитель, красный от сознания своей неловкости, сидел на краешке стула и в поте лица подбирал слова, стараясь говорить глаже и «образованнее», или, с развязностью болезненно застенчивого человека, весь сосредоточивался на желании не показаться глупым в глазах писателя и осыпал Антона Павловича градом вопросов, которые едва ли приходили ему в голову до этого момента.

Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь; в его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках, и вот своим глубоким, мягким, точно матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова, — слова, которые как-то сразу упрощали собеседника: он переставал стараться быть умником, отчего сразу становился и умнее и интереснее...

Помню, один учитель — высокий, худой, с желтым, голодным лицом и длинным горбатым носом, меланхолически загнутым к подбородку, — сидел против Антона Павловича и, неподвижно глядя в лицо ему черными глазами, угрюмо басом говорил:

— Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется такой психический конгломерат, который абсолютно подавляет всякую возможность объективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир есть не что иное, как только наше представление о нем...

Тут он пустился в область философии и зашагал по ней, напоминая пьяного на льду.

— А скажите, — негромко и ласково спросил Чехов, — кто это в вашем уезде бьет ребят?

Учитель вскочил со стула и возмущенно замахал руками:

— Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркал.

— Вы не волнуйтесь, — продолжал Антон Павлович, успокоительно улыбаясь, — разве я говорю про вас? Но я помню — читал в газетах, — кто-то бьет, именно в вашем уезде...

Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегченно вздохнув, глухим басом заговорил:

— Верно! Был один случай. Это — Макаров. Знаете — не удивительно! Дико, но — объяснимо. Женат он, четверо детей,

жена — больная, сам тоже — в чахотке, жалованье — двадцать рублей... а школа — погреб, и учителю — одна комната. При таких условиях — ангела божия поколотишь безо всякой вины, а ученики — они далеко не ангелы, уж поверьте!

И этот человек, только что безжалостно пораженный Чехова своим запасом умных слов, вдруг, зловеще покачивая горбатым носом, заговорил простыми, тяжелыми, точно камни, словами, ярко освещая проклятую, грозную правду той жизни, которой живет русская деревня...

Прощаясь с хозяином, учитель взял обеими руками его небольшую сухую руку с тонкими пальцами и, потрясая ее, сказал:

— Шел я к вам, будто к начальству, — с робостью и дрожью, надулся, как индейский петух, хотел показать вам, что, мол, и я не лыком шит... а ухожу вот — как от хорошего, близкого человека, который все понимает. Великое это дело — все понимать! Спасибо вам! Иду. Уношу с собой хорошую, добрую мысль: крупные-то люди проще, и понятливее, и ближе душой к нашему брату, чем все эти мизеры, среди которых мы живем. Прощайте! Никогда я не забуду вас...

Нос у него вздрогнул, губы сложились в добрую улыбку, и он неожиданно добавил:

— А собственно говоря, и подлецы — тоже несчастные люди, — черт их возьми!

Когда он ушел, Антон Павлович посмотрел вслед ему, усмехнулся и сказал:

— Хороший парень. Недолго прочит...

— Почему?

— Затравят... прогонят...

Подумав, он добавил негромко и мягко:

— В России честный человек — что-то вроде трубочиста, которым няньки пугают маленьких детей...

Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пестрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешевенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикий раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбьи зубы и петушинные перья; все пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для «пущей важности», вызывало в нем смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел пред

собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника. Всю жизнь А. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренне свободен и никогда не считался с тем, чего одни — ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, требовали. Он не любил разговоров на «высокие» темы, — разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов.

Красиво простой, он любил все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей.

Однажды его посетили три пышно одетые дамы; наполнив его комнату шумом шелковых юбок и запахом крепких духов, они чинно уселись против хозяина, притворились, будто бы их очень интересует политика, и — начали «ставить вопросы».

— Антон Павлович! А как вы думаете, чем кончится война?

Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном серьезным, ласковым ответил:

— Вероятно, — миром...

— Ну да, конечно! Но кто же победит? Греки или турки?

— Мне кажется, — победят те, которые сильнее...

— А кто, по-вашему, сильнее? — наперебой спрашивали дамы.

— Те, которые лучше питаются и более образованны...

— Ах, как это остроумно! — воскликнула одна.

— А кого вы больше любите — греков или турок? — спросила другая.

Антон Павлович ласково посмотрел на нее и ответил с кроткой, любезной улыбкой:

— Я люблю — мармелад... а вы — любите?

— Очень! — оживленно воскликнула дама.

— Он такой ароматный! — солидно подтвердила другая.

И все три оживленно заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание предмета. Было очевидно — они очень довольны тем, что не нужно напрягать ума и притворяться серьезно заинтересованными турками и греками, о которых они до этой поры и не думали.

Уходя, они весело пообещали Антону Павловичу:

— Мы пришлем вам мармелад!

— Вы славно беседовали! — заметил я, когда они ушли.

Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал:

— Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком...

Другой раз я застал у него молодого, красивенького товарища прокурора. Он стоял пред Чеховым и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорил:

— Рассказом «Злоумышленник» вы, Антон Павлович, ставите предо мной крайне сложный вопрос. Если я признаю в Денисе Григорьеве наличие злой воли, действовавшей сознательно, я должен, без оговорок, упечь Дениса в тюрьму, как этого требуют интересы общества. Но он дикарь, он не признавал преступности деяния, мне его жалко! Если же я отнесусь к нему как к субъекту, действовавшему без разумения, и поддамся чувству сострадания, — чем я гарантирую обществу, что Денис вновь не отвинтит гайки на рельсах и не устроит крушения? Вот вопрос! Как же быть?

Он замолчал, откинул корпус назад и уставился в лицо Антону Павловичу испытующим взглядом. Мундирчик на нем был новенький, и пуговицы на груди блестели так же самоуверенно и тупо, как глазки на чистеньком личике юного ревнителя правосудия.

— Если б я был судьей, — серьезно сказал Антон Павлович, — я бы оправдал Дениса...

— На каком основании?

— Я сказал бы ему: «Ты, Денис, еще не созрел до типа сознательного преступника, ступай — и дозрей!»

Юрист засмеялся, но тотчас же вновь стал торжественно серьезен и продолжал:

— Нет, уважаемый Антон Павлович, — вопрос, поставленный вами, может быть разрешен только в интересах общества, жизнь и собственность которого я призван охранять. Денис — дикарь, да, но он — преступник, — вот истина!

— Вам нравится граммофон? — вдруг ласково спросил Антон Павлович.

— О да! Очень! Изумительное изобретение! — живо отозвался юноша.

— А я терпеть не могу граммофонов! — грустно сознался Антон Павлович.

— Почему?

— Да они же говорят и поют, ничего не чувствуя. И все у них карикатурно выходит, мертво... А фотографиию вы не занимаетесь?

Оказалось, что юрист — страстный поклонник фотографии; он тотчас же с увлечением заговорил о ней, совершенно не интересуясь граммофоном, несмотря на свое сходство с этим «изумительным изобретением», тонко и верно подмеченное Чеховым.

Снова я видел, как из мундира выглянул живой и довольно забавный человечек, который пока еще чувствовал себя в жизни, как щенок на охоте.

Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:

— Вот этикие прыщи на... сиденье правосудия — распоряжаются судьбой людей.

И, помолчав, добавил:

— Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно — ершей!

Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость, — искусством, которое доступно только человеку высоким требованиям к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и острого судью.

Кто то рассказывал при нем, что издатель популярного журнала, человек, постоянно рассуждающий о необходимости любви и милосердия к людям, — совершенно неосновательно оскорбил кондуктора на железной дороге и что вообще этот человек крайне грубо обращается с людьми, зависимыми от него.

— Ну, еще бы, — сказал Антон Павлович, хмуро усмеясь, — ведь он же аристократ, образованный... он же в семинарии учился! Отец его в лаптях ходил, а он носит лаковые ботинки...

И в тоне этих слов было что-то, что сразу сделало «аристократа» ничтожным и смешным.

— Очень талантливый человек! — говорил он об одном журналисте. — Пишет всегда так благородно, гуманно... лимонадно. Жену свою ругает при людях душой. Комната для прислуги у него сырая, и горничные постоянно наживают ревматизм...

— Вам, Антон Павлович, нравится NN?

— Да... очень. Приятный человек, — покашливая, соглашается Антон Павлович. — Все знает. Читает много. У меня три книги зачитал. Рассеянный он, сегодня скажет вам, что вы чудесный человек; а завтра кому-нибудь сообщит, что вы у мужа вашей любовницы шелковые носки украли, черные, с синими полосками...

Кто-то при нем жаловался на скуку и тяжесть «серьезных» отделов в толстых журналах.

— А вы не читайте этих статей, — убежденно посоветовал Антон Павлович. — Это же дружеская литература.. литература приятелей. Ее сочиняют господа Краснов, Чернов и Белов. Один напишет статью, другой возразит, а третий примиряет против-

речия первых. Похоже, как будто они в винт с болваном играют. А зачем все это нужно читателю, — никто из них себя не спрашивает.

Однажды пришла к нему какая-то полная дама, здоровая, красивая, красиво одетая, и начала говорить «под Чехова»:

— Скучно жить, Антон Павлович! Все так серо: люди, небо, море, даже цветы кажутся мне серыми. И нет желаний... душа в тоске. Точно какая-то болезнь...

— Это — болезнь! — убежденно сказал Антон Павлович. — Это болезнь... По-латыни она называется *morbus pritivoralis*.

Дама, к ее счастью, видимо, не знала по-латыни, а может быть, скрыла, что знает.

— Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю, — говорил он, усмехаясь своей умной усмешкой. — Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет и жужжит. Нужно — встряхивать кожей и махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто — характер у него беспокойный и заявить о себе хочется, — мол, тоже на земле живу! Вот видите, — могу даже жужжать, обо всем могу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором...

В его серых, грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая насмешка, но порою эти глаза становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его гибкий, задушевный голос звучал тверже, и тогда — мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы крепко, твердо и не уступит ей.

Порою же казалось мне, что в его отношении к людям было чувство какой-то безнадежности, близкое к холодному, тихому отчаянию.

— Странное существо — русский человек! — сказал он однажды. — В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попадет, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-человечески — надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме «Новостей терапии», не читает и в сорок лет серьезно

убежден, что все болезни — простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони, — об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравши сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия — страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них — собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают — они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...

Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах. Но, презирая, он сожалел, и когда, бывало, при нем ругнешь кого-нибудь, Антон Павлович сейчас же вступится:

— Ну, зачем вы? Он же старик, ему же семьдесят лет...

Или:

— Он же ведь еще молодой, это же по глупости...

И, когда он говорил так, — я не видел на его лице брезгливости...

В юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, но понемногу она окружает человека своим серым туманом, пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и человек становится похож на старую вывеску, изъеденную ржавчиной: как будто что-то изображено на ней, а что? — не разберешь.

Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть в тусклом море пошлости ее трагически мрачные шутки; стоит только внимательно прочитать его «юмористические» рассказы, чтобы убедиться, как много за смешными словами и положениями — жестокого и противного скорбно видел и стыдливо скрывал автор.

Он был как-то целомудренно скромн, он не позволял себе громко и открыто сказать людям: «Да будьте же вы... порядочнее!» — тщетно надеясь, что они сами догадаются о настоятельной необходимости для них быть порядочнее. Ненавидя все

пошлое и грязное, он описывал мерзости жизни благородным языком поэта, с мягкой усмешкой юмориста, и за прекрасной внешностью его рассказов мало заметен полный горького упрека их внутренний смысл.

Почтеннейшая публика, читая «Дочь Альбиона», смеется и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, живут, как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их.

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обиденщины.

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным, острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском... И пошлость за это отомстила ему сквернейшей выходкой, положив его труп — труп поэта — в вагон для перевозки «устриц».

Грязно-зеленое пятно этого вагона кажется мне именно огромной, торжествующей улыбкой пошлости над уставшим врагом, а бесчисленные «воспоминания» уличных газет — лицемерной грустью, за которой я чувствую холодное, пахучее дыхание все той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего.

Читая рассказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда воздух так прозрачен и в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие люди. Все так странно — одиноко, неподвижно и бессильно. Углубленные синие дали — пустыньны и, сливаясь с бледным небом, дышат тоскливым холодом на землю, покрытую мерзлой грязью. Ум автора, как осеннее солнце, с жестокой ясностью освещает избитые дороги, кривые улицы, тесные и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени маленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетой.

Вот тревожно, как серая мышь, шмыгает «Душечка», — милая, кроткая женщина, которая так рабски, так много умеет любить. Ее можно ударить по щеке, и она даже застонать громко не посмеет, кроткая раба. Рядом с ней грустно стоит Ольга из «Трех сестер»: она тоже много любит и безропотно подчиняется капризам развратной и пошлой жены своего лентяя-брата, на ее глазах ломается жизнь ее сестер, а она плачет и никому ничем не может помочь, и ни одного живого, сильного слова протеста против пошлости нет в ее груди.

Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева «Вишневого сада» — эгоистичные, как дети, и дряблые, как старики. Они опоздали вовремя умереть и ноют, ничего не видя вокруг себя, ничего не понимая, — паразиты, лишённые силы снова присосаться к жизни. Дрянненький студент Трофимов краснó говорит о необходимости работать и — бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук для благополучия бездельников.

Вершинин мечтает о том, как хороша будет жизнь через триста лет, и живет, не замечая, что около него все разлагается, что на его глазах Солёный от скуки и по глупости готов убить жалкого барона Тузенбаха.

Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и рабынь своей любви, своей глупости и лени, своей жадности к благам земли; идут рабы темного страха пред жизнью, идут в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем — нет им места...

Иногда в их серой массе раздаётся выстрел, это Иванов или Треплев догадались, что им нужно сделать, и — умерли.

Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет жизнь через двести лет, и никому не приходит в голову простой вопрос: да кто же сделает ее хорошей, если мы будем только мечтать?

Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал:

— Скверно вы живете, господа!

Пятый день повышена температура, а лежать не хочется. Серенький финский дождь кропит землю мокрой пылью. На форте Инно бухают пушки, их «пристреливают». По ночам лижет облака длинный язык прожектора, зрелище отвратительное, ибо не дает забыть о дьявольском наваждении — войне,

Читал Чехова. Если б он не умер десять лет тому назад, война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Вспомнил его похороны.

Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его. «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более; очень памяты два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках — женихи. Идя сзади их, я слышал, что один, В. А. Маклаков, говорит об уме собак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен...

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околоточный на толстой белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

В одном из писем к старику А. С. Суворину Чехов сказал: «Нет ничего скучнее и непоэтичнее, так сказать, как прозаическая борьба за существование, отнимающая радость жизни и вгоняющая в апатию».

Этими словами выражено очень русское настроение, вообще, на мой взгляд, не свойственное А. П. В России, где всего много, но нет у людей любви к труду, так мыслит большинство. Русский любит энергию, но — плохо верит в нее. Писатель активного настроения — например Джек Лондон — невозможен в России. Хотя книги Лондона читаются у нас охотно, но я не вижу, чтоб они возбуждали волю русского человека к деянию, они только раздражают воображение. Но Чехов — не очень русский в этом смысле. Для него еще в юности «борьба за существование» развернулась в неприглядной, бескрасочной форме ежедневных, мелких забот о куске хлеба не только для себя, — о большом куске хлеба. Этим заботам, лишенным радостей, он отдал все силы юности, и надо удивляться: как он мог сохранить свой юмор? Он видел жизнь только как скучное стремление людей к сытости, покою; вели-

кие драмы и трагедии ее были скрыты для него под толстым слоем обиденного. И, лишь освободясь немного от заботы видеть вокруг себя сытых людей, он зорко взглянул в суть этих драм.

Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне, как А. П. Это выражалось у него во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая, совершенно исключая стремление накапливать их, не устает любоваться ими как продуктом творчества духа человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутне он говорил:

— Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша.

Затаяв писать пьесу «Васька Буслаев», я прочитал ему хвастливый Васькин монолог:

Эх-ма, кабы силы да поболее мне!
Жарко бы дохнул я — снега бы растопил,
Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил — города городил,
Церквы бы строил да сады всё сажил!
Землю разукрасил бы — как девушку,
Обнял бы ее — как невесту свою,
Поднял бы я землю ко своим грудям,
Поднял бы, понес ее ко господе:
— Глянь-ко ты, господи, земля-то какова, —
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты вот ее камнем пустил в небеса,
Я ж ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко ты, господи, порадуйся,
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я тебе ее в подарочек,
Да — накладно будет — самому дорога!

Чехову понравился этот монолог, взволнованно покашливая, он говорил мне и доктору А. Н. Алексину:

— Это хорошо... Очень настоящее, человеческое! Именно в этом «смысл философии всей». Человек сделал землю обитаемой, он делает ее и уютной для себя. — Кивнув упрямо головой, повторил: — Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину еще раз, выслушал, глядя в окно, и посоветовал:

— Две последние строчки — не надо, это озорство. Лишнее...

О своих литературных работах он говорил мало, неохотно; хочется сказать — целомудренно и с тою же, пожалуй, осторожностью, с какой говорил о Льве Толстом. Лишь изредка, в час веселый, усмехаясь, расскажет тему, всегда — юмористическую.

— Знаете, — напишу об учительнице, она атеистка, — обожает Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассудками и суевериями народа, а сама, в двенадцать часов ночи, варит в бане черного кота, чтоб достать «дужку», — косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нем любовь, — есть такая косточка...

О своих пьесах он говорил как о «веселых» и, кажется, был искренно уверен, что пишет именно «веселые пьесы». Вероятно, с его слов Савва Морозов упрямо доказывал: «Пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии».

Но вообще к литературе он относился со вниманием очень зорким, особенно же трогательно — к «начинающим писателям». Он с изумительным терпением читал обильные рукописи Б. Лазаревского, Н. Олигера и многих других.

— Нам нужно больше писателей, — говорил он. — Литература в нашем быту все еще новинка и «для избранных». В Норвегии на каждые двести двадцать шесть человек населения — один писатель, а у нас — один на миллион...

Болезнь иногда вызывала у него настроение ипохондрика и даже мизантропа. В такие дни он бывал капризен в суждениях своих и тяжел в отношении к людям.

Однажды, лежа на диване, сухо покашливая, играя термометром, он сказал:

— Жить для того, чтоб умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно, — уж совсем глупо...

Другой раз, сидя у открытого окна и поглядывая вдаль, в море, неожиданно, сердито проговорил:

— Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или получить место полицеймейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а через двести лет — еще лучше, и никто не заботится, чтоб это лучше наступило завтра. В общем — жизнь с каждым днем становится все сложнее и движется куда-то сама собою, а люди — заметно глупеют, и все более людей остается в стороне от жизни.

Подумал и, наморщив лоб, прибавил:

— Точно нищие калеки во время крестного хода.

Он был врач, а болезнь врача всегда тяжелее болезни его

пациентов: пациенты только чувствуют, а врач еще и знает кое-что о том, как разрушается его организм. Это один из тех случаев, когда знание можно считать приближающим смерть.

Хороши у него бывали глаза, когда он смеялся, — какие-то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы еще мог смеяться так — скажу — «духовно».

Грубые анекдоты никогда не смешили его.

Смеясь так мило и душевно, он рассказывал мне:

— Знаете, почему Толстой относится к вам так неровно? Он ревнует, он думает, что Сулержицкий любит вас больше, чем его. Да, да. Вчера он говорил мне: «Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу. Мне даже неприятно, что Сулер живет у него. Сулеру это вредно. Горький — злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на все. У него душа соглядастая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него — урод, вроде лешего или водяного деревенских баб».

Рассказывая, Чехов досмеялся до слез и, отирая слезы, продолжал:

— Я говорю: «Горький добрый». А он: «Нет, нет, я знаю. У него утиный нос, такие носы бывают только у несчастных и злых. И женщины не любят его, а у женщин, как у собак, есть чутье к хорошему человеку. Вот Сулер — он обладает действительно драгоценной способностью бескорыстной любви к людям. В этом он — гениален. Уметь любить — значит все уметь...»

Отдохнув, Чехов повторил:

— Да, старик ревнует... Какой удивительный...

О Толстом он говорил всегда с какой-то особенной, едва уловимой, нежной и смущенной улыбочкой в глазах, говорил, понижая голос, как о чем-то прозрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких.

Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккермана, человека, который бы тщательно записывал острые, неожиданные и, часто, противоречивые мысли старого мудреца.

— Вот бы вы занялись этим, — убеждал он Сулержицкого, — Толстой так любит вас, так много и хорошо говорит с вами.

О Сулере Чехов сказал мне:
— Это — мудрый ребенок...
Очень хорошо сказал.

Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется — «Душенькой». Он говорил:

— Это — как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки-кружевницы, «вековуши», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево. — Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах.

А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно:

— Там — опечатки ..

О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею. Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал «Степь», рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво грустный. Рассказ — для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.

Человек — ось мира.

А — скажут — пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб — сладко питает.

На севере, за Волгой, в деревнях, спрятанных среди лесов, встречаются древние старики, искалеченные трудом, но всегда полные бодрости духа, непонятной и почти чудесной, если не забыть долгие годы их жизни, полной труда и нищеты, неисчерпаемого горя и незаслуженных обид.

В каждом из них живет что-то детское, сердечное, порою забавное, но всегда — какое-то особенное, умное, возбуждающее доверие к людям, грустную, но крепкую любовь к ним.

Такие старики — Гомеры и Плутархи своей деревни, они знают ее историю — бунты и пожары, порки, убийства, суровые сборы податей, — знают все песни и обряды, помнят героев деревни и преступников, ее предателей и честных мирян и умеют равномерно воздать должное всем.

В этих людях меня поражала их любовь к жизни — растению, животному, человеку и звезде, — их чуткое понимание красоты и необоримая, инстинктивная вера исторически молодого племени в свое будущее.

Когда я впервые встретил В. В. Стасова, я почувствовал в нем именно эту большую, бодрую любовь к жизни и эту веру в творческую энергию людей.

Его стихией, религией и богом было искусство, он всегда казался пьяным от любви к нему, и — бывало — слушая его торопливые, наскоро построенные речи, невольно думалось, что он предчувствует великие события в области творчества, что он стоит накануне создания каких-то крупных произведений литературы, музыки, живописи, всегда с трепетною радостью ребенка ждет светлого праздника.

Он говорил об искусстве так, как будто все оно было создано его предками по крови — прадедом, дедом, отцом, как будто искусство создают во всем мире его дети, а будут создавать — внуки, и казалось, что этот чудесный старик всегда и везде чувствует юным сердцем тайную работу человеческого

духа, — мир для него был мастерской, в которой люди пишут картины, книги, строят музыку, высекают из мрамора прекрасные тела, создают величественные здания, и, право, порою мне казалось, что все, что он говорит, сливается у него в один жадный крик: «Скорее! Дайте взглянуть, пока я жив...»

Он верил в неиссякаемую энергию мирового творчества, и каждый час был для него моментом конца работы над одними вещами, моментом начала создания ряда других.

Однажды, рассказывая мне о Рибейре, он вдруг замолчал, потом серьезно заметил:

— Иногда вот говоришь или думаешь о чем-нибудь, и вдруг сердце радостно вздрогнет...

Замолчал, потом, смеясь, сказал:

— Мне кажется, что в такую минуту или гений родился, или кто-нибудь сделал великое дело...

Заговорили при нем о политике. Он послушал немного и убедительно посоветовал:

— Да бросьте вы политику — не думайте о гадостях! Ведь от этих ваших войн и всей подлости ничего не останется — разве вы не видите? Рубенс есть, а Наполеона нет, Бетховен есть, а Бисмарка нет. Нет их!

И было ясно, что он несокрушимо верит в правду своих слов.

Политику он не любил, морщился, вспоминая о ней, как о безобразии, которое мешает людям жить, портит им мозг, отталкивает от настоящего дела. Но одна из его родственниц постоянно сидела в тюрьмах, — он говорил о ней с гордостью, уважением и любовью, и каждый арест, о котором он слышал, искренно огорчал его.

— Губят людей. Лучшее на земле раздражают и злят — юношество! Ах, скоты!

Все, в чем была хоть искра красоты, было духовно близко, родственно Стасову, возбуждало и радовало его. Своей большой любовью он обнимал всю массу красивого в жизни — от полевого цветка и колоса пшеницы до звезд, от тонкой чеканки на древнем мече и народной песни до строчки стиха новейших поэтов.

Порицая модернистов, он обиженно говорил:

— Почему это — стихи? О чем стихи? Прекрасное просто, оно — понятно, а этого я не понимаю, не чувствую, не могу принять.

Но однажды я услышал от него:

— Знаете, вчера читали мне этого, Х., — хорошо! Тонко!

Такими стихами можно многое сказать о тайнах души... И — музыкально...

Старость консервативна, это ее главное несчастье; В. В. многое «не мог принять», но его отрицание исходило из любви, оно вызывалось ревностью. Ведь каждый из нас чего-то не понимает, все более или менее грешат торопливостью выводов, и никто не умеет любить будущее, хотя всем пора бы догадаться, что именно в нем скрыто наилучшее и величайшее.

Около В. В. всегда можно было встретить каких-то юных людей, и он постоянно, с некой таинственностью в голосе, рекомендовал их как великих поэтов, музыкантов, художников и скульпторов — в будущем. Мне кажется, что такие юноши окружали его на протяжении всей жизни; известно, что не одного из них он ввел в храм искусства...

Седой ребенок большого роста, с большим и чутким сердцем, он много видел, много знал, он любил жизнь и возбуждал любовь к ней.

Искусство создает тоска по красоте; неутолимое желание прекрасного порою принимает характер безумия, но, — когда страсть бессильна, — она кажется людям смешной. Многие в исканиях современных художников было чуждо В. В., непонятно, казалось ему уродливым, он волновался, сердился, отрицал. Но для меня в его отрицаниях горело пламя великой любви к прекрасному, и, не мешая видеть печальную красоту уродливого, оно освещало грустную драму современного творчества — обилие желаний и ничтожество сил.

Я мало знал В. В. — таким он мне казался, — и эти строки — все, что я могу вспомнить о нем.

Мне жалко, что я знал его мало, — жизнь не часто дарит радость говорить о человеке с искренним к нему уважением.

Когда он умер — я подумал:

«Вот человек, который делал все, что мог, и все, что мог, — сделал...»

Осенью 89 года я пришел из Царицына в Нижний, с письмом к Николаю Ельпидифоровичу Петропавловскому-Каронину от известного в то время провинциального журналиста В. Я. Старостина-Маненкова. Уходя из Царицына, я ненавидел весь мир и упорно думал о самоубийстве; род человеческий — за исключением двух телеграфистов и одной барышни — был мне глубоко противен, я сочинял ядовито-сатирические стихи, проклиная все сущее, и мечтал об устройстве земледельческой колонии. За время пешего путешествия мрачное настроение несколько рассеялось, а мечта о жизни в колонии, с двумя добрыми товарищами и милой барышней, несколько поблекла.

До этого времени я не встречал писателей — кроме Маненкова и Е. Н. Чирикова, которого видел однажды мельком, также мельком видел я в Казани и Каронина. Маненков был человек — в трезвом виде — чудаковатый, а выпивши, шумно изъяснялся в любви к русскому народу, плакал и заставлял меня тоже любить русский народ. Но однажды, осенним вечером, мы с ним шли по краю площади города Борисоглебска, а посредине ее, в глубокой, черной борисоглебской грязи, барахтался пьяный мещанин и орал, утопая.

— Вот, видите? — поучительно сказал Василий Яковлевич. — Мы читаем книги, спорим, наслаждаемся и идем равнодушно мимо таких явлений, как это, а подумайте-ка, разве мы не виноваты в том, что этот человек не знает иных наслаждений, кроме водки?

Я предложил пойти и вытащить человека, а Маненков сказал:

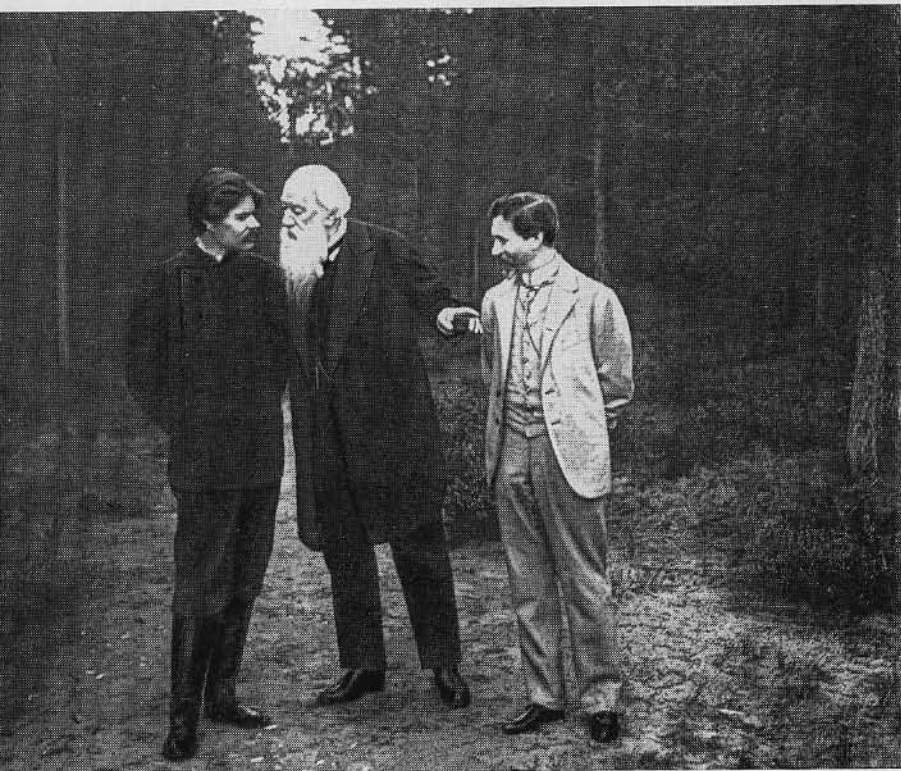
— Если я пойду, то потеряю калоши.

Пошел я и потерял интерес к народолюбцу.

Но я много читал, и мое представление о русском писателе сложилось в красивый сказочный образ: это суровый глашатай



На террасе чеховского дома в Ялте. 1902 г. А. М. Горький, А. П. и М. П. Чеховы; С. В. Чехова и Володя — жена и сын И. П. Чехова.



А. М. Горький, В. В. Стасов, И. Е. Репин. Куоккала, 1904 г.

правды, он одинок среди людей, никем не любим, обладает несокрушимую силою сопротивления врагам справедливости и, хотя враги усердно вымораживают его душу, она неистощимо пламенна и — «дондеже есмь» возжигает свет во тьме.

Н. Е. Каронин был в ладу с этим представлением — я читал почти все написанное им и только что познакомился с рассказом «Мой мир», где есть слова, ударившие меня в сердце:

«На свете нет ничего дороже мысли. Она — начало и конец всего бытия, причина и следствие, движущая сила и последняя цель. Кто же заставит меня отказаться от нее? Люди прекрасны только в той мере, в какой вложена в них эта мировая сила. Если мир окутывает еще тьма, то потому только, что мысль не осветила ее; если среди людей большая часть подлых, то только потому, что мысль не освободила еще их от безумия»¹.

И вот я, с трепетом в душе, — как верующий пред исповедью, — тихонько стучу в дверь писателя: он жил во втором этаже маленького флигеля. Высокая, черная женщина в красной кофте, с засученными по локоть рукавами, открыла дверь, подробно и не очень ласково расспросила, кто пришел, откуда, зачем, и ушла, крикнув через плечо свое:

— Николай, выдь сюда...

Предо мною высокий человек, в туфлях на босую ногу, в стареньком, рыжем пиджаке, надетом на рубаху, не лучше моей, — на ворота рубахи одна пуговица оторвана. Брюки его измяты, вытянуты на коленях и тоже не лучше моих, длинные волосы растрепаны так же, вероятно, как и у меня. Он смотрит в лицо мне светло-серыми глазами; взгляд ласковый, усталый, а глаза немного выпуклые, и мне кажется, что они видят все, что я думаю, знают все, что скажу. Это смущает меня. В ответ на его вопросы я молча киваю головой, говорю «да», «нет», но мне все приятнее смотреть на него.

У него небольшой рот и яркие губы; красивые брови вздрагивают, и тонкие пальцы — тоже, он перебирает ими редкую, но длинную бороду, дергая ее книзу. — точно он все время растет; красивый, высокий лоб его усиливает это впечатление непрерывного роста — а торопливые движения руки как будто пытаются задержать рост. Он — тонкий, худой, несколько сутулый, грудь вогнута, руки длинные, в нем есть что-то дет-

¹ Из рассказа «Мой мир», соч. Каронина, т. 2-й, стр. 364. (Прим. М. Горького.)

ское, приятно неуклюжее, я чувствую, что мое смущение замечено им и в свою очередь смущает его.

— Ну, идите сюда, шагайте, — приглашает он глуховатым голосом.

Говорит он немного заикаясь, точно отсекает апострофом первый звук слова; это тоже очень хорошо, чудесно сливается с его большим, замученным лицом и рассеянным взглядом светлых глаз.

Мы в узкой, тесной комнате, и первое, что бросается мне в глаза, — в ней нет стола, нет книг. У стены — койка, один ее конец выдвинут немного на середину комнаты, на подушках лежит пирожная доска, на доске — недописанный лист бумаги, несколько таких же листов — на стуле, по примятой постели видно, что человек писал, сидя верхом на койке, а столом служила ему пирожная доска.

Сбросив со стула бумаги, он подвинул его мне, а сам сел на постель, крепко потирая руки и говоря:

— В'от — пишу тут, надо — скоро, а там жена и С'аша — собираются уезжать и с'уматоха, знаете...

Потом стал читать письмо Маненкова, высоко подняв брови, улыбаясь мягкой, женскою улыбкой и покашливая тихонько.

Дверь в соседнюю комнату была не прикрыта, там черно-волосая женщина с лицом цыганки гладила накрахмаленную юбку; один конец гладильной доски лежал на столе и груде толстых книг, а другой на спинке стула.

— Скоро? — строго и певуче спросил кто-то.

На пороге встала высокая барышня с огромными глазами.

— Ах, ты не один! — сказала она.

— Падчерица моя, Саша, знакомьтесь, — предложил Каронин, не отводя глаз от письма, обширного, написанного мелким почерком, лиловыми строчками.

Барышня протянула мне руку и ушла, напевая что-то.

— Хотите, значит, сест'я н'а землю? — с усилием спросил Каронин, отделяя каждое слово секундой паузы. — Сколько же вас?

— Двое телеграфистов, я и девушка, дочь начальника станции.

— Н-ну, и влюбитесь вы в нее все трое, а п'отом начнете драться, и выйдет скандал, а не к-колония.

Он наклонился ко мне, размахивая листом письма, и, усмехаясь, заглянул в глаза мне.

— Давайте говорить начистоту. Знаете, что пишет

Василий Яковлевич? Он пишет, чтоб я отговорил вас от этой затеи.

Я удивился.

— Он одобрял меня и обещал помочь.

— Да? Ну, а пишет, чтоб я отговорил... А я не знаю, как отговаривать, у вас вон такое упрямое лицо. И вы — не интеллигент. Интеллигенту я сказал бы: брось это, друг мой; это нехорошо — идти отдыхать туда, где люди устают больше, чем ты... И это искажает хорошую идею единения с народом. Несомненно — искажает. К народу надобно идти с чем-то твердо, на всю жизнь решенным, а так, налегке, потому что тебе плохо, — не ходите. Около него вам будет еще хуже.

Он выполнял данное ему поручение с видимой неохотой, я чувствовал это, мне было неловко, и я спросил — не лучше ли мне зайти в другой раз?

— Почему? — встрепенулся Каронин. — Нет, подождите!

Он осмотрел пустые стены комнаты и продолжал оживленнее:

— Я как раз вот описываю историю одной колонии — историю о том, как пустышки одолели людей и разрешились в драму...

Повернулся к доске и сказал, поглядывая на исписанный лист:

— «Общество имеет свои отрицательные стороны, — да, люди пусты, раздвоены, без нужды толкаются, мозолят друг другу глаза и — когда все это надоест — ищут одиночества. А в одиночестве человек преувеличивает всякое свое чувство, всякую мысль в сотни раз и в сотни раз тяжелее страдает от этих преувеличений», — это говорит один барин в моей по-вести.

Отбросив листок в сторону, он усмехнулся, провел рукою по лицу сверху вниз, смешно придавив себе нос, и встал, говоря:

— Знаете — зачем вам колония? Не нужно это вам. Ведь вы ищете идеального, смотрите — придется вам спросить себя, как уже теперь спрашивают многие и в том числе мой герой, — я его не выдумал, это живой, современный, преувеличенный человек — зрелище очень печальное, — он сам каялся мне. Вот, — и, снова порывшись в своих листках, он прочитал с одного из них: — «Что идеального в том, если человек душу свою закопает в землю, окружив себя миллионами пустыяков? Человек должен бороться против пустыяков, унич-

тожать их, а не возводить в подвиг и заслугу». Вот о чем вам придется думать, это — наверняка!

Провел в воздухе рукою длинную линию и разрубил ее посредине убедительным жестом, а потом сморщил лицо, вздохнув:

— К'колония — эх! Р'азве это нужно?

Более тысячи верст нес я мечту о независимой жизни с людьми-друзьями, о земле, которую я сам вспашу, засею и своими руками соберу ее плоды, о жизни без начальства, без хозяина, без унижений, я уже был пресыщен ими. А тихий, мягкий человек взмахнул рукою и как бы отсек голову моей мечте. Это явилось неожиданностью для меня, я полагал, что мое решение устойчивее, крепче. И особенно странно — даже обидно — было то, что не слова его, а этот жест и гримаса опрокинули меня.

— Маненков с'общает, что вы пишете стихи, покажите — можно? — спросил он спустя некоторое время, в течение которого дал еще несколько легких ударов полуживой уже моей мечте. Мне и жалко было ее и весело, что она оказалась такой слабой.

Стихи я потерял в дороге между Москвой и Нижним; история этой потери казалась мне очень смешной, я рассказал ее Н. Е., желая еще раз посмеяться над моими зловключениями и ожидая, что он тоже посмеется.

Но он выслушал меня, опустив голову, и хоть я не видел его лица, но чувствовал, что он даже не улыбнулся. И сжова это смутило меня.

Посмотрев на меня исподлобья особенно пристальным взглядом, он тихонько сказал:

— А ведь могли быть изувечены. Стихов не жалко — на память знаете? Ну, скажите что-нибудь.

Я сказал, что вспомнил: речь шла о зарницах, и была такая строка: «Грозно реют огненные крылья...»

— Тютчева читали? — спросил он.

— Нет.

— П'рочитайте, у него лучше...

И почти шепотом, строго нахмурясь, он проговорил знаменитое стихотворение; потом предложил читать еще, а после двух-трех стихотворений сказал просто и ласково:

— В общем — стихи плохие. Вы как думаете?

— Плохие.

Он посмотрел в глаза, спросив:

— Вы это — искренно?

Странный вопрос: разве с ним можно было говорить неискренно?

Глядя в лицо мне славными своими глазами, он продолжал, уже не заикаясь:

— Вот, недавно я прочитал очель хорошие строки:

Кто по земле ползет, шипя на все змеюю,
Тот видит сор один. И только для орла,
Парящего легко и вольно над землею,
Вся даль безбрежная светла.

Это Апухтин написал Толстому — красиво? И — верно!

С этой минуты мне стало казаться, что он обо всем говорит стихами, и говорил он так, словно сообщал тайны, только ему известные и дорогие ему.

И уговаривал:

— Вы читайте, читайте русскую литературу, как можно больше, все читайте! Найдите себе работу и — читайте! Это лучшая литература в мире.

Помню его поднятую руку, тонкий вытянутый палец, болезненно покрасневшее, взволнованное лицо и внушающий, ласковый взгляд.

Потом он встал, вытянулся так, что хрустнули кости, и глаза его устало прикрылись. Я ушел, позабыв о колонии.

В следующий раз я встретил его на Откосе, около Георгиевской башни; он стоял, прислонясь к фонарному столбу, и смотрел вниз, под гору. Одетый в длинное широкое пальто и черную шляпу, он напоминал расстриженного священника.

Было раннее утро, только что взошло солнце; в кустах под горою шевелились, просыпаясь, жители Миллионной улицы, нижегородские босяки. Я узнал его издали, всходя на гору, к башне, а он, когда я подошел и поздоровался, несколько неприятно долгих секунд присматривался ко мне, молча приподняв шляпу, и наконец приветливо воскликнул:

— Это вы, колонист!

Через минуту мы сидели на скамье, и он говорил оживленно, помахивая шляпою в свое лицо, с красными пятнами на щеках.

— Я тут часто бываю по утрам — изумительно красивое место, а? Вот — не умею описывать природу, — это несчастье! А странно: из молодых писателей ведь почти никто не пишет природу, да если и пишут, то — сухо, неискусно.

Заглянул вниз и продолжал:

— Наблюдаю этих людей, тоже колонисты, а? Очень хочется сойти туда, к ним, познакомиться, но — боюсь: вы-

смеют ведь? И стащат пальто, да еще побьют. Ведь в бескорыстный интерес к ним они не поверят, конечно? Вон — смотрите, молится один. Странная фигура. Он, должно быть, или так был пьян, что еще не выпался, или убежденный западник, — видите: молится на Балахну, на запад?

— Он сам балахнинский, — сказал я.

— Вы его знаете? — живо спросил Каронин, придвигаясь ко мне. — Расскажите — кто это?

Я уже был знаком с некоторыми из людей, ночевавших в кустах, и стал рассказывать о них. Каронин слушал внимательно, часто перебивая вопросами, и все время обмахивался шляпой, хотя майское утро было достаточно свежо. Он казался мне иным, чем в первый раз, возбужденный чем-то, улыбался немножко иронически, недоверчиво, и раза два сказал мне, весело поталкивая меня в бок:

— Ну, это уж романтизм!

— Однако вы, барин, романтик!

Меня его веселые попреки не задевали, хотя я и знал уже, что быть романтиком — весьма непохвально.

— Я рассказываю вам так, как они рассказывают о себе, — заметил я.

Он задумчиво сказал:

— Врут. Вы им не верьте. Русский человек любит мечтать, и поэтому незаметно для себя врет, путая действительность с игрою своего ума. Один мужичок долго и убедительно пригласил меня к себе на пчельник, пришел я, а пчельника-то у него не только нет, а и не было. Я спрашиваю: «Как же это, Федор Васильич, а?» А он: «Да, видишь ты, Федипорыч, больно у пчеляков у этих жизнь хороша. Думал я про них, думал, да на себя и выдумал». Вот и они, эти, тоже выдумывают на себя. Романтики вроде вас, барин. А то еще знал я бузулукского мещанина, который выдавал себя за фальшивомонетчика и, показывая людям настоящие казенные деньги, хвастался чистотой своей работы. Добился худой славы и даже обыска, а потом оказалось, что он и не пробовал никогда сам сделать хоть бы один двугривенный. Спрашивают его: «Зачем же ты, брат, оболгал сам себя?» — «Кому, говорит, от этого вред и худо? А мне, чай, приятно думать, что вот захочу и — готово, богат».

Перестал улыбаться, задумался, глядя далеко за реку, почти синюю, в шелковые, на солнце, луга.

— Это, знаете, у нас черта серьезная, глубокая черта — под нею, может быть, скрыто бьется жажда иной жизни, под нею святое недовольство самим собою человек прячет. Развя-

жите-ка ему руки, и он перестанет мечтать, возьмется за дело — возьмется, это верно. Ведь те, которые перестали мечтать, уже теперь обнаруживают огромные силы, умеют побеждать чудовищные препятствия. Вот мне тут рассказывали об этих волжанах-судоходцах — какие фигуры, какое сказочное упорство в достижении целей! Нет, русский народ — хороший народ, чудеснейший народ, я вам скажу.

Все это говорилось торопливо, горячо и настойчиво, как бы в споре с кем-то. Потом он встал, прошелся по дорожке, оглядываясь вокруг, и снова сел.

— Вот — сзади нас семинария, немного далее — гимназия, против нее — дворянский институт, а под горою, в полусотне шагов от всех этих великолепий, — почти донсторическая жизнь в ямах, под открытым небом, и дикие люди. Над этим стоит подумать, юноша! Надобно подумать. Ужасно плохо мы знаем жизнь и — что еще того хуже — не хотим знать ее, как бы нарочно стараемся видеть меньше, чем можем, бежим в колонию, прячемся в хаты с краю...

И с великой печалью он заговорил о сложной болезни того времени — я не помню точно его слов, но, мне кажется, он повторил их в рассказе «На границе человека».

«Время это было вот какое: отвращение ко всем иллюзиям, смех над всем, чему еще недавно верили, холод и душевная пустота».

Говорил он тихонько, как бы стыдясь, что приходится говорить о таких печальных вещах, и все оглядывался, словно не желая, чтобы, кроме меня, его слова слышал еще кто-нибудь. Сидел согнувшись, крепко стиснув колени пальцами худых рук, на лицо ему падала тень от шляпы, и глаза казались синими.

— Вот, вы рассказывали об этих людях под горою. Но — почему, подумайте, почему у нас люди так легко погибают? Ведь ужасно легко: жил человек, и — ничего, а вдруг — «сбилась с пути». Смотрите — это невольно сказалось: жил, и — ничего! Все ходят как будто по скользкому месту; идет — пошатнулся — упал и не за что придержаться — ничего нет подкрепляющего душу. И ведь если падают, то разбиваются до полусмерти, непременно — до неизлечимых увечий, хотя падают не бог весть с какой высоты.

Это мне плотно легло в память — я тогда сам был в позиции человека, готового упасть.

Он вдруг вскочил на ноги, потрогал карман жилета, взглянул в небо.

— Часов шесть уже, да? Мне — пора. Заходите!

И крупными шагами, низко нахлобучив шляпу, пошел по бульвару, но вдруг остановился, повернул назад и строго — до смешного строго — спросил:

— Вы чем, собственно, занимаетесь?

— Развожу баварский квас.

— То есть как это, куда развозите?

— По лавкам, по домам...

Он подумал и сказал усмехаясь:

— Это, должно быть, очень скучно и глупо, а? Ну — до свиданья, купец, заходите же!

Он любил гулять в поле, за городом, один; я встречал его раза два во время этих прогулок, он спрашивал меня, что я читаю, и с великим волнением рассказывал мне о писателях. Помню, говоря о Гаршине, он сказал по поводу «Красного цветка»:

— Русский писатель всегда хочет написать что-то вроде евангелия, книгу ко всему миру; у нас этого все хотят, это общее стремление и больших и маленьких писателей, и, знаете, часто маленькие-то вечную правду чувствуют вернее, глубже гениев — вот что не забудьте, это очень важно! Русская литература — особенная, это, так сказать, священное писание, и читать ее надо очень внимательно, очень!

Долго молчал и потом сказал:

— Гаршина называют святым человеком — больше этого — он был святое дитя!

Однажды я пришел к нему на квартиру и застал его в той же узенькой, пустой и скучной комнате; полуодетый, растрепанный, он лежал на постели с книжкой в руках.

— Температура скачет в гору, — объяснил он, — утром взбежала до сорока почти, вот и валяюсь! А мои уехали в Саратов. Скажите-ка волшебнице, которая отворила вам дверь, чтобы она чаю нам дала.

— Вы читали Кушевского? — спрашивал он. — Нет? непременно прочитайте «Николая Негорева» — хорошая вещь! Вы о нем слышали, о Кушевском?

Сжато, памятными, вескими словами, он начал рассказывать о том, как автор «Негорева», работая осенью на Неве грузчиком-каталом, упал с тачкой в воду, простудился и, лежа в больнице, писал по ночам свой роман.

— Я не знал его, не встречал, мне рассказывал о нем пьяненький фельдшер той больницы. «Лекарства мне не нужны, — говорил он фельдшеру, — вы лучше дайте мне водки,

свечу и бумаги. Жить я не буду все равно, но — мне необходимо написать роман, вот вы и помогите в этом — дайте мне свечку. Днем писать запрещено и мешают, значит — надо писать ночью, а без свечки — темно, понимаете?» Он у всех просил свечек, но думали, что это бред, и не давали ему огня, он выменивал огарки на свои порции, голодал и писал, а однажды взял казенную свечу из ванной комнаты, это заметили и отняли свечку у него, а он — плакал! И все-таки — написал роман. Там есть удивительное лицо, может быть, одна из самых фантастических фигур в русской литературе, — Оверин, которому земля, вся земля — кажется живым, чувствующим и думающим существом, и оно ничего не знает о нас или столько, сколько мы знаем о микробах. Оно сгибает палец, а мы переживаем землетрясения, и в то же время, может быть, оно учится в какой-то гимназии, читает книги, и, когда перевертывает страницы, наш мир качается. Когда я читал об этом великане-земле, не чувствующем на себе людей, — мне было страшно. Это только русский писатель может чувствовать всю землю как живое и враждебное ему существо, я уверен, что только русский. Эх, знаете, сколько в России талантливых людей и как они страшно живут! Вот — посмотрите!

Он сел на койке, прислонясь спиной к стене, и стал читать рассказ Кушевского «Самоубийца». До этой поры — а пожалуй, и с той поры до сего дня — я не слышал такого чтения: легкий недостаток речи Каронина удивительно помогал ему оттенять и подчеркивать наиболее волнующие места просто написанного рассказа, тихий голос насыщал слова жуткой и победительной нервной силой.

Нестерпимо стыдно и страшно было слушать историю крестьянского сына, литератора Агафонова: отец обложил его оброком в десять рублей за каждый месяц, под угрозой не давать паспорта и — сечь. Однажды этот Агафонов, «маленький, русоволосый человек», писавший свои рассказы, волнуясь до рыданий, заболел, а из больницы попал в пересыльную тюрьму.

«Пропутешествовав несколько сот верст в ручных кандалах, он очутился перед грозными очами отца, который не принял во внимание никаких извинений в неаккуратном взносе оброка...

— На коленях просил я его, — рассказывал Агафонов, — не сечь меня; потом просил высечь да опять в город отпустить. Нет. А гляжу в окошко, батрак Осип на березу залез и розги режет. Отец говорит: «Покажу тебе пьянствовать». А у меня сердце так и бьется; гляжу в окно — розги режут... Пришли.

Я долго боролся, растянули в риге, на соломе, и... Я хотел тогда удавиться после этого, да отец согласился взять с меня пятнадцать рублей в месяц и опять опустить в Петербург. А что, если он меня потребует и опять поведут меня в кандалах? Ах, сколько клопов на этих этапах, если бы вы знали... И опять сечь... я этого не снесу... Вы — дворянин... как хорошо быть дворянином! Но вы — голытьба, вы наш... да!»¹

И вот снова отец требует, чтобы сын прислал шестьдесят рублей оброка или возвращался в деревню. Агафонов мечется в ужасе, никто не может помочь ему. Наконец ему прислали «паспорт» — мужичок из родной деревни принес длинный сверток, а в нем пучок березовых розог и при этом письмо отца:

«Вот тебе паспорт». И угроза — если подателю не будет вручено немедленно шестидесяти пяти рублей, то отец вытребует сына к себе прежним законным порядком, и паспорт этот будет прописан на его спине.

Агафонов повесился.

Кончив читать, Н. Е. отбросил книгу, крепко вытер пальцами усталые глаза и молча лег.

Я спросил — правда это или выдуманно?

— Правда, — сухо сказал он. — Мне рассказывал эту историю стихотворец Кроль, участник ее, один из тех, кто не мог помочь Агафонову. Все они были приблизительно в одинаковых условиях с Агафоновым; настоящая фамилия этого несчастного — не Агафонов, а не помню как. В Петербурге я читал его рассказы — это вроде Николая Успенского, но — лучше, вдумчивее и мягче. Его фамилию я помнил еще вчера, да вот эта головная боль — от нее и свою фамилию забудешь...

— Не уйти ли мне? — предложил я.

— Ну, вот еще! — воскликнул он, вставая на ноги. — Помилосердствуйте, я уже четвертый день, кроме мух, ничего живого не вижу...

— Все они — Куцевский, Воронов, Левитов и множество других — были горчайшими пьяницами, об этом вспоминают часто, а причина — почему они пили так — насмерть — причина этой драмы никого не занимает. Ведь не все же они родились алкоголиками, многие, вероятно, пили потому, что лучше этого занятия — не было у них. Может быть, современный уход в колонии и другие хаты с краю по существу-то немного лучше ихнего пьянства; может, даже — если взять самую

глубину явления — кабак-то ближе колонии к людям? Я не утверждаю, а — догадываюсь. Надо помнить, что один из честнейших писателей наших однажды громко заявил: «Я умираю оттого, что был я честен». Это — чуждые слова! И нигде, кроме России, эдак не сказано. В этом — всей нации, всему обществу упрек брошен, упрек заслуженный. Но, если умирали оттого, что были честны, ведь и пить могли оттого же? Имею ли я право отдохнуть от безобразия в кабаке, так как другого места для меня, для истерзанной души моей, — не уготовано? Общество категорически отвечает: «Не имеешь ты этого права!» Само оно, однако, всегда напоминает поведением своим псалом — «всякую шаташася языцы» и — глухо к таким признаниям, как вот: «умираю, потому что был я честен». Это до него не доходит!

Рассказывал анекдоты о глупостях цензуры, смеялся беззлобно, потом долго молчал, усталый, и, вздохнув, сказал:

— Вообще говоря, юноша, быть писателем на святой Руси — должность труденькая. Вот когда-нибудь родится умный человек, посмотрит, подумает и, может быть, напишет историю русского писателя-разночинца. Это очень поучительная история будет и весьма полезная для общества. Надо же понять, наконец, до какой степени у нас невозможно — возможное. Каламбур — по-русски: возможное — невозможно.

Он едва сидел на стуле, глаза его были мутны, и голова тяжело опускалась на грудь. И когда я сказал ему, что напрасно он перемогается, лучше бы лег, он, видимо, сильно болен, Н. Е., усмехнувшись, ответил:

— Я лет десять болен.

Однажды я видел его на людях: в город прибыл с целью пропаганды нового учения толстовец, собралась публика послушать его, пришел и Каронин с женою.

Пропагандист был молодой парень, одетый в пестрядинную рубаху и штаны, в тяжелых, неудобных сапожищах; он артистически чесал бока, встряхивал волосами, как настоящий мужик, двигался по комнате вразвалку, эдакой особенной походкой трудового человека и смотрел на всех людей, как человек, обладающий универсальной истиной, — снисходительным и в то же время равнодушным оком, точно говоря:

«Ну-с, все загадки жизни разрешены мною, и, если вы хотите, я, пожалуй, сообщу вам решения!»

Он был явно доволен тем, что ему удалось «опроститься», но, однако, в нужных случаях употреблял носовой платок. Го

¹ Куцевский. «Неизданные рассказы», стр. 179—185. (Прим. М. Горького)

ворил «по-нашему, попросту, по-деревенски», смачно подчеркивая настоящие слова — «брюхо», «негоже», «стал-быть», «не замайте», вообще играл роль простого мужичка с хорошей выдержкой и не без любви к делу. Начал он с того, что рассмотрел критически все условия социального бытия и доказал слушателям, что во всех несчастиях жизни они сами виноваты, потому что трусы, лгуны, лицемеры и лентяи. Люди в этот день жаждали истины, суровый нагоняй пророка ее был ими принят смиренно и без возражений, но, к несчастю оратора и публики, в числе слушателей оказался бывший студент духовной академии — человек рябой, лохматый и ненавидевший рационализм, что не мешало ему третий год учиться на медицинском факультете Казанского университета. Он стал возражать толстовцу, и через полчаса оба они начали яростно швырять друг в друга цитатами из евангелия, творений отцов церкви и религиозных книг Л. Н. Толстого; студент читал их и доказывал толстовцу, что он не понял своего учителя, а опростившийся человек сердился, уже употребляя не всем понятные слова, вроде «предиката», «антиномии»; студент уличал его в неправильном толковании философских терминов — вихрем взвеваясь крикливая скука, и все слушатели поблекли.

Каронин сидел в углу комнаты, тесно набитой людьми, насыщенной табачным дымом; он согнулся, изредка негромко кашлял и, казалось, не слушал спора, разбирая пальцами волосы бороды. Казалось, что происходящее чуждо ему и себя он чувствует чужим здесь, среди обиженно нахмурившихся или угнетенно покорных людей, в кругу которых неутомимо ратоборствовали два философа. Сутулая спина писателя изогнулась дугой, волосы, свесившись, закрывали его лицо; я все ждал, что он встанет, разогнувшись немного, чуть-вуть, выступит вперед и убеждающим голосом скажет: «Довольно!»

— Это квиетизм! — кричал студент толстовцу, а тот его называл «позитивистом, который стыдится позитивизма».

Каронин незаметно поднялся и вышел в соседнюю комнату, где сидело несколько человек, утомленных спором; кто-то из них спросил:

— Что — все еще скучно?

— Как в семинарии на уроке гомилетики, — ответил Каронин.

Его спросили, как ему нравится проповедник.

Поглаживая рукою горло, он ответил, не сразу и неохотно:

— Посылки сильные и верные, а выводы ничтожны и наивны. По-моему, это значит, что у него — одновременно —

и логика плохая и чувства нет. В учителя он записался не потому, должно быть, что людей жалко и добра им хочется, а потому, что приятно для него учить людей. Холодная душа.

Минут через пять он ушел, не простясь с хозяином квартиры, а я и еще кто-то пошли провожать его.

Он шагал медленно, спрятав руку под бороду, и тихонько говорил:

— У Слепцова умный его Рязанов говорит: «Есть такая точка зрения, с которой самое любопытное дело кажется таким простым и ясным, что на него скучно смотреть», — вот и этот фронт всю жизнь так осветил, что мне на нее стало скучно смотреть. Рязанов потом сознался все-таки, что «это и не жизнь, а так, черт знает что, дребедень какая-то», — пройдет года два-три, и фронт тоже увидит, что он выдумал дребедень и черт знает что. А может, и не скажет, он — самолюбив; не скажет, а просто пулю в лоб себе. Зато, если скажет, то непременно крикливо и всему миру напоказ, уж это наверняка¹.

— Положительно, в нем есть что-то общее со скептиком Рязановым, хотя он и щеголяет в ризе вероучителя, — говорил Каронин медленно и как бы думая о чем-то другом. — Жена моя слушает его и все толкает меня в бок, шепчет: «Вот, напиши о нем рассказ». Написать — можно и даже следует. Нет ничего легче, как снять с человека чужое и показать, что под чужой одеждой скрывается беглый арестант из собственной своей тюрьмы. Вы слышали, как он сказал: «Вера — это любовь, распространенная на весь мир»? Слова непродуманные: они предполагают возможность какого-то безгневного, созерцательного существования. Это для русского жителя — созерцание рекомендовать?

Придержал меня за плечо и спросил:

— А на вас, колонист, эта проповедь, кажется, подействовала?

Да, я был угнетен всем, что видел, а особенно моим полным непониманием философских слов. Я попросил у него разрешения зайти к нему.

— Милости прошу! — сказал он.

Я видел у него книги Спенсера, Вундта, Гартмана в изло-

¹ Пророчество Каронина вскорости и удивительно точно оправдалось: в год его смерти ярый толстовец Н. Ильин напечатал свой, до неприличия крикливый, «Дневник», некоторое время спустя один из главных проповедников «толстовства» М. Новоселов начал кричать на Льва Николаевича в «Православном обозрении», и целый ряд бывших проповедников «неделания» и «непротивления злу» выступил со злейшей критикой «нового евангелия». (Прим. М. Горького.)

жении Козлова и «О свободе воли» Шопенгауэра; придя к нему на другой день, я и начал с того, что попросил дать мне одну из этих книг, которая «попроще».

В ответ мне он сделал комически дикое лицо, растрепал себе бороду и сказал:

— Поехали Андроны на намазанных колесах!

А потом стал отечески убеждать:

— Ну зачем вам? Это после, на досуге читаете. А теперь, для знакомства с философией, достаточно будет, если вы прочтете Хемницерову басню «Метафизик», — в ней все ясно. Да и всем нам — рано философствовать, нет у нас материала для этого, ведь философия — сводка всех знаний о жизни, а — мы с вами что знаем? Одно только: вот явится сейчас городской и ответит в участок. Ответит и не скажет даже — за что? Кабы знать — за что, ну, тогда можно пофилософствовать на тему: правильно отвели в участок или нет? А если и этого не позволено знать — какая же тут философия возможна? Нет тут места для философии...

Он шагал по комнате длинными шагами, веселый, шустрый, точно поздоровевший за ночь, и в глазах его светилась мягкая радость.

— Россияне философствуют всегда весьма скверно, хотя некоторые из них и обучались в семинариях, но, видимо, способность философить — вне наших национальных предрасположений. Мечтать мы любим, как башкиры, а философим — по-самоедски, хотя самоеды, вероятно, пустяками не занимаются, но — произведем самоеда от — сам себя ест. Это будет верно: наш девиз не «познай самого себя», а пожри самого себя. Жрем. Возьмите немца: у него философия — итог знаний и действий, а у нас она понимается как план жизни, расписание на завтрашний день. Это — не годится, понимаете? Нет, вы лучше займитесь-ка делом, вон — у вас впереди солдатчина — ведь осенью на призыв?

Я сказал, что солдатчина меня не пугает, напротив — я возлагаю на нее большие надежды: имею обещание, что меня возьмут в топографскую команду и отправят на Памир, а там я...

— Здравствуйте! — сказал он, остановясь против меня и поклонившись. — Экая сумятица у вас в голове: колонии, Памиры, изучение философии — замечательно, право! Юноша, вам надобно лечиться от этих судорог... Или — уж лучше идите в колонию, вот, например, в симбирскую...

Пришел какой-то рыжий мужчина, одетый мещанином, в чуйку и высокие сапоги, — Николай Ельпидифорович за-

снял, заметался и стал похож на ребенка, не знающего, что ему делать от радости: вместо того чтобы освободить один из стульев, заваленных книгами и газетами, он начал усердно снимать книги со стола.

Гость взял за спинку стул, сбросил с него газеты на пол и сел, молча и сердито поглядывая на меня, двигая большими челюстями.

Я простился с Карониным и больше не встречал его.

Знакомство с ним — одно из самых значительных впечатлений юности моей, и я рад, что мне было так легко вспомнить его слова, точно я слышал их всего год тому назад.

Удивительно светел был этот человек, один из творцов «священного писания» о русском мужике, искренно веровавший в безграничную силу народа, — силу, способную творить чудеса.

Но у Н. Е. Каронина вера эта была не так фанатична и слепа, как у других писателей-«народников», зараженных славнофильской мистикой и, казалось бы, чуждым для них настроением «кающихся дворян». Впрочем, эта зараза естественна для людей, истерзанных своим одиночеством, людей, которым пришлось жить «между молотом и наковальней» — между полудиким правительством и чудовищно огромной, одичалой деревней.

Каронин веровал зряче:

— Надо все-таки помнить умный стишок Алексея Толстого, хотя Толстой и барин..

Поднял палец и, несколько смущенно, прочитал «стишок»:

Есть — мужик и — мужик,
Если он не пропьет урожаю,
Я тогда мужика уважаю.

— Мужика надо еще сделать разумным человеком, который способен понять важность своего назначения в жизни, почувствовать свою связь со всей массой подобных ему, стиснутых ежовой рукавицей государства.

Он многое предвидел, и некоторые мнения его оказались пророческими. После одной горячей беседы на обычную тему «что делать» он сказал угрюмо:

— Эх, заматаются люди на этих поисках места в жизни и нырнут в омут такого эгоизма, что всем чертям будет тошно!

Жил он только литературным заработком, нередко голодал, ему часто приходилось бегать по городу, отыскивая у знакомых рубль взаем.

В один из таких дней я увидел его на балчуге, он прода-

вал старьевщику кожаный пояс и жилет. Сгорбась, кашляя, стоял пред каким-то жуликом в очках, сняв пиджак, в одной рубахе, и убедительно говорил:

— Но послушайте, почтенный, — что же я буду делать с семнадцатью копейками?

— А уж этого я не знаю...

— На семнадцать копеек не проживешь день...

— Живут и дешевле, — равнодушно сказал жулик.

Каронин, подумав, согласился:

— Верно, — живут! Давайте деньги.

Когда я поздоровался с ним, он сказал, надевая пиджак.

— А я вот продал часть своей шкуры. Так-то, барин! Чтобы работать — надо есть...

Он часто говорил о людях, которым тяжело на земле, но я не слышал жалоб его на свою полуголодную жизнь, да казалось мне, что он и не замечает, как живет, весь поглощенный исканием «правды-справедливости». И, как все люди его линии мысли, верил, что эта правда существует там, в деревне, среди «простых» людей.

Мне кажется, он редко употреблял глагол жить, — чаще говорил работать. И редко звучало тогда слово человек, говорили — народ.

— «Мы должны целиком израсходовать себя в пользу народа, этим решаются все вопросы», — прочитал он мне слова из какого-то письма и, барабанив пальцами по листу бумаги, задумчиво добавил: — Конечно. Ну конечно! А иначе — куда? На что мы?

Встал со стула, оглянулся.

— Пишет это одна хорошая женщина. Из ссылки.

Полузакрыв глаза, глядя на голую стену комнаты, он тихонько рассказал мне историю девушки: она фиктивно вышла замуж за человека совершенно чужого ей, пьяницу, освободилась от семьи и попала в руки негодяя. Долго боролась с ним за свою свободу, измученная ушла в деревню «учить народ», а теперь зябнет в Сибири.

Рассказав это, он грустно добавил:

— Жертва. Тяжело ей. Я знаю, — тяжело! Но — другой дороги не было, барин!

В те дни, когда мне особенно плохо жилось, он советовал:

— Вы — странная натура. Все у вас угловато и как-то отвлеченно. Пожалуй, вам и полезно будет пожить в колонии, с толстовцами, они вас несколько обломают...

Его интерес к «босьякам» возрастал, раза три я видел Ка-

ронина в трущобах «Миллионной» улицы, и мне казалось, что его несколько смущает увлечение, чуждое вере в деревню.

— Резкий народ, — говорил он. — Очень интересные типы есть. Конечно — отработанный пар, но все-таки некоторые — думают... А это уже — кое-что...

Жил он в постоянной тревоге о судьбе народа, в непрерывных заботах о хлебе, и эта напряженная, нервная жизнь очень помогала болезни разрушать тело, измученное тюрьмой, этапами, ссылкой. Все лихорадочнее горели его глаза, еще звучал кашель.

Он уехал из Нижнего и вскоре умер.

Кто-то рассказал мне, что в день смерти Каронин грустно сознался:

— Оказывается, умирать гораздо проще, чем жить

«**П**рекрасное — это редкое», — говорили Гонкуры. Он был одним из тех редких людей, которые при первой же встрече с ними вызывают благостное чувство удовлетворения: именно этого человека ты давно ждал, именно для него у тебя есть какие-то особенные мысли!

В мире идей красоты и добра он — «свой» человек, родной человек, и с первой встречи он возбуждает жажду видеть его возможно чаще, говорить с ним больше.

Обо всем подумавший, он как-то особенно близок хорошему, и в нем кипит органическая брезгливость к дурному. У него тонко развита эстетическая чуткость к доброму, он любит добро любовью художника, верит в его победную силу, и в нем живет чувство гражданина, которому глубоко и всесторонне понятно культурное значение, историческая стоимость добра.

Однажды, рассказывая ему план организации на Руси широкого демократического книгоиздательства, я услышал его чляккий голос, задумчивые слова:

— Нужно бы вести из года в год «Летопись проявлений человеческого», — ежегодно выпускать обзор всего, что сотворено за год человеком в области его заботы о счастье всех людей. Это было бы прекрасное пособие людям для знакомства их с самими собою, друг с другом. Нас ведь больше знакомят с дурным, чем с хорошим. А для демократии такие книги имели бы особенно огромное значение...

Он очень часто говорил о демократии, о народе, и всегда это было как-то особенно приятно слушать и поучительно.

Я рассказал ему однажды, тихим вечером, легенду о калабрийце Чиро, угольщике, который в 49 году, во время борьбы Сицилии против Фердинанда Бомбы, пришел к благородному Руджиеро Сеттимо и простодушно предложил:

— Синьор, если неаполитанский деспот победит, он, на-

верное, захочет отрубить вам голову, — да? Тогда, синьор, предложите ему три головы за одну вашу: вот эту, мою голову, голову брата моего и зятя. Мы все ненавидим Бомбу так же, как и вы, синьор, но — маленькие люди — мы не сумеем так умно и успешно бороться за свободу, как умеете вы. Я думаю, что от этой мены народ очень выиграет, а Бомба, вероятно, с большим удовольствием убьет троих вместо одного, — ведь он, бездельник, любит убивать! Мы же с радостью умрем за свободу.

Легенда понравилась Михаилу Михайловичу; радостно поблескивая ласковыми глазами, он сказал:

— Демократия всегда романтична, и это хорошо, знаете! Ведь романтизм наиболее человеческое настроение; мне думается, что его культурный смысл недостаточно понят. Он — преувеличивает, ну да! Но — ведь он преувеличивает добрые начала, свидетельствуя этим, как велика жажда добра в людях.

Был такой случай: щенилась, впервые и очень мучительно, большая романская овчарка; щенята рождались мертвыми; собака, истерзанная болью, почти издыхала, и эта тяжелая картина вызвала совершенно ясное чувство сострадания у фокстерьера, тоже суки, но еще не рожавшей.

Маленькая, изящная собака поражала напряженностью своих ощущений: с тихим воем бегая вокруг овчарки, она слизывала слезы с ее измученных глаз и сама плакала; мчалась в кухню, хватала там кости и стремглав несла их больной, бежала к людям и, тихоночько, жалобно лая, прыгала на них, как бы прося о помощи, и все плакала, — капали слезы из ее прекрасных глаз. Это было очень трогательно и даже немного жутко.

— Это — удивительно! — волнуясь, сказал Коцюбинский. — И я ничем иным не могу себе объяснить такой силы чувства у собаки, как тем, что люди создали уже вокруг себя неотразимую и внушительную атмосферу человечности, способную перевоспитать даже животное, привив ему нечто от души человека.

Человечность, красота, народ, Украина — это любимые темы бесед Коцюбинского, они всегда были с ним, как его сердце, мозг и славные, ласковые глаза.

Он очень любил цветы и, обладая солидными знаниями ботаника, говорил о них, как поэт. Было приятно видеть, когда он, держа в руке цветок, ласкал его и рассказывал о нем:

— Смотрите, вот орхидея приняла форму пчелы: этим она

желает сказать, что не нуждается в посещении насекомых. Сколько разума всюду, сколько красоты!

Его большое сердце мешало ему ходить по неровным тропинкам Капри, по камням, горячо нагретым солнцем, в жарком воздухе, густо насыщенном запахами цветов, но он не щадил себя, гулял много, часто — до утомления.

И когда, бывало, скажешь ему: «Зачем вы позволяете себе уставать?» — он отвечал, легко побеждая советы благоразумия:

— Хочется видеть как можно больше: мне ведь недолго жить на земле, а я ее — люблю...

Он особенно нежно любил свою Украину и часто слышал запах чебреца там, где его не было.

А однажды, увидев у белой стены рыбацкого дома бледно-розовые мальвы, — весь осветился улыбкой и, сняв шляпу, сказал цветам:

— Здравеньки були! Як живется на чужини?

Сконфузился и пошутил:

— Знаете — немножко сентиментальным становлюсь! Но ведь и вам, думаю, нередко вздыхается по белой березе, которой вас секли, бывало? Э, все люди — люди, а кто не человек — да будет ему стыдно!

Он любил Капри и писал о нем:

«Чувствую себя неважно, мне только хорошо на Капри. Впечатления от каприйской природы так гармоничны и так благотворно действуют на мою психику, что положительно оздоравливают меня».

Но я думаю, что это не совсем верно и тепличный воздух острова не был полезен ему. А к тому же его украинское червонное сердце всегда было на родине, — ее скорбями он жил, ее муками мучился.

Бывало, видишь: идет он тихо, немножко согнувшись, обнажив сияющую голову, с тем вдумчивым лицом, как на портрете Жука, — видишь и догадываешься: думает о своей Черниговщине.

Так и есть: пришел в свою белую комнату, сел утомленно в кресло и говорит:

— Знаете, там, по пути к Arca Naturale, стоит хата совсем такая, как у нас! И люди в ней — наши: дидусь, такой ветхий и мудрый, сидит на пороге с трубкой, и баба такая же, да еще и дивчина с карими очами — полная иллюзия. Только вот горы, камень, море! А то — все — и солнце — как у нас!

И начинал тихонько говорить о судьбах родины, о буду-

щем ее, о ее людях, любимых им крепко, о литературе, о благотворной работе загубленной ныне «Просвіти». Слушаешь его и видишь человека, который именно обо всем подумал, и то, что знает, знает хорошо.

В июле 1911 года он писал с Карпат, из Криворивни:

«Все время провожу в экскурсиях по горам, верхом на гуцульском коне, легком и грациозном, как балерина. Побывал в диких местах, доступных немногим, на «полонинах», где гуцулы-номады проводят со своими стадами все лето. Если бы вы знали, как величественна здесь природа, какая первобытная жизнь! Гуцулы — оригинальнейший народ, с богатой фантазией, со своеобразной психикой. Глубокий язычник, гуцул всю свою жизнь, до смерти, проводит в борьбе со злыми духами, населяющими леса, горы и воды. Христианством он воспользовался только для того, чтобы украсить языческий культ. Сколько здесь красивых сказок, преданий, поверий, символов. Собираю материал, переживаю природу, смотрю, слушаю и учусь».

А в следующем письме, из Чернигова, ему пришлось сказать:

«Не утерпел я, взбирался на горы и, конечно, повредил своему здоровью; но было необычайно красиво, а это — главное».

Не щадя, в стремлении к знанию жизни и красоты ее, своих физических сил, он и к своему таланту поэта относился чрезмерно строго, предъявлял к себе требования слишком суровые. «Чувство недовольства собою у меня очень развито», — не однажды говорил он мне. «Мои рассказы всегда кажутся мне бледными, неинтересными, ненужными, и даже как-то совестно перед литературой и читателем», — писал он в 1910 году.

Эти мысли, казалось мне, всегда были с ним и неотступно точили его измученное сердце.

Спрашивает:

— Вам нравится «Самотній»?

— Это лучшее из трех ваших стихотворений в прозе, а они все, на мой взгляд, очень хороши...

Он грустно улыбается:

— А я прочитал сегодня утром, и стало неловко. Никому это не нужно, не интересно никому. Что за вой? Все люди одиноки. И не так нужно писать об этом проклятии нашем!

Потом продолжал уже сердито:

— Да там еще в конце гордый крик есть, — это уж и

не искренно, а так сказано — для самоутешения. Чем тут гордиться? Одинок, значит — не нужен никому.

Мы часто беседовали на эту тему, и всегда он жестоко назнил себя.

— Смотрите, как это хорошо:

Жаль маю до землі
Бо тіні, що вкривають її
Пересунуться на інше місце
І де було тьмяно і сумно,
Знов ляже золоте сонця...

Он -усмехнулся и тотчас переделал эти строки в юмористическое стихотворение...

Однажды ему сказали:

— Какая верная и страшная вещь ваш «Сміх».

Он небрежно отмахнулся рукою:

— Да это ж заимствовано! И неумело сделано, — в жизни этот смех страшней и законней.

Иногда было досадно, чаще — больно слышать такие возгласы: много звучало в них великой искренней муки.

Но, относясь безжалостно к себе, к другим он относился очень снисходительно, умея всюду, даже в плохом, найти хорошее — меткое слово, звучную фразу.

— Дорогой мой, — сказал он однажды ночью, когда море и остров молчат так странно, точно в тихом изумлении ждут чего-то необычайного, — столько видано, столько пережито, в душе волнуется целый мир образов, мыслей, каких-то до слез простых и ласковых песен! Так бы дождем с неба и опрокинул все это на землю, на людей, а — не удастся, не умеется!

Не удавалось, — да, но — он мог бы, он бы сумел написать прекрасные, большие вещи: многое у него было уже до конца продумано, готово и — красиво, оригинально, по-своему. Не удавалось потому, что за три года нашего знакомства почти в каждом письме его звучала, все усиливаясь, одна и та же нота:

«Должен сознаться, что со мною что-то неладно. Сердце работает все хуже и хуже, порою приходится ложиться в постель, работа так утомляет меня, что нет сил приняться за что-либо другое».

«Почти ничего не удалось заработать зимою, значит — создалось трудное одолжимое препятствие. А между тем вилла в четыре комнаты за 65 лир, с доброй хозяйкой, манят и улыбаются».

И наконец 9/X—912 он писал:

«Плохо мне, дорогой А. М., болею упорно, продолжительно и жестоко; хуже всего — не могу работать. Остается попробовать героическое средство: лечь в больницу на продолжительное время, для чего на днях отправляюсь в Киев».

А из клиники Образцова он бодро сообщает:

«Перевели меня, наконец, в Киев, уложили в клинику как «тяжелого сердечника». Однако я нахожу, что иногда чудесно эдак побаловаться! Какие великолепные люди посещают меня ежедневно, принося мне все, что я люблю, — цветы, книги, самих себя! В окно смотрит то же солнце, которое вас греет, и оттого кажется еще теплей и ласковей».

Он любил сказать человеку ласковое, хорошее слово и даже в этот день, сильно огорченный накануне смертью Н. В. Лысенка, все-таки нашел в душе это слово, милый...

Он знал, что скоро умрет, и нередко говорил об этом просто, без страха, но и без наигранной бравады, которою многие рисуются столь лживо.

— Смерть необходимо победить, и она будет побеждена! — сказал он однажды. — Я верю в победу разума и воли человека над смертью, так же как в то, что сам — скоро умру. И еще умрут миллионы людей, а все-таки, со временем, смерть станет простым актом нашей воли, — мы будем отходить в бытие так же сознательно, как отходим ко сну. Смерть будет побеждена тогда, когда большинство людей ясно сознают цену жизни, поймут ее красоту, почувствуют наслаждение работать и жить.

Человек высокой духовной культуры, солидно вооруженный знанием естественных наук, он внимательно следил за всем, что творится в области борьбы со смертью, но и поэзия умирания, поэзия непрерывной смены формы тонко чувствовалась им.

Не раз, благодарно глядя на серые скалы Капри, богато одетые пышной зеленью трав и цветов, он говорил:

— Какая сила жизни! Мы привыкли к этому и не замечаем победы живого над мертвым, действенного над инертным, и мы как бы не знаем, что солнце творит цветы и плоды из мертвого камня, не видим, как всюду торжествует живое, чтоб бодрить и радовать нас. Мы должны бы улыбаться миру дружески...

Он очень умел улыбаться так, — всему улыбкой друга. По поводу смерти Л. Н. Толстого он писал:

«Больно мне было читать, что вы так тяжело пережили смерть Толстого. Мне тоже тяжело было, но — не знаю, сты-

даться ли? — и хорошо знать, что на свете бывает большое. Смерть как будто вернее определяет размеры, чем жизнь».

Для меня смерть Михаила Коцюбинского определилась как тяжелая личная утрата, я потерял сердечного товарища.

Прекрасный, редкий цветок отцвел, ласковая звезда погасла. Трудно жилось ему: быть честным человеком на Руси очень дорого стоит.

Беднеет наше время хорошими людьми, — насладимся грустью воспоминаний о них, о красоте этих светлых душ, любивших беззаветно людей и весь мир, о сильных людях, которые умели работать для счастья родины своей.

Вечная память честным людям!

[Л. А. СУЛЕРЖИЦКИЙ]

Растут города, и постепенно утолщается слой «чернорабочих культуры», — вольнонаемных, ремесленных и других людей, всячески «служащих» благоустройству, уюту и украшению буржуазной жизни. Это — довольно мощный экономически, пестрый, совершенно неорганизованный слой, бессильный создать какую-либо свою идеологию, это — сотни тысяч людей, чья энергия поглощается социальными условиями современности наименее продуктивно.

Но все чаще на этой почве рождаются какие-то удивительно талантливые люди, свидетельствуя о ее силе и духовном здоровье.

Вот, например, недавно умер режиссер Московского Художественного театра Леопольд Антонович Сулержицкий, человек исключительно одаренный, человек, родившийся «праздновать бытие». О нем необходимо рассказать, ибо его жизнь — яркое горение силы недюжинной, его история способна утвердить веру в творческую мощь городской демократии, мощь, которой так трудно развиваться и которая, развиваясь, обогащает среду, социально чуждую.

Леопольд Сулержицкий, или Сулер, как прозвал его Л. Н. Толстой, — сын киевского переплетчика, он родился в подвале, воспитывался на улице.

— Улица — это лучшая академия из всех существующих, — рассказывал он с веселым юмором, одним из его ценных качеств, которые помогали ему легко преодолевать «огни, воды и медные трубы». — Много дает улица, если умеешь брать. Бесстрашию пред жизнью меня учили воробы...

Он заразительно смеялся, коренастый, сильный, с прекрасными живыми глазами на овальном лице в рамке темной окладистой бородки.

— Хорошо орлу ширять в пустоте небес, — там никого нет, кроме орлов. Нет, а ты поживи, попрыгай воробьем по мостовой улицы, где вокруг тебя двигаются чудовища, — лошадь, которая в десять тысяч раз больше тебя, человек, одна ступня которого может раздавить пяток подобных тебе. И гром, и шум, и собаки, и кошки — вся жизнь огромна, подавляет, Я всегда с удивлением смотрел на этих крошечных храбрцов, — как они весело живут в страшном хаосе жизни! И я уверен, что именно от них воспринято мною упрямство в борьбе за себя, за то, что я любил...

Сам Сулер менее всего походил на воробья, он напоминал какую-то другую, свободолюбивую птицу хорошего лета, — такой подвижный, независимый, окрыленный страстью к жизни.

— Конечно, меня били, переплетчик я был скверный. Но кого из нашего брата не бьют? Это ничему не мешает, ничему и не учит. Спасибо, что, не изувечив, внушили отвращение к насилию.

Двенадцати лет Сулер начал рисовать, ему особенно удавались птицы, впоследствии он рисовал их, как японец. Окончив с трудом городское училище, он поступил в Московскую школу живописи и ваяния или в училище графа Строганова — не помню. Жил, конечно, впроголодь, писал вывески, давал репортерские заметки в «Московский листок» Пастухова; на пасхе, на святках и масленой пел в хорах балаганов Девичьего поля. А через шесть лет он работает с В. Васнецовым и Врубелем по рисунки собора в Киеве. Кажется, в это время он встретил известного «толстовца» Евгения Попова, одного из наиболее искренних великомучеников идеи «непротивления злу», — с него писал Насаткин свою картину «Осужденный». Анархизм Толстого сразу увлекает Сулера, — кстати, мне кажется, что анархизм наиболее легко приемлется именно демократами вышеназванного слоя, «чернорабочими культуры», которым пока еще чужда стройная идеология рабочего класса; анархизм наиболее отвечает неопределенности экономической позиции этих групп, слишком разобщенных для того, чтобы выработать более устойчивое и действенное отношение к социальной драме современности.

Но Сулер был прежде всего человеком дела, он тотчас же бросает работу живописца, едет в одну из деревень Каневского уезда и там, занимаясь огородничеством, открыто пропагандирует среди крестьян учение Толстого, сотнями распространяя его запрещенные сочинения. Когда каневский исправник ловит его, Сулер скрывается в соседний уезд, а когда каневские власти, успокоенные исчезновением крамольника, за-

будут о нем, он снова возвращается к своим овощам и цикло-стилю. У него была лодка, и он возил овощи по Днепру в Киев, где на вырученные деньги запасался бумагой для фабрикации гектографированных брошюр, которые он печатал отлично.

Призванный к исполнению воинской повинности, Сулер отказался взять ружье, за это его треплют по тюрьмам, объявляя душевнобольным, полгода он сидит в Крутицких казармах и там, — «от скуки, от безделья», как он говорит, — обучает своих стражей грамоте. Наконец его ссылают в Кушку, на границу Афганистана.

— Мне с тобой делать нечего, а расстрелять тебя жалко, — сказал Сулеру комендант Кушки и отправил его в Серакс, военный пост, заброшенный в долине Кошана, среди редких аулов тюркмен-сарыков и эрсаринцев. По дороге туда Сулер «влез в историю».

— Ехали верхом по едва заметной дороге в песчаных холмах, я и конвойный солдат, с берданкой за спиной. Въезжаем в маленький аул, — толпа тюркмен, все больше подростки, привязав к дереву за лапы какого-то тигроподобного красавца зверя, так что он казался распятым, пускают в него, с криком и смехом, стрелы, бьют кобьями сухой глины. В живот и груди зверя уже торчит несколько стрел, по его морде течет-пенится кровь, он бьется в судорогах, воеет и рычит. Его прекрасные глаза изумительно сверкали, и так жалобно вздрагивали золотые брови. Я ударил лошадь и поскакал в толпу, но тюркмены живо ссадили меня, и, если бы не помог конвойный, на этом месте я и кончил бы жизнь. Но — нас только поколотили немного, мы ускакали. Потом конвойный говорит мне: «Видишь, какой ты отчаянный, а в солдатах служить не хочешь, — как же это?» Я ему объяснил, как это выходит у меня, и мы стали друзьями.

Комендант Серакса оказался добродушным человеком; хотя он тоже заявил Сулеру, что таких неумных людей следует вешать.

— Но, на твое счастье, здесь русский человек дорог; кстати, моим детям нужен учитель.

Сулера зачислили в нестроевую команду, он учил грамоте детей коменданта, работал в хлебопекарне и швальне, резал из корня саксаула игрушки детям и трубки для солдат и скоро стал всеобщим баловнем населения Серакса. Он всюду становился любимцем людей — это являлось его естественной позицией.

Неистошимо веселый и остроумный, физически выносливый и ловкий, не гнушавшийся никаким трудом, он вносил жгучее и быстро заражавшее людей ощущение радости бытия. Он, как рыба икрой, был наполнен зародышами разнообразных талантов, — это дар среды, которая родила его. В совершенстве обладая способностью наблюдения, он прекрасно рассказывает жанровые сценки, умело и умеренно пользуясь юмором и фантазией, он ловко рисовал смешные карикатуры, чудесно пел украинские песни, постоянно выдумывал забавные шутки, игры.

И, заброшенный в знойные пески Азии, в крошечную кучку русских мужиков, одетых солдатами, отодвинутых на десяток тысяч верст от родины, Сулер, естественно, явился для этих людей источником радости, огнем, весело освещавшим бедную волнениями жизнь темных душ. Много лет спустя он показывал письмо от солдат Серакса, мне особенно памятно несколько веских слов этого письма, — они метко характеризуют роль Сулера в Сераксе и, я думаю, вообще в жизни:

«Был ты когда с нами, и было все родное, а без тебя опять чужая сторона, брат».

Но все-таки непоседе стало скучно, и однажды Сулер сделал попытку бежать из Серакса, захватив с собою — вовсе некстати — женщину, жену одного из чиновников поста. Покинутый муж догнал беглецов ночью в степи и сначала пытался зарезать обоих.

— Но, — рассказывал Сулер, — я уговаривал его не делать ерунды. Парень он был славный, я его очень любил, он меня — тоже, а жена его замешалась тут вовсе зря, — скучно было ей, ребятишек нет, она и предложила мне: «Увезите меня!» «Отчего же, говорю, не увезти? Пожалуйста». И увез. Но когда муж ее догнал нас, я понял, что это свинство с моей стороны — бросить человека в азиатской пустыне одного! Я сам стал убеждать даму возвратиться к пенатам. Она — устала, изморила, оба мы были голодны, и дело кончилось тем, что мы все трое возвратились в Серакс, откуда меня вскоре снова перевели на Кушку.

Не помню, в силу каких событий Сулеру позволили возвратиться в Россию, но он возвратился и некоторое время жил в Крыму у известной последовательницы Л. Н. Толстого М. Шульц, работая, как дворник, огородник, водовоз, и распространяя среди штунды Крыма запрещенные брошюры янополянского анархиста.

Кажется, после этого он плавал матросом на торговом судне.

В конце 90-х годов Сулер живет под Москвою, на Лосином острове, в чьей-то пустой даче, там он снова занимается размножением толстовской литературы на гектографе и цикло-стиле, — в это время он уже лично знаком с Л. Н. Толстым.

Урядник, заинтересованный отшельником, который выдавал себя за живописца, иногда посещает его. Сулер угощает урядника чаем, играет с ним в шашки, поет ему романсы, аккомпанируя себе на гитаре, а в соседней комнате на всех стульях и столах сушатся свежеотпечатанные листы крамольной литературы.

Я думаю, что если бы урядник и открыл, чем занимается этот веселый человек, он не донес бы на него — такова была сила личного обаяния Сулера...

.

Вскоре Лев Николаевич предложил Сулеру организовать переселение кавказских духоборов в Канаду, — эта эпопея интересно описана Сулером в его книге «С духоборами в Канаду», изданной толстовской фирмой «Посредник». Книга написана несколько хаотично, и в ней опущено множество интересных моментов, изображавших личные приключения Сулера. Читая рукопись этой книги, я очень настаивал на том, чтобы Сулер дополнил ее, но он не захотел сделать этого.

— При чем тут я? — спорил он. — Речь идет о духоборах, а я — постороннее лицо в этом неестественном сцеплении религии с политикой...

Мы решили, что, напечатав эту книгу, Сулер начнет работать над другой, которую предположено было озаглавить «Записки непоседливого человека», и Сулер, живя у меня в Арзамасе, горячо принялся было за работу, но его живой характер убил эту затею в начале ее. У него не было любви к настойчивому, регулярному труду, как это часто замечается у людей, обильно насыщенных талантами, но несомненно, что Сулер имел способность к литературе, о чем свидетельствуют его очерки, напечатанные в одном из сборников «Знания».

В 904 году Сулер служит санитаром в Маньчжурии, в 5-м и 6-м он, конечно, принимает пламенное участие в общественной трагедии; он работает во всех партиях, смелый, вездесущий, не причисляя себя ни к одной из них; он и толстовцем был очень сомнительным, — Лев Николаевич однажды сказал о нем:

— Ну, какой он толстовец? Он просто — «Три мушкетера», не один из трех, а все трое!

Это сказано совершенно верно и как нельзя более точно

очерчивает яркую индивидуальность Сулера, с его любовью к делу, к работе, с склонностью к донкихотским приключениям и романтической страстью ко всему, что красиво.

Кажется, с 6-го года Сулержицкий начал работать в Московском Художественном театре, а года через два он уже ставит в Париже, в театре Режан, «Синюю птицу». Его работа в «Студии» Художественного театра известна по «Сверчку» Диккенса и другим его постановкам, ее оценили, как работу недожизненного художника.

Когда я встретил Сулержицкого, я испытал незабвенное чувство радости, я понял, что мне не хватает встречи с человеком именно таким, каков этот, именно его я должен был встретить, чтобы глубже понять красоту свободной личности и плодотворную мощь той почвы, которая создала эту личность.

Мы подружились с ним быстро, как дружатся дети. Он всегда являлся неожиданно, точно солнце зимою, и всегда откуда-то издалека — с Кавказа, из Вологды, из Бутырской тюрьмы, полный новых впечатлений, смешных рассказов и новой радости. В коротенькой драповой куртке, одной и той же зимою и летом, в синей фуфайке английского матроса и американском кепи, шумный, сверкающий, он во всяком обществе сразу становился ярко заметным и привлекал к себе общее внимание.

Правдивый, порою даже резко выражавший свои мнения, он был удивительно культурен, ибо обладал терпимостью к чужому мнению, умел уважать чужие мысли, даже когда они были враждебны ему. Но эта терпимость никогда не мешала ему крепко стоять на своем.

— В мире все обосновано, — говорил он, — ни одна мысль не является капризом, у каждой есть корни в прошлом. Это очень печально и вредно для нас, но мы живем с покойниками и во многом по их воле. С мертвой мыслью необходимо бороться, но живого человека нужно уважать. Отсюда не следует, что с ним бесполезно спорить, нет, — спорить нужно!

— «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться»?

— Вот именно! каждый из нас — создание прошлого, и все, кто понял это, должны преодолевать прошлое в интересах настоящего и будущего.

Однажды он поспорил с Л. Н. Толстым о духоборах, доказывая ему, что анархизм духоборчества не устоит против соблазнов американской жизни. Лев Николаевич горячо возра-

жал ему, приводя примеры религиозных брожений в самой Америке, опираясь на мормонов, на секту Мери Беккер Эдди и другие.

— А все-таки вы не уверены в том, что защищаете, — вдруг сказал Сулер улыбаясь.

Лев Николаевич взглянул на него острым взглядом и, засмеявшись, погрозил пальцем, но не сказал ни слова.

Он любил Леопольда, как сына, и любовался им, точно женщиной.

— Ведь вот, — говорил он, наблюдая за Сулером всевидящими глазами, — у другого это вышло бы грубо или смешно, а у него — хорошо! У него все по-своему, все — правда, во всем закон души. Ах, какой редкий, какой удивительный...

Глядя, как Сулер, Александра Львовна и другие играют в городки по въезде в парк Гаспры, Толстой сказал, улыбаясь своей прекрасной и всегда какой-то тонко отточенной улыбкой:

— «Будьте как дети», я понимал это головой, но никогда не чувствовал, как может быть ребенком взрослый, много испытывавший человек? А вот, смотрю на Сулера и — чувствую: может! Сколько радости вносит он во все, сколько в нем детского! А ведь он — страдал. Как это редко — человек, который забыл о своих страданиях, не хвалится ими, не сует их в глаза ближнего...

В Арзамасе человек иных воззрений и чувствований, культурный подвижник города, отец Феодор Владимирский, впоследствии один из депутатов второй Думы, говорил о Сулере теми же словами Толстого:

— Поистине, человек этот — чистое дитя божие!

Так же любовно и ласково, как Л. Толстой, относился к Сулеру А. П. Чехов.

— Вот, батенька, талант, — говорил он, мягко хмурясь. — Сделайте его архиереем, водопроводчиком, издателем, — он всюду внесет что-то особенное, свое. И в самом запутанном положении останется честным.

Уморительно беседовали они, Сулер и Чехов, сочиняя события, одно другого невероятнее, например, рассказывая друг другу впечатления таракана, который случайно попал из нищей мужицкой избы в квартиру действительного статского советника, где и скончался от голода. Оба они в совершенстве обладали искусством сопоставлять реальное с фантастическим, и эти сопоставления, всегда неожиданные, поражали своим юмором и знанием жизни. Сулер чувствовал себя равным всякому человеку, рядом с которым ставила его судьба, ему было не-

знакомо то, что испытывает негр среди белых и что нередко заставляет очень даровитых людей совершенно терять себя в среде чуждой им.

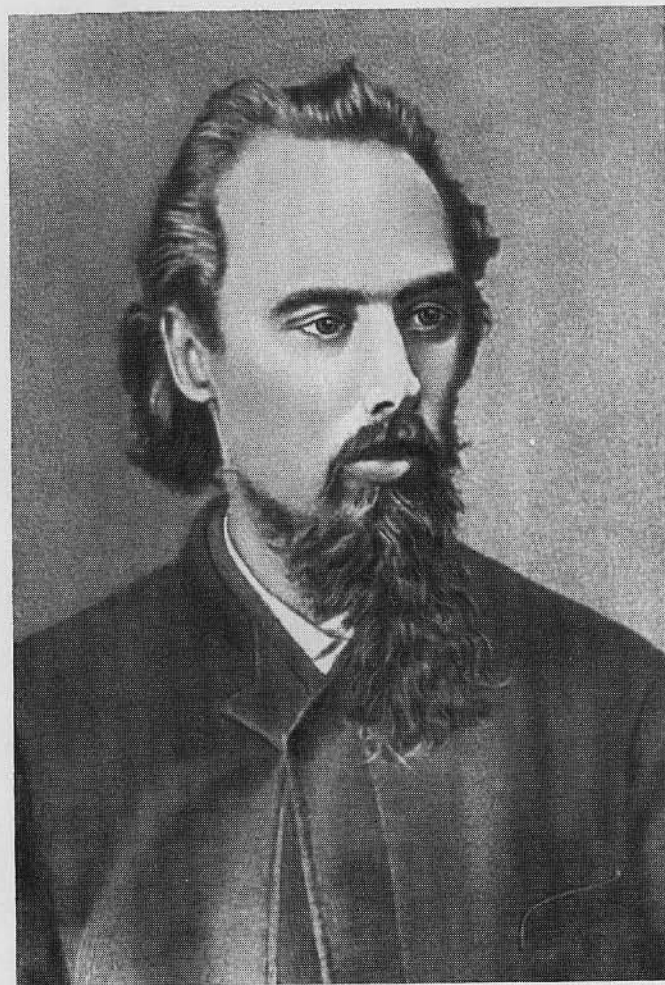
Со Львом Николаевичем Сулер становился философом и смело возражал гениальному «учителю жизни», хотя Толстой и не любил возражений; с А. П. Чеховым Сулер был литератором, с Ф. Шалапиным он великолепно пел трогательную украинскую песню: «Ой, там, за Дунаем». С последним у него было особенно много общих свойств, что и понятно в людях, воспитанных одной и той же средой. И, как это ни странно, однако Сулер, при наличии резко выраженной любви к деянию, был, в сущности своей, человек аполитический.

Обладая тенором, очень высоким и гибким, Сулер любил петь и часто выступал в концертах для рабочих; крайний индивидуалист, он восторженно любил толпу, чувствовал себя в ней как рыба в воде и никогда не упускал возможности тесного общения с нею.

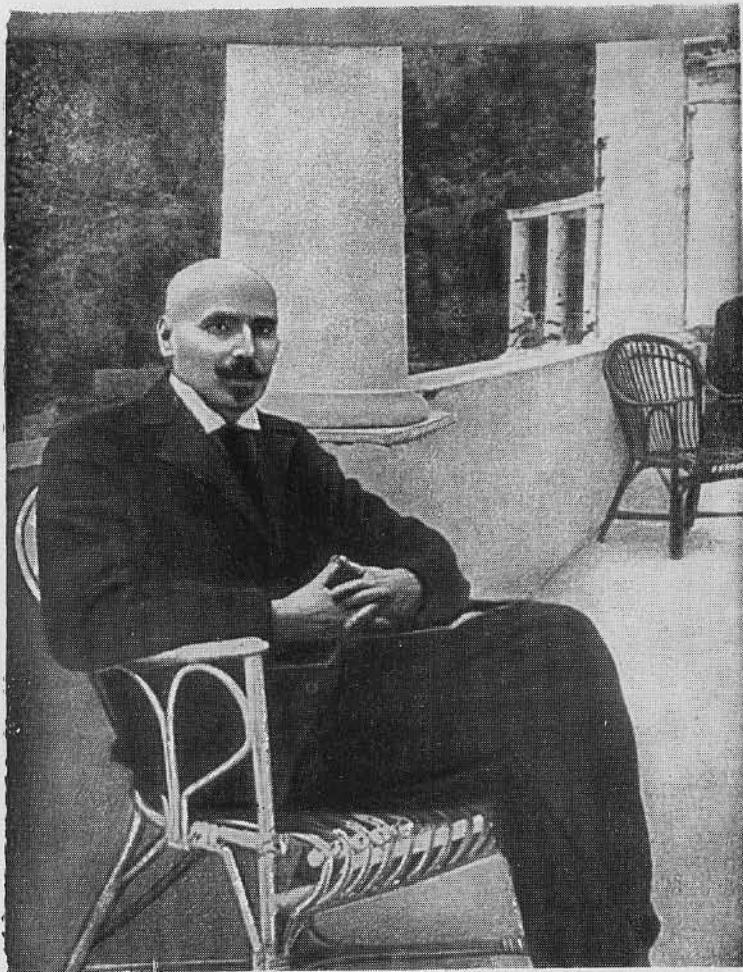
Как все люди, прошедшие тяжелую школу жизни, люди, тонко чувствующие, он был сплетен из множества противоречий, которые объединялись трогательной верой в победу добрых начал, тем настроением социального идеализма, которое так характерно для многих — почти для всех — наших «самородков».

Вспоминаю такой случай: в 901 году, когда Л. Н. Толстой хворал, живя в Гаспре, имени графини С. В. Паниной, наступил жуткий день: болезнь приняла опасный оборот; близкие Л. Н. были страшно взволнованы, а тут еще распространился слух, что в Ялту из Симферополя явился прокурор для описи и ареста бумаг великого писателя. Слух этот как будто подтверждался тем, что в парк Гаспры явились некие внимательные люди, которым очень хотелось, чтобы их приняли за беззаботных туристов. Они живо интересовались всем, кроме состояния здоровья Толстого. Ко мне, в Оленз, прискакала верхом Александра Львовна, предлагая мне и Сулеру, жившему у меня, спрятать какие-то документы. Я тотчас бросился наверх, в Гаспру, а Сулер — к рабочим соседнего с Гаспррой имения, нашим добрым знакомым. В результате его свидания с рабочими все беззаботные фланеры исчезли из Гаспры, как зайцы от борзых. Затем Сулер набил свои шаровары и пазуху массой бумаг и верхом на хорошем коне ускакал с ними. Все это было сделано им быстро, как в сказке.

И вообще это был сказочный человек, — воспоминание о нем будит в душе радость и окрашивает жизнь в яркие краски.



Н. Е. Каронин-Петропавловский.



М. М. Коцюбинский.

Да, он не развил до конца ни одного из своих талантов, он сеял цветы своей души наскоро и повсюду, быть может чаще на камни, чем на плодотворную почву, но «лучеиспускание в пустоту» является участью многих талантливых людей, и это не их вина. Легко растворить себя в жизни, но трудно добиться желанного успеха в такой разреженной социальной среде, какова среда нашей демократии, духовно не организованная и все еще не привыкшая любить своих людей и любоваться ими. Возможно, что, прочитав эти воспоминания, некоторые скажут о жизни Леопольда Сулержицкого:

— Бесплезно растроченная жизнь.

Нет, бурное жите таких людей более, чем полезно, и в нем скрыт глубокий, важный социально-воспитательный смысл, — существование таких людей показывает, как мощна и плодотворна почва, которая создает их. Они расходуют свои силы недостаточно продуктивно, не дают всего, что могут дать, в формах более ценных и завершенных, но это потому, что они рождаются и воспитываются в среде социально не сплоченной, идеологически не организованной и не изжившей индивидуализма, который, разъедая и разобщая ее, наиболее глубоко воспринимается ее даровитыми людьми.

Но история научит людей жить более сплоченно, и, когда демократия отвоюет себе все то, что ей органически необходимо, она создаст в своей среде людей еще более богато и разнообразно одаренных, чем все те крупные люди, которых она уже создала до сего дня.

Мрачный день мы переживаем, и единственное, что может помочь нам мужественно пережить отвратительный хаос событий, оскорбляющих душу, это твердая уверенность в творческие силы демократии.

В дурную погоду не только приятно, но и полезно вспомнить о солнечных днях. И не мешает помнить умные слова Сулера:

«Хорошо орлу ширять в пустоте небес, — там никого нет, кроме орлов...»

Нет, вы поживите «в пустыне — увь! — не безлюдной», — в страшной сумятице будней, насыщенных драмами, которые стали так обычны, что, к несчастью нашему, уже не волнуют, не возмущают нас.

Поживите действительно, в буре ежедневности, не теряя мужества, развивая способность сопротивления всему, что враждебно честной душе...

Эта книжка составила из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Оленизе, когда Лев Николаевич жил в Гаспре, сначала — тяжело больной, потом — одолев болезнь. Я считал эти заметки, небрежно написанные на разных клочках бумаги, потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит неоконченное письмо, которое я писал под впечатлением «ухода» Льва Николаевича из Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не исправляя в нем ни слова, таким, как оно было написано тогда. И не заканчиваю его, этого почему-то нельзя сделать.

Заметки

I

Мысль, которая заметно, чаще других точит его сердце, — мысль о боге. Иногда кажется, что это не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает — всегда. Едва ли это признак старости, предчувствие смерти, нет, я думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И — немножко от обиды, потому что, будучи Львом Толстым, оскорбительно подчинить свою волю какому-то стрептококку. Если бы он был естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия.

II

У него удивительные руки — некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать все. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на этакое русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой» и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов.

III

К Сулержицкому он относится с нежностью женщины. Чехова любит отечески, в этой любви чувствуется гордость созда-

теля, а Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, москве, коту. Сулер — какая-то восхитительно вольная птица чужой, неведомой страны. Сотня таких людей, как он, могли бы изменить и лицо и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо его они разобьют, а душу наполнят страстью к буйному, талантливому озорству. Любить Сулера легко и весело, и когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщины, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность. Сулер — ненадежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу, а может — уйдет в хор трактирных песенников. Энергии в нем — на три века. Огня жизни так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо.

Но однажды он крепко рассердился на Сулера, — склонный к анархизму Леопольд часто и горячо рассуждал о свободе личности, а Л. Н. всегда в этих случаях подгрунивал над ним.

Помню, Сулержицкий достал откуда-то тощенькую брошюрку князя Кропоткина, воспламенился ею и целый день рассказывал всем о мудрости анархизма, сокрушительно философствуя.

— Ах, Левушка, перестань, надоел, — с досадой сказал Л. Н. — Твердишь, как попугай, одно слово — свобода, свобода, а где, в чем его смысл? Ведь, если ты достигнешь свободы в твоём смысле, как ты воображаешь, — что будет? В философском смысле — бездонная пустота, а в жизни, в практике — станешь ты лентяем, побирохой. Что тебя, свободного в твоём-то смысле, свяжет с жизнью, с людьми? Вот — птицы свободны, а все-таки гнезда выют. Ты же и гнезда вить не станешь, удовлетворяя половое чувство твоё где попало, как кобель. Подумай серьезно и увидишь — почувствуешь, что в конечном смысле свобода — пустота, безграничие.

Сердито нахмурился, помолчал минуту и добавил потише:

— Христос был свободен, Будда — тоже, и оба приняли на себя грехи мира, добровольно пошли в плен земной жизни. И дальше этого — никто не ушел, никто. А ты, а мы — ну, что там! Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людьми, и не будь этих чувствований — жили бы мы, как звери...

Усмехнулся:

— А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить лучше. Толку от этого не много, но уже и не мало. Ты вот спо-ришь со мной и сердисься до того, что нос у тебя синееет, а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действительно чувствовал бы себя свободным, так уюкошил бы меня — только и всего.

И, снова помолчав, добавил:

— Свобода — это когда всё и все согласны со мной, но тогда я не существую, потому что все мы ощущаем себя только в столкновениях, противоречиях.

IV

Гольденвейзер играл Шопена, что вызывало у Льва Николаевича такие мысли:

— Какой-то маленький немецкий царек сказал: «Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки». Это — верная мысль, верное наблюдение, — музыка притупляет ум. Лучше всех это понимают католики, — наши попы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога и мать у него еврейка; это он признавал, а все-таки говорит: «Не могло этого быть». Я спрашиваю: «Но как же тогда?» Пожал плечами и сказал: «Сие для меня тайна!»

V

«Интеллигент — это галицкий князь Владимирко; он еще в XII веке говорил «предерзко»: «В наше время чудес не бывает». С той поры прошло шестьсот лет, и все интеллигенты долбят друг другу: «Нет чудес, нет чудес». А весь народ верит в чудеса так же, как верил в XII веке».

VI

— Меньшинство нуждается в боге, потому что все остальное у него есть, а большинство потому — что ничего не имеет.

Я бы сказал иначе: большинство верит в бога по малодушью, и только немногие — от полноты души¹.

— Вы любите сказки Андерсена? — спросил он задумчиво. — Я не понимал их, когда они были напечатаны в переводах Марко Вовчка, а лет десять спустя взял книжку, прочитал и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андерсен был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни; кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мое чувство, — он был одинок. Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть.

VII

Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо — ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления и хотя — иногда — любит им, но — едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню — его девки засмеют.

VIII

Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, умный. Держится очень скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты. Л. Н. ласково улыбался ему и говорил то по-французски, то по-английски. По-русски сказал:

— Карамзин писал для царя, Соловьев — длинно и скучно, а Ключевский для своего развлечения. Хитрый: читаешь — будто хвалит, а вникнешь — обругал.

Кто-то напомнил о Забелине.

— Очень милый. Подьячий такой. Старьевщик-любитель, собирает все, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точно сам никогда не ел досыта. Но — очень, очень забавный.

¹ Во избежание кривотолков должен сказать, что религиозное творчество я рассматриваю как художественное, жизнь Будды, Христа, Магомета — как фантастические романы (Прим. М. Горького)

IX

Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса неприютные и чужие всем и всему. Мир — не для них, бог — тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди — пенки, корни, камни по дороге, — о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним.

X

«Фридрих Прусский очень хорошо сказал: «Каждый должен спасаться á sa façon»¹. Он же говорил: «Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь». Но, умирая, сознался: «Я устал управлять рабами». Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие — не глупость: дурак — упрям, но противоречить не умеет. Да — Фридрих странный был человек: заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже Гёте и Виланда не любил...»

XI

— Романтизм — это от страха взглянуть правде в глаза, — сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Сулер не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи.

— Это, Левушка, не стихи, а шарлатанство, а «ерундистика», как говорили в средние века, — бессмысленное плетение слов. Поэзия — безыскусственна; когда Фет писал:

...не знаю сам, что буду
Петь, но только песня зреет, —

¹ По-своему (франц.).

этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поет, — ох, да-ой, да-эй — а выходит настоящая песня, прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые всё выдумывают. Есть такие глупости французские «артикуль де Пари», так вот это они самые у твоих стихоплетов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки.

— А Беранже? — спросил Сулер.

— Беранже — это другое! Что же общего между нами и французами? Они — чувственники; жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего — женщина. Они — изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чахоточные — чувственники.

Сулер начал спорить с прямою, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. Л. Н. поглядел на него и сказал, улыбаясь широко:

— Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а жениха нет...

XII

Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачней, жизнеприемлее. Глаза — еще острее, взгляд — пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неизвестного еще. В Ясной он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать, — человеком решенных вопросов.

XIII

Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно — в пресные воды рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей, и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чувствует, что молчит еще больше. Иного — никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.

XIV

Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом крестнике. Он с наслаждением читал сказку Сулеру, Чехову, — читал изумительно! Особенно забавлялся тем, как черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть неискренним, но если это искренно, тогда еще хуже.

Потом он сказал:

— Вот как хорошо сочиняют мужики. Все просто, слов мало, а чувства — много. Настоящая мудрость немногословна, как — господи помилуй.

А сказочка — свирепая.

XV

Его интерес ко мне — этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему, и — только.

XVI

Читал ему свой рассказ «Бык»; он очень смеялся и хвалил за то, что знаю «фокусы языка».

— Но распоряжаетесь вы словами неумело, — все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно, — не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно, — под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума, это ему невыгодно. Он знает, что к человеку глупому подходят просто, бесхитростно, а ему того и надо! Вы перед ним стоите открыто, он тотчас и видит все ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене боится сказать заветную мысль. А у вас — все нараспашку, и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афоризмами говорят, это тоже неверно, — афоризм русскому языку не сроден.

— А пословицы, поговорки?

— Это — другое. Это не сегодня сделано.

— Однако вы сами часто говорите афоризмами.

— Никогда! Потом вы прикрашиваете все: и людей и природу, особенно — людей! Так делал Лесков, писатель вычур-

ный, вздорный, его уже давно не читают. Не поддавайтесь никому, никого не бойтесь, — тогда будет хорошо...

XVII

В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразили странный афоризм: «Бог есть мое желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его, что это?

— Незаконченная мысль, — сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами. — Должно быть, я хотел сказать: бог есть мое желание познать его... Нет, не то... — Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге».

XVIII

О науке.

— Наука — слиток золота, приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу, — значит: начеканить множество фальшивой монеты. Когда народу станет понятна истинная ценность этой монеты — не поблагодарит он нас.

XIX

Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновьи ноги, потряхивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее.

— Вот такими карнидами и поддерживалось все это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими вот лошадьми, оно уже давно бы вымерло. Так тратит силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода

тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно.

XX

О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая раньше неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:

— Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

— Я был неутомимый...

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о «Вареньке Олесовой», «Двадцать шесть и одна». С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен; мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

XXI

Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаюсь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки, и, по-детски — трубой — сложив губы, насвистывал неумело.

— Как ярится пичужка! Наяривает. Это — какая?

Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы.

— На всю жизнь одна песня, а — ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность — справедливо ли это? — задумчиво и как бы сам себя спросил он. — Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал — и забыл, а она

помнит. Может быть, ревность — от страха унижить душу, от боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна, которая держит за..., а которая — за душу.

Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с «Крейцеровой сонатой», он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил:

— Я не зяблик.

Вечером, гуляя, он неожиданно произнес:

— Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет — трагедия спальни.

Говоря это, он улыбался торжественно, — у него является иногда такая широкая, спокойная улыбка человека, который преодолел нечто крайне трудное или которого давно грызла острая боль, и вдруг — нет ее. Каждая мысль впивается в душу его, точно клещ; он или сразу отрывает ее, или же дает ей напиться крови вдоволь, и, назрев, она незаметно отпадает сама.

Увлечательно рассказывая о стоицизме, он вдруг нахмурился, почмокал губами и строго сказал:

— Стеганое, а не стежаное; есть глаголы стегать и стяжать, а глагола стежать нет...

Эта фраза явно не имела никакого отношения к философии стоиков. Заметив, что я недоумеваю, он торопливо произнес, кивнув головой на дверь соседней комнаты:

— Они там говорят: стежаное одеяло!

И продолжал:

— А слащавый болтун Ренан...

Нередко он говорил мне:

— Вы хорошо рассказываете — своими словами, крепко, не книжно.

Но почти всегда замечал небрежности речи и говорил вполголоса, как бы для себя:

— Подобно, а рядом — абсолютно, когда можно сказать — совершенно!

Иногда же укорял:

— Хлипкий субъект — разве можно ставить рядом такие несхожие по духу слова? Нехорошо...

Его чуткость к формам речи казалась мне — порою — болезненно острой; однажды он сказал:

— У какого-то писателя я встретил в одной фразе кошку и кишку — отвратительно! Меня едва не стошнило.

Иногда он рассуждал:

— Подождем и под дождем — какая связь?

А однажды, придя из парка, сказал:

— Сейчас садовник говорит: насилу столкнулся. Не прав да ли — странно? Куются якорья, а не столы. Как же связаны эти глаголы — ковать и толковать? Не люблю филологов — они схоласты, но пред ними важная работа по языку. Мы говорим словами, которых не понимаем. Вот, например, как образовались глаголы просить и бросить?

Чаще всего он говорил о языке Достоевского:

— Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво, — я уверен, что нарочно, из конетства. Он форсил; в «Идиоте» у него написано: «В наглom приставании и афишевании знакомства». Я думаю, он нарочно искажил слово афишировать, потому что оно чужое, западное. Но у него можно найти и непростительные промахи: идиот говорит: «Осел — добрый и полезный человек», но никто не смеется, хотя эти слова неизбежно должны вызвать смех или какое-нибудь замечание. Он говорит это при трех сестрах, а они любили высмеивать его. Особенно Аглая. Эту книгу считают плохой, но главное, что в ней плохо, это то, что князь Мышкин — эпилептик. Будь он здоров — его сердечная наивность, его чистота очень трогали бы нас. Но для того, чтоб написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен — весь мир болен...

Читал Сулеру и мне вариант сцены падения «Отца Сергия» — безжалостная сцена. Сулер надул губы и взволнованно заерзал.

— Ты что? Не нравится? — спросил Л. Н.

— Уж очень жестоко, точно у Достоевского. Эта гнилая девица, и груди у нее, как блины, и все. Почему он не согрешил с женщиной красивой, здоровой?

— Это был бы грех без оправдания, а так — можно оправдаться жалостью к девице — кто ее захочет, такую?

— Не понимаю я этого...

— Ты многого не понимаешь, Левушка, ты не хитрый...

Пришла жена Андрея Львовича, разговор оборвался, а когда она и Сулер ушли во флигель, Л. Н. сказал мне:

— Леопольд — самый чистый человек, какого я знаю. Он тоже так: если сделает дурное, то — из жалости к кому-нибудь.

XXII

Большее всего он говорит о боге, о мужике и о женщине. О литературе — редко и скудно, как будто литература чужое ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится неприемлемо враждебно и любит наказывать ее, — если она не Кити и не Наташа Ростова, то есть существо недостаточно ограниченное. Это — вражда мужчины, который не успел исчерпать столько счастья, сколько мог, или вражда духа против «унизительных порывов плоти»? Но это — вражда, и — холодная, как в «Анне Карениной». Об «унизительных порывах плоти» он хорошо говорил в Воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по поводу «Исповеди» Руссо. Сулер записал его слова, а потом, приготавливая кофе, сжег записку на спиртовке. А прошлый раз он спалил суждение Л. Н. об Ибсене и потерял записку о символизме свадебных обрядов, а Л. Н. говорил о них очень языческие вещи, совпадая кое в чем с В. В. Розановым.

XXIII

Утром были штундисты из Феодосии, и сегодня целый день он с восторгом говорит о мужиках.

За завтраком:

— Пришли они, — оба такие крепкие, плотные; один говорит: «Вот, пришли незваны», а другой — «Бог даст — уйдем не драны». — И залился детским смехом, так и трепещет весь.

После завтрака, на террасе:

— Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа; мы вот говорим: «теория прогресса», «роль личности в истории», «эволюция наук», «дизентерия», а мужик скажет: «шила в мешке не утаишь», и все теории, истории, эволюции становятся жалкими, смешными, потому что не понятны и не нужны народу. Но мужик сильнее нас, он живучее, и с нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось с племенем атцуров, о котором какому-то ученому сказали: «Все атцуры перемерли, но тут есть попугай, который знает несколько слов их языка».

XXIV

«Телом женщина искреннее мужчины, а мысли у нее — лживые. Но когда она лжет — она не верит себе, а Руссо лгал — и верил».

XXV

«Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей, что он живет, мстя себе и другим за то, что послужил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал, то есть это же он мог бы сказать про самого себя».

XXVI

— Некоторые церковные слова удивительно темны — какой, например, смысл в словах: «господня земля и исполнения ее». Это — не от священного писания, а какой-то популярно-научный материализм.

— У вас где-то истолкованы эти слова, — сказал Сулер.

— Мало что у меня истолковано... «Толк-то есть, да не толкан весь».

И улыбнулся хитренько.

XXVII

Он любит ставить трудные и коварные вопросы:

— Что вы думаете о себе?

— Вы любите вашу жену?

— Как по-вашему, сын мой Лев — талантливый?

— Вам нравится Софья Андреевна?

Лгать перед ним — нельзя.

Однажды он спросил:

— Вы любите меня, А. М.?

Это — озорство богатыря: такие игры играл в юности своей Васька Буслаев, новгородский озорник. «Испытует» он, все пробует что-то, точно драться собирается. Это интересно, однако — не очень по душе мне. Он — черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня.

XXVIII

Может быть, мужик для него просто — дурной запах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем.

Вчера вечером я рассказал ему о моей битве с генеральшей Корнэ, он хохотал до слез, до боли в груди, охал и все покрикивал тоненько:

— Лопатой! По... Лопатой, а? По самой по... И — широкая лопата?

Потом, отдохнув, сказал серьезно:

— Вы еще великодушно ударили, другой бы — по голове стукнул за это. Очень великодушно Вы понимали, что она хотела вас?

— Не помню; не думаю, чтобы понимал...

— Ну, как же! Это ясно. Конечно, так.

— Не тем жил тогда...

— Чем ни живи — все равно! Вы не очень бабник, как видно. Другой бы сделал на этом карьеру, стал домовладельцем и спился с круга вместе с нею.

Помолчал:

— Смешной вы. Не обижайтесь, — очень смешной! И очень странно, что вы все-таки добрый, имея право быть злым. Да, вы могли бы быть злым. Вы крепкий, это хорошо...

И, еще помолчал, добавил задумчиво:

— Ума вашего я не понимаю — очень запутанный ум, а вот сердце у вас умное... да, сердце умное!

Примечание. Живя в Казани, я поступил дворником и садовником к генеральше Корнэ. Это была француженка, вдова генерала, молодая женщина, толстая, на крошечных ножках девочки-подростка; у нее были удивительно красивые глаза, беспокойные, всегда жадно открытые. Я думаю, что до замужества она была торговкой или кухаркой, быть может, даже «девочкой для радости». С утра она напивалась и выходила на двор или в сад в одной рубашке, в оранжевом халате поверх ее, в красных татарских туфлях из сафьяна, а на голове грива густых волос. Небрежно причесанные, они падали ей на румяные щеки и плечи. Молодая ведьма. Она ходила по саду, напевая французские песенки, смотрела, как я работаю, и время от времени, подходя к окошку кухни, просила:

— Полин, давайте мне что-нибудь.

«Что-нибудь» — всегда было одним и тем же — стаканом вина со льдом...

В нижнем этаже ее дома жили сиротами три барышни княжны Д.-Г., их отец, интендант-генерал, куда-то уехал, мать умерла. Генеральша Корнэ невзлюбила барышень и старалась сжить их с квартиры, делая им различные пакости. По-русски она говорила плохо, но ругалась отлично, как хороший ломовой извозчик. Мне очень не нравилось ее отношение к безобидным барышням, — они были такие грустные, испуганные чем-то, незащищенные. Однажды около полудня две из них гуляли в саду, вдруг пришла генеральша, пьяная, как всегда, и начала кричать на них, выгоняя из сада. Они молча пошли, но генеральша встала в калитке, заткнув ее собой, как пробкой, и начала говорить им те серьезные русские слова, от которых даже лошади вздрагивают. Я попросил ее перестать ругаться и пропустить барышень, она закричала:

— Я снай тебе! Ты — им лязит окно, когда ночь...

Я рассердился, взял ее за плечи и отвел от калитки, но она вырвалась, повернулась ко мне лицом и, быстро распахнув халат, подняв рубаху, заорала:

— Я луччи эти крис!

Тогда я окончательно рассердился, повернул ее затылком к себе и ударил лопатой пониже спины, так что она выскочила в калитку и побежала по двору, сказав трижды, с великим изумлением:

— О! О! О!

После этого, взяв паспорт у ее наперсницы Полины, бабы тоже пьяной, но весьма лукавой, — взял под мышку узел имущества моего и пошел со двора, а генеральша, стоя у окна с красным платком в руке, кричала мне:

— Я не звать полис — нитшего — слюший! Иди еще назади... Не надо боясь...

XXIX

Я спросил его:

— Вы согласны с Познышевым, когда он говорит, что доктора губили и губят тысячи и сотни тысяч людей?

— А вам очень интересно знать это?

— Очень.

— Так я не скажу!

И усмехнулся, играя большими пальцами своих рук.

Помнится, — в одном из его рассказов есть такое сравнение деревенского коновала с доктором медицины:

«Слова «гильчак», «почечуй», «спускать кровь» разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и т. д.».

Это сказано после Дженнера, Беринга, Пастера. Вот озорник!

XXX

Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьезно, горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, точно он живых птиц держит в пальцах, а не мертвые куски картона.

XXXI

— Диккенс очень умно сказал: «Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты». Вообще же это был писатель сентиментальный, болтливый и не очень умный. Впрочем, он умел построить роман, как никто, и уж, конечно, лучше Бальзака. Кто-то сказал: «Многие одержимы страстью писать книги, но редкие стыдятся их потом». Бальзак не стыдился, и Диккенс тоже, а оба написали не мало плохого. А все-таки Бальзак — гений, то есть то самое, что нельзя назвать иначе, — гений...

Кто-то принес книжку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером», — Лев Николаевич взял ее со стола и сказал, помахивая книжкой в воздухе:

— Тут все хорошо сказано о политических убийствах, о том, что эта система борьбы не имеет в себе ясной идеи. Такой идеей, говорит образумевший убийца, может быть только анархическое всевластие личности и презрение к обществу, человечеству. Это — правильная мысль, но анархическое всевластие — опска, надо было сказать — монархическое. Хорошая, правильная идея, на ней споткнутся все террористы, я говорю о честных. Кто по натуре своей любит убивать — он не споткнется. Ему — не на чем споткнуться. Но он просто убийца, а в террористы попал случайно...

XXXII

Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволжский сектант-начетчик, и это ужасно в нем, столь звучном колоколе мира сего. Вчера он сказал мне:

— Я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки. О, господи! Не надо ему хватать этим, не надо!

XXXIII

Прочитал ему сцены из пьесы «На дне»; он выслушал внимательно, потом спросил:

— Зачем вы пишете это?

Я объяснил как умел.

— Везде у вас заметен петушиный наскок на все. И еще — вы всё хотите закрасить все пазы и трещины своей краской. Помните, у Андерсена сказано: «Позолота-то сотрется, свиная кожа останется», а у нас мужики говорят: «Все минется, одна правда останется». Лучше не замазывать, а то после вам же худо будет. Потом — язык очень бойкий, с фокусами, это не годится. Надо писать проще, народ говорит просто, даже как будто — бессвязно, а — хорошо. Мужик не спросит: «Почему треть больше четверти, если всегда четыре больше трех», как спрашивала одна ученая барышня. Фокусов — не надо.

Он говорил недовольно, видимо ему очень не понравилось прочитанное мною. Помолчав, глядя мимо меня, хмуро сказал:

— Старик у вас — несимпатичный, в доброту его — не веришь. Актер — ничего, хорош. Вы «Плоды просвещения» знаете? У меня там повар похож на вашего актера. Пьесы писать трудно. Проститутка тоже удалась, такие должны быть. Вы видели таких?

— Видел.

— Да, это заметно. Правда даст себя знать везде. Вы очень много говорите от себя, потому — у вас нет характеров и все люди — на одно лицо. Женщин вы, должно быть, не понимаете, они у вас не удаются, ни одна. Не помнишь их...

Пришла жена А. Л. и пригласила к чаю; он встал и пошел так быстро, как будто обрадовался кончить беседу.

XXXIV

— Какой самый страшный сон видели вы?

Я редко вижу и плохо помню сны, но два сновидения остались в памяти, вероятно, на всю жизнь.

Однажды я видел какое-то золотушное, гниленькое небо, зеленовато-желтого цвета, звезды в нем были круглые, плоские, без лучей, без блеска, подобные болячкам на коже худосочного. Между ними по гнилому небу скользила не спеша красноватая молния, очень похожая на змею, и когда она касалась звезды — звезда, тотчас набухая, становилась шаром и лопалась беззвучно, оставляя на своем месте темненькое пятно —

точно дымок, — оно быстро исчезало в гнойном, жидком небе. Так, одна за другою, полопались, погибли все звезды, небо стало темней, страшней, потом — всклубилось, закипело и, разрываясь в клочья, стало падать на голову мне жидким студнем, а в прорывах между клочьями являлась глянцевиная чернота кровельного железа. Л. Н. сказал:

— Ну, это у вас от ученой книжки, прочитали что-нибудь из астрономии, вот и кошмар. А другой сон?

Другой сон: снежная равнина, гладкая, как лист бумаги, нигде ни холма, ни дерева, ни куста, только чуть видны, высовываются из-под снега редкие розги. По снегу мертвой пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва намеченная дорога, а по дороге медленно шагают серые валяные сапоги — пустые.

Он поднял мохнатые брови лешего, внимательно посмотрел на меня, подумал.

— Это — страшно! Вы в самом деле видели это, не выдумали? Тут тоже есть что-то книжное.

И вдруг как будто рассердился, заговорил недовольно, строго, постукивая пальцем по колену.

— Ведь вы нелюбый? И не похоже, чтоб вы пили много когда-нибудь. А в этих снах все-таки есть что-то пьяное. Был немецкий писатель Гофман, у него ломберные столы по улицам бегали, и всё в этом роде, так он был пьяница, — «калагоник», как говорят грамотные кучера. Пустые сапоги идут — это вправду страшно! Даже если вы и придумали, — очень хорошо! Страшно!

Неожиданно улыбнулся во всю бороду, так, что даже скулы засияли.

— А ведь представьте-ка: вдруг по Тверской бежит ломберный стол, эдакий — с выгнутыми ножками, доски у него прихлопывают и мелом пылят, даже еще цифры на зеленом сукне видать, — это на нем акцизные чиновники трое суток напролет в винт играли, он не вытерпел больше и сбежал.

Посмеялся и, должно быть, заметил, что я несколько огорчен его недоверием ко мне:

— Вы обижаетесь, что сны ваши показались мне книжными? Не обижайтесь, я знаю, что иной раз такое незаметно выдумаете, что нельзя принять, никак нельзя, и кажется, что вы мне видели, а вовсе не сам выдумал. Один старик помещик рассказывает, что он во сне шел лесом, вышел в степь и видит: в степи два холма, и вдруг они превратились в женские титьки. а между ними приподнимается черное лицо, вместо глаз на нем две луны, как бельма, сам он стоит уже между ног женщины,

а перед ним — глубокий черный овраг и — всасывает его. Он после этого сесть начал, руки стали трястись, и уехал за границу к доктору Кнейпу, лечиться водой. Этот должен был видеть что-нибудь такое — он был распутник.

Похлопал меня по плечу.

— А вы не пьяница и не распутник — как же это у вас такие сны?

— Не знаю.

— Ничего мы о себе не знаем!

Он вздохнул, прищурился, подумал и добавил потише:

— Ничего не знаем!

Сегодня вечером, на прогулке, он взял меня под руку говоря:

— Сапоги-то идут — жутко, а? Совсем пустые — тёп, тёп, — а снежок поскрипывает! Да, хорошо! А все-таки вы очень книжный, очень! Не сердитесь, только это плохо и будет мешать вам.

Едва ли я книжник больше его, а вот он показался мне на этот раз жестоким рационалистом, несмотря на все его оговорочки.

XXXV

Иногда кажется: он только что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже — не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немного.

Вчера, пред обедом, он явился в гостиную именно таким, далеко ушедшим, сел на диван и, помолчав минуту, вдруг сказал, покачиваясь, потирая колени ладонями, сморщив лицо:

— Это еще не всё, нет — не всё.

Некто, всегда глупый и спокойный, точно утюг, спросил его:

— Это вы о чем?

Он пристально взглянул на него, наклонился ниже, заглядывая на террасу, где сидели доктор Никитин, Елпатьевский, я, и спросил:

— Вы о чем говорите?

— О Плеве.

— О Плеве... Плеве... — задумчиво, с паузой повторил он, как будто впервые слыша это имя, потом встряхнулся, как птица, и сказал, слабо усмехаясь:

— У меня сегодня с утра в голове глупость; кто-то сказал мне, что он прочитал на кладбище такую надпись:

Под камнем сим Иван Егорьев опочил,
Кожевник ремеслом, он кожи всё мочил,
Трудился праведно, был сердцем добр, но вот
Скончался, отказав жене своей завод.
Он был еще не стар и мог бы много смочь,
Но бог его прибрал для райской жизни в ночь
С пятницы на субботу страстной недели...

и еще что-то такое же...

Замолчал, потом, покачивая головою, слабо улыбаясь, добавил:

— В человеческой глупости — когда она не злая — есть очень трогательное, даже милое... Всегда есть...

Позвали обедать.

XXXVI

«Я не люблю пьяных, но знаю людей, которые, выпив, становятся интересными, приобретают не свойственное им, трезвым, остроумие, красоту мысли, ловкость и богатство слов. Тогда я готов благословлять вино».

Сулер рассказывал: он шел со Львом Николаевичем по Тверской, Толстой издала заметил двух кирасир. Сияя на солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись оба, лица их тоже сияли самодовольством силы и молодости.

Толстой начал порицать их:

— Какая величественная глупость! Совершенно животные, которых дрессировали палкой...

Но когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, поражая их ласковым взглядом, с восхищением сказал:

— До чего красивы! Римляне древние, а, Левушка? Силыца, красота, — ах, боже мой. Как это хорошо, когда человек красив, как хорошо!

XXXVII

В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадин; под ним была маленькая татарская спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой белой войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома.

Придержав лошадь, он заговорил со мною; я пошел ря-

дом, у стремени, и, между прочим, сказал, что получил письмо от В. Г. Короленко. Толстой сердито тряхнул бородою:

— Он в бога верует?

— Не знаю.

— Главного не знаете. Он — верит, только стыдится сознаться в этом пред атеистами.

Говорил ворчливо, капризно, сердито прищурился. Было ясно, что я мешаю ему, но когда я хотел уйти, он остановил меня:

— Куда же вы? Я еду тихо.

И снова заворчал:

— Андреев ваш — тоже атеистов стыдится, а тоже в бога верит, и бог ему — страшен.

У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг к другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий и еще один, — кажется, Петр Николаевич из Дюльбера, — все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он уставился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

— Узнали, дураки.

И еще через минуту:

— Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому.

XXXVIII

«Берегите себя прежде всего — для себя, тогда и людям много останется».

XXXIX

«Что значит — знать? Вот, я знаю, что я — Толстой, писатель, у меня — жена, дети, седые волосы, некрасивое лицо, борода, — все это пишут в паспортах. А о душе в паспортах не пишут, о душе я знаю одно: душа хочет близости к богу. А что такое — бог? То, частица чего есть моя душа. Вот и все. Кто научился размышлять, тому трудно веровать, а жить в боге можно только верой. Тертуллиан сказал: «Мысль есть зло».

XI

Несмотря на однообразие проповеди своей, — безгранично разнообразен этот сказочный человек.

Сегодня, в парке, беседуя с муллой Гаспры, он держал себя, как доверчивый простец-мужичок, для которого пришел час подумать о конце дней. Маленький и как будто нарочно еще более съезжившийся, он, рядом с крепким, солидным татаринном, казался старичком, душа которого впервые задумалась над смыслом бытия и — боится ее вопросов, возникших в ней. Удивленно поднимал мохнатые брови и, пугливо мигая остренькими глазами, погасил их нестерпимый, пронизательный огонек. Его читающий взгляд недвижно впился в широкое лицо муллы, и зрачки лишились остроты, смущающей людей. Он ставил мулле «детские» вопросы о смысле жизни, душе и боге, с необыкновенной ловкостью подменяя стихи корана стихами евангелия и пророков. В сущности — он играл, делая это с изумительным искусством, доступным только великому артисту и мудрецу.

А несколько дней тому назад, говоря с Танеевым и Сулером о музыке, он восхищался ее красотой, точно ребенок, и было видно, что ему нравится свое восхищение, — точнее: своя способность восхищаться. Говорил, что о музыке всех лучше и глубже писал Шопенгауэр, рассказал, попутно, смешной анекдот о Фете и назвал музыку «немой молитвой души».

— Как же — немая? — спросил Сулер.

— Потому что — без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысль — это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренне чист.

С явным наслаждением он говорил милыми, ребячьими словами, вдруг вспомнив лучшие, нежнейшие из них. И, неожиданно, усмехаясь в бороду, сказал мягко, как ласку:

— Все музыканты — глупые люди, а чем талантливее музыкант, тем ограниченнее. Странно, что почти все они религиозны.

XLI

Чехову, по телефону.

— Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно — вам! Вы очень хороший, очень!

XLII

Он не слушает и не верит, когда говорят не то, что нужно. В сущности — он не спрашивает, а — допрашивает. Как собиратель редкостей, он берет только то, что не может нарушить гармонию его коллекции.

XLIII

Разбирая почту.

— Шумят, пишут, а — умру, и — через год — будут спрашивать: Толстой? Ах, это граф, который пробовал тачать сапоги и с ним что-то случилось, — да, этот?

XLIV

Несколько раз я видел на его лице, в его взгляде, хитренькую и довольную усмешку человека, который, неожиданно для себя, нашел нечто спрятанное им. Он спрятал что-то и — забыл: где спрятал? Долгие дни жил в тайной тревоге, все думая: куда же засунул я это, необходимое мне? И — боялся, что люди заметят его тревогу, его утрату, заметят и — сделают ему что-нибудь неприятное, нехорошее. Вдруг — вспомнил, нашел. Весь исполнился радостью и, уже не забываясь скрыть ее, смотрит на всех хитренько, как бы говоря: «Ничего вы со мною не сделаете».

Но о том — что нашел и где — молчит.

Удивляться ему — никогда не устаешь, но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говоря уже — в одной комнате. Это — как в пустыне, где все сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью.

Письмо

Только что отправил письмо Вам — пришли телеграммы о «бегстве Толстого». И вот, — еще не разъединенный мысленно с Вами, — вновь пишу.

Вероятно, все, что мне хочется сказать по поводу этой новости, скажется запутанно, может быть даже резко и зло, — уж вы извините меня, — я чувствую себя так, как будто меня взяли за горло и душат.

Он много раз и подолгу беседовал со мною; когда жил в Крыму, в Гаспре, я часто бывал у него, он тоже охотно посещал меня, я внимательно и любовно читал его книги, — мне кажется, я имею право говорить о нем то, что думаю, пусть это будет дерзко и далеко разойдется с общим отношением к нему. Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всем прекрасного, да, да, во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле, широком, неуловимом словами; в нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на земле! Ибо он, так сказать, всеобъемлюще и прежде всего человек, — человек человечества.

Но меня всегда отталкивало от него это упорное, деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в «жизнь иже во святых отца нашего блаженного боярина Льва». Вы знаете — он давно уже собирался «пострадать»; он высказывал Евгению Соловьеву, Сулеру сожаление о том, что это не удалось ему, — но он хотел пострадать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а с явным и — повторяю — деспотическим намерением усилить тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неотразимой, освятить ее в глазах людей страданием своим и заставить их принять ее, вы понимаете — заставить! Ибо он знает, что проповедь эта недостаточно убедительна; в его дневнике Вы — со временем — прочитаете хорошие образцы скептицизма, обращенного им на свою проповедь и личность. Он знает, что «мученики и страдальцы редко не бывают деспотами и насильниками», он все знает! И все-таки говорит: «Пострадай я за свои мысли, они производили бы другое впечатление». Это всегда отбрасывало меня в сторону от него, ибо я не могу не чувствовать здесь попытки насилия надо мной, желания овладеть моей совестью, ослепить ее блеском праведной крови, надеть мне на шею ярмо догмата.

Он всегда весьма расхваливал бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравится ему — по эту сторону. Писатель национальный в самом истинном значении этого понятия, он воплотил в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей... В нем — все национально, и вся проповедь его — реакция прошлого, атавизм, который мы уже начали было изживать, одолевать.

Вспомните его письмо «Интеллигенция, государство, народ», написанное в 905 году, — какая это обидная и злорадная вещь! В ней так и звучит сектантское: «Ага, не послуша-

ли меня!» Я написал ему тогда ответ, основанный на его же словах мне, что он «давно утратил право говорить о русском народе и от его лица», ибо я свидетель того, как он не желал слушать и понять народ, приходивший к нему беседовать по душе. Письмо мое было резко, и я не послал его.

Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок, чтоб придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Василий Буслаев, он вообще любил прыгать, но всегда — в сторону утверждения святости своей и поисков нимба. Это — инквизиторское, хотя учение его и оправдано старой историей России и личными муками гения. Святость достигается путем любования грехами, путем порабощения воли к жизни...

Во Льве Николаевиче есть много такого, что порою вызывало у меня чувство, близкое ненависти к нему, и опрокидывалось на душу угнетающей тяжестью. Его непомерно разросшаяся личность — явление чудовищное, почти уродливое, есть в нем что-то от Святогора-богатыря, которого земля не держит. Да, он велик! Я глубоко уверен, что помню всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит, — даже и в дневнике своем, — молчит и, вероятно, никогда никому не скажет. Это «нечто» лишь порою и намеками проскальзывало в его беседах, намеками же оно встречается в двух тетрадках дневника, которые он давал читать мне и Л. А. Сулержицкому; мне оно кажется чем-то вроде «отрицания всех утверждений» — глубочайшим и злейшим нигилизмом, который вырос на почве бесконечного, ничем не устранимого отчаяния и одиночества, вероятно, никем до этого человека не испытанного с такой страшной ясностью. Он часто казался мне человеком непоколебимо — в глубине души своей — равнодушным к людям, он есть настолько выше, мощнее их, что они все кажутся ему подобными мошкам, а суета их — смешной и жалкой. Он слишком далеко ушел от них в некую пустыню и там, с величайшим напряжением всех сил духа своего, одиноко всматривается в «самое главное» — в смерть.

Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь около его души трепетал «арзамасский ужас», ему ли, Толстому, умирать? Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити, его душа — для всех и — навсегда! Почему бы природе не сделать исключения из закона своего и не дать одному из людей физическое бессмертие, — почему? Он, конечно, слишком рассудочен и умен для того, чтоб верить в чудо, но, с другой стороны, — он озорник, испытатель и, как молодой рекрут, бешено буйствует со страха и отчаяния пред неведо-

мой казармой. Помню — в Гаспре, после выздоровления, прочитав книжку Льва Шестова «Добро и зло в учении Ницше и графа Толстого», он сказал, в ответ на замечание А. П. Чехова, что «книга эта не нравится ему»:

— А мне показалась забавной. Форсисто написано, а — ничего, интересно. Я ведь люблю циников, если они искренние. Вот он говорит: «Истина — не нужна», и — верно: на что ему истина! Все равно — умрет.

И, видимо, заметив, что слова его не поняты, добавил, остро усмехаясь:

— Если человек научился думать, — про что бы он ни думал, — он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А — какие же истины, если будет смерть?

Далее он начал говорить, что истина едина для всех — любовь к богу, но на эту тему говорил холодно и устало. А после завтрака, на террасе, снова взял книгу и, найдя место, где автор пишет: «Толстой, Достоевский, Ницше не могли жить без ответа на свои вопросы, и для них всякий ответ был лучше, чем ничего», — засмеялся и сказал:

— Вот какой смелый парикмахер, так прямо и пишет, что я обманул себя, значит — и других обманул. Ведь это ясно выходит...

Сулер спросил:

— А почему — парикмахер?

— Так, — задумчиво ответил он, — пришло в голову, модный он, шикарнейший — и вспомнился парикмахер из Москвы на свадьбе у дяди-мужика в деревне. Самые лучшие манеры, и лянсье пляшет, отчего и презирает всех.

Этот разговор я воспроизвожу почти дословно, он очень памятен мне и даже был записан мною, как многое другое, поражавшее меня. Я и Сулержицкий записывали много, но Сулер потерял свои записи по дороге ко мне в Арзамас, — он вообще был небрежен и хотя по-женски любил Льва Николаевича, но относился к нему как-то странно, точно свысока немножко. Я тоже засунул куда-то мои записки и не могу найти, они у кого-то в России. Я очень внимательно присматривался к Толстому, потому что искал, до сей поры ищу и по смерти буду искать человека живой, действительной веры. И еще потому, что однажды А. П. Чехов, говоря о некультурности нашей, пожаловался:

— Вот за Гёте каждое слово записывалось, а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и — наврут.

Но далее, по поводу Шестова:

— Нельзя, говорит, жить, глядя на страшные призраки, он-то откуда знает, лъзя или нельзя? Ведь если бы он знал, видел бы призраки, — пустяков не писал бы, а занялся бы серьезным, чем всю жизнь занимался Будда.

Заметили, что Шестов — еврей.

— Ну, едва ли, — недоверчиво сказал Л. Н. — Нет, он не похож на еврея; неверующих евреев — не бывает, назовите хоть одного... нет.

Иногда казалось, что старый этот колдун играет со смертью, кокетничает с ней и старается как-то обмануть ее: я тебя не боюсь, я тебя люблю, я жду тебя. А сам остренькими глазками заглядывает: а какая ты? А что за тобой, там дальше? Совсем ты уничтожишь меня, или что-то останется жить?

Странное впечатление производили его слова: «Мне хорошо, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо». И — вслед за этим тотчас же: «Пострадать бы». Пострадать — это тоже его правда; ни на секунду не сомневаюсь, что он, полубольной еще, был бы искренно рад попасть в тюрьму, в ссылку, вообще — принять венец мученический. Мученичество, вероятно, может несколько оправдать, что ли, смерть, сделать ее более понятной, приемлемой, — с внешней, с формальной стороны. Но — никогда ему не было хорошо, никогда и нигде, я уверен: ни «в книгах премудрости», ни «на хребте коня», ни «на груди женщины» он не испытывал полностью наслаждений «земного рая». Он слишком рассудочен для этого и слишком знает жизнь, людей. Вот еще его слова:

«Халиф Абдурахман имел в жизни четырнадцать счастливых дней, а я, наверное, не имел столько. И все оттого, что никогда не жил — не умею жить — для себя, для души, а живу напоказ, для людей».

А. П. Чехов сказал мне, уходя от него: «Не верю я, что он не был счастлив». А я — верю. Не был. Но — неправда, что он жил «напоказ». Да, он отдавал людям, как нищим, лишнее свое; ему нравилось заставлять их, вообще — «заставлять» читать, гулять, есть только овощи, любить мужика и верить в непогрешимость рассудочно-религиозных домыслов Льва Толстого. Надо сунуть людям что-нибудь, что или удовлетворит или займет их, — и ушли бы они прочь! Оставили бы человека в привычном, мучительном, а иногда и уютном одиночестве пред бездонным омутом вопроса о «главном».

Все русские проповедники, за исключением Аввакума и, может быть, Тихона Задонского, — люди холодные, ибо верую

живой и действенной не обладали. Когда я писал Луку в «На дне», я хотел изобразить вот именно такого старичка; его интересуют «всякие ответы», но не люди; неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, чтоб они не мешали ему жить. И вся философия, вся проповедь таких людей — милость, подаваемая ими со скрытой брезгливостью, и звучат под этой проповедью слова тоже нищие, жалобные:

«Отстаньте! Любите бога или ближнего и отстаньте! Проклинайте бога, любите дальнего и — отстаньте! Оставьте меня, ибо я человек и вот — обречен смерти!»

Увы, это так, надолго — так! И не могло, и не может быть иначе, ибо — замазались люди, измучены, разъединены страшно и все окованы одиночеством, которое высасывает душу. Если б Л. Н. примирился с церковью — это не удивило бы меня нимало. Здесь была бы своя логика: все люди — одинаково ничтожны, даже если они и епископы. Собственно — примирения тут и не было бы, для него лично этот акт только логический шаг: «прощаю ненавидящих мя». Христианский поступок, а под ним скрыта легонькая, острая усмешечка; ее можно понять как возмездие умного человека — глупцам.

Я все не то пишу, не так, не о том. У меня в душе собака воеет, и мне мерещится какая-то беда. Вот — пришли газеты, и уже ясно: у вас там начинают «творить легенду», — жили-были лентяи да бездельники, а жили — святого. Вы подумайте, как это вредно для страны именно теперь, когда голы разочарованных людей опущены долу, души большинства — пусты, а души лучших — полны скорби. Просятся голодные, истерзанные на легенду. Так хочется утолить боли, успокоить муки! И будут создавать как раз то, что он хотел, но чего не нужно, — житие блаженного и святого, он же тем велик и свят, что — человек он, — безумно и мучительно красивый человек, человек всего человечества. Я тут противоречу себе в чем-то, но — это неважно. Он — человек, взыскующий бога не для себя, а для людей, дабы он его, человека, оставил в покое пустыни, избранной им. Он дал нам евангелие, а чтоб мы забыли о противоречиях во Христе, — упростил образ его, сгладил в нем воинствующее начало и выдвинул покорное «воле пославшего». Несомненно, что евангелие Толстого легче приемлемо, ибо оно более «по недугу» русского народа. Надо же было дать что-нибудь этому народу, ибо он жалуется, стоном сотрясает землю и отвлекает от «главного». А «Война и мир» и все прочее этой линии — не умиротворит скорбь и отчаяние серой русской земли.

О «Войне и мире» он сам говорил: «Без ложной скромности — это как «Илиада». М. И. Чайковский слышал из его уст точно такую же оценку «Детства», «Отрочества».

Сейчас были журналисты из Неаполя, — один из них уже примчался из Рима. Попросят сказать им, что я думаю о «бегстве» Толстого, — так и говорят — «бегство». Я отказался беседовать с ними. Вы понимаете, конечно, что душа моя в тревоге яростной, — я не хочу видеть Толстого святым; да пребудет грешником, близким сердцу насквозь грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас. Пушкин и он — нет ничего величественнее и дороже нам...

Умер Лев Толстой.

Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано — скончался.

Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски, и вот теперь, в полоумном каком-то состоянии, представляю его себе, как знал, видел, — мучительно хочется говорить о нем. Представляю его в гробу, — лежит, точно гладкий камень на дне ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его — всем чужая — обманчивая улыбочка. И руки, наконец, спокойно сложены — отработали урок свой каторжный.

Вспоминаю его острые глаза, — они видели все насквозь — и движения пальцев, всегда будто лепивших что-то из воздуха, его беседы, шутки, мужицкие любимые слова и какой-то неопределенный голос его. И вижу, как много жизни обнял этот человек, какой он, не по-человечьи, умный и — жуткий.

Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шел к нему в Гаспру берегом моря и под именем Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его маленькую, угловатую фигурку, в сером, помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками, — между пальцев веет серебряные волосы бороды, — и смотрит вдаль, в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый, по камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни — огромные, в трещинах и окиданы пахучими водорослями, — нанануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том — когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца. А море — часть

его души, и всё вокруг — от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над землей, как будто это он — его сосредоточенная воля — призывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что — возможно! — встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет, а камни пошевелиятся и закричат, и все вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нем, против него. Не изобразить словом, что почувствовал я тогда; было на душе и восторженно и жутко, а потом все слилось в счастливую мысль: «Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!»

Тогда я осторожно, чтоб галька под ногами не скрипела, ушел назад, не желая мешать его думам. А вот теперь — чувствую себя сиротой, пишу и плачу, — никогда в жизни не случалось плакать так безутешно, и отчаянно, и горько. Я не знаю — любил ли его, да разве это важно — любовь к нему или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а, как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. Хорош он был, когда, шаркая подошвами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг являлся откуда-то из двери, из угла, шел к вам мелким, легким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал все новое и тотчас высасывал смысл всего.

— Здравствуйте!

Я всегда переводил это слово так: «Здравствуйте, — удовольствие для меня, а для вас толку не много в этом, но все-таки — здравствуйте!»

Выйдет он — маленький. И все сразу станут меньше его. Мужичья борода, грубые, но необыкновенные руки, простенькая одежда и весь этот внешний, удобный, демократизм обманывал многих, и часто приходилось видеть, как россияне, привыкшие встречать человека «по платью» — древняя, холщовая привычка! — начинали струить то пахучее «прямодушие», которое точнее именуется амигошонством.

— Ах, родной ты наш! Вот какой ты! Наконец-то сподобился я лицезреть величайшего сына земли родной моей. Здравствуй вовеки и прими поклон мой!

Это — московско-русское, простое и задушевное, а вот еще русское, «свободомысленное»:

— Лев Николаевич! Будучи не согласен с вашими религиозно-философскими взглядами, но глубоко почитая в лице вашем великого художника...

И вдруг из-под мужицкой бороды, из-под демократической, мятой блузы поднимается старый русский барин, великолепный аристократ, — тогда у людей прямодушных, образованных и прочих сразу синеют носы от нестерпимого холода. Приятно было видеть это существо чистых кровей, приятно наблюдать благородство и грацию жеста, гордую сдержанность речи, слышать изящную меткость убийственного слова. Барина в нем было как раз столько, сколько нужно для холопов. И когда они вызывали в Толстом барина, он являлся легко, свободно и давил их так, что они только ежились да попискивали.

Пришлось мне с одним из «прямодушных» русских людей — москвичом — возвращаться из Ясной Поляны в Москву, так он долго отдышаться не мог, все улыбался жалобно и растерянно твердил:

— Ну, — баня. Вот строг... фу!

И, между прочим, воскликнул с явным сожалением:

— А ведь я думал — он и в самом деле анархист. Все твердят — анархист, анархист, я и поверил...

Этот человек был богатый, крупный фабрикант, он обладал большим животом, жирным лицом мясного цвета, — зачем ему понадобилось, чтоб Толстой был анархистом? Одна из «глубоких тайн» русской души.

Если Л. Н. хотел нравиться, он достигал этого легче женщины, умной и красивой. Сидят у него разные люди: великий князь Николай Михайлович, маляр Илья, социал-демократ из Ялты, штундист Пацук, какой-то музыкант, немец, управляющий графини Клейнмихель, поэт Булгаков, и все смотрят на него одинаково влюбленными глазами. Он излагает им учение Лао-тце, а мне кажется, что он какой-то необыкновенный человек-оркестр, обладающий способностью играть сразу на нескольких инструментах — на медной трубе, на барабане, гармонике и флейте. Я смотрел на него, как все. А вот хотел бы посмотреть еще раз и — не увижу больше никогда.

Приходили журналисты, утверждают, что в Риме получена телеграмма, «опровергающая слух о смерти Льва Толстого». Суетились, болтали, многословно выражая сочувствие России. Русские газеты не оставляют места для сомнений.



Л. Андреев, Л. Сулержицкий, Горький. Ялта, 1901—1902 гг.



Л. Н. Толстой и А. М. Горький. Ясная Поляна, 1900 г.

Солгать пред ним невозможно было даже из жалости, он и опасно больной не возбуждал ее. Это пошлость — жалеть людей таких, как он. Их следует беречь, лелеять, а не осыпать словесной пылью каких-то затертых, бездушных слов.

Он спрашивал:

— Не нравлюсь я вам?

Надо было говорить: «Да, не нравиться».

— Не любите вы меня? — «Да, сегодня я вас не люблю».

В вопросах он был беспощаден, в ответах — сдержан, как и надлежит мудрому.

Изумительно красиво рассказывал о прошлом и лучше всего о Тургеневе. О Фете — с добродушной усмешкой и всегда что-нибудь смешное; о Некрасове — холодно, скептически, но обо всех писателях так, словно это были дети его, а он, отец, знает все недостатки их и — нате! — подчеркивает плохое прежде хорошего. И каждый раз, когда он говорил о ком-либо дурно, мне казалось, что это он слушателям милостивно подает на бедность их; слушать суждения его было неловко, под остренькой улыбочкой невольно опускались глаза — и ничего не оставалось в памяти.

Однажды он ожесточенно доказывал, что Г. И. Успенский писал на тульском языке и никакого таланта у него не было. И он же при мне говорил А. П. Чехову:

— Вот — писатель! Он силой искренности своей Достоевского напоминает, только Достоевский политиканствовал и кокетничал, а этот — проще, искреннее. Если б он в бога верил, из него вышел бы сектант какой-нибудь.

— А как же вы говорили — тульский писатель и — таланта нет?

Спрятал глаза под мохнатыми бровями и ответил:

— Он писал плохо. Что у него за язык? Больше знаков препинания, чем слов. Талант — это любовь. Кто любит, тот и талантлив. Смотрите на влюбленных, — все талантливы!

О Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая.

— Ему бы познакомиться с учением Конфуция или буддистов, это успокоило бы его. Это — главное, что нужно знать всем и всякому. Он был человек буйной плоти. Рассердится — на лысине у него шишки вскакивают и ушами двигает. Чувствовал многое, а думал — плохо, он у этих, у фурьеристов, учился думать, у Буташевича и других. Потом — ненавидел их всю жизнь. В крови у него было что-то еврейское. Мнителен был, самолюбив, тяжел и несчастен. Странно, что его так много читают, не понимаю — почему! Ведь тяжело и бесполезно,

потому что все эти Идиоты, Подростки, Раскольниковы и всё — не так было, всё проще, понятнее. А вот Лескова напрасно не читают, настоящий писатель, — вы читали его?

— Да. Очень люблю, особенно — язык.

— Язык он знал чудесно, до фокусов. Странно, что вы его любите, вы какой-то не русский, у вас не русские мысли, — ничего, не обидно, что я так говорю? Я — старик и, может, теперешнюю литературу уже не могу понять, но мне все кажется, что она — не русская. Стали писать какие-то особенные стихи, — я не знаю, почему это стихи и для кого. Надо учиться стихам у Пушкина, Тютчева, Шеншина. Вот вы, — он обратился к Чехову, — вы русский! Да, очень, очень русский.

И, ласково улыбаясь, обнял А. П. за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах.

Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды А. П. шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

— Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный; тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто — чудесный!

Как-то вечером, в сумерках, жмурясь, двигая бровями, он читал вариант той сцены из «Отца Сергия», где рассказано, как женщина идет соблазнять отшельника, прочитал до конца, приподнял голову и, закрыв глаза, четко выговорил:

— Хорошо написал старик, хорошо!

Вышло у него это изумительно просто, восхищение красотой было так искренно, что я вовек не забуду восторга, испытанного мною тогда, — восторга, который я не мог, не умел выразить, но и подавить его мне стоило огромного усилия. Даже сердце остановилось, а потом все вокруг стало живительно свежо и ново.

Надо было видеть, как он говорит, чтоб понять особенную, невыразимую красоту его речи, как будто неправильной, избыточной повторениями одних и тех же слов, насыщенной деревенской простотой. Сила слов его была не только в интонации, не в трепете лица, а в игре и блеске глаз, самых красноречивых, какие я видел когда-либо. У Л. Н. была тысяча глаз в одной паре.

Сулер, Чехов, Сергей Львович и еще кто-то, сидя в парке, говорили о женщинах; он долго слушал безмолвно и вдруг сказал:

— А я про баб скажу правду, когда одной ногой в могиле буду, — скажу, прыгну в гроб, крышкой прикроюсь — возьми-ка меня тогда! — И его взгляд вспыхнул так озорно-жутко, что все замолчали на минуту.

В нем, как я думаю, жило дерзкое и пылкое озорство Васьки Буслаева и часть упрямой души протопопа Аввакума, а где-то наверху или сбоку таился чаадаевский скептицизм. Проповедовало и терзало душу художника Аввакумова начало, низвергал Шекспира и Данте — озорник новгородский, а чаадаевское усмехалось над этими забавами души да — кстати — и над муками ее.

А науку и государственность поражал древний русский человек, доведенный до пассивного анархизма бесплодностью множества усилий своих построить жизнь более человечно.

Это — удивительно! Но черту Буслаева постиг в Толстом силою какой-то таинственной интуиции Олав Гульбрансон, карикатурист «Симплициссимуса»; всмотритесь в его рисунок, сколько в нем меткого сходства с действительным Львом Толстым и сколько на этом лице со скрытыми, спрятанными глазами дерзкого ума, для которого нет святынь неприкосновенных и который не верит «ни в чох, ни в сон, ни в птичий грой».

Стоит предо мной этот старый кудесник, всем чужой, одиноко изъездивший все пустыни мысли в поисках всеобъемлющей правды и не нашедший ее для себя, смотрю я на него, и — хоть велика скорбь утраты, но гордость тем, что я видел этого человека, облегчает боль и горе.

Странно было видеть Л. Н. среди «толстовцев»; стоит величественная колокольня, и колокол ее неустанно гудит на весь мир, а вокруг бегают маленькие, осторожные собачки, визжат под колокол и недоверчиво косятся друг на друга — кто лучше подвыл? Мне всегда казалось, что и яснополянский дом и дворец графини Паниной эти люди насковозь пропитывали духом лицемерия, трусости, мелкого торгашества и ожидания наследства. В «толстовцах» есть что-то общее с теми странниками, которые, расхаживая по глухим углам России, носят с собой собачьи кости, выдавая их за частицы мощей, да торгуют «египетской тьмой» и «слезками» богородицы. Помню, как один из таких апостолов в Ясной Поляне отказывался есть яйца, чтобы не обидеть кур, а на станции Тула аппетитно кушал мясо и говорил:

— Преувеличивает старичок!

Почти все они любят вздыхать, целоваться, у всех потные руки без костей и фальшивые глаза. В то же время это практические люди, они весьма ловко устраивают свои земные дела.

Л. Н., конечно, хорошо понимал истинную цену «толстовцев», понимал это и Сулержицкий, которого он нежно любил и о ком говорил всегда с юношеским жаром, с восхищением. Както в Ясной некто красноречиво рассказывал о том, как ему хорошо жить и как стала чиста душа его, прирав учение Толстого. Л. Н. склонился ко мне и сказал тихонько:

— Все врет, шельмец, но это он для того, чтобы сделать мне приятное...

Многие старались делать ему приятное, но я не наблюдал, чтоб это делали хорошо и умело. Он почти никогда не говорил со мною на обычные свои темы — о всепрощении, любви к ближнему, о евангелии и буддизме, очевидно, сразу поняв, что все это было бы «не в коня корм». Я глубоко ценил это.

Когда он хотел, то становился как-то особенно красиво деликатен, чуток и мягок, речь его была обаятельно проста, изящна, а иногда слушать его было тяжело и неприятно. Мне всегда не нравились его суждения о женщинах, — в этом он был чрезмерно «простонароден», и что-то деланное звучало в его словах, что-то неискреннее, а в то же время — очень личное. Слово его однажды оскорбили и он не может ни забыть, ни простить. В вечер первого моего знакомства с ним он увел меня к себе в кабинет, — это было в Хамовниках, — усадил против себя и стал говорить о «Вареньке Олесовой», о «Двадцать шесть и одна». Я был подавлен его тоном, даже растерялся — так обнаженно и резко говорил он, доказывая, что здоровой девушке не свойственна стыдливость.

— Если девице минуло пятнадцать лет и она здорова, ей хочется, чтобы ее обнимали, щупали. Разум ее боится еще неизвестного, непонятого ему — это и называют: целомудрие, стыдливость. Но плоть ее уже знает, что непонятое — неизбежно, законно и требует исполнения закона, вопреки разуму. У вас же эта Варенька Олесова написана здоровой, а чувствуете чудосочно, — это неправда!

Потом он начал говорить о девушке из «Двадцати шести», произнося одно за другим «неприличные» слова с простотою, которая мне показалась цинизмом и даже несколько обидела меня. Впоследствии я понял, что он употреблял «отреченные» слова только потому, что находил их более точными и меткими, но тогда мне было неприятно слушать его речь. Я не возражал ему; вдруг он стал внимателен, ласков и начал выспрашивать меня, как я жил, учился, что читал.

— Говорят — вы очень начитанный, — правда? Что Короленко — музыкант?

— Кажется, нет. Не знаю.

— Не знаете? Вам нравятся его рассказы?

— Да, очень.

— Это — по контрасту. Он — лирик, а у вас нет этого.

Вы читали Вельтмана?

— Да.

— Не правда ли — хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя. Он знал Бальзака. А Гоголь подражал Марлинскому.

Когда я сказал, что Гоголь, вероятно, подчинился влиянию Гофмана, Стерна и, может быть, Диккенса, — он, взглянув на меня, спросил:

— Вы это прочитали где-нибудь? Нет? Это неверно. Гоголь едва ли знал Диккенса. А вы действительно много читали, — смотрите, это вредно! Кольцов погубил себя этим.

Провожая, он обнял меня, поцеловал и сказал:

— Вы — настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо — ничего! Умные люди поймут.

Эта первая встреча вызвала у меня впечатление двойственное: я был и рад и гордился тем, что видел Толстого, но его беседа со мной несколько напоминала экзамен, и как будто я видел не автора «Казаров», «Холстомера», «Войны», а барина, который, снисходя ко мне, считал нужным говорить со мной в каком-то «народном стиле», языком площади и улицы, а это опрокидывало мое представление о нем, — представление, с которым я сжился и оно было дорого мне.

Второй раз я видел его в Ясной. Был осенний хмурый день, моросил дождь, а он, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботинки — настоящие мокроступы, — повел меня гулять в березовую рощу. Молодо прыгает через канавы, лужи, отряхает капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывает, как Шеншин объяснял ему Шопенгауэра в этой роще. И ласковой рукою любовно гладит сыроватые, атласные стволы берез.

— Недавно прочитал где-то стихи:

Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной...

— очень хорошо, очень верно!

Вдруг под ноги нам подкатился заяц. Л. Н. подскочил, завершился весь, лицо вспыхнуло румянцем и, таким старым зверьбоем, как гикнет. А потом — взглянул на меня с невыразимой улыбкой и засмеялся умным, человечьим смешком. Удивительно хорош был в эту минуту!

В другой раз там же, в парке, он смотрел на коршуна, — коршун реял над скотным двором, сделает круг и остановится в воздухе, чуть покачиваясь на крыльях, не решаясь: бить, али еще рано? Л. Н. вытянулся весь, прикрыл глаза ладонью и трепетно шепчет:

— Злодей на кур целит наших. Вот — вот... вот сейчас... ох, боится! Кучер там, что ли? Надо позвать кучера...

И — позвал. Когда он крикнул, коршун испугался, взмыл, метнулся в сторону, — исчез. Л. Н. вздохнул и сказал с явным укором себе:

— Не надо бы кричать, он бы и так ударил...

Однажды, рассказывая ему о Тифлисе, я упомянул имя В. В. Флеровского-Берви.

— Вы знали его? — оживленно спросил Л. Н. — Расскажите, какой он.

Я стал рассказывать о том, как Флеровский — высокий, длинноротый, худой, с огромными глазами, — надев длинный парусиновый хитон, привязав к поясу узелок риса, вареного в красном вине, вооруженный огромным холщовым зонтом, бродил со мной по горным тропинкам Закавказья, как однажды на узкой тропе встретился нам буйвол и мы благообразно ретировались от него, угрожая недоброму животному раскрытым зонтом, пятясь задом и рискуя свалиться в пропасть. Вдруг я заметил на глазах Л. Н. слезы, это смутило меня, я замолчал.

— Это ничего, говорите, говорите! Это у меня от радости слушать о хорошем человеке. Какой интересный! Мне он так и представлялся, особенным. Среди писателей-радикалов он — самый зрелый, самый умный, у него в «Азбуке» очень хорошо доказано, что вся наша цивилизация — варварская, а культура — дело мирных племен, дело слабых, а не сильных, и борьба за существование — лживая выдумка, которой хотят оправдать зло. Вы, конечно, не согласны с этим? А вот Доде — согласен, помните, каков у него Поль Астье?

— А как же согласовать с теорией Флеровского хотя бы роль норманнов в истории Европы?

— Норманны — это другое!

Если он не хотел отвечать, то всегда говорил: «Это другое».

Мне всегда казалось, — и думаю, я не ошибаюсь, — Л. Н. не очень любил говорить о литературе, но живо интересовался личностью литератора. Вопросы: «знаете вы его? какой он? где родился?» — я слышал очень часто. И почти всегда его суждения приоткрывали человека с какой-то особенной стороны.

По поводу В. Г. Короленко он сказал задумчиво:

— Не великоросс, поэтому должен видеть нашу жизнь вернее и лучше, чем видим мы сами.

О Чехове, которого ласково и нежно любил:

— Ему мешает медицина, не будь он врачом, — писал бы еще лучше.

О ком-то из молодых:

— Притворяется англичанином, что всего хуже удастся москвичу.

Мне он не однажды говорил:

— Вы — сочинитель. Все эти ваши Кувалды — выдуманы.

Я заметил, что Кувалда — живой человек.

— Расскажите, где вы его видели.

Его очень насмешила сцена в камере казанского мирового судьи Колонтаева, где я впервые увидел человека, описанного мною под именем Кувалды.

— Белая кость! — говорил он, смеясь и отирая слезы. — Да, да — белая кость! Но — какой милый, какой забавный! А рассказываете вы лучше, чем пишете. Нет, вы — романтик, сочинитель, уж сознайтесь!

Я сказал, что, вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их в жизни; сказал также, что люблю людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже и насилем.

— А насилие — главное зло! — воскликнул он, взяв меня под руку. — Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель? Вот у вас «Мой спутник» — это не сочинено, это хорошо, потому что не выдумано. А когда вы думаете — у вас рыцари родятся, все Амадисы и Зигфриды...

Я заметил, что доколе мы будем жить в тесном окружении человекоподобных и неизбежных «спутников» наших — все строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде.

Он усмехнулся и легонько толкнул меня локтем.

— Отсюда можно сделать очень, очень опасные выводы. Вы — сомнительный социалист. Вы — романтик, а романтики должны быть монархистами, такими они и были всегда.

— А Гюго?

— Это — другое, Гюго. Не люблю его — крикун.

Он нередко спрашивал меня, что я читаю, и всегда упрекал меня за плохой — по его мнению — выбор книг.

— Гиббон — это хуже Костомарова, надо читать Момсена, — очень надоедливый, но — солидно все.

Узнав, что первая книга, прочитанная мною, — «Братья Земганно», он даже возмущился.

— Вот видите — глупый роман. Это вас и испортило. У французов три писателя: Стендаль, Бальзак, Флобер, ну еще — Мопассан, но Чехов — лучше его. А Гонкуры — сами клоуны, они только прикидывались серьезными. Изучали жизнь по книжкам, написанным такими же выдумщиками, как сами они, и думали, что это серьезное дело, а это никому не нужно.

Я не согласился с его оценкой, и это несколько раздражило Л. Н., — он с трудом переносил противоречия, и порою его суждения принимали странный, капризный характер.

— Никакого вырождения нет, — говорил он, — это выдумал итальянец Ломброзо, а за ним, как попугай, кричит еврей Нордау. Италия — страна шарлатанов, авантюристов, — там родятся только Аретино, Казанова, Калиостро и все такие.

— А Гарибальди?

— Это — политика, это — другое!

На целый ряд фактов, взятых из истории купеческих семей в России, он ответил:

— Это неправда, это только в умных книжках пишут...

Я рассказал ему историю трех поколений знакомой мне купеческой семьи, — историю, где закон вырождения действовал особенно безжалостно; тогда он стал возбужденно дергать меня за рукав, уговаривая:

— Вот это — правда! Это я знаю, в Туле есть две таких семьи. И это надо написать. Кратко написать большой роман, понимаете? Непременно!

И глаза его сверкали жадно.

— Но ведь рыцари будут, Лев Николаевич!

— Оставьте! Это очень серьезно! Тот, который идет в монахи молиться за всю семью, — это чудесно! Это — настоящее: вы — грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой — скучающий, стяжатель-строитель, — тоже правда! И что он пьет, и зверь, распутник, и любит всех, а — вдруг — убил, — ах, это хорошо! Вот это надо написать, а среди воров и нищих нельзя искать героев, не надо! Герои — ложь, выдумка, есть просто люди, люди и — больше ничего.

Он очень часто указывал мне на преувеличения, допускаемые мною в рассказах, но однажды, говоря о второй части «Мертвых душ», сказал, улыбаясь добродушно:

— Все мы — ужас какие сочинители. Вот и я тоже, иногда пишешь, и вдруг — станет жалко кого-нибудь, возьмешь и прибавишь ему черту получше, а у другого — убавишь, чтоб те, кто рядом с ним, не очень уж черны стали.

И тотчас же суровым тоном непреклонного судьи:

— Вот поэтому я и говорю, что искусство — ложь, об-

ман и произвол и вредно людям. Пишешь не о том, что есть настоящая жизнь, как она есть, а о том, что ты думаешь о жизни, ты сам. Кому же полезно знать, как я вижу эту башню или море, татарина, — почему интересно это, зачем нужно?

Иной раз мысли и чувства его казались мне напизно и даже как бы нарочито изломанными, но чаще он поражал и опроверкивал людей именно суровой прямою мысли, точно Иов, бесстрашный совопросник жестокого бога.

Рассказывал он:

— Иду я, — как-то, в конце мая, Киевским шоссе; земля — рай, все ликует, небо безоблачно, птицы поют, пчелы гудят, солнце такое милое, и все кругом — празднично, чело-вечно, великолепно. Был я умилен до слез и тоже чувствовал себя пчелой, которой даны все лучшие цветы земли, и бога чувствовал близко душе. Вдруг вижу: в стороне дороги, под кустами, лежат странник и странница, егозят друг по другу, оба серые, грязные, старенькие, — возятся, как черви, и мычат, бормочут, а солнце без жалости освещает их голые, синие ноги, дряблые тела. Так и ударило меня в душу. Господи, ты — творец красоты: как тебе не стыдно? Очень плохо стало мне...

— Да, вот видите, что бывает. Природа — ее богомилы считали делом дьявола — жестоко и слишком насмешливо мучает человека: силу отнимет, а желание оставит. Это — для всех людей живой души. Только человеку дано испытать весь стыд и ужас такой муки, — в плоть данной ему. Мы носим это в себе как неизбежное наказание, а — за какой грех?

Когда он рассказывал это, глаза его странно изменялись — были то детски жалобны, то сухо и сурово ярки. А губы вздрагивали, и усы щетинились. Рассказав, он вынул платок из кармана блузы и крепко вытер лицо, хотя оно было сухое. Потом расправил бороду крючковатыми пальцами мужицкой сильной руки и повторил тихонько:

— Да, — за какой грех?

Однажды я шел с ним нижней дорогой от Дюльбера к Ай-Тодору. Он, шагая легко, точно юноша, говорил несколько более нервно, чем всегда:

— Плоть должна быть покорным псом духа, куда пошлет ее дух, туда она и бежит, а мы — как живем? Мечется, буйствует плоть, дух же следует за ней беспомощно и жалко.

Он крепко потер грудь против сердца, приподнял брови и, вспоминая, продолжал:

— В Москве, около Сухаревой, в глухом проулке, видел я, осенью, пьяную бабу; лежала она у самой панели. Со двора так грязный ручей, прямо под затылок и спину бабе, лежит она

в этой холодной подливке, бормочет, возится, хлопает телом по мокрому, а встать не может.

Его передернуло, он зажмурил глаза, потряс головою и предложил тихонько:

— Сядемте здесь... Это — самое ужасное, самое противное — пьяная баба. Я хотел помочь ей встать и — не мог, побрезговал; вся она была такая склизкая, жидкая, дотронулся до нее — месяц руки не отмоешь, — ужас! А на тумбе сидел светленький, сероглазый мальчик, по щекам у него слезы бегут, он шмыгает носом и тянет безнадежно, устало:

— Ма-ам... да ма-амка же. Встань же...

Она пошевелит руками, хрюкнет, приподнимет голову и опять — шлеп затылком в грязь.

Замолчал, потом, оглядываясь вокруг, повторил беспокойно, почти шепотом:

— Да, да, — ужас! Вы много видели пьяных женщин? Много, — ах, боже мой! Вы — не пишите об этом, не нужно!

— Почему?

Заглянул в глаза мне и, улыбаясь, повторил:

— Почему?

Потом раздумчиво и медленно сказал:

— Не знаю. Это я — так... стыдно писать о гадостях. Ну — а почему не писать? Нет, — нужно писать все, обо всем...

На глазах у него показались слезы. Он вытер их и — все улыбаясь — посмотрел на платок, а слезы снова текут по морщинам.

— Плачу, — сказал он. — Я — старик, у меня к сердцу подкатывает, когда я вспоминаю что-нибудь ужасное.

И, легонько толкая меня локтем:

— Вот и вы, — проживете жизнь, а все останется, как было, — тогда и вы заплачете, да еще хуже меня, — «ручьистее», говорят бабы... А писать все надо, обо всем, иначе светленький мальчик обидится, упрекнет, — неправда, не вся правда, скажет. Он — строгий к правде.

Вдруг встряхнулся весь и добрым голосом предложил:

— Ну, расскажите что-нибудь, вы хорошо рассказываете. Что-нибудь про маленького, про себя. Не верится, что вы тоже были маленьким, такой вы — странный. Как будто и родились взрослым. В мыслях у вас много детского, незрелого, а — знаете вы о жизни довольно много; больше не надо. Ну, рассказывайте...

И удобно прилег под сосной, на ее обнаженных корнях, наблюдая, как муравьишки суетятся и возятся в серой хвое.

Среди природы юга, непривычно северянину разнообразной,

среди самодовольно пышной, хвастливо разнузданной растительности, он, Лев Толстой — даже самое имя обнажает внутреннюю силу его! — маленький человек, весь связанный из каких-то очень крепких, глубоко земных корней, весь такой узловатый, — среди, я говорю, хвастливой природы Крыма он был одновременно на месте и не на месте. Некий очень древний человек и как бы хозяин всего округа, — хозяин и создатель, прибывший после столетней отлучки в свое, им созданное, хозяйство. Много позабыто им, многое ново для него, все — так, как надо, но — не вполне так, и нужно тотчас найти — что не так, почему не так.

Он ходит по дорогам и тропинкам спорой, спешной походкой умелого испытателя земли и острыми глазами, от которых не скроется ни один камень и ни единая мысль, смотрит, измеряет, щупает, сравнивает. И разбрасывает вокруг себя живые зерна неукротимой мысли. Он говорит Сулеру:

— Ты, Левушка, ничего не читаешь, это нехорошо, потому что самонадеянно, а вот Горький читает много, это — тоже нехорошо, — это от недоверия к себе. Я — много пишу, и это нехорошо, потому что — от старческого самолюбия, от желанья, чтобы все думали по-моему. Конечно, — я думаю хорошо для себя, а Горький думает, что для него нехорошо это, а ты — ничего не думаешь, просто: хлопаешь глазами, высматриваешь — во что вцепиться. И вцепишься не в свое дело, — это уже бывало с тобой. Вцепишься, поддержишься, а когда оно само начнет отваливаться от тебя, ты и удерживать не станешь. У Чехова есть прекрасный рассказ «Душечка», — ты почти похож на нее.

— Чем? — спросил Сулер смеясь.

— Любить — любишь, а выбрать — не умеешь и уйдешь весь на пустяки.

— И все так?

— Все? — повторил Л. Н. — Нет, не все.

И неожиданно спросил меня, — точно ударил:

— Вы почему не веруете в бога?

— Веры нет, Лев Николаевич.

— Это — неправда. Вы по натуре верующий, и без бога вам нельзя. Это вы скоро почувствуете. А не веруете вы из упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо. Не веруют также по застенчивости; это бывает с юношами: боготворят женщину, а показать это не хотят, боятся — не поймет, да и храбрости нет. Для веры — как для любви — нужна храбрость, смелость. Надо сказать себе — верую, — и все будет хорошо, все явится таким, как вам нужно, само себя объяснит

вам и привлечет вас. Вот вы многое любите, а вера — это и есть усиленная любовь, надо полюбить еще больше — тогда любовь превратится в веру. Когда любят женщину — так самую лучшую на земле, — непременно и каждый любит самую лучшую, а это уже — вера. Неверующий не может любить. Он влюбляется сегодня в одну, через год — в другую. Душа таких людей — бродяга, она живет бесплодно, это — нехорошо. Вы родились верующим, и нечего ломать себя. Вот вы говорите — красота? А что же такое красота? Самое высшее и совершенное — бог.

Раньше он почти никогда не говорил со мной на эту тему, и ее важность, неожиданность как-то смяла, опрокинула меня. Я молчал. Он, сидя на диване, поджав под себя ноги, выпустил в бороду победоносную улыбочку и сказал, грозя пальцем:

-- От этого — не отмолчитесь, нет!

А я, не верующий в бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю.

«Этот человек — богоподобен!»

Прочитав книжку «Уход Толстого», сочиненную господином Чертковым, я подумал: вероятно, найдется человек, который укажет в печати, что прямая и единственная цель этого сочинения — опорочить умершую Софью Андреевну Толстую.

Рецензий, которые обнажили бы эту благочестивую цель, я до сей поры не встретил. Теперь слышу, что скоро выйдет в свет еще одна книжка, написанная с тем же похвальным намерением: убедить грамотных людей мира, что жена Льва Толстого была его злым демоном, а подлинное имя ее — Ксантиппа. Очевидно: утверждение этой «правды» считается крайне важным и совершенно необходимым для людей, особенно же — я думаю — для тех, которые духовно и телесно питаются скандалами.

Нижегородский портной Гамиров говаривал: «Можно шить костюм для украшения человека, можно и для искажения».

Правду, украшающую человека, создают художники, все же остальные жильцы земли наскоро, хотя и ловко, шьют «правды» для искажения друг друга. И, кажется, мы так неумоимо пеняем друг на друга потому, что человек человеку — зеркало.

Меня никогда не прельщало исследование ценности тех «правд», которые, по древнему русскому обычаю, пишутся дегтем на воротах, но мне хочется сказать несколько слов о единственной подруге великого Льва Толстого, как я вижу и чувствую ее.

Человек, конечно, не становится лучше оттого, что он умер: это ясно хотя бы потому, что о мертвых мы говорим так же скверно и несправедливо, как о живых. О крупных людях, которые, посвятив нам всю жизнь, все силы чуда творящего духа своего, легли, наконец, в могилу, искусно замученные нашей пошлостью, — об этих людях мы говорим и пишем, на-

жется, всегда только для того, чтобы убедить самих себя: люди эти были такими же несчастными грешниками, каковы мы сами.

Преступление честного человека, хотя бы случайное и ничтожное, радует нас гораздо больше, чем бескорыстный и даже героический поступок подлеца, ибо: первый случай нам удобно и приятно рассматривать как необходимый закон, второй же тревожно волнует нас, как чудо, опасно нарушающее наше привычное отношение к человеку.

И всегда в первом случае мы скрываем радость под лицемерным сожалением, во втором же, лицемерно радуясь, тайно боимся: а вдруг подлецы, черт их возьми, сделаются честными людьми, — что же тогда с нами будет?

Ведь, как справедливо сказано, в большинстве своем люди «к добру и злу постыдно равнодушны», они и хотят пребыть таковыми до конца своей жизни; поэтому и добро и зло, в сущности, одинаково враждебно тревожит нас, и чем они ярче, тем более тревожат.

Эта прискорбная тревога нищих духом наблюдается и в нашем отношении к женщине. В литературе, в жизни мы хвастливо кричим:

«Русская женщина — вот лучшая женщина мира».

Крик этот напоминает мне голос уличного торговца раками:

«Вот — р-раки! Живые р-раки! Крупные р-раки!»

Раков опускают живыми в кипяток и, добавив туда соли, перца, лаврового листа, варят раков до поры, пока они не покраснеют. В этом процессе есть сходство по существу с нашим отношением к «лучшей» женщине Европы.

Признав русскую женщину «лучшей», мы как будто испугались: а что, если она, в самом деле, окажется лучше нас? И при всяком удобном случае мы купаем наших женщин в кипятке жирной пошлости, не забывая, впрочем, сбобрить бульон двумя, тремя листиками лавра. Заметно, что чем более значительна женщина, тем более настойчиво хочется нам заставить ее покраснеть.

Черти в аду мучительно завидуют, наблюдая иезуитскую ловкость, с которой люди умеют порочить друг друга.

Человек не становится ни хуже, ни лучше даже и после смерти своей, но он перестает мешать нам жить, и, не чуждые — в этом случае — чувства благодарности, мы награждаем умершего немедленным забвением о нем, беспорно —

приятным ему. Я думаю, что вообще и всегда забвение — самое лучшее, что мы можем дать живому и мертвому из ряда тех людей, которые совершенно напрасно беспокоят нас своим стремлением сделать людей — лучше, жизнь — гуманнее.

Но и этот хороший обычай забвения умерших нередко нарушается нашей мелкой злобой, нищенской жадной мести и лицемерием нашей морали, как о том свидетельствует, например, отношение к покойной Софье Андреевне Толстой.

Полагаю, что я могу говорить о ней совершенно беспристрастно, потому что она мне очень не нравилась, а я не пользовался ее симпатиями, чего она, человек прямодушный, не скрывала от меня. Ее отношение ко мне нередко принимало характер даже обидный, но — не обижало, ибо я хорошо видел, что она рассматривает большинство людей, окружавших ее великомученика мужа, как мух, комаров, вообще — как паразитов.

Возможно, что ревность ее иногда огорчала Льва Толстого. Здесь для остроумных людей является удобный случай вспомнить басню «Пустынный и Медведь». Но будет еще более уместно и умно, если они представят себе, как велика и густа была туча мух, окружавших великого писателя, и как надоедливы были некоторые из паразитов, кормившихся от духа его. Каждая муха стремилась оставить след свой в жизни и в памяти Толстого, и среди них были столь назойливые, что вызвали бы ненависть даже в любвеобильном Франциске Ассизском. Тем более естественно было враждебное отношение к ним Софьи Андреевны, человека страстного. Сам же Лев Толстой, как все великие художники, относился к людям очень снисходительно; у него были свои, оригинальные оценки, часто совершенно не совпадавшие с установленной моралью; в «Дневнике» 1882 года он записал об одном знакомом своем:

«Если б у него не было страсти к собакам, он был бы отъявленный мерзавец».

Уже в конце 80-х годов его жена могла убедиться, что близость ко Льву Толстому некоторых из стада поклонников и «учеников» приносит ему только неприятности и огорчения. Ей, разумеется, известны были скандальные и тяжелые драмы в «толстовских» колониях, такие, как, например, драма Симбирской колонии Архангельского, кончившаяся самоубийством крестьянской девицы и вскоре после того изображенная в нашумевшем рассказе Каронина «Борская колония».

Она знала скверные публичные «обличения лицемерия графа Толстого», авторами которых являлись такие раскаяв-

шиеся «толстовцы», как, например, Ильин, сочинитель исторически злой книжки «Дневник толстовца», она читала статьи бывшего ученика Льва Толстого и организатора колонии Новоселова, — он печатал статьи эти в «Православном обозрении». журнале «воинствующей церкви», ортодонсальном, как полицейский участок.

Ей, наверное, известна была лекция о Толстом профессора казанской духовной академии Гусева, одного из наиболее назойливых обличителей «ереси самовлюбленного графа»; в лекции этой профессор, между прочим, заявил, что он пользовался сведениями о домашней жизни «яснополянского лжемудреца», от людей, увлекавшихся его сумбурной ересью.

Среди таких «увлеченных» проповедью мужа ее она видела Меньшикова, который, насытив свою книгу «О любви» идеями Толстого, быстро превратился в мрачного изувера и начал сотрудничать в «Новом времени» как один из наиболее видных человеконенавистников, шумно и талантливо работавших в этой распутной газете.

Много видела она таких людей и в их числе самородка поэта Булгакова, обласканного ее мужем: Лев Толстой печатал его бездарные стихи в «Русской мысли», а малограмотный, больной и болезненно самолюбивый стихотворец, в благодарность за это, сочинил грязную статейку «У Толстого. Открытое письмо ему». Статейка была написана так грубо, лживо и малограмотно, что, кажется, нигде не решились напечатать ее; даже в редакции «Московских ведомостей» написали на рукописи: «Не будет напечатано вследствие крайней грубости». Эту рукопись вместе с надписью Булгаков послал Толстому — и при письме, в котором требовал, чтоб Толстой опубликовал «правду о себе».

Вероятно, не дешево стоила Софье Андреевне история известного «толстовца» Буланже, и, конечно, всем этим не исчерпывается все то грубое, лицемерное, своекорыстное, что видела она от людей, якобы «единомыслящих» со Львом Толстым

Отсюда вполне понятно ее острое недоверие к поклонникам и ученикам мужа, этими фактами вполне оправдывается ее стремление отпугнуть паразитов от человека, величие творчества, напряженность духовной жизни которого она прекрасно видела и понимала. И несомненно, что благодаря ей Лев Толстой не испытал многих ударов ослиных копыт, много грязи и бешеной слюны не коснулось его.

Напомню, что в 80-х годах почти каждый грамотный бездельник считал делом чести своей обличение религиозных,

философских, социальных и прочих заблуждений мирового гения. Эти обличения доходили — по-видимому — и до людей «простого сердца», — бессмертна милая старушка, которая подкладывала хворост в костер Яна Гуса.

Я, как сейчас, вижу казанского кондитера Маломеркова у котла, в котором варился сироп для карамели, и слышу задумчивые слова делателя конфет и пирожных: «Вот бы ехидну Толстого прокипятить, еретика...»

Царицынский парикмахер написал сочинение, озаглавленное — если не ошибаюсь — «Граф Толстой и святые пророки». Один из местных священников размашисто начертил на первом листе рукописи ярко-лиловыми чернилами: «Всемерно одобряю сей труд, кроме грубости выражений гнева, впрочем справедливого».

Мой товарищ, телеграфист Юрин, умный горбун, выпросил у автора рукопись, мы читали ее, и я был ошеломлен дикой злобой циркуляника против автора «Поликушки», «Казаков», «В чем моя вера» и, кажется, «Сказки о трех братьях» — произведений, незадолго пред этим впервые прочитанных мною.

По донским станицам, по станциям Грязе-Царицынской и Волго-Донской дорог ходил хромой старик, казак из Лога, он рассказывал, что «под Москвой граф Толстой бунт против веры и царя поднимает», отнял землю у каких-то крестьян и отдал ее «почтальонам из господ, родственникам своим».

Отзвуки этой темной сумятицы чувств и умов, вызванной громким голосом мятежной совести гения, наверное достигали Ясной Поляны, и, конечно, 80-е годы были не только поэтому наиболее трудными в жизни Софии Андреевны. Ее роль в ту пору я вижу героической ролью. Она должна была иметь много душевной силы и зоркости для того, чтобы скрыть от Льва Толстого много злого и пошлого, многое, что ему — да и никому — не нужно знать и что могло повлиять на его отношение к людям.

Клевету и зло всего проще убить — молчанием.

Если мы беспристрастно посмотрим на жизнь учителей, мы увидим, что не только они — как принято думать — портят учеников, но и ученики искажают характер учителя, одни — своей тупостью, другие — озорством, третьи — карикатурным усвоением учения. Лев Толстой не всегда вполне равнодушно относился к оценкам его жизни и работы.

Наконец — жена его, вероятно, не забывала, что Толстой живет в стране, где все возможно и где правительство без суда сажает людей в тюрьмы и держит их там по двадцать лет.

«Еретик» священник Золотницкий даже тридцать лет просидел в тюрьме Суздальского монастыря, его выпустили на волю лишь тогда, когда разум его совершенно угас.

Художник не ищет истины, он создает ее.

Не думаю, чтобы Льва Толстого удовлетворяла та истина, которую он проповедовал людям. В нем противоречиво и, должно быть, очень мучительно совмещались два основных типа разума: созидающий разум творца и скептический разум исследователя. Автор «Войны и мира» придумал и предлагал людям свое вероучение, может быть, только для того, чтоб они не мешали его напряженной и требовательной работе художника. Весьма допустимо, что гениальный художник Толстой смотрел на упрямого проповедника Толстого снисходительно улыбаясь, насмешливо покачивая головою. В «Дневнике юности» Толстого есть прямые указания на его резко враждебное отношение к мысли аналитической; так, например, в 52 г. III, 22, он записал:

«Мыслей особенно много может вмещаться в одно и то же время особенно в пустой голове».

Видимо, уже тогда «мысли» мешали основной потребности его сердца и духа — потребности художественного творчества. Лишь тем, что он мучительно испытывал мятеж «мыслей» против его бессознательного тяготения к искусству, — только этим борением двух начал в духе его можно объяснить, почему он сказал:

«...сознание есть величайшее зло, которое только может постичь человека».

В одном из писем к Арсеньевой он сказал:

«Ум, слишком большой, противен».

Но «мысли» одолели его, принудив собирать и связывать их в некое подобие философской системы. Он тридцать лет пытался сделать это, и мы видели, как великий художник дошел до отрицания искусства, неоспоримо основного стержня своей души.

В последние дни своей жизни он писал, что:

«Живо почувствовал грех и соблазн писательства, — почувствовал его на других и перенес основательно на себя».

В истории человечества нет другого, столь печального случая; по крайней мере я не помню ни одного из великих художников мира, который пришел бы к убеждению, что искусство, — самое прекрасное из всего, достигнутого человеком, — есть грех.

Кратко говоря: Лев Толстой был самым сложным человеком

среди всех крупнейших людей XIX столетия. Роль единственного интимного друга, жены, матери многочисленных детей и хозяйки дома Льва Толстого, — роль неоспоримо очень тяжелая и ответственная. Возможно ли отрицать, что София Толстая лучше и глубже, чем кто-либо иной, видела и чувствовала, как душно, тесно гению жить в атмосфере обыденного, сталкиваясь с пустыми людьми? Но в то же время она видела и понимала, что великий художник поистине велик, когда тайно и чудесно творит дело духа своего, а играя в преферанс и проигрывая, он сердится, как обыкновенный смертный, и даже порою неосновательно сердится, приписывая свои ошибки другому, как это делают простые люди и как, вероятно, делала сама она.

Не одна только София Толстая плохо понимала, зачем гениальному романисту необходимо пахать землю, класть печати, тачать сапоги, — этого не понимали многие, весьма крупные современники Толстого. Но они только удивлялись необычному, тогда как София Толстая должна была испытывать иные чувства. Вероятно, она вспоминала, что один из русских теоретиков «нигилизма», — между прочим, автор интересного исследования о Аполлонии Тианском, — провозгласил:

«Сапоги — выше Шекспира».

Конечно, София Толстая неизмеримо более, чем кто-либо иной, была огорчена неожиданной солидарностью автора «Войны и мира» с идеями «нигилизма».

Жить с писателем, который по семи раз читает корректуру своей книги и каждый раз почти наново пишет ее, мучительно волнуясь и волнуя; жить с творцом, который создает огромный мир, не существовавший до него, — можем ли мы понять и оценить все тревоги столь исключительной жизни?

Нам неведомо, что и как говорила жена Льва Толстого в те часы, когда он, глаз на глаз с нею, ей первой читал только что написанные главы книги. Не забывая о чудовищной проницательности гения, я все же думаю, что некоторые черты в образах женщин его грандиозного романа знакомы только женщине и ею подсказаны романисту.

Очевидно, для того чтоб как можно более усложнить путаницу жизни, мы все рождаемся учителями друг друга. Я не встречал человека, которому было бы совершенно чуждо назойливое желание учить ближних. И хотя мне говорили, что порок этот необходим для целей социальной эволюции, я все-таки остаюсь при убеждении, что социальная эволюция значительно выиграла бы в быстроте и гуманности, а люди стали

бы более оригинальны, если б они меньше учили и больше учились.

Головные «мысли», насилуя великое сердце художника Льва Толстого, принудили его в конце концов взять на себя тяжкую и неблагодарную роль «учителя жизни». Неоднократно указывалось, что «учительство» искажало работу художника. Я думаю, что в грандиозном историческом романе Толстого было бы больше «философии» и меньше гармонии, если б в нем не чувствовалось влияния женщины. И, может быть, именно по настоянию женщины философическая часть «Войны и мира» выделена и отодвинута в конец книги, где она ничему и никому не мешает.

К числу заслуг женщины пред нами следует отнести и тот факт, что она не любит философии, хотя и рождает философов. В искусстве вполне достаточно философии. Художник, умея одевать нагие мысли в прекрасные образы, чудесно скрывает печальное бессилие философии пред лицом темных загадок жизни. Горькие пилюли детям всегда дают в красивых корбочках, — это очень умно и очень милостиво.

Саваоф создал мир так скверно, потому что был холост. Это не только шутка атеиста, в этих словах выражена непоколебимая уверенность в значении женщины как возбудителя творчества и гармонизатора жизни. Избитая легенда о «грехопадении» Адама никогда не потеряет своего глубокого смысла: мир обязан всем счастьем своим жадному любопытству женщины. Несчастиями мир обязан коллективной глупости всех людей, в том числе и глупости женщин.

«Любовь и голод правят миром» — это самый правдивый и уместный эпиграф к бесконечной истории страданий человека. Но там, где правит любовь, мы, недавние звери, имеем культуру. — искусство и все великое, чем справедливо гордимся. Там же, где возбудителем деяний наших является голод, мы получаем цивилизацию и все несчастья, сопряженные с нею, все тяготы и ограничения, впрочем — необходимые недавним зверям. Самый страшный вид тупоумия — жадность, свойство зоологическое. Будь люди менее жадны, они были бы более сыты, более умны. Это не парадокс; ведь ясно: если б мы научились делиться излишками, которые только отягощают нашу жизнь, — мир был бы счастливее, люди — благообразней. Но только одни люди искусства и науки отдают миру все сокровища своего духа, и, как все, питая, после смерти, червей, они еще при жизни служат пищей критиков и моралистов,

которые растут на коже их, как паразитивные лишай на коре плодовых деревьев.

Роль змея в раю играл Эрос, неукротимая сила, которой Лев Толстой подчинялся охотно и служил усердно. Я не забыл, кем написана «Крейцеров соната», но я помню, как нижегородский купец А. П. Большаков, семидесяти двух лет от рода, наблюдая из окна дома своего гимназисток, идущих по улице, сказал, вздохнув:

— Эх, зря состарился рано я! Вот — барышни, а мне они не нужны, только злость и зависть будят.

Я уверен, что не потемню яркий образ великого писателя, сказав: в «Крейцеровой сонате» чувствуется вот эта, вполне естественная и законная большаковская злость. Да и сам Лев Толстой жаловался на бесстыдную иронию природы, которая, истощив силу, оставляет желание.

Говоря о жене его, следовало бы помнить, что при всей страстности натуры художника София Андреевна была единственной его женщиной на протяжении почти полувека. Она была его интимным, верным и, кажется, единственным другом. Хотя, по щедрости богатого духом, Лев Толстой называл друзьями многих людей, но ведь это были только единомышленники его. И, согласитесь, трудно представить человека, который поистине годился бы в друзья Толстому.

Уже один этот факт неизменности и длительности единения с Толстым дает Софии Андреевне право на уважение всех истинных и ложных почитателей работы и памяти гения; уже только поэтому господа исследователи «семейной драмы» Толстого должны бы сдерживать свое злоязычие, узко личные чувства обиды и мести, их «психологические розыски», несколько напоминающие грязенькую работу полицейских сыщиков, их бесцеремонное и даже циничское стремление приобщиться хоть кожей пальцев к жизни величайшего писателя.

Вспоминая о счастливых днях и великой чести моего знакомства со Львом Толстым, я нарочито умолчал о Софии Андреевне. Она не нравилась мне. Я подметил в ней ревнивое, всегда туго и, пожалуй, болезненно натянутое желание подчеркнуть свою неоспоримо огромную роль в жизни мужа. Она несколько напоминала мне человека, который, показывая в ярмарочном балагане старого льва, сначала страшит публику силою зверя, а потом демонстрирует, что именно он, укротитель, — тот самый, единственный на земле человек, которого лев слушается и любит. На мой взгляд, такие демонстрации были совершенно излишни для Софии Толстой, порою — комичны и даже несколько унижали ее. Ей не следовало подчер-

кивать себя еще и потому, что около Толстого не было в те дни никого, кто был бы способен померяться с его женой умом и энергией. Ныне, видя и зная отношение к ней со стороны различных Чертковых, я нахожу, что и мотивы ревности к чужим людям, и явное стремление встать впереди мужа, и еще кое-что неприятное в ней — все это вызвано и оправдано отношением к жене Толстого и при жизни и после смерти его.

Я наблюдал Софию Андреевну в течение нескольких месяцев в Гаспре, в Крыму, когда Толстой был настолько опасно болен, что, ожидая его смерти, правительство уже прислало из Симферополя прокурора, и чиновник сидел в Ялте, готовясь, как говорили, конфисковать бумаги писателя. Имение графини С. Паниной, где жили Толстые, было окружено шпионами, они шлялись по парку, и Леопольд Сулержицкий выгонял их, как свиней из огорода. Часть рукописей Толстого Сулержицкий уже тайно перевез в Ялту и спрятал там.

Если не ошибаюсь, в Гаспре собралась вся семья Толстого: дети, зятья, снохи; мое впечатление: там было очень много беспомощных и больных людей. Я мог хорошо видеть, в каком вихре ядовитейших «мелочей жизни» кружилась Толстая-мать, пытаюсь охранить покой больного, его рукописи, устроить удобнее детей, отстранить шумную назойливость «искренно сочувствующих» посетителей, профессиональных зрителей и всех накормить, попить. Нужно было также примирять взаимную ревность врачей, — каждый из них был уверен, что именно ему одному принадлежит великая заслуга исцеления больного.

Не преувеличивая, можно сказать, что в эти тяжелые дни, — как, впрочем, всегда во дни несчастий, — ветер злой пошлости намел в дом огромное количество всякого сора: мелких неприятностей, тревожных пустяков. Лев Толстой не был так богат, как об этом принято думать, он был литератор, живший на литературный заработок свой с кучей детей, хотя и очень взрослых, но не умевших работать. В этом вихре ослепляющей житейской пыли Софья Андреевна носилась с утра до вечера, нервно оскалив зубы, зорко прищурив умные глаза, изумляя своей неутомимостью, умением всюду поспеть вовремя, всех успокоить, прекратить комариное нытье маленьких людей, взаимно недовольных друг другом.

Испуганно ходила анемичная жена Андрея Толстого; беременная, она оступилась, ожидали выкидыша. Задышался и хрипел муж Татьяны Толстой, — у него было больное сердце. Уныло и безуспешно искал партнеров для преферанса Сергей Толстой, человек лет сорока, скромный и бесцветный. Он, впро-

чем, пробовал сочинять музыку и однажды играл у меня пианисту А. Гольденвейзеру романс на слова Тютчева «О чем ты воешь, ветер ночной?». Не помню, как оценил эту музыку Гольденвейзер, но доктор А. Н. Алексин, человек музыкально образованный, нашел в творчестве Сергея Толстого несомненное влияние французских шансонеток.

У меня, повторяю, сложилось странное, хотя, может быть, неверное впечатление: все члены огромной семьи Толстого были нездоровы, все они были мало приятны друг другу, и всем было скучно. Впрочем, кажется, Александра Толстая заболела дизентерией уже тогда, когда отец ее выздоравливал. Все требовали внимания и забот Софьи Толстой, многое могло неприятно и опасно встревожить великого художника, который спокойно собирался отломиться от жизни.

Помню, как С. Толстая заботилась, чтоб в руки мужа ее не попал номер «Нового времени», в котором был напечатан рассказ Льва Толстого-сына или критический фельетон о нем В. П. Буренина. Это легко смешать; дело в том, что Толстой-сын печатал некоторые рассказы свои в той же газете, где злой фельетонист Буренин грубо высмеивал его, именуя «Тигр Тигрович Соскин-Младенцев», и даже указывал адрес неудачливого писателя: «У Спаса на Болвановке, Желтый дом».

Лев Толстой-сын был весьма озабочен тем, чтоб его не заподозрили в подражании великому отцу, и, видимо, с этой целью напечатал в неряшливом журнале Ясинского «Ежемесячные сочинения» «антитолстовский» роман о пользе висмута и вреде мышьяка. Это — не шутка, таково было задание романа. И в этом же журнале Ясинский поместил неприличную рецензию на «Воскресенье» Толстого-отца, причем рецензент разрешил себе говорить и о тех главах романа, которые не были пропущены цензурой в русском издании и явились только в берлинском, появившемся ранее русского. Софья Андреевна справедливо оценивала эту рецензию как донос.

Я говорю обо всем очень не очень охотно и лишь потому, что нахожу нужным еще раз указать, насколько исключительно сложны были условия, среди которых жила Софья Толстая, как много ума и такта требовали они. Как все великие люди, Лев Толстой жил на большой дороге, и каждый, проходящий мимо, считал законным правом своим так или иначе коснуться необычного, удивительного человека. Нет сомнения, что Софья Толстая оттолкнула от мужа немало грязных и корыстных рук, отвела множество равнодушно любопытных пальцев, которые хотели грубо исследовать глубину душевных ран мятежного человека, дорогого ей.

Особенно тяжким грехом Софии Толстой считается ее поведение в дни аграрной революции 5—6 годов. Установлено, что она действовала в эти дни так же, как сотни других русских помещиц, которые нанимали разных воинственных дикарей для «охраны разрушаемой дикарями русской сельскохозяйственной культуры». Толстая тоже, кажется, наняла каких-то кавказских горцев для защиты Ясной Поляны.

Указывают, что жена Льва Толстого, отрицавшего собственность, не должна была мешать мужикам грабить его усадьбу. Но ведь на этой женщине лежала обязанность оберегать жизнь и покой Льва Толстого, он жил именно в Ясной Поляне, и она давала наибольшее количество условий привычного и необходимого покоя для работы его духа. Покой был тем более необходим ему, что он жил уже на последние силы свои, готовый отломиться от мира. Ушел он из Ясной Поляны только через пять лет после этих дней.

Проницательные люди могут вообразить, что здесь скрыт грубый намек: Лев Толстой, революционер, анархист, должен был уйти или лучше бы сделал, если б ушел из усадьбы именно тогда, во время революции. Разумеется, такого намека здесь нет, то, что я хочу сказать, я говорю открыто.

По моему мнению, Льву Николаевичу Толстому вообще и никогда не следовало уходить, а те люди, которые помогали ему в этом, поступили бы более разумно, если б помешали этому. «Уход» Толстого сократил его жизнь, ценную до последней ее минуты, — вот неоспоримый факт.

Пишут, что Толстой был выжит, вытеснен из дома его психически ненормальной женой. Для меня неясно, кто именно из людей, окружавших Льва Толстого в эти дни, был вполне нормален психически. И я не понимаю: почему, признав его жену душевно ненормальной, нормальные люди не догадались обратить должное внимание на нее и не могли изолировать ее.

Органически ненавидевший собственность, анархист по натуре, а не по выучке, честнейший Леопольд Сулержицкий не любил Софью Андреевну Толстую. Но — вот как он рисовал себе ее поведение в 905—6 годах:

«Вероятно, семья Толстого не очень весело смотрела, как мужики растаскивают понемногу имущество Ясной Поляны и рубят березовую рощу, посаженную его руками. Я думаю, что и сам он жалел рощу. Эта общая, может быть и бессловесная, безгласная грусть и жалость вынудила, спровоцировала Софью на поступок, за который — она знала — ей влетит. Не знать, не учесть этого — она не могла, она умная женщи-

на. Но — все грустят, а никто не смеет защищаться. Тогда — рискнула она. Я ее за это уважаю. На днях поеду в Ясную Поляну и скажу ей: уважаю! Хотя и думаю все-таки, что ее молча принудили сделать этот шаг. Но — все это неважно, был бы цел сам Толстой».

Немного зная людей, я думаю, что догадка Сулержицкого — верна. Никто не посмеет сказать, что Лев Толстой был иеискренен, отрицая собственность, но я тоже уверен, что рощу-то ему все-таки было жалко. Она — дело его рук, его личного труда. Тут уж возникает маленькое противоречие древнего инстинкта с разумом, хотя бы искренно враждебным ему.

Прибавлю: мы живем в годы широко и смело поставленного опыта уничтожения частной собственности на землю и орудия труда и вот видим, как темный, проклятый инстинкт этот пронычски разрастается, крепнет, искажая честных людей, создавая из них преступников.

Лев Толстой — великий человек, и нимало не темнит яркий образ его тот факт, что «человеческое» не было чуждо ему. Но это отнюдь не уравнивает его с нами. Психологически было бы вполне естественно, чтоб великие художники и во грехах своих являлись крупнее обыкновенных грешников. В некоторых случаях мы видим, что так оно и есть.

В конце концов — что же случилось?

Только то, что женщина, прожив пятьдесят трудных лет с великим художником, крайне своеобразным и мятежным человеком, женщина, которая была единственным другом на всем его жизненном пути и деятельной помощницей в работе, — страшно устала, что вполне понятно.

В то же время она, старуха, видя, что колоссальный человек, муж ее, отламывается от мира, почувствовала себя одинокой, никому не нужной, и это возмутило ее.

В состоянии возмущения тем, что чужие люди отталкивают ее прочь с места, которое она полвека занимала, София Толстая, говорят, повела себя недостаточно лояльно по отношению к частокоду морали, который возведен для ограничения человека людьми, плохо выдумавшими себя.

Затем возмущение приняло у нее характер почти безумия.

А затем она, покинутая всеми, одиноко умерла, и после смерти о ней вспомнили для того, чтоб с наслаждением клеветать на нее.

Вот и все.

В 4-ой книге «Красного архива» напечатана глубоко интересная статья «Последние дни Льва Толстого». Между прочим, в статье этой приведен доклад жандармского генерала Львова, и вот что читаем в докладе его:

«Андрей Толстой в разговорах с ротмистром Савицким высказывает, что изолирование Толстого от семьи, в особенности от жены, является результатом воздействия именно Черткова на врачей и дочь Александру».

И далее:

«По отдельным фразам можно было заключить, что семья Толстого умышленно не допускается к больному по причинам, не имеющим прямого отношения к состоянию его здоровья».

Весною 1898 года я прочитал в московской газете «Курьер» рассказ «Бергамот и Гараська» — пасхальный рассказ обычного типа; направленный к сердцу праздничного читателя, он еще раз напоминал, что человеку доступно — иногда, при некоторых особых условиях, — чувство великодушия и что порою враги становятся друзьями, хотя и не надолго, скажем — на день.

Со времен «Шинели» Гоголя русские литераторы написали, вероятно, несколько сотен или даже тысячи таких нарочито трогательных рассказов; вокруг великолепных цветов подлинной русской литературы они являются одуванчиками, которые якобы должны украсить нищенскую жизнь больной и жесткой русской души¹.

Но от этого рассказа на меня повеяло крепким дуновением таланта, который чем-то напомнил мне Помяловского, а, кроме того, в тоне рассказа чувствовалась скрытая автором умная улыбочка недоверия к факту, — улыбочка эта легко примирялась с неизбежным сентиментализмом «пасхальной» и «рождественской» литературы.

Я написал автору письмо по поводу рассказа и получил от Л. Андреева забавный ответ; оригинальным почерком, полупечатными буквами он писал веселые, смешные слова, и среди них особенно подчеркнуто выделился незатейливый, но скептический афоризм:

«Сытому быть великодушным столь же приятно, как пить кофе после обеда».

С этого началось мое заочное знакомство с Леонидом Николаевичем Андреевым. Летом я прочитал еще несколько ма-

¹ Весьма вероятно, что в ту пору я думал не так, как изображаю теперь, но старые мои мысли — неинтересно вспоминать. (Прим. М. Горького)

леньких рассказов его и фельетонов Джемса Линча, наблюдая, как быстро и смело развивается своеобразный талант нового писателя.

Осенью, проездом в Крым, в Москве, на Курском вокзале, кто-то познакомил меня с Л. Андреевым. Одетый в старенькое пальто-тулупчик, в мохнатой бараньей шапке набекрень, он напоминал молодого актера украинской труппы. Красивое лицо его показалось мне малоподвижным, но пристальный взгляд темных глаз светился той улыбкой, которая так хорошо сияла в его рассказах и фельетонах. Не помню его слов, но они были необычны, и необычен был строй возбужденной речи. Говорил он торопливо, глуховатым, бухающим голосом, протуженно кашляя, немножко захлебываясь словами и однообразно размахивая рукой, — точно дирижировал. Мне показалось, что это здоровый, неумно веселый человек, способный жить, посмеиваясь над невзгодами бытия. Его возбуждение было приятно.

— Будемте друзьями! — говорил он, пожимая мою руку. Я тоже был радостно возбужден.

Зимой, на пути из Крыма в Нижний, я остановился в Москве, и там наши отношения быстро приняли характер сердечной дружбы

Я видел, что этот человек плохо знает действительность, мало интересуется ею, — тем более удивлял он меня силой своей интуиции, плодovitостью фантазии, цепкостью воображения. Достаточно было одной фразы, а иногда — только меткого слова, чтобы он, схватив ничтожное, данное ему, тотчас развил его в картину, анекдот, характер, рассказ

— Что такое С? — спрашивает он об одном литераторе, довольно популярном в ту пору.

— Тигр из мехового магазина.

Он смеется и, понизив голос, точно сообщая тайну, торопливо говорит:

— А — знаете — надо написать человека, который убедил себя, что он — герой, эдакий разрушитель всего сущего и даже сам себе страшен, — вот как! Все ему верят, — так хорошо он обманул сам себя. Но где-то в своем уголке, в настоящей жизни, он — просто жалкое ничтожество, боится жены или даже кошки

Нанизывая слово за словом на стержень гибкой мысли, он легко и весело создавал всегда что-то неожиданное, своеобразное.

Ладонь одной руки у него была пробита пулей, пальцы сжючены, — я спросил его: как это случилось?

— Экивок юношеского романтизма, — ответил он. — Вы сами знаете, — человек, который не пробовал убить себя — дешево стоит.

Он сел на диван вплоть ко мне и прекрасно рассказал о том, как однажды, будучи подростком, бросился под товарный поезд, но, к счастью, угодил вдоль рельс, и поезд промчался над ним, только оглушив его.

В рассказе было что-то неясное, недействительное, но он украсил его изумительно ярким описанием ощущений человека, над которым с железным грохотом двигаются тысячекруподовые тяжести. Это было знакомо и мне: мальчишкой лет десяти я ложился под балластный поезд, соперничая в смелости с товарищами, — один из них, сын стрелочника, делал это особенно хладнокровно. Забава эта почти безопасна, если топка локомотива достаточно высоко поднята и если поезд идет на подъем, а не под уклон; тогда сцепления вагонов туго натянуты и не могут ударить вас или, зацепив, потащить по шпалам. Несколько секунд переживаешь жуткое чувство, стараясь прильнуть к земле насколько возможно плотнее и едва побеждая напряжением всей воли страстное желание пошевелиться, поднять голову. Чувствуешь, что поток железа и дерева, пронся над тобою, отрывает тебя от земли, хочет увлечь куда-то, а грохот и скрежет железа раздается как будто в костях у тебя. Потом, когда поезд пройдет, с минуту и более лежишь на земле, не в силах подняться, кажется, что ты плывешь вслед поезда, а тело твое как будто бесконечно вытягивается, растет, становится легким, воздушным и — вот сейчас полетишь над землей. Это очень приятно чувствовать.

— Что влекло нас к такой нелепой забаве? — спросил Л. Н.

Я сказал, что, может быть, мы испытывали силу нашей воли, противопоставляя механическому движению огромных масс сознательную неподвижность ничтожного нашего тела.

— Нет, — возразил он, — это слишком мудрено, не подетски.

Напомнив ему, как дети «мнут зыбку», — качаются на упругом льду только что замерзшего пруда или затона реки, я сказал, что опасные забавы вообще нравятся детям.

Он помолчал, закурил папиросу и, тотчас бросив ее, посмотрел прищуренными глазами в темный угол комнаты.

— Нет, это, должно быть, не так. Почти все дети боятся темноты... Кто-то сказал:

Есть наслаждение в бою
И бездны мрачной на краю ..

но — это «красное словцо», не больше. Я думаю как-то иначе, только не могу понять — как?

И вдруг встrepенулcя весь, как бы обожжен внутренним огнем.

— Следует написать рассказ о человеке, который всю жизнь, безумно страдая, искал истину, и вот она явилась пред ним, но он закрыл глаза, заткнул уши и сказал: «Не хочу тебя, даже если ты прекрасна, потому что жизнь моя, муки мои — заггли в душе ненависть к тебе». Как вы думаете?

Мне эта тема не понравилась; он вздохнул, говоря:

— Да, сначала нужно ответить, где истина — в человеке или вне его? По-вашему — в человеке?

И засмеялся:

— Тогда это очень плохо, очень ничтожно...

Не было почти ни одного факта, ни одного вопроса, на которые мы с Л. Н. смотрели бы одинаково, но бесчисленные разногoречия не мешали нам — целые годы — относиться друг к другу с тем напряжением интереса и внимания, которое не часто является результатом даже долготелней дружбы. Беседовали мы неутомимо, помню — однажды просидели непрерывно более двадцати часов, выпив два самовара чая, — Леонид поглощал его в неимоверном количестве.

Он был удивительно интересный собеседник, неистощимый, остроумный. Хотя его мысль и обнаруживала всегда упорное стремление заглядывать в наиболее темные углы души, но — легкая, капризно своеобразная, она свободно отливала в форме юмора и гротеска. В товарищеской беседе он умел пользоваться юмором гибко и красиво, но в рассказах терял — к сожалению — эту способность, редкую для русского.

Обладая фантазией живой и чуткой, он был ленив; гораздо больше любил говорить о литературе, чем делать ее. Ему было почти недоступно наслаждение ночной подвижнической работы в тишине и одиночестве над белым, чистым листом бумаги; он плохо ценил радость покрывать этот лист узором слов.

— Пишу я трудно, — сознавался он. — Перья кажутся мне неудобными, процесс письма — слишком медленным и даже унижающим. Мысли у меня мечутся, точно галки на пожаре, я скоро устаю ловить их и строить в необходимом порядке. И бывает так: я написал слово — паутина, вдруг почему-то вспоминается геометрия, алгебра и учитель Орловской гимназии — человек, разумеется, тупой. Он часто вспоминал слова какого-то философа: «Истинная мудрость — спокойна». Но я знаю, что лучшие люди мира мучительно беспокойны. К черту спокойную мудрость! А что же на ее место? Красоту? Да здравствует! Однако, хотя я не видел Венеру в оригинале, — на снимках она кажется мне довольно глупой бабой. И вообще — красивое всегда несколько глуповато, например — павлин, борзая собака, женщина.

Казалось бы, что он, равнодушный к фактам действительности, скептик в отношении к разуму и воле человека, не должен был увлекаться дидактикой, учительством, неизбежным для того, кому действительность знакома излишне хорошо. Но первые же наши беседы ясно указывали, что этот человек, обладая всеми свойствами превосходного художника, — хочет встать в позу мыслителя и философа. Это казалось мне опасным, почти безнадеежным, главным образом потому, что запас его знаний был странно беден. И всегда чувствовалось, что он как бы ощущает около себя невидимого врага, — напряженно спорит с кем-то, хочет кого-то побороть.

Читать Л. Н. не любил и, сам являясь деятелем книги — творцом чуда, — относился к старым книгам недоверчиво и небрежно.

— Для тебя книга — фетиш, как для дикаря, — говорил он мне. — Это потому, что ты не протираешь своих штанов на скамьях гимназии, не соприкасался науке университетской. А для меня «Илиада», Пушкин и все прочее замусолено слюною учителей, протитуировано геморроидальными чиновниками. «Горе от ума» — скучно так же, как задачник Евтушевского. «Капитанская дочка» надоела, как барышня с Тверского бульвара.

Я слишком часто слышал эти обычные слова о влиянии школы на отношение к литературе, и они давно уже звучали для меня неубедительно, — в них чувствовался предрассудок, рожденный русской ленью. Гораздо более индивидуально ри-

совал Л. Андреев, как рецензии и критические очерки газет мнут и портят книги, говоря о них языком хроники уличных происшествий.

— Это — мельницы, они перемалывают Шекспира, библию — все, что хочешь, — в пыль пошлости. Однажды я читал газетную статью о Дон-Кихоте и вдруг с ужасом вижу, что Дон-Кихот — знакомый мне старичок, управляющий Казенной палатой, у него был хронический насморк и любовница, девушка из кондитерской, он называл ее — Милли, а в действительности — на бульварах — ее звали Сонька Пузырь...

Но, относясь к знанию и книге беззаботно, небрежно, а иногда — враждебно, он постоянно и живо интересовался тем, что я читаю. Однажды, увидав у меня в комнате «Московской гостиницы» книгу Алексея Остроумова о Синезии, епископе Птолемаиды, спросил удивленно:

— Это зачем тебе?

Я рассказал ему о странном епископе-полуязычнике и прочитал несколько строк из его сочинения «Похвала плешивости». «Что может быть плешивее, что божественнее сферы?»

Это патетическое восклицание потомка Геркулеса вызвало у Леонида припадок бешеного смеха, но тотчас же, стирая слезы с глаз и все еще улыбаясь, он сказал:

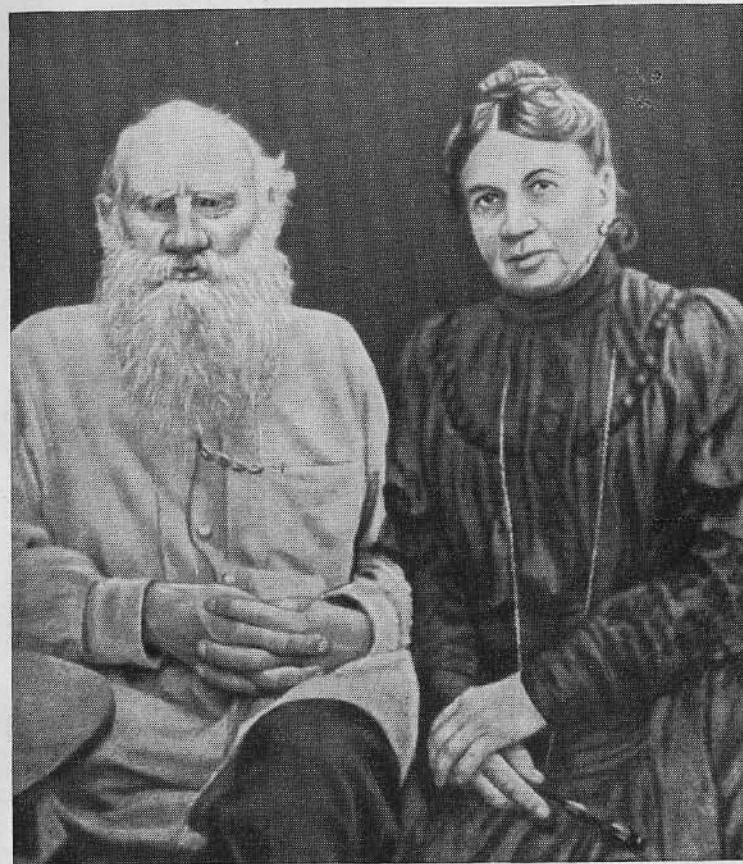
— Знаешь, — это превосходная тема для рассказа о неверующем, который, желая испытать глупость верующих, надевает на себя маску святости, живет подвижником, проповедует новое учение о боге — очень глупое, — добивается любви и поклонения тысяч, а потом говорит ученикам и последователям своим: «Все это — чепуха». Но для них вера необходима, и они убивают его.

Я был поражен его словами; дело в том, что у Синезия есть такая мысль:

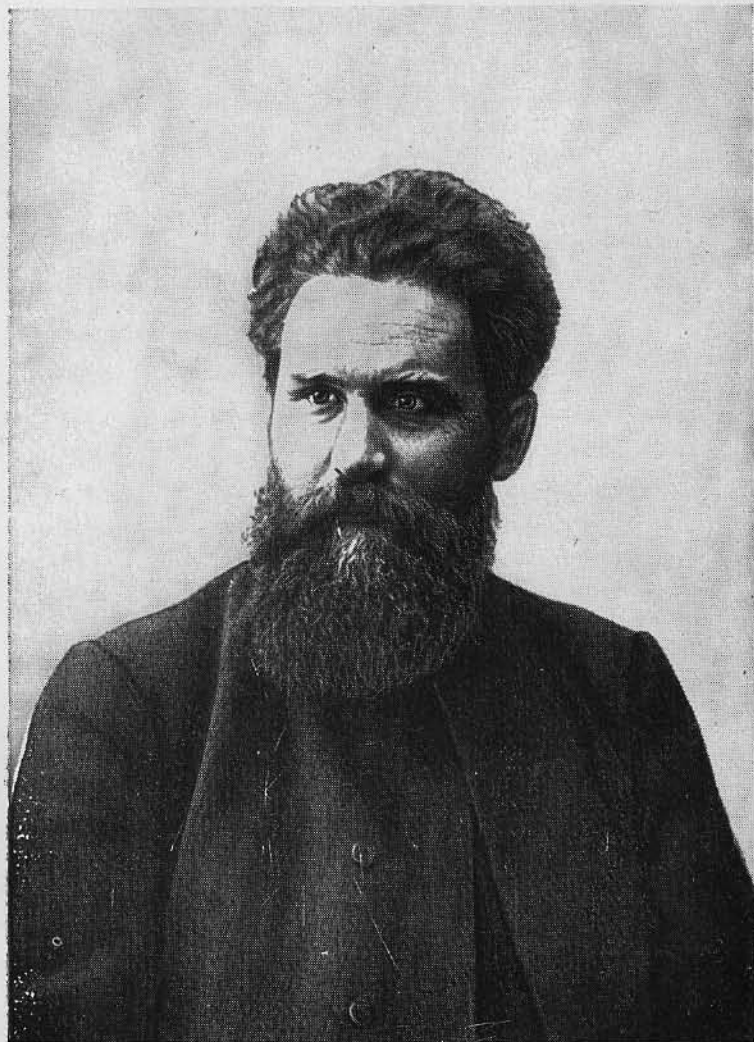
«Если бы мне сказали, что епископ должен разделять мнения народа, то я открыл бы пред всеми, кто я есть. Ибо что может быть общего между чернью и философией? Божественная истина должна быть скрытой, народ же имеет нужду в другом».

Но эту мысль я не сообщил Андрееву и не успел сказать ему о необычной позиции некрещеного язычника-философа в роли епископа христианской церкви. Когда же я сказал ему об этом, он, торжествуя и смеясь, воскликнул:

— Вот видишь, — не всегда надо читать для того, чтобы знать и понимать.



Л. Н. Толстой и С. А. Толстая.



В. Г. Короленко.

Леонид Николаевич был талантлив по природе своей, органически талантлив, его интуиция была изумительно чутка. Во всем, что касалось темных сторон жизни, противоречий в душе человека, брожений в области инстинктов, — он был жутко догадлив. Пример с епископом Синезием — не единичен, я могу привести десяток подобных.

Так, беседуя с ним о различных искателях незыблемой веры, я рассказал ему содержание рукописной «Исповеди» священника Аполлова, — об одном из произведений безвестных мучеников мысли, произведений, которые вызваны к жизни «Исповедью» Льва Толстого. Рассказывал о моих личных наблюдениях над людьми догмата, — они часто являются добровольными пленниками слепой, жесткой веры и тем более фанатически защищают истинность ее, чем мучительнее сомневаются в ней.

Андреев задумался, медленно помешивая ложкой в стакане чая, потом сказал, усмехаясь:

— Странно мне, что ты понимаешь это, — говоришь ты, как атеист, а думаешь, как верующие. Если ты умрешь раньше меня, я напишу на камне могилы твоей: «Призывая поклониться разуму, он тайно издевался над немощью его».

А через две-три минуты, наваливаясь на меня плечом, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками темных глаз, говорил вполголоса:

— Я напишу о попе, увидишь! Это, брат, я хорошо напишу!

И, грозя пальцем кому-то, крепко потирая висок, улыбался.

— Завтра еду домой и — начинаю! Даже первая фраза есть: «Среди людей он был одинок, ибо соприкасался великой тайне»...

На другой же день он уехал в Москву, а через неделю — не более — писал мне, что работает над попом, и работа идет легко, «как на лыжах». Так всегда он хватал на лету все, что отвечало потребности его духа в соприкосновении к наиболее острым и мучительным тайнам жизни.

Шумный успех первой книги насытил его молодой радостью. Он приехал в Нижний ко мне веселый, в новеньком костюме табачного цвета, грудь туго накрахмаленной рубашки была украшена дьявольски пестрым галстуком, а на ногах — желтые ботинки.

— Искал палевые перчатки, но какая-то леди в магазине

на Кузнецком напугала меня, что палевые уже не в моде. Подозреваю, что она — соврала, наверное дорожит свободой сердца своего и боялась убедиться, сколь я неотразим в палевых перчатках. Но по секрету скажу тебе, что все это великолепие — неудобно и рубашка гораздо лучше.

И вдруг, обняв меня за плечи, сказал:

— Знаешь — мне хочется гимн написать, еще не вижу — кому или чему, но обязательно — гимн! Что-нибудь шиллеровское, а? Эдакое густое, звучное — бомм!

Я пошутил над ним.

— Что же! — весело воскликнул он. — Ведь у Екклезиаста правильно сказано: «Даже и плохонькая жизнь лучше хорошей смерти». Хотя там что-то не так, а — о льве и собаке: «В домашнем обиходе плохая собака полезнее хорошего льва». А — как ты думаешь: Иов мог читать книгу Екклезиаста?

Упоенный вином радости, он мечтал о поездке по Волге на хорошем пароходе, о путешествии пешком по Крыму.

— И тебя потащу, а то ты окончательно замуруешь себя в этих кирпичках, — говорил он, указывая на книги.

Его радость напоминала оживленное благополучие ребенка, который слишком долго голодал, а теперь думает, что навсегда сыт.

Сидели на широком диване в маленькой комнате, пили красное вино, Андреев взял с полки тетрадь стихов:

— Можно?

И стал читать вслух:

— Медных сосен колонны,
Моря звон монотонный...

Это Крым? А вот я не умею писать стихи, да и желания нет. Я больше всего люблю баллады, вообще:

Я люблю все то, что ново,
Романтично, бестолково,
Как поэт
Прежних лет.

Это поют в оперетке — «Зеленый остров», кажется.

И вздыхают деревья,
Как без рифмы стихи.

Это мне нравится. Но — скажи — зачем ты пишешь стихи? Это так не идет к тебе. Все-таки стихи — искусственное дело, как хочешь.

Потом сочиняли пародии на Скитальца:

Возьму я большое полено
В могучую руку мою
И всех — до седьмого колена —
Я вас перебью!
И пуще того огорошу —
Ура! Тррепещите! Я рад. —
Казбеком вам в головы брошу,
Низвергну на вас Арарат!

Он хохотал, неистощимо придумывая милые, смешные глупости, но вдруг, наклонясь ко мне со стаканом вина в руке, заговорил не громко и серьезно:

— Недавно я прочитал забавный анекдот: в каком-то английском городе стоит памятник Роберту Бернсу — поэту. Надписи на памятнике — кому он поставлен, — нет. У подножия его — мальчик, торгует газетами. Подошел к нему какой-то писатель и говорит: «Я куплю у тебя номер газеты, если ты скажешь — чья это статуя?» — «Роберта Бернса», — ответил мальчик. «Прекрасно! Теперь — я куплю у тебя все твои газеты, но скажи мне: за что поставили памятник Роберту Бернсу?» Мальчик ответил: «За то, что он умер». Как это нравится тебе?

Мне это не очень нравилось, — меня всегда тяжело тревожили резкие и быстрые колебания настроений Леонида.

Слава не была для него только «яркой заплатой на ветхом рубище певца», — он хотел ее много, жадно и не скрывал этого. Он говорил:

— Еще четырнадцать лет я сказал себе, что буду знаменит, или — не стоит жить. Я не боюсь сказать, что все сделанное до меня не кажется мне лучше того, что я сам могу сделать. Если ты сочтешь мои слова самонадеянностью, ты — ошибешься. Нет, видишь ли, это должно быть основным убеждением каждого, кто не хочет ставить себя в безличные ряды миллионов людей. Именно убеждение в своей исключительности должно — и может — служить источником творческой силы. Сначала скажем самим себе: мы не таковы, как все другие, потом уже легко будет доказать это и всем другим.

— Одним словом, — ты ребенок, который не хочет питаться грудью кормилицы...

— Именно: я хочу молока только души моей. Человеку необходимы любовь и внимание или — страх пред ним. Это

понимают даже мужики, надевая на себя личины колдунов. Счастливее всех те, кого любят со страхом, как любили Наполеона.

— Ты читал его «Записки»?

— Нет. Это — не нужно мне.

Он подмигнул, усмехаясь:

— Я тоже веду дневник и знаю, как это делается. Записки, исповеди и все подобное — испражнения души, отравленной плохой пищей.

Он любил такие изречения и, когда они удавались ему, искренне радовался. Несмотря на его тяготение к пессимизму, в нем жило нечто неискоренимо детское, — например, ребячливо-наивное хвастовство словесной ловкостью, которой он пользовался гораздо лучше в беседе, чем на бумаге.

Однажды я рассказывал ему о женщине, которая до такой степени гордилась своей «честной» жизнью, так была озабочена убедить всех и каждого в своей неприступности, что все окружающие ее, издыхая от тоски, или стремглав бежали прочь от сего образца добродетели, или же ненавидели ее до судорог.

Андреев слушал, смеялся и вдруг сказал:

— Я — женщина честная, мне не к чему ногти чистить — так?

Этими словами он почти совершенно точно определил характер и даже привычки человека, о котором я говорил, — женщина была небрежна к себе. Я сказал ему это, он очень обрадовался и детски искренно стал хвастаться:

— Я, брат, иногда сам удивляюсь, до чего ловко и метко умею двумя, тремя словами поймать самое существо факта или характера.

И произнес длинную речь в похвалу себе. Но — умница — понял, что это немножко смешно, и кончил свою tiradu юмористическим шаржем.

— Со временем я так разовью мои гениальные способности, что буду одним словом определять смысл целой жизни человека, нации, эпохи...

Но все-таки критическое отношение к самому себе у него было развито не особенно сильно, это, порою, весьма портило и его работу и жизнь.

Леонид Николаевич странно и мучительно-резко для себя раскалывался надвое: на одной и той же неделе он мог петь миру — «Осанна!» и провозглашать ему — «Анафема!»

Это не было внешним противоречием между основами характера и навыками или требованиями профессии, — нет, в обоих случаях он чувствовал одинаково искренно. И чем более громко он возглашал: «Осанна!» — тем более сильным эхом раздавалась — «Анафема!»

Он говорил:

— Ненавижу субъектов, которые не ходят по солнечной стороне улицы из боязни, что у них загорит лицо или выпцетет пиджак, — ненавижу всех, кто из побуждений догматических препятствует свободной, капризной игре своего внутреннего «я».

Однажды он написал довольно едкий фельетон о людях теневой стороны, а вслед за этим — по поводу смерти Эмиля Золя от угара — хорошо полемизировал с интеллигентски-варварским аскетизмом, довольно обычным в ту пору. Но, беседуя со мною по поводу этой полемики, неожиданно заявил:

— А все-таки, знаешь, собеседник-то мой более последователен, чем я: писатель должен жить, как бездомный бродяга. Яхта Мопассана — нелепость!

Он — не шутил. Мы поспорили, я утверждал: чем разнообразнее потребности человека, чем более жаден он к радостям жизни, хотя бы и маленьким, — тем быстрее развивается культура тела и духа. Он возражал: нет, прав Толстой, культура — мусор, она только искажает свободный рост души.

— Привязанность к вещам, — говорил он, — это фетишизм дикарей, идолопоклонство. Не сотвори себе кумира, иначе ты погас, — вот истина! Сегодня сделай книгу, завтра — машину, вчера ты сделал сапог и уже забыл о нем. Нам нужно учиться забывать.

А я говорил: необходимо помнить, что каждая вещь — воплощение духа человеческого, и часто внутренняя ценность вещи значительнее человека.

— Это поклонение мертвой материи, — кричал он.

— В ней воплощена бессмертная мысль.

— Что такое мысль? Она двулична и отвратительна своим бессилием...

Спорили мы все чаще, все напряженнее. Наиболее острым пунктом наших разногласий было отношение к мысли.

Я чувствую себя живущим в атмосфере мысли и, видя, как много создано ею великого и величественного, — верю, что ее бессилие — временно. Может быть, я романтизирую и преувеличиваю творческую силу мысли, но это так естест-

венно в России, где нет духовного синтеза, в стране язычески чувственной.

Леонид воспринимал мысль, как «злую шутку дьявола над человеком»; она казалась ему лживой и враждебной. Увлекая человека к пропастям необъяснимых тайн, она обманывает его, оставляя в мучительном и бессильном одиночестве пред тайнами, а сама — гаснет.

Столь же непримиримо расходились мы во взгляде на человека, источник мысли, горнило ее. Для меня человек всегда победитель, даже и смертельно раненный, умирающий. Прекрасно его стремление к самопознанию и познанию природы, и, хотя жизнь его мучительна, — он все более расширяет пределы ее, создавая мыслью своей мудрою науку, чудесное искусство. Я чувствовал, что искренно и действительно люблю человека — и того, который сейчас живет и действует рядом со мною, и того, умного, доброго, сильного, который явится когда-то в будущем. Андрееву человек представлялся духовно нищим; сплетенный из непримиримых противоречий инстинкта и интеллекта, он навсегда лишен возможности достичь какой-либо внутренней гармонии. Все дела его — «суета сует», тлен и самообман. А главное, он — раб смерти и всю жизнь ходит на цепи ее.

Очень трудно говорить о человеке, которого хорошо чувствуешь.

Это звучит, как парадокс, но — это правда: когда таинственный трепет горения чужого «я» ощущается тобою, волнуется тебя, — боишься дотронуться кривым, тяжелым словом твоим до невидимых лучей дорогой тебе души, боишься сказать не то, не так: не хочешь исказить чувствуемое и почти неуловимое словом, не решаешься заключить чужое, хотя и бесцельное, человечески ценное в твою тесную речь.

Гораздо легче и проще рассказывать о том, что чувствуешь недостаточно ясно, — в этих случаях многое, и даже все, что ты хочешь, можно добавить от себя.

Я думаю, что хорошо чувствовал Л. Андреева: точнее говоря — я видел, как он ходит по той тропинке, которая повисла над обрывом в трясину безумия, над пропастью, куда заглядывая, зрение разума угасает.

Велика была сила его фантазии, но — несмотря на непрерывно и туго напряженное внимание к оскорбительной тайне смерти, он ничего не мог представить себе по ту сторону ее, ничего величественного или утешительного, — он был все-таки

слишком реалист для того, чтобы выдумать утешение себе, хотя и желал его.

Это его хождение по тропе над пустотой и разъединяло нас всего более. Я пережил настроение Леонида давно уже, — и, по естественной гордости человеческой, мне стало органически противно и оскорбительно мыслить о смерти.

Однажды я рассказал Леониду о том, как мне довелось пережить тяжкое время «мечтаний узника о бытии за пределами его тюрьмы», о «каменной тьме» и «неподвижности, уравновешенной навеки», — он вскочил с дивана и, бегая по комнате, дирижируя искаленной ладонью, торопливо, возмущенно, задыхаясь, говорил:

— Это, брат, трусость, — закрыть книгу, не дочитав ее до конца! Ведь в книге — твой обвинительный акт, в ней ты отрицаешься — понимаешь? Тебя отрицают со всем, что в тебе есть — с гуманизмом, социализмом, эстетикой, любовью, — все это — чепуха по книге? Это смешно и жалко: тебя приговорили к смертной казни — за что? А ты, притворяясь, что не знаешь этого, не оскорблен этим, — цветочками любишь себя, обманывая себя и других, — глупенькие цветочки!..

Я указывал ему на некоторую бесполезность протестов против землетрясения, убеждал, что протесты никак не могут повлиять на судороги земной коры, — все это только сердило его.

Мы беседовали в Петербурге, осенью, в пустой, скучной комнате пятого этажа. Город был облечен густым туманом, в серой массе тумана недвижимо висели радужные, призрачные шары фонарей, напоминая огромные мыльные пузыри. Сквозь жидкую вату тумана к нам поднимались со дна улицы нелепые звуки, — особенно надоедливо чмокали по торцам мостовой копыта лошадей.

Там, внизу, со звоном промчалась пожарная команда. Леонид подошел ко мне, свалился на диван и предложил:

— Едем смотреть пожар?

— В Петербурге пожары не интересны.

Он согласился:

— Верно. А вот в провинции, где-нибудь в Орле, когда горят деревянные улицы и мечутся, как моль, мешчане, — хорошо! И голуби над тучей дыма — видел ты?

Обняв меня за плечи, он сказал, усмехаясь:

— Ты — все видел, черт тебя возьми! И — «каменную пустоту» — это очень хорошо — каменная тьма и пустота! И — бодая меня головою в бок:

— Иногда я тебя за это ненавижу.

Я сказал, что чувствую это.

— Да, — подтвердил он, укладывая голову на колени мне. — Знаешь — почему? Хочется, чтоб ты болел моей болью, — тогда мы были бы ближе друг другу, — ты ведь знаешь, как я одинок!

Да, он был очень одинок, но порою мне казалось, что он ревниво оберегает одиночество свое, оно дорого ему, как источник его фантастических вдохновений и плодотворная почва оригинальности его.

— Ты — врешь, что тебя удовлетворяет научная мысль, — говорил он, глядя в потолок угрюмо темным взглядом испуганных глаз. — Наука, брат, тоже мистика фактов: никто ничего не знает — вот истина. А вопросы — как я думаю и зачем я думаю, источник главной муки людей, — это самая страшная истина! Едем куда-нибудь, пожалуйста...

Когда он касался вопроса о механизме мышления — это всего более волновало его. И — пугало.

Оделись, спустились в туман и часа два плавали в нем по Невскому, как сомы по дну илистой реки. Потом сидели в какой-то кофейне, к нам неотвязно пристали три девушки, одна из них, стройная эстонка, назвала себя «Эльфридой». Лицо у нее было каменное, она смотрела на Андреева большими серыми, без блеска, глазами с жуткой серьезностью и кофейной чашкой пила какой-то зеленый, ядовитый ликер. От него исходил запах жженой кожи.

Леонид пил коньяк, быстро захмелел, стал буйно остроумен, смешил девиц неожиданно забавными и замысловатыми шутками и, наконец, решил ехать на квартиру к девицам, — они очень настаивали на этом. Отпускать Леонида одного было невозможно, — когда он начинал пить, в нем просыпалось нечто жуткое, мстительная потребность разрушения, какая-то ненависть «пленного зверя».

Я отправился с ним, купили вина, фрукт, конфет, и где-то на Разъезжей улице, в углу грязного двора, заваленного бочками и дровами, во втором этаже деревянного флигеля, в двух маленьких комнатах, среди стен, убого и жалобно украшенных открытками, — стали пить.

Перед тем как напиться до потери сознания, Леонид опасно и удивительно возбуждался, его мозг буйно вскипал, фантазия разгоралась, речь становилась почти нестерпимо яркой.

Одна из девушек, круглая, мягкая и ловкая, как мышь,

почти с восхищением рассказала нам, как товарищ прокурора укусил ей ногу выше колена, — она, видимо, считала поступок юриста самым значительным событием своей жизни, показывала шрам от укуса и, захлебываясь волнением, радостно блестя стеклянными глазками, говорила:

— Он так любил меня, — даже вспомнить страшно! Укусил, знаете, а у него зуб вставлен был — и остался в коже у меня!

Эта девушка, быстро опьянев, свалилась в углу на кушетку и заснула, всхрапывая. Пышнотелая, густоволосая шатенка с глазами овцы и уродливо длинными руками играла на гитаре, а Эльфрида составила на пол бутылки и тарелки, вскочила на стол и плясала, молча, по-зменному изгибаясь, не сводя глаз с Леонида. Потом она запела неприятно густым голосом, сердито расширив глаза, порой, точно переломленная, наклонялась к Андрееву, он выкрикивал подхваченные им слова чужой песни, странного языка и толкал меня локтем, говоря:

— Она что-то понимает, смотри на нее, видишь? Понимает! Momentами, возбужденные глаза Леонида как будто слепли; становясь еще темнее, они как бы углублялись, пытаясь заглянуть внутрь мозга.

Утомясь, эстонка спрыгнула со стола на постель, вытянулась, открыв рот и глядя ладонями маленькие груди, острые, как у козы.

Леонид говорил:

— Высшее и глубочайшее ощущение в жизни, доступное нам, — судорога полового акта, — да, да! И, может быть, земля, как вот эта сука, мечется в пустыне вселенной, ожидая, чтоб я оплодотворил ее пониманием цели бытия, а сам я, со всем чудесным во мне, — только сперматозоид.

Я предложил ему идти домой.

— Иди, я останусь здесь...

Он был уже сильно пьян, и с ним было много денег. Он сел на кровать, поглаживая стройные ноги девушки, и забавно стал говорить, что любит ее, а она неотрывно смотрела в лицо ему, закинув руки за голову.

— Когда баран отведаст редьки, у него вырастают крылья, — говорил Леонид.

— Нет. Это не правда, — серьезно сказала девушка.

— Я тебе говорю, что она понимает что-то! — закричал Леонид в пьяной радости. Через несколько минут он вышел из комнаты, — я дал девице денег и попросил ее уговорить Леонида ехать кататься. Она сразу согласилась:

— Я боюсь его. Такие стреляют из пистолетов, — бормотала она.

Девушка, игравшая на гитаре, уснула, сидя на полу около кушетки, где, всхрапывая, спала ее подруга.

Эстонка была уже одета, когда возвратился Леонид; он начал бунтовать, крича:

— Не хочу! Да будет пир плоти!

И попытался раздеть девушку; отбиваясь, она так упрямо смотрела в глаза ему, что взгляд ее укротил Леонида, он согласился:

— Едем!

Но захотел одеть дамскую шляпу à la Рембрандт и уже сорвал с нее все перья.

— Это вы заплатите за шляпу? — деловито спросила девушка.

Леонид поднял брови и захохотал, крича:

— Дело — в шляпе! Ура!

На улице мы наняли извозчика и поехали сквозь туман. Было еще не поздно, едва за полночь. Невский, в огромных бусах фонарей, казался дорогой куда-то вниз, в глубину, вокруг фонарей мелькали мокрые пылинки, в серой сырости плавали черные рыбы, стоя на хвостах; полушария зонтиков, казалось, поднимают людей вверх, — все было очень призрачно, странно и грустно.

На воздухе Андреев совершенно опьянел, задремал, покачиваясь, девушка щепнула мне:

— Я слезу, да?

И, спрыгнув с колен моих в жидкую грязь улицы, исчезла.

В конце Каменноостровского проспекта Леонид спросил, испуганно открыв глаза:

— Едем? Я хочу в кабак. Ты прогнал эту?

— Ушла.

— Врешь. Ты — хитрый, я — тоже. Я ушел из комнаты, чтобы посмотреть, что ты будешь делать, стоял за дверью и слышал, как ты уговаривал ее. Ты вел себя невинно и благородно. Ты вообще нехороший человек, пьешь много, а не пьянеешь, от этого дети твои будут алкоголиками. Мой отец тоже много пил и не пьянел, а я — алкоголик.

Потом мы сидели на «Стрелке» под дурацким пузырем тумана, курили, и когда вспыхивал огонек папирос, — видно было, как седеют наши пальцы, покрываясь тусклым бисером сырости.

Леонид говорил с неограниченной откровенностью, и это

не была откровенность пьяного, — его ум почти не пьянел до момента, пока яд алкоголя совершенно прекращал работу мозга.

— Если бы я остался с девками, это кончилось бы плохо для кого-то. Все так. Но — за это я тебя и не люблю, именно за это! Ты мешаешь мне быть самим собою. Оставь меня — я буду шире. Ты, может быть, обруч на бочке, уйдешь и — бочка рассыплется, но — пускай рассыплется, — понимаешь? Ничего не надо сдерживать, пусть все разрушается. Может быть, истинный смысл жизни именно в разрушении чего-то, чего мы не знаем, или — всего, что придумано и сделано нами.

Темные глаза его угрюмо упирались в серую массу вокруг его и над ним, иногда он их опускал к земле, мокрой, усыпанной листьями, и топал ногами, словно пробуя прочность земли.

— Я не знаю, — что ты думаешь, но — то, что ты всегда говоришь, не твоей веры, не твоей молитвы слова. Ты говоришь, что все силы жизни исходят от нарушения равновесия, а сам ищешь именно равновесия, какой-то гармонии и меня толкаешь на это, тогда как — по-твоему же — равновесие — смерть!

Я возражал: никуда я не толкаю его, не хочу толкать, но — мне дорога его жизнь, здоровье дорого, работа его.

— Тебе приятна только моя работа, — мое внешнее, — а не сам я, не то, чего я не могу воплотить в работе. Ты мешаешь мне и всем, иди в болото!

Навалился на плечо мне и, с улыбкой заглядывая в лицо, продолжал:

— Ты думаешь, я пьян и не понимаю, что говорю чепуху? Нет, я просто хочу разозлить тебя. Я, брат, декадент, выродок, больной человек. Но Достоевский был тоже больной, как все великие люди. Есть книжка, — не помню, чья, — о гении и безумии, в ней доказано, что гениальность — психическая болезнь! Эта книга — испортила меня. Если бы я не читал ее, — я был бы проще. А теперь я знаю, что почти гениален, но не уверен в том, — достаточно ли безумен? Понимаешь, — я сам себе представляюсь безумным, чтоб убедить себя в своей талантливости, — понимаешь?

Я — засмеялся. Это показалось мне плохо выдуманным и потому не правдивым.

Когда я сказал ему это, он тоже захохотал и вдруг гибким движением души, акробатически ловко перескочил в тон юмориста:

— А — где кабаки, место священнодействий литературных? Талантливые русские люди обязательно должны беседовать в кабаке, — такова традиция, без этого критики не признают таланта.

Сидели в ночном трактире извозчиков, в сырой, дымной духоте: по грязной комнате сердито и устало ходили сонные «человеки», «математически» ругались пьяные, визжали страшные проститутки, одна из них, обнажив левую грудь, — желтую, с огромным соском коровы, — положила ее на тарелку и поднесла нам, предлагая:

— Купите фунтик?

— Люблю бесстыдство, — говорил Леонид, — в цинизме я ощущаю печаль, почти отчаяние человека, который сознает, что он не может не быть животным, хочет не быть, а не может! Понимаешь?

Он пил крепкий, почти черный чай; зная, что так нравится ему и отрезвляет его, — я нарочно велел заварить больше чая. Прихлебывая дегтеподобную, горькую жидкость, щупая глазами вспухшие лица пьяниц, Леонид непрерывно говорил:

— С бабами — я циничен. Так — правдивее, и они это любят. Лучше быть законченным грешником, чем праведником, который не может домолиться до полной святости.

Оглянувшись, помолчал и говорит:

— А здесь — скучно, как в духовной консистории!

Это рассмешило его.

— Я никогда не был в духовной консистории, в ней должно быть что-то похожее на рыбный садок...

Чай отрезвил его. Мы ушли из трактира. Туман сгустился, опаловые шары фонарей таяли, как лед.

— Мне хочется рыбы, — сказал Леонид, облокотясь на перила моста через Неву, и оживленно продолжал: — Знаешь, как бывает со мной? Вероятно, так дети думают, — наткнется на слово — рыба и подбирает созвучные ему: рыба, гроба, судьба, иго, Рига, — а вот стихи писать — не могу!

Подумав, он добавил:

— Так же думают составители букварей...

Снова сидели в трактире, угощаясь рыбной солянкой; Леонид рассказывал, что его приглашают «декаденты» сотрудничать в «Весах».

— Не пойду, не люблю их. У них за словами я не чувствую содержания, они «опьяняются» словами, как любит говорить Бальмонт. Тоже — талантлив и — больной.

В другой раз — помню — он сказал о группе «Скорпиона»:

— Они насилуют Шопенгауэра, а я люблю его, и потому ненавижу их.

Но это слишком сильное слово в его устах, — ненавидеть он не умел, был слишком мягок для этого. Как-то показал мне в дневнике своем «слова ненависти», но — они оказались словами юмора, и он сам искренно смеялся над ними.

Я отвез его в гостиницу, уложил спать, но, зайдя после полудня, узнал, что он, тотчас после того как я ушел, встал, оделся и тоже исчез куда-то. Я искал его целый день, но не нашел.

Он непрерывно пил четыре дня и потом уехал в Москву.

У него была неприятная манера испытывать искренность взаимных отношений людей; он делал это так: неожиданно, между прочим, спрашивает:

— Знаешь, что Z. сказал про тебя? — или сообщит:

— А S. говорит о тебе...

И темным взглядом, испытывая, заглядывает в глаза.

Однажды я сказал ему:

— Смотри, — так ты можешь перессорить всех товарищей!

— Ну, что же? — ответил он. — Если ссорятся из-за пустяков, значит — отношения были не искренни.

— Чего ты хочешь?

— Прочности, такой — знаешь — монументальности, красоты отношений. Надо, чтоб каждый из нас понимал, как тонко кружево души, как нежно и бережливо следует относиться к ней. Необходим некоторый романтизм отношений, в кружке Пушкина он был, и я этому завидую. Женщины чутки только к эротике, евангелие бабы — «Декамерон».

Но через полчаса он осмелел свой отзыв о женщинах, умерительно изобразил беседу эротомана с гимназисткой.

Он не выносил Арцыбашева и порою с грубой враждебностью высмеивал его именно за одностороннее изображение женщины, как начала исключительно чувственного.

Однажды он мне рассказал такую историю: когда ему было лет одиннадцать, он увидел где-то в роще или в саду, как дьякон целовался с барышней.

— Они целовались, и оба плакали, — говорил он, понизив голос и съеживаясь; когда он рассказывал что-нибудь интимное, он напряженно сжимал свою несколько рыхлую мускулатуру.

— Барышня была такая, знаешь, тоненькая, крупкая, на соломенных ножках, дьякон — толстый, ряса на животе засалена и лоснится. Я уже знал, зачем целуются, но первый раз видел, что, целуясь, — плачут, и мне было смешно. Борода дьякона зацепилась за крючки расстегнутой кофты, он замотал головой, я свистнул, чтобы испугать их, испугался сам и — убежал. Но в тот же день вечером почувствовал себя влюбленным в дочь мирового судьи, девочку лет десяти, ошупал ее, грудей у нее не оказалось, значит целовать нечего, и она не годится для любви. Тогда я влюбился в горничную соседней, коротконогую, без бровей, с большими грудями, — кофта ее на груди была так же засалена, как ряса на животе дьякона. Я очень решительно приступил к ней, а она меня решительно оттрепала за ухо. Но это не помешало мне любить ее, она казалась мне красавицей, и чем далее, тем больше. Это было почти мучительно и очень сладко. Я видел много девиц действительно красивых и умом хорошо понимал, что возлюбленная моя — урод сравнительно с ними, а все-таки для меня она оставалась лучше всех. Мне было хорошо, потому что я знал: никто не мог бы любить так, как умею я, белобрысую, толстую девку, никто — понимаешь — не сумел бы видеть ее красивее всех красавиц!

Он рассказал это превосходно, насытив слова своим милым юмором, который я не умею передать; как жаль, что всегда хорошо владея им в беседе, он пренебрегал или боялся украшать его игрой свои рассказы, — боялся, видимо, нарушить красками юмора темные тона своих картин.

Когда я сказал: жаль, что он забыл, как хорошо удалось ему сотворить из коротконогой горничной первую красавицу мира, что он не хочет больше извлекать из грязной руды действительно золотые жилы красоты, — он комически хитро прищурился, говоря:

— Ишь ты, какой лакомый! Нет, я не намерен баловать вас, романтиков...

Невозможно было убедить его в том, что именно он — романтик.

На «Собрании сочинений», которое Леонид подарил мне в 1915 году, он написал:

«Начиная с курьерского «Бергамота», здесь все писалось и прошло на твоих глазах, Алексей: во многом это — история наших отношений».

Это, к сожалению, верно; к сожалению — потому, что я думаю: для Л. Андреева было бы лучше, если бы он не вводил в свои рассказы «историю наших отношений». А он делал

это слишком охотно и, торопясь «опровергнуть» мои мнения, портил этим свою обедню. И как будто именно в мою личность он воплотил своего невидимого врага.

— Я написал рассказ, который наверное не понравится тебе, — сказал он однажды. — Прочитаем?

Прочитали. Рассказ очень понравился мне, за исключением некоторых деталей.

— Это — пустяки, это я исправлю, — оживленно говорил он, расхаживая по комнате, шаркая туфлями. Потом сел рядом со мною и, откинув свои волосы, заглянул в глаза мне.

— Вот, — я знаю, чувствую, ты искренно хвалишь рассказ. Но — я не понимаю, как может он нравиться тебе?

— Мало ли на свете вещей, которые не нравятся мне, однако это не портит их, как я вижу.

— Рассуждая так, нельзя быть революционером.

— Ты, что же, смотришь на революционера глазами Нечаева: «революционер — не человек»?

Он обнял меня, засмеялся:

— Ты плохо понимаешь себя. Но — слушай, — ведь когда я писал «Мысль», я думал о тебе; Алексей Савелов — это ты! Там есть одна фраза: «Алексей не был талантлив» — это, может быть, нехорошо с моей стороны, но ты своим упорством так раздражаешь меня иногда, что кажешься мне неталантливым. Это я нехорошо написал, да?

Он волновался, даже покраснел.

Я успокоил его, сказав, что не считаю себя арабским коном, а только ломовой лошадью; я знаю, что обязан успехами моими не столько природной талантливости, сколько уменью работать, любви к труду.

— Странный ты человек, — тихо сказал он, прервав мои слова, и вдруг, отрешившись от пустяков, задумчиво начал говорить о себе, о волнениях души своей. Он не имел общерусской, неприятной склонности исповедоваться и каяться, но иногда ему удавалось говорить о себе с откровенностью мужественной, даже несколько жесткой, однако — не теряя самоуважения. И это было приятно в нем.

— Понимаешь, — говорил он, — каждый раз, когда я напишу что-либо особенно волнующее меня, — с души моей точно кора спадает, я вижу себя яснее и вижу, что я талантливее написанного мной. Вот — «Мысль». Я ждал, что она поразит тебя, а теперь сам вижу, что это, в сущности, полемическое произведение, да еще не попавшее в цель.

Вскочил на ноги и полусутоя заявил, встряхнув волосами:

— Я боюсь тебя, злодей! Ты — сильнее меня, я не хочу поддаваться тебе.

И снова серьезно:

— Чего-то не хватает мне, брат. Чего-то очень важного, — а? Как ты думаешь?

Я думал, что он относится к таланту своему непростительно небрежно и что ему не хватает знаний.

— Надо учиться, читать, надо ехать в Европу...

Он махнул рукой.

— Не то. Надо найти себе бога и поверить в мудрость его.

Как всегда, мы заспорили. После одного из таких споров он прислал мне корректуру рассказа «Стена». А по поводу «Призраков» он сказал мне:

— Безумный, который стучит, это — я, а деятельный Егор — ты. Тебе действительно присуще чувство уверенности в силе твоей, это и есть главный пункт твоего безумия и безумия всех подобных тебе романтиков, идеализаторов разума, оторванных мечтой своей от жизни.

Скверный шум, вызванный рассказом «Бездна», расстроил его. Люди, всегда готовые услужить улице, начали писать об Андрееве различные гадости, доходя в сочинении клеветы до комизма. так один поэт напечатал в харьковской газете, что Андреев купался со своей невестой без костюмов. Леонид обиженно спрашивал:

— Что же он думает, — во фраке, что ли, надо купаться? И ведь врет, не купался я ни с невестой, ни соло, весь год не купался — негде было. Знаешь, я решил напечатать и расклеить по заборам покорнейшую просьбу к читателям, — краткую просьбу:

— Будьте лобезны, —
Не читайте «Бездны»!

Он был чрезмерно, почти болезненно внимателен к отзывам о его рассказах и всегда, с грустью или с раздражением, жаловался на варварскую грубость критиков и рецензентов, а однажды даже в печати жаловался на враждебное отношение критики к нему лично, как человеку.

— Не надо этого делать, — советовали ему.

— Нет, нужно, а то они, стараясь исправить меня, уши мне отрежут или кипятком ошпарят...

Его жестоко мучил наследственный алкоголизм; болезнь проявлялась сравнительно редко, но почти всегда в формах очень тяжелых. Он боролся с нею, борьба стоила ему огромных усилий, но порой, впадая в отчаяние, он осмеивал эти усилия.

— Напишу рассказ о человеке, который с юности двадцать пять лет боялся выпить рюмку водки, потерял из-за этого множество прекрасных часов жизни, испортил себе карьеру и умер во цвете лет, неудачно срезав себе мозоль или занозив себе палец.

И действительно, приехав в Нижний ко мне, он привез с собою рукопись рассказа на эту тему.

В Нижнем у меня Л. Н. встретил отца Феодора Владимировского, протоиерея города Арзамаса, а впоследствии члена второй государственной думы, — человека замечательного. Когда-нибудь я попробую написать его житие, а пока нахожу необходимым кратко очертить главный подвиг его жизни.

Город Арзамас чуть ли не со времени Ивана Грозного пил воду из прудов, где летом плавали трупы утопших крыс, кошек, кур, собак, а зимою, подо льдом, вода протухала, приобретая тошнотворный запах. И вот отец Феодор, поставив себе целью снабдить город здоровой водой, двенадцать лет самолично исследовал почвенные воды вокруг Арзамаса. Из года в год, каждое лето, он, на восходе солнца, бродил, точно колдун, по полям и лесам, наблюдая, где земля «преет». И после долгих трудов нашел подземные ключи, проследил их течение, перекопал, направил в лесную ложбину за три версты от города и, получив на десять тысяч жителей свыше сорока тысяч ведер превосходной ключевой воды, предложил городу устроить водопровод. У города был капитал, завещанный одним купцом условно или на водопровод, или на организацию кредитного общества. Купечество и начальство, добывая воду бочками на лошадях из дальних ключей за городом, в водопроводе не нуждалось и, всячески затрудняя работу отца Феодора, стремилось употребить капитал на основание кредитного общества, а мелкие жители хлебали тухлую воду прудов, оставаясь — по привычке, издревле усвоенной ими, — безучастны и бездеятельны. Итак, найдя воду, отец Феодор принужден был вести длительную и скучную борьбу с упрямым своекорыстием богатых и подленькой глупостью бедняков.

Приехав в Арзамас под надзор полиции, я застал его в

конце работы по собиранию источников. Этот человек, истощенный каторжным трудом и несчастиями, был первым арзамасцем, который решился познакомиться со мной, — мудрое арзамасское начальство, строжайше запретив земским и другим служащим людям посещать меня, учредило, на страх им, полицейский пост прямо под окнами моей квартиры.

Отец Феодор пришел ко мне вечером, под проливным дождем, весь — с головы до ног — мокрый, испачканный глиной, в тяжелых мужицких сапогах, сером подряснике и выцветшей шляпе, — она до того размокла, что сделалась похожей на кусок грязи. Крепко сжав руку мою мозолистой и жесткой ладонью землекопа, он сказал угрюмым баском:

— Это вы — нераскаянный грешник, коего сунули нам исправления вашего ради? Вот мы вас исправим! Чаем угостить можете?

В седой бороде спрятано сухонькое личико аскета, из глубоких глазниц кротко сияет улыбка умных глаз.

— Прямо из леса зашел. Нет ли чего — переодеться мне?

Я уже много слышал о нем, знал, что сын его — политический эмигрант, одна дочь сидит в тюрьме «за политику», другая усиленно готовится попасть туда же; знал, что он затратил все свои средства на поиски воды, заложил дом, живет как нищий, сам копает канавы в лесу, забывая их глиной, а когда сил у него не хватало, — Христа ради просил окрестных мужиков помочь ему. Они — помогали, а городской обыватель, скептически следя за работой «чудака» попа, пальцем о палец не ударил в помощь ему.

Вот с этим человеком Л. Андреев и встретился у меня.

Октябрь, сухой, холодный день, дул ветер, по улице летели какие-то бумажки, птичьи перья, облупки лука. Пыль скреблась в стекла окон, с поля на город двигалась огромная дождевая туча. В комнату к нам неожиданно вошел отец Феодор, протирая запыленные глаза, лохматый, сердитый, ругая вора, укравшего у него саквояж и зонтик, губернатора, который не хочет понять, что водопровод полезнее кредитного общества, — Леонид широко открыл глаза и шепнул мне:

— Это что?

Через час, за самоваром, он, буквально разинув рот, слушал, как протоиерей нелепого города Арзамаса, пристукивая кулаком по столу, порицал гностиков за то, что они боролись с демократизмом церкви, стремясь сделать учение о богознании недоступным разуму народа.

— Еретики эти считали себя высшего познания искателями, аристократами духа, — а не народ ли, в лице мудрей-

ших водителей своих, суть воплощение мудрости божией и духа его?

«Докеты», «офиты», «плерома», «Карпократ» — гудел отец Феодор, а Леонид, толкая меня локтем, шептал:

— Вот олицетворенный ужас арзамасский!

Но вскоре он уже размахивал рукою пред лицом отца Феодора, доказывая ему бессилие мысли, а священник, встряхивая бородой, возражал:

— Не мысль бессильна, а неверие.

— Оно является сущностью мысли...

— Софизмы сочиняете, господин писатель...

По стеклам окон хлещет дождь, на столе курлыкает самовар, старый и малый ворошат древнюю мудрость, а со стены вдумчиво смотрит на них Лев Толстой с палочкой в руке — великий странник мира сего, Ниспровергнув все, что успели, мы разошлись по комнатам далеко за полночь, я уже лег в постель с книгой в руках, но в дверь постучали, и явился Леонид, встрепанный, возбужденный, с расстегнутым воротом рубахи, сел на постель ко мне и заговорил, восхищаясь:

— Вот так поп! Как он меня обнаружил, а?

И вдруг на глазах у него сверкнули слезы.

— Счастлив ты, Алексей, черт тебя возьми! Всегда около тебя какие-то удивительно интересные люди, а я — одинок... или же вокруг меня толкуются...

Он махнул рукою. Я стал рассказывать ему о жизни отца Феодора, о том, как он искал воду, о написанной им «Истории Ветхого Завета», рукопись которой у него отобрали по постановлению синода, о книге «Любовь — закон жизни», тоже запрещенной духовной цензурой. В этой книге отец Феодор доказывал цитатами из Пушкина, Гюго и других поэтов, что чувство любви человека к человеку является основой бытия и развития мира, что оно столь же могущественно, как закон всеобщего притяжения, и во всем подобно ему.

— Да, — задумчиво говорил Леонид, — надо мне поучиться кое-чему, а то стыдно перед попом...

Снова постучали в дверь — вошел отец Феодор, запахивая подрясник, босый, печальный.

— Не спите? А я, того... пришел! Слышу — говорят, пойду, мол, извинюсь! Покричал я на вас резковато, молодые люди, так вы не обижайтесь. Лег, подумал про вас — хорошие человеки, ну, решил, что я напрасно горячился. Вот — простите! Иду спать...

Забралась оба на постель ко мне, и снова началась бесконечная беседа о жизни. Леонид — хохотал и умилялся:

— Нет, какова наша Россия?.. «Позвольте, — мы еще не решили вопроса о бытии бога, а вы обедать зовете!» Это же — не Белинский говорит, это — вся Русь говорит Европе, ибо Европа, в сущности, зовет нас обедать, сытно есть, — не более того!

А отец Феодор, кутая подрысником тонкие, костяные ноги, улыбаясь, возражал:

— Однако Европа все ж таки мать крестная нам, — не забудьте! Без Вольтеров ее и без ее ученых — мы бы с вами не состязались в знаниях философических, а безмолвно блины кушали бы и — только всего!

На рассвете отец Феодор простился и часа через два уже исчез хлопотать о водопроводе арзамасском, а Леонид, проспав до вечера, вечером говорил мне:

— Ты подумай — кому, для чего нужно, чтоб в тухлом каком-то городе жил умница поп, энергичный и интересный? И почему именно поп — умница в этом городе, а? Какая ерунда! Знаешь — жить можно только в Москве, — уезжай отсюда. Скверно тут, — дождь, грязь... — И тотчас же стал собираться домой...

На вокзале он сказал:

— А все-таки этот поп — недоразумение. Анекдот!

Он довольно часто жаловался, что почти не видит людей значительных, оригинальных.

— Ты вот умеешь находить их, а за меня всегда цепляется какой-то репейник, и таскаю я его на хвосте моем — зачем?

Я рассказывал о людях, знакомство с которыми было бы полезно ему, — людях высокой культуры или оригинальной мысли, говорил о В. В. Розанове и других. Мне казалось, что знакомство с Розановым было бы особенно полезно для Андрева. Он удивлялся:

— Не понимаю тебя!

И говорил о консерватизме Розанова, чего мог бы и не делать, ибо в существе духа своего был глубоко равнодушен к политике, лишь изредка обнаруживая приступы внешнего любопытства к ней. Его основное отношение к политическим событиям он выразил наиболее искренно в рассказе: «Так было — так будет».

Я пытался доказать ему, что учиться можно у черта и во ра так же, как у святого отшельника, и что изучение не значит — подчинение.

— Это не совсем верно, — возражал он, — вся наука представляет собою подчинение факту. А Розанова я не люблю.

Иногда казалось, что он избегает личных знакомств с круп-

ными людьми потому, что боится влияния их; встретится раз, два с одним из таких людей, иногда горячо расхвалит человека, но вскоре теряет интерес к нему и уже не ищет новых встреч.

Так было с Саввой Морозовым, — после первой длительной беседы с ним Л. Андреев, восхищаясь тонким умом, широкими знаниями и энергией этого человека, называл его Ермак Тимофеевич, говорил, что Морозов будет играть огромную политическую роль:

— У него лицо татарина, но это, брат, английский лорд!

Но знакомства с ним не продолжил. И так же было с А. А. Блоком.

Я пишу, как подсказывает память, не заботясь о последовательности, о «хронологии».

В Художественном театре, когда он помещался еще в Каретном ряду, Леонид Николаевич познакомил меня со своей невестой — худенькой, хрупкой барышней с милыми, ясными глазами. Скромная, молчаливая, она показалась мне безличной. Но вскоре я убедился, что это человек умного сердца.

Она прекрасно поняла необходимость материнского, бережного отношения к Андрееву, сразу и глубоко почувствовала значение его таланта и мучительные колебания его настроений. Она — из тех редких женщин, которые, умея быть страстными любовницами, не теряют способности любить любовью матери; эта двойная любовь вооружила ее тонким чутьем, и она прекрасно разбиралась в подлинных жалобах его души и звонких словах капризного настроения минуты.

Как известно, русский человек «ради красного словца не жалеет ни матери, ни отца». Л. Н. тоже весьма увлекался красным словом и порою сочинял изречения весьма сомнительного тона.

— Через год после брака жена точно хорошо разношенный башмак — его не чувствуешь, — сказал он однажды при Александре Михайловне. Она умела не обращать внимания на подобное словотворчество, а порою даже находила эти шалости языка остроумными и ласково смеялась. Но, обладая в высокой степени чувством уважения к себе самой, она могла — если это было нужно ей — показать себя очень настойчивой, даже непоколебимой. У нее был тонко развит вкус к музыке слова, к форме речи. Маленькая, гибкая, она была изящна, а иногда как-то забавно, по-детски, важна, — я прозвал ее «Дамашура», это очень привилось ей.

Л. Н. ценил ее, а она жила в постоянной тревоге за него, в непрерывном напряжении всех сил своих, совершенно жертвуя личностью своей интересам мужа.

В Москве у Андреева часто собирались литераторы, было очень тесно, уютно, милые глаза «Дамы Шуры», ласково улыбаясь, несколько сдерживали «широту» русских натур. Часто бывал Ф. И. Шаляпин, восхищая всех своими рассказами.

Когда расцветал «модернизм», пытались понять его, но больше — осуждали, что гораздо проще делать. Seriously думать о литературе было некогда, на первом плане стояла политика. Блок, Белый, Брюсов казались какими-то «уединенными пошехонцами», в лучшем мнении — чудаками, в худшем — чем-то вроде изменников «великим традициям русской общественности». Я тоже так думал и чувствовал. Время ли для «Симфонии», когда вся Русь мрачно готовится плясать трепака? События развивались в направлении катастрофы, признаки ее близости становились все более грозными, эсеры бросали бомбы, и каждый взрыв сотрясал всю страну, вызывая напряженное ожидание коренного переворота социальной жизни. В квартире Андреева происходили заседания ЦК социал-демократов большевиков, и однажды весь Комитет вместе с хозяином квартиры был арестован и отвезен в тюрьму.

Просидев в тюрьме с месяц, Л. Н. вышел оттуда точно из купели Силоамской — бодрый, веселый.

— Это хорошо, когда тебя сожмут, — хочешь всесторонне расширяться! — говорил он.

И смеялся надо мной.

— Ну что, пессимист? А ведь Россия-то — оживает? А ты рифмовал: самодержавие — ржавея.

Он печатал рассказы «Марсельеза», «Набат», «Рассказ, который никогда не будет кончен», но уже в октябре 1905 года прочитал мне в рукописи «Так было».

— Не преждевременно ли? — спросил я.

Он ответил:

— Хорошее всегда преждевременно...

Вскоре он уехал в Финляндию и хорошо сделал — бессмысленная жестокость декабрьских событий раздавила бы его. В Финляндии он вел себя политически активно, выступал на митинге, печатал в газетах Гельсингфорса резкие отзывы о политике монархистов, но настроение у него было подавленное, взгляд на будущее — безнадежен. В Петербурге я получил письмо от него; он писал между прочим:

«У каждой лошади есть свои врожденные особенности, у наций — тоже. Есть лошади, которые со всех дорог сворачи-

вают в кабак, — наша родина свернула к точке наиболее любезной ей и снова долго будет жить распивочно и на вынос».

Через несколько месяцев мы встретились в Швейцарии, в Монтре. Леонид издевался над жизнью швейцарцев.

— Нам, людям широких плоскостей, не место в этих тараканьих щелях, — говорил он.

Мне показалось, что он несколько поблек, потускнел, в глазах его остеклело выражение усталости и тревожной печали. О Швейцарии он говорил так же плоско, поверхностно и то же самое, что издавна привыкли говорить об этой стране свободолюбивые люди из Чухломы, Конотопа и Тетюш. Один из них определил русское понятие свободы глубоко и метко такими словами:

«Мы в нашем городе живем, как в бане, — без поправок, без стеснения». О России Л. Н. говорил скучно и нехотя и однажды, сидя у камина, вспомнил несколько строк горестного стихотворения Якубовича «Родине»:

«За что любить тебя, какая ты нам мать?»

— Написал я пьесу, — читаем?

И вечером он прочитал «Савву».

Еще в России, слушая рассказы о юноше Уфимцеве и товарищах его, которые пытались взорвать икону Курской богородицы, — Андреев решил обработать это событие в повесть, и тогда же, сразу, очень интересно создал план повести, выпукло очертил характеры. Его особенно увлекал Уфимцев, поэт в области научной техники, юноша, обладавший несомненным талантом изобретателя. Сосланный в Семиреченскую область, кажется в Каркаралы, живя там под строгим надзором людей невежественных и суеверных, не имея необходимых инструментов и материалов, он изобрел оригинальный двигатель внутреннего сгорания, усовершенствовал циклопистль, работал над новой системой драги, придумал какой-то «вечный патрон» для охотничьих ружей. Чертежи его двигателя я показывал инженерам в Москве, и они говорили мне, что изобретение Уфимцева очень практично, остроумно и талантливо. Не знаю, какова судьба всех этих изобретений, — уехав за границу, я потерял Уфимцева из виду.

Но я знал, что это юноша из ряда тех прекрасных мечтателей, которые, — очарованы своей верой и любовью, — идут разными путями к одной и той же цели — к возбуждению в народе своем разумной энергии, творящей добро и красоту.

Мне было грустно и досадно видеть, что Андреев исказил

этот характер, еще не тронутый русской литературой, мне казалось, что в повести, как она была задумана, характер этот найдет и оценку и краски, достойные его. Мы поспорили, и, может быть, я несколько резко говорил о необходимости точного изображения некоторых — наиболее редких и положительных — явлений действительности.

Как все люди определенно очерченного «я», острого ощущения своей «самости», Л. Н. не любил противоречия, он обиделся на меня, и мы расстались холодно.

Кажется в 907 или 8-м году Андреев приехал на Капри, похоронив «Даму Шуру» в Берлине, — она умерла от послеродовой горячки. Смерть умного и доброго друга очень тяжело отразилась на психике Леонида. Все его мысли и речи сосредоточенно вращались вокруг воспоминаний о бессмысленной гибели «Дамы Шуры».

— Понимаешь, — говорил он, странно расширя зрачки, — лежит она еще живая, а дышит уже трупным запахом. Это очень иронический запах.

Одетый в какую-то бархатную черную куртку, он даже и внешне казался измятым, раздавленным. Его мысли и речи были жутко сосредоточены на вопросе о смерти. Случилось так, что он поселился на вилле Карачиолло, принадлежавшей вдове художника, потомка маркиза Карачиолло, сторонника французской партии, казненного Фердинандом Бомбой. В темных комнатах этой виллы было сыро и мрачно, на стенах висели незаконченные грязноватые картины, напоминая о пятнах плесени. В одной из комнат был большой закопченный камин, а перед окнами ее, затеняя их, густо разросся кустарник; в стекла со стен дома заглядывал плющ. В этой комнате Леонид устроил столовую.

Как-то под вечер, придя к нему, я застал его в кресле перед камином. Одетый в черное, весь в багровых отсветах тлеющего угля, он держал на коленях сына своего, Вадима, и вполголоса, всхлипывая, говорил ему что-то. Я вошел тихо; мне показалось, что ребенок засыпает, я сел в кресло у двери и слышу: Леонид рассказывает ребенку о том, как смерть ходит по земле и душит маленьких детей.

— Я боюсь, — сказал Вадим.

— Не хочешь слушать?

— Я боюсь, — повторил мальчик.

— Ну, иди спать...

Но ребенок прижался к ногам отца и заплакал. Долго не

удавалось нам успокоить его, Леонид был настроен истерически, его слова раздражали мальчика, он топал ногами и кричал:

— Не хочу спать! Не хочу умирать!

Когда бабушка увела его, я заметил, что едва ли следует пугать ребенка такими сказками, какова сказка о смерти, непобедимом великане.

— А если я не могу говорить о другом? — резко сказал он — Теперь я понимаю, насколько равнодушна «прекрасная природа», и мне одного хочется — вырвать мой портрет из этой пошло красивенькой рамки.

Говорить с ним было трудно, почти невозможно, он нервничал, сердился и, казалось, нарочито растравлял свою боль.

— Меня преследует мысль о самоубийстве, мне кажется, что тень моя, ползая за мной, шепчет мне: уйди, умри!

Это очень возбуждало тревогу друзей его, но иногда он давал понять, что вызывает опасения за себя сознательно и нарочито, как бы желая слышать еще раз, что скажут ему в оправдание и защиту жизни.

Но веселая природа острова, ласковая красота моря и милое отношение каприйцев к русским довольно быстро рассеяли мрачное настроение Леонида. Месяца через два его точно вихрем охватило страстное желание работать.

Помню — лунной ночью, сидя на камнях у моря, он встряхнул головой и сказал:

— Баста! Завтра с утра начинаю писать.

— Лучше этого тебе ничего не сделать.

— Вот именно.

И весело — как он давно уже не говорил — он начал рассказывать о планах своих работ.

— Прежде всего, брат, я напишу рассказ на тему о депотизме дружбы, — уж расплачусь же я с тобой, злодей!

И тотчас — легко и быстро — сплел юмористический рассказ о двух друзьях, мечтателе и математике, — один из них всю жизнь рвется в небеса, а другой заботливо подсчитывает издержки воображаемых путешествий и этим решительно убивает мечты друга.

Но вслед за этим он сказал:

— Я хочу писать об Иуде, — еще в России я прочитал стихотворение о нем — не помню чье¹, — очень умное. Что ты думаешь об Иуде?

У меня в то время лежал чей-то перевод тетралогии Юлиу-

¹ А Рославлева. (Прим М Горького.)

са Векселля «Иуда и Христос», перевод рассказа Тора Гедберга и поэма Голованова, — я предложил ему прочитать эти вещи.

— Не хочу, у меня есть своя идея, а это меня может запутать. Расскажи мне лучше — что они писали? Нет, не надо, не рассказывай.

Как всегда в моменты творческого возбуждения, он вскочил на ноги, — ему необходимо было двигаться.

— Идем!

Дорогой он рассказал содержание «Иуды», а через три дня принес рукопись. Этим рассказом он начал один из наиболее плодотворных периодов своего творчества. На Капри он затеял пьесу «Черные маски», написал злую юмореску «Любовь к ближнему», рассказ «Тьма», создал план «Сашки Жигулева», сделал наброски пьесы «Океан» и написал несколько глав — две или три — повести «Мои записки», — все это в течение полугода. Эти серьезные работы и начинания не мешали Л. Н. принимать живое участие в сочинении пьесы «Увы», пьесы в классически-народническом духе, в стихах и прозе, с пением, плясками и всевозможным угнетением несчастных русских землепашцев. Содержание пьесы достаточно ясно характеризует перечень действовавших в ней лиц:

«Угнетон — безжалостный помещик.

Свирепея — таковая же супруга его.

Филистерий — Угнетонов брат, литераторишко прозаический.

Декадентий — неудачное чадо Угнетоново.

Терпим — землепашец, весьма несчастен, но не всегда пьян.

Скорбела — любимая супруга Терпимова; преисполнена кротости и здравого смысла, хоша беременна постоянно.

Страдала — прекрасная дочь Терпимова.

Лупоморда — ужаснейший становой пристав. Купается в мундире и при орденах.

Раснатая — несомненный урядник, а на самом деле — благородный граф Эдмон де Птие.

Мотря Колокольчик — тайная супруга графова, а в действительности испанская маркиза донна Кармен Нестерпима и Несносна, притворившаяся гитаной.

Тень русского критика Скабического.

Тень Каблицы-Юзова.

Афанасий Щапов, в совершенно трезвом виде.

«Мы говорили», — группа личностей без речей и действий.

Место происшествия — «Голубые Грязи», поместье Уг-

нетоново, дважды заложенное в Дворянском банке и однажды еще где-то».

Был написан целый акт этой пьесы, густо насыщенный веселыми нелепостями. Прозаический диалог уморительно писал Андреев и сам хохотал, как дитя, над выдумками своими.

Никогда, ни ранее, ни после, я не видал его настроенным до такой высокой степени активно, таким необычно трудоспособным. Он как будто отрешился от своей неприязни к процессу писания и мог сидеть за столом день и ночь, полуодетый, растрепанный, веселый. Его фантазия разгорелась удивительно ярко и плодотворно, — почти каждый день он сообщал план новой повести или рассказа.

— Вот когда, наконец, я взял себя в руки! — говорил он, торжествуя.

И расспрашивал о знаменитом пирате Барбароссе, о Томазо Аниелло, о контрабандистах, нарбонариях, о жизни калябрийских пастухов.

— Какая масса сюжетов, какое разнообразие жизни! — восхищался он. — Да, эти люди накопили кое-чего для потомства. А у нас: взял я как-то «Жизнь русских царей», читаю — едят! Стал читать «Историю русского народа» — страдают! Бросил, — обидно и скучно.

Но, рассказывая о затеях своих выпукло и красочно, писал он небрежно. В первой редакции рассказа «Иуда» у него оказалось несколько ошибок, которые указывали, что он не позаботился прочитать даже евангелие. Когда ему говорили, что «герцог Спарато» для итальянца звучит так же нелепо, как для русского звучало бы «князь Башмачников», а сенбернарских собак в XII веке еще не было, — он сердился:

— Это пустяки.

— Нельзя сказать: «Они пьют вино, как верблюды», не прибавив — воду!

— Ерунда!

Он относился к своему таланту, как плохой ездок к прекрасному коню, — безжалостно скакал на нем, но не любил, не холил. Рука его не успевала рисовать сложные узоры буйной фантазии, он не заботился о том, чтобы развить силу и ловкость руки. Иногда он и сам понимал, что это является великою помехой нормальному росту его таланта.

— Язык у меня костенеет, я чувствую, что мне все труднее находить нужные слова...

Он старался гипнотизировать читателя однотонностью фразы, но фраза его теряла убедительность красоты. Окутывая

мысль ватой однообразно-темных слов, он добивался того, что слишком обнажал ее, и казалось, что он пишет популярные диалоги на темы философии.

Изредка, чувствуя это, он огорчался:

— Паутина, — липко, но не прочно! Да, нужно читать Флобера; ты, кажется, прав: он действительно потомок одного из тех гениальных каменщиков, которые строили неразрушимые храмы средневековья!

На Капри Леониду сообщили эпизод, которым он воспользовался для рассказа «Тьма». Героем эпизода этого был мой знакомый, эсер. В действительности эпизод был очень прост: девица «дома терпимости», чутьем угадав в своем «госте» затравленного сыщниками, насильно загнанного к ней революционера, отнеслась к нему с нежной заботливостью матери и тактом женщины, которой вполне доступно чувство уважения к герою. А герой, человек душевно неуклюжий, книжный, ответил на движение сердца женщины проповедью морали, напомним ей о том, что она хотела забыть в этот час. Оскорбленная этим, она ударила его по щеке, — пощечина вполне заслуженная, на мой взгляд. Тогда, поняв всю грубость своей ошибки, он извинился пред нею и поцеловал руку ее, — мне кажется, последнего он мог бы и не делать. Вот и все.

Иногда, — к сожалению, очень редко, — действительность бывает правдивее и краше даже очень талантливого рассказа о ней.

Так было и в этом случае, но Леонид неузнаваемо искажил и смысл и форму события. В действительном публичном доме не было ни мучительного и грязного издевательства над человеком и ни одной из тех жутких деталей, которыми Андреев обильно уснастил свой рассказ.

На меня это искажение подействовало очень тяжело: Леонид как будто отменил, уничтожил праздник, которого я долго и жадно ожидал. Я слишком хорошо знаю людей, для того чтоб не ценить — очень высоко — малейшее проявление доброго, честного чувства. Конечно, я не мог не указать Андрееву на смысл его поступка, который для меня был равносителен убийству из каприза, — злого каприза. Он напомнил мне о свободе художника, но это не изменило моего отношения, — я и до сего дня еще не убежден в том, что столь редкие проявления идеально человеческих чувств могут произвольно искажаться художником в угоду догмы, излюбленной им.

Мы долго беседовали на эту тему, и хотя беседа носила

вовне миролюбивый, дружеский характер, но все же с этого момента между мною и Андреевым что-то порвалось.

Конец этой беседы очень памятен мне.

— Чего ты хочешь? — спросил я Леонида.

— Не знаю, — ответил он, пожав плечами, и закрыл глаза.

— Но ведь есть же у тебя какое-то желание, — оно или всегда впереди других, или возникает более часто, чем все другие?

— Не знаю, — повторил он. — Кажется, нет ничего подобного. Впрочем, иногда я чувствую, что для меня необходима слава, — много славы, столько, сколько может дать весь мир. Тогда я концентрирую ее в себе, сжимаю до возможных пределов, и когда она получит силу взрывчатого вещества, — я взрываюсь, освещая мир каким-то новым светом. И после того люди начнут жить новым разумом. Видишь ли — необходим новый разум, не этот лживый мошенник! Он берет у меня все лучшее плоти моей, все мои чувства и, обещая отдать с процентами, не отдает ничего, говоря: завтра! Эволюция, — говорит он. А когда терпение мое истощается, жажда жизни душист меня, — революция, — говорит он. И обманывает грязно. И я умираю, ничего не получив.

— Тебе нужна вера, а не разум.

— Может быть. Но если так, то прежде всего — вера в себя.

Он возбужденно бегал по комнате, потом, присев на стол, размахивая рукою перед лицом моим, продолжал:

— Я знаю, что бог и дьявол только символы, но мне кажется, что вся жизнь людей, весь ее смысл в том, чтобы бесконечно, беспредельно расширять эти символы, питая их кровью и плотью мира. А вложив все до конца силы свои в эти две противоположности, человечество исчезает, они же станут плотскими реальностями и останутся жить в пустоте вселенной глаз на глаз друг с другом, непобедимые, бессмертные. В этом нет смысла? Но его нигде, ни в чем нет.

Он побледнел, у него дрожали губы, в глазах сухо блестел ужас.

Потом он добавил вполголоса, бессильно:

— Представим себе дьявола — женщиной, бога — мужчиной, и они родят новое существо, — такое же, конечно, двойственное, как мы с тобой. Такое же...

Уехал он с Капри неожиданно; еще за день перед отъездом говорил о том, что скоро сядет за стол и месяца три будет писать, но в тот же день вечером сказал мне:

— А знаешь, я решил уехать отсюда. Надо все-таки жить в России, а то здесь одолевает какое-то оперное легкомыслие. Водевили писать хочется, водевили с пеннем. В сущности — здесь не настоящая жизнь, а — опера, здесь гораздо больше поют, чем думают. Ромео, Отелло и прочих в этом роде изобрел Шекспир, — итальянцы не способны к трагедии. Здесь не мог бы родиться ни Байрон, ни Поэ.

— А Леопарди?

— Ну, Леопарди... кто знает его? Это из тех, о ком говорят, но кого не читают.

Уезжая, он говорил мне:

— Это, Алексеюшко, тоже Арзамас, — веселенький Арзамас, не более того.

— А помнишь, как ты восхищался?

— До брака мы все восхищаемся. Ты скоро уедешь отсюда? Уезжай, пора. Ты становишься похожим на монаха...

Живя в Италии, я настроился очень тревожно по отношению к России. Начиная с 11-го года вокруг меня уверенно говорили о неизбежности общеевропейской войны и о том, что эта война, наверное, будет роковой для русских. Тревожное настроение мое особенно усугублялось фактами, которые определенно указывали, что в духовном мире великого русского народа есть что-то болезненно-темное. Читая изданную Вольно-Экономическим обществом книгу об аграрных беспорядках великорусских губерний, я видел, что эти беспорядки носили особенно жестокий и бессмысленный характер. Изучая по отчетам московской судебной палаты характер преступлений населения московского судебного округа, я был поражен направлением преступной воли, выразившимся в обилии преступлений против личности, а также в насилии над женщинами и растлении малолетних. А раньше этого меня неприятно поразило тот факт, что во второй Государственной думе было очень значительное количество священников — людей наиболее чистой русской крови, но эти люди не дали ни одного таланта, ни одного крупного государственного деятеля. И было еще много такого, что утверждало мое тревожно-скептическое отношение к судьбе великорусского племени.

По приезде в Финляндию я встретился с Андреевым и, беседуя с ним, рассказал ему мои невеселые думы. Он горячо и даже как будто с обидою возражал мне, но возражения его показались мне неубедительными — фактов у него не было.

Но вдруг он, понизив голос, прищурился глазами, как бы напря-

женно всматриваясь в будущее, заговорил о русском народе словами необычными для него — отрывисто, бессвязно и с великой, несомненно искренней, убежденностью.

Я не могу, — да если бы и мог, не хотел бы воспроизвести его речь; сила ее заключалась не в логике, не в красоте, а в чувстве мучительного сострадания к народу, в чувстве, на которое — в такой силе, в таких формах его — я не считал Л. Н. способным.

Он весь дрожал в нервном напряжении и, всхлипывая, как женщина, почти рыдая, кричал мне:

— Ты называешь русскую литературу — областной, потому что большинство крупных русских писателей — люди московской области? Хорошо, пусть будет так, но все-таки это — мировая литература, это самое серьезное и могучее творчество Европы. Достаточно гения одного Достоевского, чтобы оправдать даже и бессмысленную, даже насквозь преступную жизнь миллионов людей. И пусть народ духовно болен — будем лечить его и вспомним, что — как сказано кем-то: «лишь в больной раковине растет жемчужина».

— А красота зверя? — спросил я.

— А красота терпения человеческого, кротости и любви? — возразил он. И продолжал говорить о народе, о литературе все более пламенно и страстно.

Впервые говорил он так страстно, так лирически, раньше я слышал столь сильные выражения его любви только к талантам, родственным ему по духу, — к Эдгару Поэ чаще других.

Вскоре после нашей беседы разразилась эта гнусная война, — отношение к ней еще более разъединило меня с Андреевым.

Лишь в 15-м году, когда из армии хлынула гнуснейшая волна антисемитизма и Леонид, вместе с другими писателями, стал бороться против распространения этой заразы, мы, однажды, поговорили. Усталый, настроенный дурно, он ходил по комнате, засунув одну руку за пояс брюк, другою размахивая в воздухе. Темные его глаза были угрюмы. Он спросил:

— Можешь ты сказать откровенно, — что заставляет тебя тратить время на бесплодную борьбу с юдофобами?

Я ответил, что еврей вообще симпатичен мне, а симпатия — явление «биохимическое» и объяснению не поддается.

— А все-таки?

— Еврей суть человек верующий, вера — его, по преимуществу, качество, я люблю верующих, люблю фанатиков всюду — в науке, искусстве, политике. Хотя знаю: фана-

тизм — нечто наркотическое, но наркотики — не действуют на меня. Прибавь к этому стыд русского за то, что в его доме — на родине его — непрерывно творится позорное и гнусное в отношении к еврею.

Леонид тяжело привалился на диван, говоря:

— Ты человек крайностей, и они тоже, — вот в чем дело! Кто-то сказал: «Хороший еврей — Христос, плохой — Иуда». Но я не люблю Христа, — Достоевский прав: Христос был великий путаник...

— Достоевский не утверждал этого, это — Ницше...

— Ну, Ницше. Хотя должен был утверждать именно Достоевский. Мне кто-то доказывал, что Достоевский тайно ненавидел Христа. Я тоже не люблю Христа и христианство, оптимизм — противная, насквозь фальшивая выдумка.

— Разве христианство кажется тебе оптимистичным?

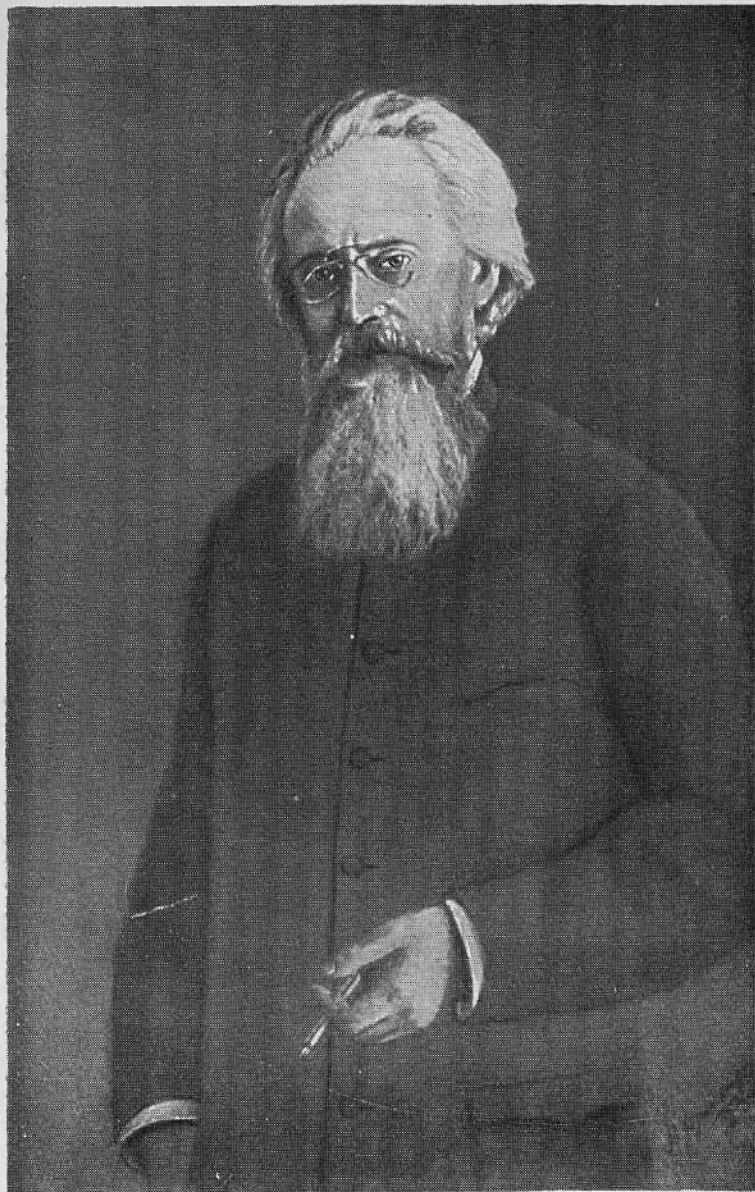
— Конечно, — царствие небесное и прочая чепуха. Я думаю, что Иуда был не еврей, — грек, эллин. Он, брат, умный и дерзкий человек, Иуда. Ты когда-нибудь думал о разнообразии мотивов предательства? Они — бесконечно разнообразны. У Азефа была своя философия, — глупо думать, что он предавал только ради заработка. Знаешь, — если б Иуда был убежден, что в лице Христа перед ним сам Иегова, — он все-таки предал бы его. Убить бога, унизить его позорной смертью — это, брат, не пустячок!

Он долго говорил на Геростратову тему и, — как всегда, когда он сталкивался с такими мыслями, — говорил интересно, возбужденно, подхлестывая фантазию свою острейшими парадоксами. В такие минуты его грубовато красивое, но холодное лицо становится тоньше, одухотворенней, и темные глаза, в которых у него нескрываяемо блестит страх пред чем-то, — в такие минуты горят дерзко, красиво и гордо.

Потом он вернулся к началу беседы:

— Но все-таки о евреях ты что-то выдумываешь, тут у тебя — литература! Я — не люблю их, они меня стесняют. Я чувствую себя обязанным говорить им комплименты, относиться к ним с осторожностью. Это возбуждает у меня охоту рассказывать им веселые еврейские анекдоты, в которых всегда лестно и хвастливо подчеркнута остроумие евреев. Но — я не умею рассказывать анекдоты, и мне всегда трудно с евреями. Они считают и меня виновным в несчастиях их жизни, — как же я могу чувствовать себя равным еврею, если я для него — преступник, гонитель, погромщик?

— Тогда ты напрасно вступил в это общество, — зачем же насиловать себя?



Н. К. Михайловский.



С. Т. Морозов. Москва, конец 1890 — начало 1900-х годов.

— А — стыд? Ты же сам говоришь — стыд. И — наконец — русский писатель обязан быть либералом, социалистом, революционером — черт знает чем еще! И — всего меньше — самим собою.

Усмехаясь, он добавил:

— По этому пути шел мой хороший приятель Горький, и — от него осталось почтенное, но — пустое место. Не сидись.

— Продолжай.

Он налил себе крепкого чая и — с явной целью задеть меня — стал грубо отрицать превосходный, суровый талант Ивана Бунина, — не любит он его. Но вдруг, скучным голосом сказал:

— А женился я на еврейке!

В 16-м году, когда привез мне книги свои, оба снова и глубоко почувствовали, как много было пережито нами и какие мы старые товарищи. Но мы могли, не споря, говорить только о прошлом, настоящее же воздвигало между нами высокую стену непримиримых разноречий.

Я не нарушу правды, если скажу, что для меня стена эта была прозрачна и проницаема — я видел за нею человека крупного, своеобразного, очень близкого мне в течение десяти лет, единственного друга в среде литераторов.

Разногласия умозрений не должны бы влиять на симпатии; я никогда не давал теориям и мнениям решающей роли в моих отношениях к людям.

Л. Н. Андреев чувствовал иначе. Но не я поставлю это в вину ему, ибо он был таков, каким хотел и умел быть — человеком редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественным в своих поисках истины.

С именем В. Г. Короленко у меня связано немало добрых воспоминаний, и, разумеется, я не могу сказать здесь всего, что хотелось бы.

Первая моя встреча с ним относится к 88 или 89 году. Приехав в Нижний Новгород, не помню откуда, я узнал, что в городе этом живет писатель Короленко, недавно отбывший политическую ссылку в Сибири. Я уже читал рассказы, подписанные этим именем, и помню — они вызвали у меня впечатление новое, не согласное с тем, что я воспринял от литературы «народников», изучение которой в ту пору считалось обязательным для каждого юноши, задетого интересом к общественной жизни.

Публицистическая литература «народников» откровенно внушала: «Смотри вот так, думай — так», и это очень нравилось многим, кто привык чувствовать себя руководимым. А для всякого мало-мальски внимательного читателя было ясно, что рассказы Короленко чужды стремлению насиловать ум и чувство.

Я вращался тогда в кругу «радикалов», как именовали себя остатки народников, и в этом кругу творчество Короленко не пользовалось симпатиями. Читали «Сон Макара», но к другим рассказам относились скептически, ставя их рядом с маленькими жемчужинами Антона Чехова, которые уже совершенно не возбуждали серьезного отношения радикалов.

Находились люди, которым казалось, что новый подход к изображению народа в рассказах «За иконой», «Река играет» изобличает в авторе вреднейший скептицизм, а рассказ «Ночью» вызывал у многих резко враждебные суждения, раздражая рационалистов.

С радикалами спорили и враждовали культуртрегеры — люди, начинавшие трудную работу переоценки старых верований; радикалы называли культуртрегеров «никудашниками». «Ни-

кудашники» относились к творчеству В. Г. с подстерегающим вниманием, чутко оценивая его прекрасный лиризм и зоркий взгляд на жизнь.

В сущности — спорили люди доброго сердца с людьми пытливого ума, и сейчас этот спор, вызванный предрассудками людей просвещенных, является сплошным недоразумением, ибо В. Г. давал одинаково щедро и много как людям сердца, так и людям ума. Но все же для многих в ту пору поправки, вносимые новым писателем в привычные, устоявшиеся суждения и мнения о русском народе, казались чуждыми, неприятными и враждебными любимому идолу святой традиции.

Раздражал Тюлин, герой рассказа «На реке», человек, несомненно, всем хорошо знакомый в жизни, но совершенно непохожий на обычного литературного мужичка, на Поликушку, дядю Миная и других излюбленных интеллигентом идеалистов, страстотерпцев, мучеников и правдолюбков, которыми литература густо населила нищие и грязные деревни. Не похож был лентяй ветлужанин на литературного мужичка и в то же время убийственно похож вообще на русского человека, героя на час, в котором активное отношение к жизни пробуждается только в моменты крайней опасности и на краткий срок.

Очень помню горячие споры о Тюлине — настоящий это мужик или выдумка сочинителя? Культуртрегеры утверждали — настоящий, действительный мужик, не способный к строительству новых форм жизни, не имеющий склонности к расширению своего интеллекта.

— С таким субъектом не скоро доживешь до европейских форм государственности, — говорили они. — Тюлин — это Обломов в лаптях.

А радикалы кричали, что Тюлин — выдумка, европейская же культура нам не указ — Поликушка с дядей Минаем создадут культуру оригинальнее западной.

Эти жаркие споры, острые разногласия вызвали у меня напряженный интерес к человеку, обладающему силой возбуждать умы и сердца, и, написав нечто вроде поэмы в прозе, озаглавив ее, кажется, «Песнь старого дуба», я понес рукопись В. Г.

Меня очень удивил его внешний облик — В. Г. не отвечал моему представлению о писателе и политическом ссыльном. Писателя я представлял себе человеком тощим, нервным, красноречивым — не знаю, почему именно таким, В. Г. был коренаст, удивительно спокоен, у него здоровое лицо в густой курчавой бороде и ясные, зоркие глаза.

Он не был похож и на политиков, которых я знал уже довольно много: они казались мне людьми, всегда немножко озлобленными и чуть-чуть рисующимися пережитым.

В. Г. был спокоен и удивительно прост. Перелистывая мою рукопись на коленях у себя, он с поразительной ясностью образно и кратко говорил мне о том, как плохо и почему плохо написал я мою поэму. Мне крепко запомнились его слова:

— В юности мы все немножко пессимисты — не знаю, право, почему. Но, кажется, потому, что хотим многого, а достигаем — мало.

Меня изумило тонкое понимание настроения, побудившего меня написать «Песнь старого дуба», и, помню, мне было очень стыдно, неловко пред этим человеком за то, что я отнял у него время на чтение и критику моей поэмы. Впервые показал я свою работу писателю и сразу имел редкое счастье услышать четкую, уничтожающую критику.

Повторяю — меня особенно удивила простота и ясность речи В. Г.: люди, среди которых я жил, говорили туманным и тяжелым языком журнальных статей.

Вскоре после этой первой встречи с В. Г. я ушел из Нижнего и воротился туда года через три, обойдя центральную Русь, Украину, побывав и пожив в Бессарабии, в Крыму, на Кавказе. Много видел, пережил и, изнемогая от цестроты и тяжести впечатлений бытия, чувствовал себя богачом, который не знает, куда девать нажитое, и бестолково тратит сокровища, разбрасывая все, что имел, всем, кто желал поднять брошенное.

Я не столько рассказывал о своих впечатлениях, сколько спрашивал, что они значат, какова их ценность?

В этом приподнятом настроении я снова встретился с В. Г. Сидел у него в маленькой тесной столовой и говорил о том, что особенно тревожило меня — о правдоискателях, о беспризорной бродячей Руси, о тяжелой жизни грязных и жадных деревень.

В. Г. слушал, задумчиво улыбался умными и ясными глазами и вдруг спросил:

— А заметили вы, что все эти правдоискатели больших дорог — великие самолюбцы?

Конечно, я этого не замечал и был удивлен вопросом.

А В. Г. добавил:

— И лентяи порядочные, правду сказать...

Он говорил не осуждая, добродушно, и от этого его слова приобретали особый вес, особое значение. Во всей его фигуре, в каждом жесте чувствовалась спокойная сила, а внима-

ние, с которым он слушал, обязывало к точности и краткости. Его хорошие глаза, вздумчивый их взгляд взвешивали внутреннюю ценность ваших слов, и вы невольно требовали от себя слов значительных, точно рисующих мысль и чувство. Уйдя от него, я почувствовал, чем отличаются его рассказы о человеке от рассказов других людей. Как многим, мне казалось, что беспристрастный голос правдивого художника — голос безразличного человека.

Но чуткие замечания В. Г. о мужиках, монахах, правдоискателях обличали в нем человека, который не считает себя судьей людей, а любит их с открытыми глазами, той любовью, которая дает мало наслаждений и слишком много страданий.

В этом году я начал печатать маленькие рассказы в газетах и однажды, под влиянием смерти крупного культурного деятеля, нижегородца А. С. Гацисского, написал какой-то фантазерский рассказ о том, как над могилой интеллигента мужики благодарно оценивают его жизнь.

Встретив меня на улице, В. Г. сказал, добродушно усмехаясь:

— Ну, это вы плохо сочинили. Такие штуки не надо писать!

Видимо, он следил за моей работой, бывал я у него не часто, но почти при каждой встрече он что-нибудь говорил мне о моих рассказах.

— «Архипа и Леньку» напрасно напечатали в «Волгаре» — это можно бы поместить в журнал, — говорил он.

— Вы чересчур увлекаетесь словами, нужно быть более скупым и точным.

— Не прикрашивайте людей...

Его советы и указания всегда были кратки, просты, но это были как раз те указания, в которых я нуждался. Я много получил от Короленко добрых советов, много внимания, и если в силу разных неустраняемых причин не сумел воспользоваться его помощью — в том моя вина и печаль.

Известно, что в большую журнальную литературу я вошел при его помощи.

О многом я умолчу из опасения быть бестактным в похвалах и благодарности моей этому человеку.

Скажу в заключение, что за двадцать пять лет литературной моей работы я видел и знал почти всех больших писателей, имел высокую честь знать и колоссального Л. Н. Толстого.

В. Г. Короленко стоит для меня где-то в стороне от всех, в своей особой позиции, значение которой до сего дня недостаточно оценено. Мне лично этот большой и красивый писатель сказал о русском народе многое, что до него никто не умел сказать. Он сказал это тихим голосом мудреца, который прекрасно знает, что всякая мудрость относительна и вечной правды — нет. Но правда, сказанная образом Тюлина, — огромная правда, ибо в этой фигуре нам дан исторически верный тип великорусса — того человека, который ныне сорвался с крепких цепей мертвой старины и получил возможность строить жизнь по своей воле.

Верю, что он построит ее так, как найдет удобным для себя, и знаю, что в этой великой работе строения новой России найдет должную оценку и прекрасный труд честнейшего русского писателя В. Г. Короленко, человека с большим и сильным сердцем.

„ВРЕМЯ КОРОЛЕНКО“

...Вышел я из Царицына в мае на заре ветреного, тусклого дня, рассчитывая быть в Нижнем к сентябрю.

Часть пути, по ночам, ехал с кондукторами товарных на площадках тормозных вагонов, большую часть шагал пешком, зарабатывая на хлеб по станицам, деревням, по монастырям. Гулял в Донской области, в Тамбовской и Рязанской губерниях, из Рязани, по Оке, свернул на Москву, зашел в Хамовники к Л. Н. Толстому. София Андреевна сказала мне, что он ушел в Троице-Сергиевскую лавру. Я встретил ее на дворе, у дверей сарая, тесно набитого пачками книг, она отвела меня в кухню, ласково угостила стаканом кофе с булкой и, между прочим, сообщила мне, что к Льву Николаевичу шляется очень много «темных бездельников» и что Россия вообще изобилует бездельниками. Я уже сам видел это и, не кривя душой, вежливо признал наблюдение умной женщины совершенно правильным.

Был конец сентября, землю щедро кропили осенние дожди, по щетинистым полям гулял холодный ветерок, леса были ярко раскрашены; очень красивое время года, но несколько неудобное для путешествия пешком, а особенно — в худых сапогах.

На станции Москва-товарная я уговорил проводника пустить меня в скотский вагон, в нем восемь черкасских быков ехали в Нижний, на бойню. Пятеро из них вели себя вполне солидно, но остальным я почему-то не понравился, и они всю дорогу старались причинять мне различные неприятности; когда это удавалось им, быки удовлетворенно сопели и мычали.

А проводник, человечишка на кривых ногах, маленький, пьяный, с обкусанными усами, возложил на меня обязанность кормить спутников моих, на остановках он совал в дверь вагона охапки сена, приказывая мне:

— Угощай!

Тридцать четыре часа провел я с быками, наивно думая, что никогда уже не встречу в жизни моей скотов более грубых, чем эти.

В котомке у меня лежала тетрадь стихов и превосходная поэма в прозе и стихах «Песнь старого дуба».

Я никогда не болел самонадеянностью, да еще в то время чувствовал себя малограмотным, но я искренне верил, что мною написана замечательная вещь: я затискал в нее все, о чем думал на протяжении десяти лет пестрой, нелегкой жизни. И был убежден, что грамотное человечество, прочитав мою поэму, благотворно изумится пред новизной всего, что я поведал ему, правда повести моей сотрясет сердца всех живущих на земле и тотчас же после этого взиграет честная, чистая, веселая жизнь, — кроме и больше этого я ничего не желал.

В Нижнем жил Н. Е. Каронин; я изредка заходил к нему, но не решался показать мой философический труд. Больной, Николай Ельпидифорович вызывал у меня острое чувство сострадания, и я всем существом моим ощущал, что этот человек мучительно, упорно задумался над чем-то.

— Может быть, и так, — говорил он, выдувая из ноздрей густейшие струи дыма папиросы, снова глубоко вдыхал дым и, усмехаясь, оканчивал:

— А может быть, и не так...

Речи его вызывали у меня тягостное недоумение, мне казалось, что этот полузамученный человек имел право и должен был говорить как-то иначе, более определенно. Все это — и моя сердечная симпатия к нему — внушали мне некую осторожность в отношении к Петропавловскому, как будто я опасался что-то задеть в нем, сделать ему больно.

Я видел его в Казани, где он остановился на несколько дней, возвращаясь из ссылки. Он вызвал у меня памятное впечатление человека, который всю свою жизнь попадал не туда, куда ему хотелось.

— В сущности, напрасно я сюда приехал!

Эти слова встретили меня, когда я вошел в сумрачную комнату одноэтажного флигеля на грязном дворе трактира ломовых извозчиков. Среди комнаты стоял высокий, сутулый человек, задумчиво глядя на циферблат больших карманных часов. В пальцах другой руки густо дымились папирсы. Потом он начал шагать длинными ногами из угла в угол, кратко отвечая на вопросы хозяина квартиры С. Г. Сомова.

Его близорукие, детски ясные глаза смотрели утомленно и озабоченно. На скулах и подбородке — светлые шерстинки

разной длины; на угловатом черепе — прямые, давно не мытые волосы дьякона. Засунув левую руку в карман измятых брюк, он звенел там медью, а в правой руке держал папиросу, помахивая ею, как дирижер палочкою. Дышал дымом. Сухо покашливал и все смотрел на часы, уныло причмокивая. Движения плохо слаженного костлявого тела показывали, что человек этот мучительно устал. Постепенно в комнату влезло десятка полтора мрачных гимназистов, студентов, булочник и стекольщик.

Каронин приглушенным голосом чахоточного рассказывал о жизни в ссылке, о настроении политических ссыльных. Говорил он ни на кого не глядя, словно беседуя с самим собою, часто делал короткие паузы и, сидя на подоконнике, беспомощно оглядывался. Над головою его была открыта форточка, в комнату врвался холодный воздух, насыщенный запахом навоза и лошадиной мочи. Волосы на голове Каронина шевелились, он приглаживал их длинными пальцами сухой костистой руки и отвечал на вопросы.

— Допустимо, но я не уверен, что это именно так! Не знаю. Не умею сказать.

Каронин не понравился юношам. Они уже привыкли слушать людей, которые все знали и все умели сказать. И осторожность его повести вызвала у них ироническую оценку:

— Пуганая ворона.

Но товарищу моему, стекольщику Анатолию, показалось, что честную вдумчивость взгляда детских глаз Каронина и его частое «не знаю» можно объяснить иной боязнью: человек, знающий жизнь, боится ввести в заблуждение мрачных кутят, сказав им больше, чем может искренно сказать. Люди непосредственного опыта, я и Анатолий отнеслись к людям книг несколько недоверчиво; мы хорошо знали гимназистов и видели, что в этот час они притворяются серьезными больше, чем всегда.

Около полуночи Каронин вдруг замолчал, вышел на середину комнаты и, стоя в облаке дыма, крепко погладил лицо свое ладонями рук, точно умываясь невидимой водой. Потом вытащил часы откуда-то из-за пояса, поднес их к носу и торпливо сказал:

— Так — вот. Я должен идти. У меня дочь больна. Очень. Прощайте!

Крепко пожав горячими пальцами протянутые ему руки, он, покачиваясь, ушел, а мы начали «междоусобную брань» — обязательное и неизбежное последствие всех таких бесед.

В Нижнем Каронин трепетно наблюдал за толстовским дви-

жением среди интеллигенции, помогал устраивать колонию в Симбирской губернии; быструю гибель этой затеи он описал в рассказе «Борская колония».

— Попробуйте и вы «сесть на землю»,— советовал он мне. — Может быть, это подойдет вам?

Но — убийственные опыты любителей самоистязания не привлекали меня, к тому же в Москве я видел одного из главных основоположников «толстовства» М. Новоселова, организатора тверской и смоленской артелей, а затем — сотрудника «Православного обозрения» и яростного врага Л. Н. Толстого.

Это был человек большого роста, видимо значительной физической силы, он явно рисовался крайней упрощенностью, даже грубостью мысли и поведения, за этой грубостью я почувствовал плохо скрытую злость честолюбца. Он резко отрицал «культуру»; это мне очень не понравилось; культура — та область, куда я подвигался с великим трудом, сквозь множество препятствий.

Я встретил его в квартире нечаевца Орлова, переводчика Леопарди и Флобера, одного из организаторов прекрасного издания «Пантеон литературы»; умный, широко образованный старик целый вечер сокрушительно высмеивал «толстовство», которым я в ту пору несколько увлекался, видя в нем, однако, не что иное, как только возможность для меня временно отойти в тихий угол жизни и там продумать пережитое мною.

...Я знал, конечно, что в Нижнем живет В. Г. Короленко, читал его «Сон Макара»; рассказ этот почему-то не понравился мне.

Однажды, в дождливый день, знакомый, с которым я шел по улице, сказал, скосив глаза в сторону:

— Короленко!

По панели твердо шагал коренастый, широкоплечий человек в мохнатом пальто, из-под мокрого зонтика я видел курчавую бороду. Человек этот напомнил мне тамбовских прасолов, а у меня были солидные основания относиться враждебно к людям этого племени, и я не ощутил желаний познакомиться с Короленко. Не возникло это желание и после совета, данного мне жандармским генералом, — одна из забавных шуток странной русской жизни.

Меня арестовали и посадили в одну из четырех башен нижегородской тюрьмы. В круглой моей камере не было ничего интересного, кроме надписи, выцарапанной на двери, окоченной железом. Надпись гласила:

«Все живое — из клетки».

Я долго соображал, что хотел сказать человек этими словами? И, не зная, что это аксиома биологии, решил принять ее как изречение юмориста.

Меня отвели на допрос к самому генералу Познанскому, и вот он, хлопая багровой, опухшей рукою по бумагам, отобраным у меня, говорит, всхрапывая:

— Вы тут пишете стихи и вообще... Ну, и пишите! Хорошие стихи — приятно читать...

Мне тоже стало приятно знать, что генералу доступны некоторые истины. Я не думал, что эпитет «хорошие» относится именно к моим стихам. Но в то время далеко не все интеллигенты могли бы согласиться с афоризмом жандарма о стихах.

И. И. Сведенцов, литератор, гвардейский офицер, бывший ссыльный, прекрасно рассказывал о народовольцах, особенно восторженно о Вере Фигнер, печатал мрачные повести в «толстых» журналах, но когда я прочитал ему стихи Фофанова:

Что ты сказала мне — я не расслышал,
Только сказала ты нежное что-то... —

он сердито зафырчал:

— Болтовня! Она, может быть, спросила его, который час? А он, дубина, обрадовался...

Генерал — грузный, в серой тужурке с оторванными пуговицами, в серых, замызганных штанах с лампасами. Его опухшее лицо в седых волосах густо расписано багровыми жилками, мокрые, мутные глаза смотрят печально, устало. Он показался мне заброшенным, жалким, но симпатичным, напомнив породистого пса, которому от старости тяжело и скучно лаять.

Из книги речей А. Ф. Кони я знал тяжелую драму, пережитую этим генералом, знал, что дочь его — талантливая пианистка, а сам он — морфинист. Он был организатором и председателем «Технического общества» в Нижнем, оспаривал на заседаниях этого общества значение кустарных промыслов и — открыл на главной улице города магазин для продажи кустарных изделий губернии; он посылал в Петербург доносы на земцев, Короленко и на губернатора Баранова, который сам любил писать доносы.

Все вокруг генерала было неряшливо: на кожаном диване, за спиной его, валялось измятое постельное белье, из-под дивана выглядывал грязный сапог и кусок алебаstra весом пуда в два. На косяках окон, в клетках, прыгали чижы, щеглята,

снегири, большой стол в углу кабинета загроможден физическими аппаратами, предо мной на столе лежала толстая книга на французском языке «Теория электричества» и томик Сеченова «Рефлексы головного мозга».

Старик непрерывно курил коротенькие толстые папиросы, и обильный дым их неприятно тревожил меня, внушая смешную мысль, что табак напитан морфием.

— Какой вы революционер? — брюзгливо говорил он. — Вы — не еврей, не поляк. Вот — вы пишете, ну, что же? Вот когда я выпущу вас — покажите ваши рукописи Короленко, — знакомы с ним? Нет? Это — серьезный писатель, не хуже Тургенева...

От генерала истекал какой-то тяжелый, душный запах. Говорить ему не хотелось, он вытягивал слово за словом лениво, с напряжением. Было скучно. Я рассматривал небольшую витрину рядом со столом, в ней были разложены рядами металлические кружки.

Генерал, заметив мои косые взгляды, тяжело приподнялся, спросил:

— Интересно?

Подвинул кресло свое к витрине и, открыв ее, он заговорил:

— Это — медали в память исторических событий и лиц. Вот — взятие Бастилии, а это — в память победы Нельсона под Абукиром, — историю Франции знаете? Это — объединение швейцарских союзов, а это знаменитый Гальвани, — смотрите, как прекрасно сделано. Это — Кювье, — значительно хуже!

На его багровом носу дрожало пенсне, влажные глаза оживились, он брал медали толстыми пальцами так осторожно, как будто это была не бронза, а стекло.

— Прекрасное искусство! — ворчал он и, смешно оттопырив губы, сдувал пыль с медалей.

Я искренно восхищался красотой кружочков металла и видел, что старик нежно любит их.

Закрыв — со вздохом — витрину, он спросил меня, люблю ли я певчих птиц. Ну, в этой области я знал, вероятно, больше, чем три генерала. И между нами завязалась оживленнейшая беседа о птицах.

Старик уже вызвал жандарма, чтобы отправить меня в тюрьму, у косяка двери вытянулся солидный вахмистр, а его начальник все еще говорил, сожалительно чмокая:

— Вот, знаете, не могу достать щура! Замечательная птица! И — вообще — птицы прекрасный народ, правда? Ну,

отправляйтесь с богом... Да, — вспомнил он, — вам учиться надо, ну, там — писать, а не это...

Через несколько дней я снова сидел перед генералом, он сердито бормотал:

— Конечно, вы знали, куда уехал Сомов, и надо бы сказать это мне, я бы сразу выпустил вас. И — не надо было издеваться на офицером, который делал обыск у вас... И — вообще...

Но вдруг, наклоняясь ко мне, он добродушно спросил:

— А теперь вы не ловите птиц?

...Лет через десять после забавного знакомства с генералом я, арестованный, сидел в Нижегородском жандармском управлении, ожидая допроса. Ко мне подошел молодой адъютант и спросил:

— Вы помните генерала Познанского? — Это мой отец. Он умер, в Томске. Он очень интересовался вашей судьбой, следил за вашими успехами в литературе и нередко говорил, что он первый почувствовал ваш талант. Незадолго до смерти он просил меня передать вам медали, которые нравились вам, — конечно, если вы пожелаете взять их...

Я был искренно тронут. Выйдя из тюрьмы, взял медали и отдал их в Нижегородский музей.

...В солдаты меня не взяли; толстый, веселый доктор, несколько похожий на мясника, распорядясь, точно боец быков на бойне, сказал, осмотрев меня:

— Дырявый, пробито легкое насквозь! Притом — расширена вена на ноге. Негоден!

Это крайне огорчило меня.

Незадолго до призыва я познакомился с офицером-топографом — Пасхиным или Пасхаловым, не помню.

Участник боя под Кушкой, он интересно рисовал жизнь на границе Афганистана и весной должен был отправиться на Памир работать по определению границ России. Высокий, жилистый, нервный, он очень искусно писал маслом маленькие, забавные картинки военного быта в духе Федотова. Я чувствовал в нем что-то неслаженное, противоречивое, то, что именуют «ненормальным». Он уговаривал меня:

— Поступайте в топографическую команду, я возьму вас на Памиры! Вы увидите самое прекрасное на земле — пустыню! Горы — это хаос, пустыня — гармония!

И, прищурился большие, серые, странно блуждающие глаза, понижая до шепота мягкий, ласкающий голос, он таинственно жужжал о красоте пустыни, а я слушал, и меня до немоты изумляло: как можно столь обаятельно говорить о пу-

стоте, о бескрайных песках, непоколебимом молчании, о зное и мучениях жажды?

— Ничего не значит,— сказал он, узнав, что меня не взяли в солдаты. — Пишите заявление, что желаете поступить добровольцем в команду топографов и обязуетесь сдать требуемые экзамены, — я вам все устрою!

Заявление написано, подано; с трепетом жду результата. Через несколько дней Пасхалов смущенно сказал мне:

— Оказывается — вы политически неблагонадежны, тут ничего нельзя сделать!

И, опустив глаза, он тихо добавил:

— Жаль, что вы скрыли от меня это обстоятельство.

Я сказал, что для меня это «обстоятельство» тоже новость, но он, кажется, не поверил мне. Скоро он уехал из города, а на святках я прочитал в московской газете, что этот человек зарезался бритвой в бане.

...Жизнь моя шла путанно и трудно. Я работал в складе пива, перекачивал в сыром подвале бочки с места на место, мыл и купорил бутылки. Это занимало весь мой день. Поступил в контору водочного завода, но в первый же день службы на меня бросилась борзая собака жены управляющего завода — я убил собаку ударом кулака по длинному черепу, и меня тотчас прогнали.

Однажды, в тяжелый день, я решил, наконец, показать мою поэму В. Г. Короленко. Трое суток играла снежная буря, улицы были загромождены сугробами, крыши домов — в пышных шапках снега, скворешни — в серебряных чепчиках, стекла окон затянуты кружевами, а в белесом небе сияло, ослепляя, жгучее холодное солнце.

Владимир Галактионович жил на окраине города во втором этаже деревянного дома. На панели, перед крыльцом, умело работал широкой лопатой коренастый человек в меховой шапке странной формы, с наушниками, в коротком, по колени, плохо сшитом тулупчике, в тяжелых вятских валенках.

Я полез сквозь сугроб на крыльцо.

— Вам кого?

— Короленко.

— Это я.

Из густой курчавой бороды, богато украшенной инеем, на меня смотрели карие, хорошие глаза. Я не узнал его; встретив на улице, я не видел его лица. Опираясь на лопату, он молча выслушал мои объяснения причин визита, потом прищурился, вспоминая.

— Знакомая фамилия. Это не о вас ли писал мне года два тому назад некто Ромась, Михайло Антонов? Так?

Входя на лестницу, он спросил:

— Не холодно вам? Очень легко одеты.

И — не громко, как будто беседуя сам с собою:

— Упрямый мужик Ромась! Умный хохол. Где он теперь?

В маленькой угловой комнатке окнами в сад, тесно заставленной двумя рабочими конторками, шкафами книг и тремя стульями, он, отирая платком мокрую бороду и перелистывая мою толстую рукопись, говорил:

— Почитаем! Странный у вас почерк, с виду — простой, четкий, а читается трудно.

Рукопись лежала на коленях у него, он искоса поглядывал на ее страницы, на меня — мне было неловко.

— Тут у вас написано — «зизгаг», это... очевидно, описка, такого слова нет, есть — зигзаг...

Маленькая пауза перед словом «описка» дала мне понять, что В. Г. Короленко — человек, умеющий щадить самолюбие ближнего.

— Ромась писал мне, что мужики пытались порохом взорвать его, а потом подожгли, — да?

Он говорил и перелистывал рукопись.

— Иностранные слова надо употреблять только в случае совершенной неизбежности, вообще же лучше избегать их. Русский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли.

Это он говорил между прочим, все расспрашивая о Ромасе, о деревне.

— Какое суровое лицо у вас! — неожиданно сказал он и, улыбаясь, спросил: — Трудно живется?

Его мягкая речь значительно отличалась от грубовато окающего волжского говора, но я видел в нем странное сходство с волжским лоцманом, — оно было не только в его плотной, широкогрудой фигуре и зорком взгляде умных глаз, но и в благодушном спокойствии, которое так свойственно людям, наблюдающим жизнь как движение по извилистому руслу реки среди скрытых мелей и камней.

— Вы часто допускаете грубые слова, — должно быть, потому, что они кажутся вам сильными? Это — бывает.

Я сказал, что — знаю: грубость свойственна мне, но умения не было ни времени обогатить себя мягкими словами и чувствами, ни места, где бы я мог сделать это.

Внимательно взглянув на меня, он продолжал ласково:

— Вы пишете:

Я в мир пришел, чтобы не соглашаться.
Раз это так...

Раз — так, — не годится. Это — неловкий, некрасивый оборот речи. Раз так, раз этак, — вы слышите?

Я впервые слышал все это и хорошо чувствовал правду его замечаний.

Далее оказалось, что в моей поэме кто-то сидит «орлом» на развалинах храма.

— Место мало подходящее для такой позы, и она не столько величественна, как неприлична, — сказал Короленко, улыбаясь.

Вот он нашел еще «описку», еще и еще. Я был раздавлен обилием их и, должно быть, покраснел, как раскаленный уголь. Заметив мое состояние, Короленко, смеясь, рассказал мне о каких-то ошибках Глеба Успенского, это было великодушно, а я уже ничего не слушал и не понимал, желая только одного — бежать от срама. Известно, что литераторы и актеры самолюбивы, как пуделя.

Я ушел и несколько дней прожил в мрачном угнетении духа.

Я видел какого-то особенного писателя: он ничем не похож на распатанного и сердечно милого Каронина, не говоря о смешном Старостине. В нем нет ничего общего с угрюмым Сведенцовым-Ивановичем, который говорил мне:

— Рассказ должен ударить читателя по душе как палкой, чтобы читатель чувствовал, какой он скот!

В этих словах было нечто сродное моему настроению. Короленко первый сказал мне веские человеческие слова о значении формы, о красоте фразы, я был удивлен простой, понятной правдой этих слов и, слушая его, жутко почувствовал, что писательство — не легкое дело. Я сидел у него более двух часов, он много сказал мне, но — ни одного слова о сущности, о содержании моей поэмы. И я уже чувствовал, что ничего хорошего не услышу о ней.

Недели через две рыженький статистик Н. И. Дрягин, милый и умный, принес мне рукопись и сообщил:

— Короленко думает, что слишком запугал вас. Он говорит, что у вас есть способности, но надо писать с натуры,

не философствуя. Потом — у вас есть юмор, хотя и грубоватый, но — это хорошо! А о стихах он сказал — это бред!

На обложке рукописи карандашом, острым почерком написано:

«По «Песне» трудно судить о ваших способностях, но, кажется, они у вас есть. Напишите о чем-либо пережитом вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие. Вл. Кор.».

О содержании рукописи — ни слова. Что же читал в ней этот странный человек?

Из рукописи вылетели два листка стихов. Одно стихотворение было озаглавлено «Голос из горы идущему вверх», другое «Беседа Черта с колесом». Не помню, о чем именно беседовали черт и колесо, — кажется, о «круговращении» жизни, — не помню, что именно говорил «голос из горы». Я разорвал стихи и рукопись, сунул их в топившуюся печь, голландку, и, сидя на полу, размышлял: что значит писать о «пережитом»?

Все написанное в поэме я пережил...

И — стихи! Они случайно попали в рукопись. Они были маленькой тайной моей, я никому не показывал их, да и сам плохо понимал. Среди моих знакомых кожаные переводы Барыковой и Лихачева из Коппэ, Ришпэна, Т. Гуда и подобных поэтов ценились выше Пушкина, не говоря уже о мелодиях Фофанова. Королем поэзии считался Некрасов, молодежь восхищалась Надсоном, но зрелые люди и Надсона принимали — в лучшем случае — только снисходительно.

Меня считали серьезным человеком; солидные люди, которых я искренно уважал, дважды в неделю беседовали со мною о значении кустарных промыслов, о «запросах народа и обязанностях интеллигенции», о гнилой заразе капитализма, который никогда — никогда! — не проникнет в мужицкую, социалистическую Русь.

И — вот, все теперь узнают, что я пишу какие-то бредовые стихи! Стало жалко людей, которые принуждены будут изменить свое доброе и серьезное отношение ко мне.

Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы и действительно все время жизни в Нижнем — почти два года — ничего не писал. А иногда очень хотелось.

С великим огорчением принес я мудрость мою в жертву все очищающему огню.

...В. Г. Короленко стоял в стороне от группы интеллигентов-радикалов, среди которых я чувствовал себя, как чиж в семье мудрых воронов.

Писателем, наиболее любезным для этой среды, был Н. Н. Златовратский, — о нем говорили: «Златовратский очищает душу и возвышает ее».

А один из наставников молодежи рекомендовал этого писателя так:

— Читайте Златовратского, я его лично знаю, это честный человек!

Глеба Успенского читали внимательно, хотя он подозревался в скептицизме, недопустимом по отношению к деревне. Читали Каронина, Мачтета, Засодимского, присматривались к Потапенко:

— Этот, кажется, ничего...

В почете был Мамин-Сибиряк, но говорили, что у него «неопределенная тенденция».

Тургенев, Достоевский, Л. Толстой были где-то далеко за пределами внимания. Религиозная проповедь Л. Н. Толстого оценивалась так:

— Дурит барин!

Короленко смущал моих знакомых; он был в ссылке, написал «Сон Макара» — это, разумеется, очень выдвигало его. Но — в рассказах Короленко было нечто подозрительное, непривычное чувству и уму людей, плененных чтением житийной литературы о деревне и мужике.

— От ума пишет, — говорили о нем, — от ума, а народ можно понять только душой.

Особенно возмутил прекрасный рассказ «Ночью», в нем заметили уклон автора в сторону «метафизики», а это было преступно. Даже кто-то из кружка В. Г. — кажется, А. И. Богданович — написал довольно злую и остроумную пародию на этот рассказ.

— Ч-чепуха! — немножко заикаясь, говорил С. Г. Сомов, человек не совсем нормальный, но, однако, довольно влиятельный среди молодежи. — Описание физиологического акта рождения — дело специальной литературы, и тараканы тут ни при чем! Он и-подражает Толстому, этот К-короленко.

Но имя Короленко уже звучало во всех кружках города. Он стал центральной фигурой культурной жизни и, как магнит, притягивал к себе внимание, симпатии и вражду людей.

— Ищет популярности, — говорили люди, не способные сказать ничего иного.

В то время было открыто серьезное воровство в местном Дворянском банке; эта весьма обычная история имела весьма драматические последствия: главный виновник, провинциальный «лев и пожиратель сердец», умер в тюрьме, его жена — отравилась соляной кислотой, растворив в ней медь, тотчас после похорон на ее могиле застрелился человек, любивший ее, один за другим умерли еще двое привлеченных к следствию по делу банка, — был слух, что оба они тоже кончили самоубийством.

В. Г. печатал в «Волжском вестнике» статьи о делах банка, и его статьи совпали во времени с этими драмами. Чувствительные люди стали говорить, что Короленко «убивает людей корреспонденциями», а мой патрон А. И. Ланин горячо доказывал, что «в мире нет явлений, которые чужды художнику».

Известно, что клевета всего проще, поэтому люди, нищие духом, довольно щедро награждали Короленко разнообразной клеветой.

В эти застойные годы жизнь кружилась медленно, восходя по невидимой спирали к неведомой цели своей, и все заметнее становилась в этом кружении коренастая фигура человека, похожего на лодмана. В суде слушается дело скопцов, — В. Г. сидит среди публики, зарисовывая в книжку полумертвые лица изуверов, его видишь в зале земского собрания, за крестным ходом, всюду; нет ни одного заметного события, которое не привлекало бы спокойного внимания Короленко.

Около него крепко сплотилась значительная группа разнообразно недюжинных людей: Н. Ф. Анненский, человек острого и живого ума; С. Я. Елпатьевский, врач и беллетрист, обладатель неисчерпаемого сокровища любви к людям, добродушный и веселый; Ангел И. Богданович, вдумчивый и едкий; «барин от революции» А. И. Иванчин-Писарев; А. А. Савельев, председатель земской управы; Аполлон Карелин, автор самой краткой и красноречивой прокламации из всех мне известных; после 1 марта 81-го года он расклеил по заборам Нижнего бумажку, содержащую всего два слова: «Требуйте конституцию».

Кружок Короленко шутивно наименовался «Обществом трезвых философов»; иногда члены кружка читали интересные рефераты; я помню блестящий реферат Карелина о Сен-Жюсте и Елпатьевского о «Новой поэзии», — таковой в то время считалась поэзия Фофанова, Фруга, Коринфского, Медведского, Минского, Мережковского. К «трезвым философам»

примыкали земские статистики Н. И. Дрягин, Кисляков, М. А. Плотников, Константинов, Шмидт и еще несколько таких же серьезных исследователей русской деревни; каждый из них оставил глубокий след в деле изучения путаной жизни крестьянства. И каждый являлся центром небольшого кружка людей, которых эта таинственная жизнь глубоко интересовала, у каждого можно было кое-чему научиться. Лично для меня было очень полезно серьезное, лишенное всяческих прикрас отношение к деревне. Таким образом, влияние кружка Короленко распространялось очень широко, проникая даже в среду, почти недоступную культурным влияниям.

У меня был приятель, дворник крупного каспийского рыбопромышленника Маркова, Пимен Власьев, — обыкновенный, наскоро и незатейливо построенный, курносый русский мужик. Однажды, рассказывая мне о каких-то незаконных намерениях своего хозяина, он, таинственно понизив голос, сообщил:

— Он бы это дело сварганил, да — Короленки боится! Тут, знаешь, прислали из Петербурга тайного человека, Короленкой зовется, иностранному королю племянш, за границей наняли, чтобы он, значит, присматривал за делами, — на губернатора-то не надеются. Короленка этот уж подсен дворян, — слышал? ¹

Пимен был человек безграмотный и великий мечтатель; он обладал какой-то необыкновенно радостной верой в бога и уверенно ожидал в близком будущем конца «всякой лже».

— Ты, мил друг, не тоскуй, скоро лже конец. Она сама себя топит, сама себя ест!

Когда он говорил это, его мутновато-серые глаза, странно синевя, горели и сияли великой радостью, казалось, что вот сейчас расплавятся они, изольются потоками синих лучей.

Как-то в субботу помылись мы с ним в бане и пошли в трактир пить чай. Вдруг Пимен, глядя на меня милыми глазами, говорит:

— Постой-ка?

Рука его, державшая блюдечко чая, задрожала, он поставил блюдечко на стол и, к чему-то прислушиваясь, перекрестился.

¹ Литератор С. Елеонский утверждал в печати, что легенда о В. Г. Короленко, как «агличком королевиче», суть «интеллигентная легенда». В свое время я писал ему, что он не прав в этом; легенда возникла в Нижнем Новгороде, создателем ее я считаю Мимена Власьева. Легенда эта была очень распространена в нижегородском краю. В 1903 году я слышал ее во Владикавказе от балахнинского плотника. (Прим. М. Горького)

— Что ты, Пимен?

— А видишь, мил друг, — сей минут божья думка душе моей коснулась, — скоро, значит, господь позовет меня на его работу...

— Полно-ка, ты такой здоровяга!

— Молчок! — сказал он важно и радостно. — Не говори — знаю!

В четверг его убила лошадь.

...Не преувеличивая, можно сказать, что десятилетие 86—96 было для Нижнего «эпохой Короленко»; впрочем, это уже не однажды сказано в печати.

Один из оригиналов города, водочный заводчик А. А. Зарубин, «неосторожный» банкрот, а в конце дней — убежденный толстовец и проповедник трезвости, говорил мне в 1901 году:

— Еще во время Короленки догадался я, что не ладно живу...

Он несколько опоздал наладить свою жизнь: «во время Короленки» ему было уже за пятьдесят лет, но все-таки он перестроил или, вернее, разрушил ее сразу, по-русски.

— Хворал я, лежу, — рассказывал он мне, — приходит племянник Семен, тот — знаешь? — в ссылке который, он тогда студент был. «Желаете, говорит, книжку почитаю?» И вот, братец ты мой, прочитал он «Сон Макаров». Я даже заплакал, до того хорошо! Ведь как человек человека пожалеть может! С этого часа и повернуло меня. Позвал кума, приятеля, вот, говорю, сукин ты сын, прочитай-ко! Тот прочитал, — богохульство, говорит. Рассердился я, сказал ему, подлецу, всю правду, разругались навсегда. А у него вексель мои были, начал он меня подсиживать, ну, мне уж все равно, дела я свои забросил, душа отказалась от них. Объявили меня банкротом, почти три года в остроге сидел. Сижу, думаю: «Будет дурить!» Выпустили из острога, я сейчас к нему, Короленке, — учи! А его в городе нету. Ну, я ко Льву нашему, к Толстому. «Вот как», говорю. «Очень хорошо, говорит, вполне правильно!» Так-то, брат! А Горинов откуда ума достал? Тоже у Короленки; и много других знаю, которые его душой жили. Хотя мы, купечество, и за высокими заборами живем, а и до нас правда доходит!

Я высоко ценю рассказы такого рода, они объясняют, какими иногда путями проникает дух культуры в быт и нравы диких племен.

Зарубин был седобородый, грузный старик, с маленькими, мутными глазами на пухлом розовом лице; зрачки — темные и казались странно выпуклыми, точно бусины. Было что-то упрямое в его глазах. Он создал себе репутацию «защитника законности» копеейкой; с какого-то обывателя полиция неправильно взыскала копейку, Зарубин обжаловал действие полиции; в двух судебных инстанциях жалобу признали «неосновательной», тогда старик поехал в Петербург, в сенат, добился указа о запрещении взимать с обывателей копейку, торжествуя возвратился в Нижний и принес указ в редакцию «Нижегородского листка», предлагая опубликовать. Но по распоряжению губернатора цензор вычеркнул указ из гранок. Зарубин отправился к губернатору и спросил его:

— Ты, — он всем говорил «ты», — ты что же, друг, законы не признаешь?

Указ напечатали.

Он ходил по улицам города в длинной черной поддевке, в нелепой шляпе на серебряных волосах и в кожаных сапогах с бархатными голенищами. Таскал под мышкой толстый портфель с уставом «Общества трезвости», с массой обывательских жалоб и прошений, уговаривал извозчиков не ругаться «математическими» словами, вмешивался во все уличные скандалы, особенно наблюдал за поведением городских и называл свою деятельность «преследованием правды».

Приехал в Нижний знаменитый тогда священник Иоанн Кронштадтский; у Архиерейской церкви собралась огромная толпа почитателей отца Иоанна, — Зарубин подошел и спросил:

— Что случилось?

— Ивана Кронштадтского ждут.

— Артиста императорских церквей? Дураки...

Его не обидели; какой-то верующий мещанин взял его за рукав, отвел в сторону и внушительно попросил:

— Уйди скорее, Христа ради, Александр Александрович!

Мелкие обыватели относились к нему с почтительным любопытством, и хотя некоторые называли «фокусником», но — большинство, считая старика своим защитником, ожидало от него каких-то чудес, все равно каких, только бы неприятных городским властям.

В 1901 году меня посадили в тюрьму. Зарубин, тогда еще не знакомый со мною, пришел к прокурору Утину и потребовал свидания.

— Вы — родственник арестованного? — спросил прокурор.

— И не видал никогда, не знаю — каков.

— Вы не имеете права на свидание.

— А — ты евангелие читал? Там что сказано? Как же это, любезный, людьми вы правите, а евангелие не знаете?

Но у прокурора было свое евангелие, и, опираясь на него, он отказал старику в его странной просьбе.

Разумеется, Зарубин был одним из тех — нередких — русских людей, которые, пройдя путаную жизнь, под конец ее, когда терять уже нечего, становясь «праволюбями», являясь, в сущности, только чудаками.

И, конечно, гораздо значительнее по смыслу — да и по результатам — слова другого нижегородского кушца Н. А. Бугрова. Миллионер, филантроп, старообрядец и очень умный человек, он играл в Нижнем роль удельного князя. Однажды в лирическую минуту пожаловался:

— Не умен, не силен, не догадлив народ — мы, купечество! Еще не стряхнули с себя дворян, а уж другие на шею нам садятся, земщики эти ваши, земцы, Короленки — пастыри! Короленко — особо неприятный господин; с виду — простец, а везде его знают, везде проникает...

Этот отзыв я слышал уже весной 93-го года, возвратясь в Нижний после длительной прогулки по России и Кавказу. За это время — почти три года — значение В. Г. Короленко как общественного деятеля и художника еще более возросло. Его участие в борьбе с голодом, стойкая и успешная оппозиция взыскательному губернатору Баранову, «влияние на деятельность земства» — все это было широко известно. Кажется, уже вышла его книга «Голодный год».

Помню суждение о Короленко одного нижегородца, очень оригинального человека:

— Этот губернский предводитель оппозиции властям в культурной стране организовал бы что-нибудь подобное «Армии спасения» или «Красного креста», — вообще нечто значительное, международное и культурное в истинном смысле этого понятия. А в милейших условиях русской жизни он наверняка израсходует свою энергию по мелочам. Жаль, это очень ценный подарок судьбы нам, нищим. Оригинальнейшая, совершенно новая фигура, в прошлом нашем я не вижу подобной, точнее — равной!

— А что вы думаете о его литературном таланте?

— Думаю, что он не уверен в его силе, и — напрасно! Он — типичный реформатор по всем качествам ума и чувства, но, кажется, это и мешает ему правильно оценить себя как художника, хотя именно его качества реформатора дол-

жны были — в соединении с талантом — дать ему больше уверенности и смелости в самооценке. Я боюсь, что он сочтет себя литератором «между прочим», а не «прежде всего»...

Это говорил один из героев романа Боборыкина «На ущербе», — человек распутный, пьяный, прекрасно образованный и очень умный. Мизантроп, он совершенно не умел говорить о людях хорошо или даже только снисходительно — тем ценнее было для меня его мнение о Короленко.

Но возвращаюсь к 89—90 годам.

Я не ходил к Владимиру Галактионовичу, ибо — как уже сказано — решительно отказался от попыток писать. Встречал я его только изредка мельком на улицах или в собраниях у знакомых, где он держался молчаливо, спокойно прислушиваясь к спорам. Его спокойствие волновало меня. Подо мною все колебалось, вокруг меня — я хорошо видел это — начиналось некоторое брожение. Все волновались, спорили, — на чем же стоит этот человек? Но я не решался подойти к нему и спросить: «Почему вы спокойны?»

У моих знакомых явились новые книги: толстые тома Редкина, еще более толстая «История социальных систем» Щеглова, «Капитал», книга Лоховицкого о конституциях, литографированные лекции В. О. Ключевского, Коркунова, Сергеевича.

Часть молодежи увлекалась железной логикой Маркса, большинство ее жадно читало роман Бурже «Ученик», Сенкевича «Без догмата», повесть Дедлова «Сашенька» и рассказы о «новых людях», — новым в этих людях было резко выраженное устремление к индивидуализму. Эта новенькая тенденция очень нравилась, и юношество стремительно вносило ее в практику жизни, высмеивая и жарко критикуя «обязанности интеллигенции» решать вопросы социального бытия.

Некоторые из новорожденных индивидуалистов находили опору для себя в детерминизме системы Маркса.

Ярославский семинарист А. Ф. Троицкий — впоследствии врач во Франции, в Орлеане — человек красноречивый, страстный спорщик, говорил:

— Историческая необходимость такая же мистика, как и учение церкви о преопределении, такая же угнетающая чепуха, как народная вера в судьбу. Материализм — банкротство разума, который не может объять всего разнообразия явлений жизни и уродливо сводит их к одной, наиболее простой причине. Природе чуждо и враждебно упрощение, закон ее развития — от простого к сложному и сложнейшему.

Потребность упрощать — наша детская болезнь, она свидетельствует только о том, что разум пока еще бессилён, не может гармонизировать всю сумму, весь хаос явлений.

Некоторые с удовольствием опирались на догматику эгоизма А. Смита, она вполне удовлетворяла их, и они становились «материалистами» в обыденном, вульгарном смысле понятия. Большинство их рассуждало приблизительно так просто:

— Если существует историческая необходимость, ведущая силою своей человечество по пути прогресса, — значит, дело обойдется и без нас!

И, сунув руки в карманы, они равнодушно посвистывали. Присутствуя на словесных битвах в качестве зрителей, они наблюдали, как вороны, сидя на заборе, наблюдают яростный бой петухов. Порою — и все чаще — молодежь грубовато высмеивала «хранителей заветов героической эпохи». Мои симпатии были на стороне именно этих «хранителей», людей чудаковатых, но удивительно чистых. Они казались мне почти святыми в увлечении «народом» — объектом их любви, забот и подвигов. В них я видел нечто героикомическое, но меня увлекла их романтизм, точнее — социальный идеализм. Я видел, что они раскрашивают «народ» слишком нежными красками, я знал, что «народа», о котором они говорят, — нет на земле; на ней терпеливо живет близоруко-хитрый, своекорыстный мужичок, подозрительно и враждебно поглядывая на все, что не касается его интересов; живет тупой, жуликоватый мещанин, насыщенный суевериями и предрассудками еще более ядовитыми, чем предрассудки мужика, работает на земле волосатый, крепкий купец, неторопливо налаживая сытую, законно-зверьячую жизнь.

В хаосе мнений противоречивых и все более остро враждебных, следя за борьбою чувства с разумом, в этих битвах, из которых истина, казалось мне, должна была стремглав убежать или удалиться изувеченной, — в этом кипении идей я не находил ничего «по душе» для меня.

Возвращаясь домой после этих бурь, я записывал мысли и афоризмы, наиболее поражавшие меня формой или содержанием, вспоминая жесты и позы ораторов, выражение лиц, блеск глаз, и всегда меня несколько смущала и смешила радость, которую испытывал тот или другой из них, когда им удавалось нанести совопроснику хороший словесный удар, «занатить» ему «под душу». Было странно видеть, что о добре и красоте, о гуманизме и справедливости говорят, прибегая к хитростям эристики, не щадя самолюбия друг друга,

часто с явным желанием оскорбить, с грубым раздражением, со злобою.

У меня не было той дисциплины, или, вернее, техники мышления, которую дает школа, я накопил много материала, требовавшего серьезной работы над ним, а для этой работы нужно было свободное время, чего я тоже не имел. Меня мучили противоречия между книгами, которым я почти непоколебимо верил, и жизнью, которую я уже достаточно хорошо знал. Я понимал, что умнею, но чувствовал, что именно это чем-то портит меня; как небрежно груженное судно, я получил сильный крен на один борт. Чтобы не нарушать гармонии хора, я, обладая веселым тенором, старался — как многие — говорить суровым басом; это было тяжело и ставило меня в ложную позицию человека, который, желая отнестись ко всем окружающим любовно и бережно, — относится неискренно к себе самому.

Так же, как в Казани, Борисоглебске, Царицыне, здесь я тоже испытывал недоумение и тревогу, наблюдая жизнь интеллигенции. Множество образованных людей жило трудной, полуголодной, унижительной жизнью, тратило ценные силы на добычу куска хлеба, а — жизнь вокруг так ужасающе бедна разумом. Это особенно смущало меня. Я видел, что все эти разнообразно хорошие люди — чужие в своей родной стране, они окружены средою, которая враждебна им, относится к ним подозрительно, насмешливо. А сама эта среда изгнивала в липком болоте окаянных, «идиотических» мелочей жизни.

Мне было снова неясно: почему интеллигенция не делает более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, возмущала меня своею духовной нищетой, диковинной скукой, а особенно — равнодушной жестокостью в отношении людей друг к другу.

Я тщательно собирал мелкие редкие крохи всего, что можно назвать необычным — добрым, бескорыстным, красивым, — до сего дня в моей памяти ярко вспыхивают эти искры счастья видеть человека — человеком. Но все-таки я был душевно голоден, и одурающий яд книг уже не насыщал меня. Мне хотелось какой-то разумной работы, подвига, бунта, и порою я кричал:

— Шире бери!

— Держи карман шире! — иронически ответил мне Н. Ф. Анненский, у которого всегда было в запасе мягкое словечко.

К этому времени относится очень памятная мне беседа с В. Г. Короленко.

Летней ночью я сидел на Откосе, высоком берегу Волги, откуда хорошо видно пустынные луга Заволжья и сквозь ветви деревьев — реку. Незаметно и неслышно на скамье, рядом со мною, очутился В. Г., я почувствовал его только тогда, когда он толкнул меня плечом, говоря:

— Однако как вы замечались. Я хотел шляпу снять с вас, да подумал — испугаю!

Он жил далеко, на противоположном конце города. Было уже более двух часов ночи. Он, видимо, устал, сидел, обнажив курчавую голову и отирая лицо платком.

— Поздно гуляете, — сказал он.

— И вы тоже.

— Да. Следовало сказать: гуляем! Как живете, что делаете?

После нескольких незначительных фраз он спросил:

— Вы, говорят, занимаетесь в кружке Скворцова? Что это за человек?

— П. Н. Скворцов был в то время одним из лучших знатоков теории Маркса, он не читал никаких книг, кроме «Капитала», и гордился этим. Года за два до издания «Критических заметок» П. Б. Струве он читал в гостиной адвоката Щеглова статью, основные положения которой были те же, что и у Струве, но — хорошо помню — более резки по форме. Эта статья поставила Скворцова в положение еретика, что не мешало ему сгруппировать кружок молодежи; позднее многие из членов этого кружка играли весьма видную роль в строении с.-д. партии. Он был поистине человек «не от мира сего». Аскет, он зиму и лето гулял в легком пальто, в худых башмаках, жил впроголодь и при этом еще заботился о «сокращении потребностей» — питался в течение нескольких недель одним сахаром, съедая его по три осьмых фунта в день — не больше и не меньше. Этот опыт «рационального питания» вызвал у него общее истощение организма и серьезную болезнь почек.

Небольшого роста, он был весь какой-то серый, а светлоглубые глаза улыбались улыбкой счастливицы, познавшего истину в полноте, не доступной никому, кроме него. Ко всем инако верующим он относился с легким пренебрежением, жалостливым, но не обидным. Курил толстые папиросы из дешевого табака, вставляя их в длинный, вершков десяти, бамбуковый мундштук, — он носил его за поясом брюк, точно кинжал.

Я наблюдал Павла Николаевича в табуна студентов, которые коллективно ухаживали за приезжей барышней, существом редкой красоты. Скворцов, соревнуясь юным франтам, тоже кружился около барышни и был величественно нелеп со своим мундштуком, серый, в облаке душного, серого дыма. Стоя в углу, четко выделяясь на белом фоне изразцовой печи, он методически спокойно, тоном старообрядческого начетчика изрекал тяжелые слова отрицания поэзии, музыки, театра, танцев и непрерывно дымил на красавицу.

— Еще Сократ говорил, что развлечения — вредны! — неопровержимо доказывал он.

Его слушала изящная шатенка, в белой газовой кофточке, и, кокетливо показывая красивой ножкой, натянуто любовно смотрела на мудреца темными, чудесными глазами, — вероятно, тем взглядом, которым красавицы Афин смотрели на курносого Сократа; взгляд этот немой, но красноречиво спрашивал: «Скоро ты перестанешь, скоро уйдешь?»

Он доказал ей, что Короленко вреднейший идеалист и метафизик, что вся литература — он ее не читал — «пытается гальванизировать гнилой труп народничества». Доказал и, наконец, сунув мундштук за пояс, торжественно ушел, а барышня, проводив его, в изнеможении — и, конечно, красиво — бросилась на диван, возгласив жалобно: «Господи, это же не человек, а — дурная погода!»

В. Г., смеясь, выслушал мой рассказ, помолчал, посмотрел на реку, прищурился глазами, и негромко, дружески заговорил:

— Не спешите выбрать верования, я говорю — выбрать, потому что, мне кажется, теперь их не вырабатывают, а именно — выбирают. Вот быстро входит в моду материализм, соблазняя своей простотой. Он особенно привлекает тех, кому лень самостоятельно думать. Его охотно принимают франты, которым нравится все новое, хотя бы оно и не отвечало их натуре, вкусам, стремлениям...

Он говорил задумчиво, точно беседуя сам с собою, порою прерывал речь и слушал, как где-то внизу, на берегу, фыркает паропроводная трубка, гудят сигналы на реке.

Говорил он о том, что всякая разумная попытка объяснить явления жизни заслуживает внимания и уважения, но следует помнить, что «жизнь складывается из бесчисленных, странно спутанных кривых» и что «крайне трудно заключить ее в квадраты логических построений».

— Трудно привести даже в относительный порядок эти кривые, взаимно пересекающиеся линии человеческих дейст-

вий и отношений, — сказал он, вздохнув и махая шляпой в лицо себе.

Мне нравилась простота его речи и мягкий вдумчивый тон. Но по существу все, что он говорил о марксизме, было уже — в других словах — знакомо мне. Когда он прервал речь, я торопливо спросил его: почему он такой ровный, спокойный?

Он надел шляпу, взглянул в лицо мне и, улыбаясь, ответил:

— Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю. А — почему вы спросили об этом?

Тогда я начал рассказывать ему о моих недоумениях и тревогах. Он отодвинулся от меня, наклонился — так ему было удобнее смотреть в лицо мне — и молча внимательно слушал.

Потом тихо сказал:

— В этом немало верного! Вы наблюдаете хорошо...

И — усмехнулся, положив руку на плечо мне.

— Не ожидал, что вас волнуют эти вопросы. Мне говорили о вас как о человеке иного характера... веселом, грубоватом и враждебном интеллигенции...

И как-то особенно крепко он стал говорить об интеллигенции: она всегда и везде была оторвана от народа, но это потому, что она идет впереди, таково ее историческое назначение.

— Это — дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства. Сократ, Джордано Бруно, Галилей, Робеспьер, наши декабристы, Перовская и Желябов, все, кто сейчас голодают в ссылке, — с теми, кто в эту ночь сидит за книгой, готовя себя к борьбе за справедливость, а прежде всего, конечно, в тюрьму, — все это — самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее.

Он взволнованно поднялся на ноги и, шагая перед скамьей назад и вперед, продолжал:

— Человечество начало творить свою историю с того дня, когда появился первый интеллигент; миф о Прометее — это рассказ о человеке, который нашел способ добывать огонь и тем сразу отделил людей от зверей. Вы правильно заметили недостатки интеллигенции, книжность, отрыв от жизни, — но еще вопрос: недостатки ли это? Иногда для того, чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться. А главное, что я вам дружески советую, считая себя более опытным, чем вы, — обращайтесь больше внимания на достоинство! Подсчет недостатков увлекает всех нас — это очень простое и не безыгодное дело для каждого. Но — Вольтер, не-

смотря на его гениальность, был плохой человек, однако он сделал великое дело, выступив защитником несправедливо осужденного. Я не говорю о том, сколько мрачных предрасудков разрушено им, но вот эта его упрямая защита безнадежного, казалось, дела, — это великий подвиг! Он понимал, что человек прежде всего должен быть гуманным человеком. Необходима — справедливость! Когда она, накапливаясь понемногу, маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя, вносите в жизнь справедливость, — вот как я думаю.

Он, видимо, устал, — он говорил очень долго, — сел на скамью, но, взглянув в небо, сказал:

— А ведь уже поздно, или — рано, светло! И, кажется, будет дождь. Пора домой!

Я жил в двух шагах, он — версты за две. Я вызвался проводить его, и мы пошли по улицам сонного города, под небом в темных тучах.

— Что же — пишете вы?

— Нет.

— Почему?

— Времени не имею...

— Жаль и напрасно. Если б вы хотели, время нашлось бы. Я серьезно думаю — кажется, у вас есть способности. Плохо вы настроены, сударь...

Он стал рассказывать о непоседливом Глебе Успенском, но — вдруг хлынул обильный летний дождь, покрыв город серой сетью. Мы постояли под воротами несколько минут и, видя, что дождь надолго, — разошлись...

Когда я вернулся в Нижний из Тифлиса, В. Г. Короленко был в Петербурге.

Не имея работы, я написал несколько маленьких рассказов и послал их в «Волжский вестник» Рейнгардта, самую влиятельную газету Поволжья благодаря постоянному сотрудничеству в ней В. Г.

Рассказы были подписаны М. Г. или Г—ий, их быстро напечатали. Рейнгардт прислал мне довольно лестное письмо и кучу денег, около тридцати рублей. Из каких-то побуждений, теперь забытых мною, я ревниво скрывал свое авторство даже от людей очень близких мне, от Н. З. Васильева и А. И. Ланина; не придавая серьезного значения этим рассказам, я не думал, что они решат мою судьбу. Но Рейнгардт сообщил Короленко мою фамилию, и, когда В. Г. вернулся из Петербурга, мне сказали, что он хочет видеть меня.

Он жил все в том же деревянном доме архитектора Лемке на краю города. Я застал его за чайным столом в маленькой комнатке окнами на улицу, с цветами на подоконниках и по углам, с массой книг и газет повсюду.

Жена и дети, кончив пить чай, собирались гулять. Он показался мне еще более прочным, уверенным и кудрявым.

— А мы только что читали ваш рассказ «О чиже» — ну, вот вы и начали печататься, поздравляю! Оказывается, вы — упрямый, все аллегории пишете. Что же, и аллегория хороша, если остроумна, и упрямство — не дурное качество.

Он сказал еще несколько ласковых слов, глядя на меня прищуренными глазами. Лоб и шея у него густо покрыты легким загаром, борода — выцвела. В сарпинковой рубашке синего цвета, подпоясанной кожаным ремнем, в черных брюках, заправленных в сапоги, он, казалось, только что пришел откуда-то издалека и сейчас снова уйдет. Его спокойные умные глаза сияли бодро и весело.

Я сказал, что у меня есть еще несколько рассказов и один напечатан в газете «Кавказ».

— Вы ничего не принесли с собой? Жаль. Пишете вы очень своеобразно. Не слажено все у вас, шероховато, но — любопытно. Говорят — вы много ходили пешком? Я тоже, почти все лето, гулял за Волгой, по Керженцу, по Ветлуге. А вы где были?

Когда я кратко очертил ему путь мой, он одобрительно воскликнул:

— Ого? Хорошая путина! Вот почему вы так возмужали за эти — три года почти? И силищи накопили, должно быть, много?

Я только что прочитал его рассказ «Река играет», он очень понравился мне и красотой и содержанием. У меня было чувство благодарности к автору, и я стал восторженно говорить о рассказе.

В лице перевозчика Тюлина Короленко дал, на мой взгляд, изумительно верно понятый и великолепно изображенный тип крестьянина «героя на час». Такой человек может самозабвенно и просто совершить подвиг великодушия, а вслед за тем изувечить до полусмерти жену, разбить колом голову соседа. Он может очаровать вас добродушными улыбками, сотней сердечных слов, ярких, как цветы, и вдруг, без причины, наступить на лицо вам ногою в грязном сапоге. Как Козьма Минин, он способен организовать народное движение, а потом — «спиться с круга», «скормить себя вшам».

В. Г. выслушал мою путаную речь, не прерывая, внимательно присматриваясь ко мне, это очень смущало меня. Порою он, закрыв глаза, пристукивал ладонью по столу, а потом встал со стула, прислонился спиной к стене и сказал, усмехаясь добродушно:

— Вы преувеличили. Скажем проще: рассказ удачный. Этого достаточно. Не утаю — мне самому нравится он. Ну, а таков ли мужик вообще, каков Тюлин, — этого я не знаю! А вот вы хорошо говорите, выпукло, ярко, крепким языком, — нате вам в отплату за вашу похвалу! И чувствуется, что видели вы много, подумали немало. С этим я вас от души поздравляю. От души!

Он протянул мне руку с мозолями на ладони, должно быть от весел или топора, он любил колоть дрова и вообще физический труд.

— Ну, расскажите, что видели?

Рассказывая, я коснулся моих встреч с различными искателями правды, — они сотнями шагают из города

М. Вилонов.



Д. А. Павлов.
Сормово.



А. М. Горький и А. Н. Алексин. Ялта.

в город, из монастыря в монастырь по запутанным дорогам России.

Глядя в окно, на улицу, Короленко сказал:

— Чаще всего они — бездельники. Неудавшиеся герои, противно влюбленные в себя. Вы заметили, что почти все они злые люди? Большинство их ищет вовсе не «святую правду», а легкий кусок хлеба и — кому бы на шею сесть?

Слова эти, сказанные спокойно, поразили меня, сразу открыв передо мною правду, которую я смутно чувствовал.

— Хорошие рассказчики есть среди них, — продолжал Короленко. — Богатого языка люди. Иной говорит, как шелками вышивает.

«Искатели правды», «взыскующие града» — это были любимицы героев житийной народнической литературы, а вот Короленко именует их бездельниками, да еще и злыми! Это звучало почти кощунством, но в устах В. Г. продуманно и решенно. И слова его усилили мое ощущение душевной независимости этого человека.

— На Волыни и в Подолье — не были? Там — красиво!

Сказал я ему о моей насильственной беседе с Иоанном Кронштадтским, — он живо воскликнул:

— Как же вы думаете о нем? Что это за человек?

— Человек искренно верующий, как веруют иные, немудрые, сельские попики хорошего, честного сердца. Мне кажется, он испуган своей популярностью, тяжела она ему, не по плечу. Чувствуется в нем что-то случайное, и как будто он действует не по своей воле. Все время спрашивает бога своего: так ли, господи? и всегда боится: не так!

— Странно слышать это, — задумчиво сказал В. Г.

Потом он сам начал рассказывать о своих беседах с мужиками Лукоянова, сектантами Керженца, великолепно, с тонким, цепким юмором, подчеркивая в речах собеседников забавное сочетание невежества и хитрости, ловко отмечая здравый смысл мужика и его осторожное недоверие к чужому человеку.

— Я иногда думаю, что нигде в мире нет такой разнообразной духовной жизни, как у нас на Руси. Но если это и не так, то во всяком случае характеры думающих и верующих людей бесконечно и несоединимо разнообразны у нас.

Он веско заговорил о необходимости внимательного изучения духовной жизни деревни.

— Этого не исчерпает этнография, нужно подойти как-то иначе, ближе, глубже. Деревня — почва, на которой мы все растем, и много чертополоха, много бесполезных сорных трав.

Сеять «разумное, доброе, вечное» на этой почве надо так же осторожно, как и энергично. Вот я летом беседовал с молодым человеком, весьма неглупым, но — он серьезно убеждал меня, что деревенское кулачество — прогрессивное явление, потому что, видите ли, кулаки накапливают капитал, а Россия обязана стать капиталистической страной. Если такой пропагандист попадет в деревню...

Он засмеялся.

Провожая меня, он снова пожелал мне успеха.

— Так вы думаете — я могу писать? — спросил я.

— Конечно! — воскликнул он, несколько удивленный. — Ведь вы уже пишете, печтаетесь, — чего же? Захотите посоветоваться — несите рукописи, потолкуем...

Я вышел от него в бодром настроении человека, который после жаркого дня и великой усталости выкупался в прохладной воде лесной речки.

В. Г. Короленко вызвал у меня крепкое чувство уважения, но почему-то я не ощутил к писателю симпатии, и это огорчило меня. Вероятно, это случилось потому, что в ту пору учителя и наставники уже несколько тяготили меня, мне очень хотелось отдохнуть от них, поговорить с хорошим человеком дружески, просто, о том, что беспощадно волновало меня. А когда я приносил материал моих впечатлений учителям, они кроили и шивали его сообразно моде и традициям тех политико-философских фирм, закройщикам и портными которых они являлись. Я чувствовал, что они совершенно искренно не могут шить и кроить иначе, но я видел, что они портят мой материал.

Недели через две я принес Короленко рукописи сказки «О рыбаке и фее» и рассказа «Старуха Изергиль», только что написанного мною. В. Г. не было дома, я оставил рукописи и на другой же день получил от него записку: «Приходите вечером поговорить. В л. К о р.».

Он встретил меня на лестнице с топором в руке.

— Не думайте, что это мое орудие критики, — сказал он, потрясая топором, — нет, это я полки в чулане устраивал. Но — некоторое усекновение главы ожидает вас...

Лицо его добродушно сияло, глаза весело смеялись, и, как от хорошей, здоровой, русской бабы, от него пахло свежесвепеченным хлебом.

— Всю ночь — писал, а после обеда уснул; проснулся — чувствую: надо повозиться!

Он был не похож на человека, которого я видел две недели тому назад; я совершенно не чувствовал в нем наставника

и учителя; передо мной был хороший человек, дружески-внимательно настроенный ко всему миру.

— Ну-с, — начал он, взяв со стола мои рукописи и хлопая ими по колену своему, — прочитал я вашу сказку. Если бы это написала барышня, слишком много прочитавшая стихов Мюссе да еще в переводе нашей милой старушки Мысовской, — я бы сказал барышне: «Недурно, а все-таки выходите замуж!» Но для такого свирепого верзилы, как вы, писать нежные стишки — это почти гнусно, во всяком случае преступно. Когда это вы разразились?

— Еще в Тифлисе...

— То-то! У вас тут сквозит пессимизмом. Имейте в виду: пессимистическое отношение к любви — болезнь возраста, это теория, наиболее противоречивая практике, чем все иные теории. Знаем мы вас, пессимистов, слышали о вас кое-что.

Он лукаво подмигнул мне, засмеялся и продолжал серьезно:

— Из этой панихиды можно напечатать только стихи, они оригинальны, это я вам напечатаяю. «Старуха» написана лучше, серьезнее, но — все-таки и снова — аллегория. Не доведут они вас до добра! Вы в тюрьме сидели? Ну, и еще сядете!

Он задумался, перелистывая рукописи.

— Странная какая-то вещь. Это — романтизм, а он — давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскресенья. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, а не романтик, реалист! В частности, там есть одно место о поляке, оно показалось мне очень личным, — нет, не так?

— Возможно.

— Ага, вот видите! Я же — говорю: мы кое-что знаем о вас. Но — это недопустимо, личное — изгоняйте! Разумею — узко личное.

Он говорил охотно, весело, у него чудесно сияли глаза, — я смотрел на него все с большим удивлением, как на человека, которого впервые вижу. Бросив рукопись на стол, он подвинулся ко мне, положил руку на мое колено.

— Слушайте, — можно говорить с вами запросто? Знаю я вас — мало, слышу о вас — много и кое-что вижу сам. Плохо вы живете. Не туда попали. По-моему, вам надо уехать отсюда или жениться на хорошей, неглупой девушке.

— Но я женат.

— Вот это и плохо!

Я сказал, что не могу говорить на эту тему.

— Ну, извините.

Он начал шутить, потом вдруг озабоченно спросил:

— Да! Вы слышали, что Ромась арестован? Давно? Вот как. Я только вчера узнал. Где? В Смоленске? Что же он делал там?

На квартире Ромасы была арестована типография «народо-правцев», организованная им.

— Неугомонный человек, — задумчиво сказал В. Г. — Теперь — снова сошлют его куда-нибудь. Что он — здоров? Здоровнейший мужик был...

Он вздохнул, повел широкими плечами.

— Нет, все это — не то! Этим путем ничего не достигнешь. Астыревское дело — хороший урок, он говорит нам: беритесь за черную, легальную работу, за будничное культурное дело. Самодержавие — больной, но крепкий зуб, корень его ветвист и врос глубоко, нашему поколению этот зуб не вырвать, — мы должны сначала раскатать его, а на это требуется не один десяток лет легальной работы.

Он долго говорил на эту тему, и чувствовалось, что говорит он о своей живой вере.

Пришла Авдотья Семеновна, зашумели дети, я простился и ушел с хорошим сердцем.

Известно, что в провинции живешь как под стеклянным колпаком, — всё знают о тебе, знают, о чем ты думал в среду около двух часов и в субботу перед всенощной; знают тайные намерения твои и очень сердятся, если ты не оправдываешь пророческих догадок и предвидений людей.

Конечно, весь город узнал, что Короленко благосклонен ко мне, и я принужден был выслушать немало советов такого рода:

— Берегитесь, собьют вас с толка эта компания поумневших!

Подразумевался популярный в то время рассказ П. Д. Боборыкина «Поумнел» — о революционере, который взял легальную работу в земстве, после чего он потерял дождевой зонтик и его бросила жена.

— Вы — демократ, вам нечему учиться у генералов, вы — сын народа! — внушали мне.

Но я уже давно чувствовал себя пасынком народа, это чувство от времени усиливалось, и, как я уже говорил, сами народопоклонники казались мне такими же пасынками, как я. Когда я указывал на это, мне кричали:

— Вот видите — вы уже заразились!

Группа студентов Ярославского лицея пригласила меня на

вирушку, я что-то читал им, они подливали в мой стакан пива — водку, стараясь делать это незаметно для меня. Я видел их маленькие хитрости, понимал, что они хотят «вдребезги» напоить меня, но не мог понять — зачем это нужно им? Один из них, самовольный и чахоточный, убеждал меня:

— Главное — пошлите ко всем чертям идеи, идеалы и всю эту дребедень! Пишите — просто! Долой идеи...

Невыносимо надоедали мне все эти советы.

В. Г. Короленко, как всякий заметный человек, подвергался разнообразному воздействию обывателей. Одни, искренно ценя его внимательное отношение к человеку, пытались вовлечь писателя в свои личные, мелкие дразги, другие избрали его объектом для испытания легкой клеветой. Моим знакомым не очень нравились его рассказы.

— Этот ваш Короленко, кажется, даже в бога верует, — говорили мне.

Почему-то особенно не понравился рассказ «За иконой», находили, что это — «этнография», не более.

— Так писал еще Павел Якушкин.

Утверждали, что характер героя-сапожника — взят из «Нравы Растеряевой улицы» Г. Успенского. В общем, критики напомнили мне одного воронежского иеромонаха, который, выслушав подробный рассказ о путешествии Миклухи-Маклая, недоуменно и сердито спросил:

— Позвольте! Вы сказали: он привез в Россию папуаса. Но — зачем же именно папуаса? И — почему только одного?

Рано утром я возвращался с поля, где гулял ночь, и встретил В. Г. у крыльца его квартиры.

— Откуда? — удивленно спросил он. — А я иду гулять, отличное утро! Пройдемтесь?

Он, видимо, тоже не спал ночь: глаза красны и сухи, смотрят утомленно, борода сбита в клочья, одет небрежно.

— Прочитал я в «Волгаре» вашего «Деда Архипа», — это недурная вещь, ее можно бы напечатать в журнале. Почему вы не показали мне этот рассказ, прежде чем печатать его? И почему вы не заходите ко мне?

Я сказал, что меня оттолкнул от него жест, которым он дал мне три рубля взаймы, он протянул мне деньги молча, стоя спиной ко мне. Меня это обидело. Занимать деньги в долг так трудно, я прибежал к этому только в случаях действительно крайней необходимости

Он задумался, нахмурясь.

— Не помню! Во всяком случае, это было, если вы говорите, что было. Но вы должны извинить мне эту небрежность. Вероятно, я был не в духе, это часто бывает со мною последнее время. Вдруг задумаюсь, точно в колодезь свалился. Ничего не вижу, не слышу, но что-то слушаю, и очень напряженно.

Взяв меня под руку, он заглянул в глаза мне.

— Вы забудьте это. Обижаться вам не на что, у меня хорошее чувство к вам, но что вы обиделись, это вообще — не плохо. Мы не очень обидчивы, вот это плохо! Ну, забудем. Вот что я хочу сказать вам: пишете вы много, торопливо, нередко в рассказах ваших видишь недоработанность, неясность. В «Архипе» — там, где описан дождь, — не то стихи, не то ритмическая проза. Это — нехорошо.

Он много и подробно говорил и о других рассказах, было ясно, что он читает все, что я печатаю, с большим вниманием. Разумеется, это очень тронуло меня.

— Надо помогать друг другу. — сказал он в ответ на мою благодарность. — Нас — немного! И всем нам — трудно.

Понизив голос, он спросил:

— А вы не слышали, — правда, что в деле Ромасы и других запуталась некая девица Истомина?

Я знал эту девицу, познакомился с ней, вытащив ее из Волги, куда она бросилась вниз головою с кормы дощаника. Вытащить ее было легко, она пробовала утопиться на очень мелком месте. Это было бесцветное, неумное существо с наклонностью к истерии и болезненной любовью ко лжи. Потом она была, кажется, гувернанткой у Столыпина в Саратове и убита в числе других бомбой максималистов при взрыве дачи министра на Аптекарском острове.

Выслушав мой рассказ, В. Г. почти гневно сказал:

— Преступно вовлекать таких детей в рискованное дело. Года четыре тому назад или больше, я встречал эту девушку. Мне она не казалась такой, как вы ее нарисовали. Просто — милая девчурка, смущенная явной неправдой жизни, из нее могла бы выработаться хорошая сельская учительница. Говорят — она болтала на допросах? Но что же она могла знать? Нет, я не могу оправдать приношение детей в жертву Ваалу политики...

Он пошел быстрее, а у меня болели ноги, я спотыкался и отставал.

— Что это вы?

— Ревматизм.

— Рановато! О девочке вы говорили совсем неверно, на мой взгляд. А вообще вы хорошо рассказываете. Вот что —

попробуйте вы написать что-либо покрупнее, для журнала. Это пора сделать. Напечатают вас в журнале и, надеюсь, вы станете относиться к себе более серьезно.

Не помню, чтоб он еще когда-нибудь говорил со мною так обаятельно, как в это славное утро, после двух дней непрерывного дождя, среди освеженного поля.

Мы долго сидели на краю оврага у еврейского кладбища, любясь изумрудами росы на листьях деревьев и травах, он рассказывал о трагикомической жизни евреев «черты оседлости», а под глазами его все росли тени усталости.

Было уже часов девять утра, когда мы воротились в город. Проaccia со мною, он напомнил:

— Значит — пробуете написать большой рассказ, решено?

Я пришел домой и тотчас же сел писать «Челкаша», рассказ одесского босняка, моего соседа по койке в больнице города Николаева; написал в два дня и послал черновик рукописи В. Г.

Через несколько дней он привел к моему патрону обиженных кем-то мужиков и сердечно, как только он умел делать, поздравил меня.

— Вы написали недурную вещь. Даже прямо-таки хороший рассказ! Из целого куска сделано...

Я был очень смущен его похвалой.

Вечером, сидя верхом на стуле в своем кабинетике, он оживленно говорил:

— Совсем неплохо! Вы можете создавать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру чувств, это не каждому дается! А самое хорошее в этом то, что вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что вы реалист!

Но, подумав и усмехаясь, он добавил:

— Но в то же время — романтик! И вот что, вы сидите здесь не более четверти часа, а курите уже четвертую папиросу...

— Очень волнуюсь...

— Напрасно. Вы и всегда какой-то взволнованный, поэтому, видимо, о вас и говорят, что вы много пьете. Костей у вас — много, мяса — нет, курите — не нужно, без удовольствия, — что это с вами?

— Не знаю.

— А — пьете много, — есть слух?

— Врут.

— А какие-то оргии у вас там...

Посмеиваясь, пылливо поглядывая на меня, он рассказал несколько неплохо сделанных сплетен обо мне.

Потом памятно сказал:

— Когда кто-нибудь немножко высовывается вперед, его — на всякий случай — бьют по голове; это изречение одного студента-петровца. Ну, так пустяки — в сторону, как бы они ни были любезны вам. «Челкаша» напечатаем в «Русском богатстве», да еще на первом месте, это некоторая отличка и честь. В рукописи у вас есть несколько столкновений с грамматикой, очень невыгодных для нее, я это поправил. Больше ничего не трогал, — хотите взглянуть?

Я отказался, конечно.

Расхаживая по тесной комнате, потирая руки, он сказал:

— Радует меня удача ваша.

Я чувствовал обаятельную искренность этой радости и любовался человеком, который говорит о литературе, точно о женщине, любимой им спокойной, крепкой любовью — навсегда. Незабвенно хорошо было мне в этот час с этим лоцманом, я молча следил за его глазами, — в них сияло так много милой радости о человеке.

Радость о человеке — ее так редко испытывают люди, а ведь это величайшая радость на земле.

Короленко остановился против меня, положил тяжелые руки свои на плечи мне.

— Слушайте — не уехать ли вам отсюда? Например, в Самару. Там у меня есть знакомый в «Самарской газете». Хотите, я напишу ему, чтоб он дал вам работу? Писать?

— Разве я кому-то мешаю здесь?

— Вам мешают.

Было ясно, что он верит рассказам о моем пьянстве, «оргнях в бане» и вообще о «порочной» жизни моей, — главным пороком ее была нищета. Настойчивые советы В. Г. мне — уехать из города несколько обижали, но в то же время его желание извлечь меня из «недр порока» трогало за сердце.

Взволнованный, я рассказал ему, как живу, он молча выслушал, нахмурился, пожал плечами.

— Но ведь вы сами должны видеть, что все это совершенно невозможно и — чужой вы во всей этой фантастике! Нет, вы послушайте меня. Вам необходимо уехать, переменить жизнь...

Он уговорил меня сделать это.

Потом, когда я писал в «Самарской газете» плохие ежедневные фельетоны, подписывая их хорошим псевдонимом

«Иегудиил Хламида», Короленко посылал мне письма, критикувая окаянную работу мою насмешливо, внушительно, строго, но — всегда дружески.

Особенно хорошо помню я такой случай:

Мне до отвращения надоел поэт, носивший роковую для него фамилию — Скукин. Он присылал в редакцию стихи свои саженьями, они были неизлечимо малограмотны и чрезвычайно пошлы, их нельзя было печатать. Жажда славы внушила этому человеку оригинальную мысль: он напечатал стихи свои на отдельных листах розовой бумаги и роздал их по гастрономическим магазинам города, приказчики завертывали в эту бумагу пакеты чая, коробки конфет, консервы, колбасы, и, таким образом, обыватель получал в виде премии к покупке своей пол-аршина стихов, в них торжественно воспевались городские власти, предводитель дворянства, губернатор, архиерей.

Каждый на свой лад, все эти люди были примечательны и вполне заслуживали внимания, но — архиерей являлся особенно выдающейся фигурой: он насильно окрестил девушку татарку, чем едва не вызвал бунт среди татар целой волости, он устроил совершенно идиотский процесс хлыстов, по этому процессу были осуждены люди ни в чем не повинные, это я хорошо знал. Наиболее славен был такой подвиг его: во время поездки по епархии, в непогожий день, у него сломалась карета около какой-то маленькой, заброшенной деревеньки, и он должен был зайти в избу крестьянина. Там на полке, около божницы, он увидел гипсовую голову Зевса, разумеется, это поразило его. Из расспросов и осмотра других изб оказалось, что изображение владыки олимпийцев, а также и статуэтка богини Венеры есть и еще у нескольких крестьян, но никто из них не хотел сказать — откуда они взяли идолов?

Этого оказалось достаточно, чтоб возбудить уголовное дело о секте самарских язычников, которые поклонялись богам древнего Рима. Идолопоклонников посадили в тюрьму, где они и пробыли до поры, пока следствие не установило, что ими убит и ограблен некий торговец гипсовыми изделиями Солдатской слободы в Вятке; убив торговца, эти люди дружески разделили между собой его товар и — только.

Одним словом: я был недоволен губернатором, архиереем, городом, миром, самим собою и еще многим. Поэтому, в состоянии запальчивости и раздражения, я обругал поэта, воспевавшего ненавистное мне, приставив к его фамилии — Скукин — слово сын.

В. Г. тотчас прислал мне длинное и внушительное письмо на тему: даже и за дело ругая людей, следует соблюдать чув-

ство меры. Это было хорошее письмо, но его при обыске отобрали у меня жандармы и оно пропало вместе с другими письмами Короленко.

Кстати — о жандармах.

Ранней весной 97 года меня арестовали в Нижнем и, не очень вежливо, отвезли в Тифлис. Там в Метехском замке ротмистр Конисский, впоследствии начальник петербургского жандармского управления, допрашивая меня, уныло говорил:

— Какие хорошие письма пишет вам Короленко, а ведь он теперь лучший писатель России!

Странный человек был этот ротмистр: маленькие, движения мягкие, осторожные, как будто неуверенные, уродливо большой нос грустно опущен, а бойкие глаза — точно чужие на его лице, и зрачки их забавно прячутся куда-то в переносицу.

— Я — земляк Короленко, тоже волынец, потомок того епископа Конисского, который — помните? — произнес знаменитую речь Екатерине Второй: «Оставим солнце» и т. д. Горжусь этим!

Я вежливо осведомился, кто больше возбуждает гордость его — предок или земляк?

— И тот и другой, конечно, и тот и другой!

Он загнал зрачки в переносицу, но тотчас громко шмыгнул носом, и зрачки выскочили на свое место. Будучи болен и потому — сердит, я заметил, что плохо понимаю гордость человеком, которому чрезмерно любезное внимание жандармов так много мешало и мешает жить, Конисский благочестиво ответил:

— Каждый из нас — творит волю пославшего, каждый и все. Пойдемте далее. Итак — вы утверждаете... А между тем нам известно...

Мы сидели в маленькой комнатке под входными воротами замка. Окно ее помещалось очень высоко, под потолком, через него на стол, загруженный бумагами, падал луч жаркого солнца и, между прочим, на позор мой, освещал клочок бумаги, на котором мною было четко написано:

«Не упрекайте лососину за то, что гложет лось осину».

Я смотрел на эту проклятую бумажку и думал:

«Что я отвечу ротмистру, если он спросит меня о смысле этого изречения?»

Шесть лет — с 95 по 901 год — я не встречал Владимира Галактионовича, лишь изредка обмениваясь письмами с ним.

В 901 году я впервые приехал в Петербург, город прямых

линий и неопределенных людей. Я был «в моде», меня одолевала «слава», основательно мешая мне жить. Популярность моя проникала глубоко: помню, шел я ночью по Аничковому мосту, меня обогнали двое людей, видимо парикмахеры, и один из них, заглянув в лицо мое, испуганно, вполголоса сказал товарищу:

— Гляди — Горький!

Тот остановился, внимательно осмотрел меня с ног до головы и, пропустив мимо себя, сказал с восторгом:

— Эх, дьявол, — в резиновых калошах ходит!

В числе множества удовольствий я снялся у фотографа с группой членов редакции журнала «Начало», — среди них был провокатор и агент охранного отделения М. Гурович.

Разумеется, мне было крайне приятно видеть благосклонные улыбки женщины, почти обожающие взгляды девиц, и, вероятно, — как все молодые люди, только что ошарашенные славой, — я напоминал индейского петуха.

Но, бывало, ночами, наедине с собою, вдруг почувствуешь себя в положении непойманного уголовного преступника: его окружают шпионы, следователи, прокуроры, все они ведут себя так, как будто считают преступление несчастьем, печальной «ошибкой молодости», и — только сознайся! — они великодушно простят тебя. Но — в глубине души каждому из них непобедимо хочется уличить преступника, крикнуть в лицо ему торжествующе: «Ага-а!»

Нередко приходилось стоять в положении ученика, вызванного на публичный экзамен по всем отраслям знания.

— Како веруешь? — пытали меня начетчики сент и жрецы храмов.

Будучи любезным человеком, я сдавал экзамены, обнаруживая терпение, силе которого сам удивлялся, но после пытки словами у меня возникало желание проткнуть Исаакиевский собор адмиралтейской иглою или совершить что-либо иное, не менее скандальное.

Где-то позади добродушия, почти всегда несколько наигранного, россияне скрывают нечто, напоминающее хамоватость. Это качество — а может быть, это метод исследования? — выражается очень разнообразно, главным же образом — в стремлении посетить душу ближнего, как ярмарочный балаган, взглянуть, какие в ней показываются фокусы, пошвырять, натоптать, насорить пустяков в чужой душе, а иногда — опрокинуть что-нибудь. И, по примеру Фомы, тыкать в раны пальцами, очевидно думая, что скептицизм апостола равноценен любопытству обезьян.

В. Г. Короленко и в каменном Петербурге нашел для себя старенький деревянный дом, провинциально уютный, с крашенным полом в комнатах, с ласковым запахом старости.

В. Г. поседел за эти годы, кольца седых волос на висках были почти белые, под глазами легли морщины, взгляд — рассеянный, усталый. Я тотчас почувствовал, что его спокойствие, раньше так приятное мне, заменилось нервозностью человека, который живет в крайнем напряжении всех сил души. Видимо, не дешево стоило ему Мултанское дело и все, что он, как медведь, ворочал в эти трудные годы.

— Бессонница у меня, отчаянно надоедает. А вы, не считаясь с туберкулезом, все так же много курите? Как у вас легкие? Собираюсь в Черноморье, — едем вместе?

Сел за стол против меня и, выглядывая из-за самовара, заговорил о моей работе.

— Такие вещи, как «Варенька Олесова», удаются вам лучше, чем «Фома Гордеев». Этот роман — трудно читать, материала в нем много, порядка, стройности — нет.

Он выпрямил спину так, что хрустнули позвонки, и спросил:

— Что же вы — стали марксистом?

Когда я сказал, что — близок к этому, он невесело улыбнулся, заметив:

— Неясно мне это. Социализм без идеализма для меня — непонятен! И не думаю, чтобы на сознании общности материальных интересов можно было построить этику, а без этики — мы не обойдемся.

И, прихлебывая чай, спросил:

— Ну, а как вам нравится Петербург?

— Город — интереснее людей.

— Люди здесь...

Он приподнял брови и крепко потер пальцами усталые глаза.

— Люди здесь более европейцы, чем москвичи и наши волжане. Говорят: Москва своеобразнее, — не знаю. На мой взгляд, ее своеобразие — какой-то неуклюжий, туповатый консерватизм. Там славянофилы, Катков и прочее в этом духе, здесь — декабристы, петрашевцы, Чернышевский...

— Победоносцев, — вставил я.

— Марксисты, — добавил В. Г., усмехаясь. — И всякое иное заострение прогрессивной, то есть революционной мысли. А Победоносцев-то талантлив, как хотите! Вы читали его «Московский сборник»? Заметьте — московский все-таки!

Он сразу нервозно оживился и стал юмористически расска-

зывать о борьбе литературных кружков, о споре народников с марксистами.

Я уже кое-что знал об этом, на другой же день по приезде в Петербург я был вовлечен в «историю», о которой я даже теперь вспоминаю с неприятным чувством; я пришел к В. Г. для того, чтобы, между прочим, поговорить с ним по этому поводу.

Суть дела такова:

Редактор журнала «Жизнь» В. А. Поссе организовал литературный вечер в честь и память Н. Г. Чернышевского, пригласив участвовать В. Г. Короленко, Н. К. Михайловского, П. Ф. Мельшина, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского и еще несколько марксистов и народников. Литераторы дали свое согласие, полиция — разрешение.

На другой день по приезде моем в Петербург ко мне пришли два щеголя студента с кокетливой барышней и заявили, что они не могут допустить участия Поссе в чествовании Чернышевского, ибо: «Поссе человек неприемлемый для учащейся молодежи, он эксплуатирует издателей журнала «Жизнь». Я уже более года знал Поссе, и хотя считал его человеком оригинальным, талантливым, однако — не в такой степени, чтобы он мог и умел эксплуатировать издателей. Знал я, что его отношения с ними были товарищеские, он работал, как ломотовая лошадь, и, получая ничтожное вознаграждение, жил с большой семьей впроголодь. Когда я сообщил все это юношам, они заговорили о неопределенной политической позиции Поссе между народниками и марксистами, но — он сам понимал эту неопределенность и статьи свои подписывал псевдонимом Вильде. Бюстители нравственности и правоты рассердились на меня и ушли, заявив, что они пойдут ко всем участникам вечера и уговорят их отказаться от выступлений.

В дальнейшем оказалось, что «инцидент в его сущности» нужно рассматривать не как выпад лично против Поссе, а «как один из актов борьбы двух направлений политической мысли», — молодые марксисты находят, что представителям их школы неуместно выступать перед публикой с представителями народничества, «изношенного, издыхающего». Вся эта премудрость была изложена в письме, обширном, как доклад, и написанном таким языком, что, читая письмо, я почувствовал себя иностранцем. Вслед за письмом от людей мне неизвестных я получил записку П. Б. Струве, — он извещал меня, что отказывается выступить на вечере, а через несколько часов другой запиской сообщил, что берет свой отказ назад. Но — на другой

день отказался М. И. Туган-Барановский, — а Струве прислал третью записку, на сей раз с решительным отказом и, как в первых двух, без мотивации одного.

В. Г., посмеиваясь, выслушал мой рассказ о этой канители и юмористически грустно сказал:

— Вот, — пригласят читать, а выйдешь на эстраду — схватят, снимут с тебя штаны и — выпорют!

Расхаживая по комнате, заложив руки за спину, он продолжал вдумчиво и негромко:

— Тяжелое время! Растет что-то странное, разлагающее людей. Настроение молодежи я плохо понимаю, мне кажется, что среди нее возрождается нигилизм и явились какие-то карьеристы-социалисты. Губит Россию самодержавие, а сил, которые могли бы сменить его, — не видно!

Впервые я наблюдал Короленко настроенным так озабоченно и таким усталым. Было очень грустно.

К нему пришли какие-то земцы из провинции, и я ушел. Через два-три дня он уехал куда-то отдыхать, и я не помню, встречался ли с ним после этого свидания.

Встречи мои с ним были редки, я не наблюдал его непрерывно, изо дня в день, хотя бы на протяжении краткого времени.

Но каждая беседа с ним укрепляла мое представление о В. Г. Короленко как о великом гуманисте. Среди русских культурных людей я не встречал человека с такой неутомимой жаждою «правды-справедливости», человека, который так проникновенно чувствовал бы необходимость воплощения этой правды в жизнь.

После смерти Л. Н. Толстого он писал мне:

«Толстой, как никто до него, увеличил количество думающих и верующих людей. Мне кажется, вы ошибаетесь, утверждая, что это увеличено за счет делающих или способных к делу. Человеческая мысль всегда действительна, только разбудите ее, и стремление ее будет направлено к истине, справедливости».

Я уверен, что культурная работа В. Г. разбудила дремавшее правосознание огромного количества русских людей. Он отдавал себя делу справедливости с тем редким, целостным напряжением, в котором чувство и разум, гармонически сочетаясь, возвышаются до глубокой, религиозной страсти. Он как бы видел и ощущал справедливость, как все лучшие мечты наши, она — призрак, созданный духом человека, ищущий воплотиться в осязаемые формы.

В ущерб таланту художника он отдал энергию свою непре-

рывной, неустанной борьбе против стоглавого чудовища, откормленного фантастической русской жизнью.

Суровые формы революционной мысли, революционного дела тревожили и мучили его сердце, — сердце человека, который страстно любил красоту-справедливость, искал слияния их во единое целое. Но он крепко верил в близкий расцвет творческих сил страны и предчувствовал, что чудо воскресения народа из мертвых будет страшным чудом.

В 908 году он писал:

«Все, что делают сейчас, через несколько лет отзовется вулканическим взрывом, страшные это будут дни. Но он будет, если жива душа народа, а душа его жива».

В 87 году он закончил свой рассказ «На затмении» стихами Н. Берга:

На святой Руси петухи поют,
Скоро будет день на святой Руси.

Всю жизнь, трудным путем героя, он шел встречу дню, и неисчислимо все, что сделано В. Г. Короленко для того, чтоб ускорить рассвет этого дня.

Пошел к Н. К. Михайловскому, — он встретил меня ласково и весело:

— Вот вы какой! А кто-то говорил мне, что вы похожи на Степана Разина, и, кажется, Тан написал вам письмо стихами, предлагая Стенькину участь, — написал?

— Написал.

— Он хороший человек, много лучше его стихов. Вы не хотите, вероятно, чтоб вас четвертовали? Но — кажется, уже начали растягивать по партиям? Марксист?

Я сказал:

— Нет, не марксист, но, по натуре моей, склоняюсь в ту сторону, где чувствую больше активного отношения к жизни.

— Гм? А у народников вы не чувствуете этой активности?

До этой встречи я знал Н. К. только по портретам. Теперь он показался мне не похожим и на портреты и вообще на русского человека. В его небольшом, ладном теле, в нервных, но мягких и красивых движениях чувствовалась нерусская живость духа и гармоничность его. Он измерял меня ласковым взглядом немножко насмешливых глаз, как боец, его манера говорить выдавала в нем человека, привычного к словесным дуэлям. Иногда его взгляд как бы ослеплял блеском какой-то острой, невеселой мысли. От него веяло нервной силой, возбуждавшей меня.

Я начал рассказывать ему о вечере, Поссе, о всей этой неясной, опечалившей меня борьбе. Он, слушая внимательно, часто восклицал:

— Да? Так. Ого?

Говорил я о том, что среди интеллигенции, куда я поднялся не без тяжелых усилий, я ожидал встретить иные нравы, иное отношение друг ко другу, больше внутренней сплоченности, больше взаимного уважения, дружбы и сердечности.

— Все слова, вышедшие из употребления, старинные слова, — усмехаясь, вставил Михайловский в мою возбужденную речь.

Говорил я о том, как огромна и тяжела деревня, как она слепа и недоверчива ко всему, что творится вне узкого круга ее прямых интересов, что интеллигенции в стране отчаянно мало и за пределами крупных городов ее влияния не чувствуется, значение ее — непонятно.

Он, видимо, был тронут, мне показалось, что его глаза влажны, когда он заговорил с ласковой насмешкой:

— Эге, батенька, да вы — идеалист и едва ли не романтик! И совсем не такой грубиян, как говорят о вас! Вас, очевидно, встречают по одежке ваших мыслей, — а вы одеваете их не модно, торопливо, да и грубовато немножко...

Потом решительно заявил, что откажется от участия на вечере, если Поссе устроят, и спросил: что я намерен писать?

Я рассказал ему план книги «Мужик» — полуфантастическую историю карьеры архитектора из крестьян.

— Час от часу не легче! — воскликнул он, удивленно разведя руками. — Про него говорят — марксист, а он собирается писать какую-то апологию буржуа! Среду-то эту, купечество, вы хорошо знаете?

Тип героя «мужика» лепился у меня довольно ясно и прочно из моего знакомства с культурной работой Милютина, череповецкого головы, и моих наблюдений над жизнью поволжских городов.

— Может быть, это будет интересно, — Н. К. недоверчиво пожал плечами, — во всяком случае — оригинально. Буржуй как положительный тип — вы это будете печатать в марксистской «Жизни»? Тоже оригинально!

Засмеялся и потом сказал серьезно:

— А вы бы попробовали написать роман из жизни наших революционеров. Вы симпатизируете людям сильной воли, — сильнее и ярче этих людей вы не найдете в русской жизни!

С глубоким чувством любви к бойцам и волнующе подчеркивая драму их жизни, он заговорил о ничтожной — количественно — группе людей, которые хотели взорвать трон Романовых. Говорил страстно, образно, как поэт, задыхаясь от волнения и как-то вздрагивая всем телом.

Его очень утомила эта речь; посидев еще несколько минут, я встал.

— Хотите идти? Принято, чтоб старые литераторы на-

путствовали молодых. Я — вдвое старше вас. Вы мне понравились, и я хочу вас обнять, — это и будет моим напутствием...

Тут разыгралась одна из наиболее странных и трогательных сцен, пережитых мною...

Потом, крепко поцеловав друг друга, мы расстались, не сказав ни слова более.

Я видел этого человека не более трех, четырех раз, — с каждым разом он становился мне все более дорог и близок, но, в суете жизни, мне не пришлось уже говорить с ним один на один.

В мою «честь» был устроен обед в редакции «Жизни», различные люди говорили обязательные в таких случаях речи. Н. К. Михайловский сидел рядом со мною и, тыкая меня большим пальцем под ребра, увещевал:

— Отвечайте же, сударь! Вам наложили целую поленницу комплиментов, — надо отвечать! Ну — кураж!

Я не умею говорить речей. Церемония обеда была убийственно скучна, едоки чувствовали себя нелепо, некоторые из них поглядывали на меня явно враждебно, насмешливо. Я сказал Н. К., что это мешает мне дышать.

— Привыкайте, — шутливо-строго сказал он вполголоса. — Ничего, так и следует. Было бы наивно думать, что ваш успех — всем приятен.

Потом я был у него на именинах или в день рождения, — не помню. Великолепно настроенный, Н. К. остроумно шутил, отвечал сразу на десяток вопросов, обращенных к нему, удивляя меня юношеской живостью.

Но — рядом со мною сидел П. Ф. Мельшин-Якубович и портил мне жизнь.

— Вы читаете «Искру»? — спрашивал он. — Читаете. Так. А я — жгу, когда она попадает в руки мне. Жгу.

Я впервые видел его и думал — вот фанатик! Потом оказалось, что это обыкновенный русский человек, добродушный и мягкий, несмотря на то, что жизнь ковала его тяжким молотом. Но в этот [день] он был почему-то крайне свирепо настроен против Маркса, марксистов, Струве и все дудел в ухо мне жестокие слова, не позволяя слушать, что говорил Михайловский. А он говорил что-то интересное, возражая Н. Карееву и Н. Ф. Анненскому.

— Нет, — слышал я отрывки его горячей речи, — надобно опуститься как-то ниже философии культуры, к философии быта, — к самому обыкновенному содержанию текущего дня, и тогда, может быть, обнаружится...

Мельшин, дергая меня за рукав, спрашивал — знаю ли я его переводы стихов Бодлера?

Я — знал. И, судя по этим переводам, заключил, что Бодлер был весьма неуклюжий стихотворец.

— Странно, — сказал Мельшин. — По-моему — Бодлер должен бы нравиться вам...

А Михайловский говорил кому-то весело и громко:

— Я нажил сердце, которое обеспечивает мне быструю и безболезненную смерть...

В суете праздника я так и не нашел удобной минуты спросить Н. К. — что именно должно «обнаружиться»?

Вскоре я уехал. А в следующий приезд помогал нести гроб Михайловского на Волково кладбище.

В 1901 году, выпустив меня из тюрьмы, начальство применило ко мне очень смешную меру «предупреждения и пресечения преступлений» — домашний арест. В кухню моей квартиры посадили полицейского, в прихожую — другого, и я мог выходить на улицу только в сопровождении одного из них.

Кухонный страж помогал кухарке носить дрова, чистить овощи, мыть посуду; страж прихожей открывал двери посетителям, раздевал их, подавал галоши, а когда у меня никого не было, он, заткнув неуклюжей фигурой своей дверь в мою комнату, спрашивал бабьим голосом:

— Господин Горьков, — извините! — как же это? Говорится: небеса, небесный, а — вдруг: бес основания? Какое же основание? Основание грехов наших?

Изрытое оспой лицо солдата украшал тупой нос, дряблый, как губка, под носом торчали кустики черной шерсти, раковина его левого уха была разорвана поперек, левый глаз косил, забегая в сторону уха.

— Люблю читать жития священныхмучеников, — говорил он тонким голосом и почему-то виноватым тоном. — Необыкновенные слова там попадают...

И конфузливо спрашивал:

— А — извините! — непорочный значит непоротый? Примерно: непорочная дева?

Наскоро объяснив ему различие между поркой и пороком, я просил:

— Вы, пожалуйста, не мешайте мне.

— Хорошо, — благосклонно говорил он. — Ничего, пишете...

И через пять, десять минут снова звучал раздражающий голосок:

— А — извините меня...

Однажды, часов в семь утра, я был разбужен его словами:

— Спит еще, на свету лег...

Чей-то другой голос спросил:

— И ночью сторожишь?

— А как же? По ночам они и действуют...

— Буди. Скажи — Зарубин пришел.

Через четверть часа предо мною сидел, кашляя и задыхаясь, старик Зарубин, тяжелая голова его тряслась, он отирал бороду клетчатый платком и, глядя в лицо мне выцветшими глазами, сишло говорил:

— Знакомиться с личностью твоей пришел. Хотел я в тюрьму к тебе прийти, — прокуроршишко не пустил.

— Зачем это нужно было вам?

Он хитроумно подмигнул мне:

— Надобно их тревожить, владык наших, воевод этих! Они думают — нет сопротивления им в делах незаконных. А я вот показываю: врете, есть сопротивление.

Оглядел комнату прищуренными, красными глазами кролика.

— Не богато, однако, живешь, скудно. А слух идет — большие деньги даны тебе иностранцами за книгу Гордеева, за позор купечества нашего. Ну, все-таки книга, стоящая внимания; хоша и сочинение — а правда есть. Читают ее согласно; верно, говорят, списал, народ мы — такой. Яков Башкиров хвастает: «Маякин — это я. С меня списано, вот глядите, как я есть умный». Бугров даже читал, Николай Александров. «Книжка, говорит, для нас действительно горькая». Я ведь вроде как бы от него и пришел: почет тебе. Не верит он, что ты из простых, даже будто из босяков, хочет самолично поглядеть на тебя. Одевайся, едем к нему чай-пить.

Ехать к Бугрову я отказался, это очень рассердило старика, он тяжело встал со стула, мотая трясущейся головой и брызгая слюной.

— Гордость твоя — глупая. Бугров не грешнее таких, как ты есть. А что из дома выходить без полицейского не велено тебе, так ему, Бугрову, наплевать густо на законы и запреты ваши.

И, не простясь, старик ушел, сердито шаркая ногами. Провожая его, полицейский спросил:

— Несогласие обнаружено?

Зарубин крикнул на него:

— А ты — молчи!..

Миллионер, крупный торговец хлебом, владелец паровых мельниц, десятка пароходов, флотилии барж, огромных лесов, — Н. А. Бугров играл в Нижнем и губернии роль удельного князя.

Старообрядец «беспоповского согласия», он выстроил в поле, в версте расстояния от Нижнего, обширное кладбище, обнесенное высокой, кирпичной оградой, на кладбище — церковь и «скит», — а деревенских мужиков наказывали годом тюрьмы по 103 статье «Уложения о наказаниях уголовных» за то, что они устраивали в избах у себя тайные «молебны». В селе Поповке Бугров возвел огромное здание, богадельню для старообрядцев, — было широко известно, что в этой богадельне воспитываются сектанты-«начетники». Он открыто поддерживал тайные сектантские скиты в лесах Керженца и на Иргизе и вообще являлся не только деятельным защитником сектантства, но и крепким столпом, на который опиралось «древнее благочестие» Поволжья, Приуралья и даже некоторой части Сибири.

Глава государственной церкви, нигилист и циник Константин Победоносцев, писал — кажется в 1901 году — доклад царю о враждебной, антицерковной деятельности Бугрова, но это не мешало миллионеру упрямо делать свое дело. Он говорил «ты» взбалмошному губернатору Баранову, и я видел, как он, в 96 году, на всероссийской выставке, дружески хлопал по животу Витте и, топая ногою, кричал на министра двора Воронцова.

Был он щедрым филантропом: выстроил в Нижнем хороший ночлежный дом, огромное, на 300 квартир, здание для вдов и сирот, прекрасно оборудовал в нем школу, устроил городской водопровод, выстроил и подарил городу здание для городской думы, делал земству подарки лесом для сельских школ и вообще не жалел денег на дела «благотворения».

Дед мой сказывал мне, что отец Бугрова «разжился» фабрикацией фальшивых денег, но дед обо всех крупных купцах города говорил как о фальшивомонетчиках, грабителях и убийцах. Это не мешало ему относиться к ним с уважением и даже с восторгом. Из его эпических повестей можно было сделать такой вывод: если преступление не удалось — тогда это преступление, достойное кары; если же оно ловко скрыто — это удача, достойная хвалы.

Говорили, что Мельников-Печерский [в] «В лесах» под именем Максима Потапова изобразил отца Бугрова; я так много слышал плохого о людях, что мне было легче верить Мельни-

кову, а не деду. О Николае Бугрове рассказывали, что он вдвое увеличил миллионы отца на самарском голоде начала восьмидесятых годов.

Обширные дела свои Бугров вел сам, единолично, таская векселя и разные бумаги в кармане поддевки. Его уговорили завести контору, взять бухгалтера; он снял помещение для конторы, богато и солидно обставил его, пригласил из Москвы бухгалтера, но никаких дел и бумаг конторе не передал, а на предложение бухгалтера составить инвентарь имущества задумчиво сказал, почесывая скулу:

— Это — большое дело. Имущества у меня много, считать его — долго.

Просидев месяца три в пустой конторе без дела, бухгалтер заявил, что он не хочет получать деньги даром и просит отпустить его.

— Извини, брат, — сказал Бугров. — Нет у меня времени конторой заниматься, лишняя она обуза мне. У меня контора вся тут.

И, усмехаясь, он хлопнул себя ладонью по карману и по лбу.

Я часто встречал этого человека на торговых улицах города; большой, грузный, в длинном сюртуке, похожем на поддевку, в ярко начищенных сапогах и в сукольном картузе, он шел тяжелой походкой, засунув руки в карманы, шел встречу людям, как будто не видя их, а они уступали дорогу ему не только с уважением, но почти со страхом. На его красноватых скулах бессильно разрослась серенькая бородка мордвина, прямые, редкие волосы ее, не скрывая маленьких ушей, с приросшими мочками, и морщин на шее, на щеках, вытягивали тупой подбородок, смешно удлиняя его. Лицо — неясное, незаконченное, в нем нет ни одной черты, которая, резко бросаясь в глаза, навсегда оставалась бы в памяти. Такие неуловимые, как бы нарочито стертые, безглазые лица часто встречаются у людей верхнего и среднего Поволжья, — под скучной, определенной маской эти люди ловко скрывают свой хитрый ум, здравый смысл и странную, ничем не объяснимую жестокость.

Каждый раз, встречая Бугрова, я испытывал волнующее, двойственное чувство — напряженное любопытство сочеталось в нем с инстинктивной враждой. Почти всегда я принуждал себя вспоминать «добрые дела» этого человека, и всегда являлась у меня мысль:

«Странно, что в одном и том же городе, на узенькой полос-

не земли могут встречаться люди столь решительно чуждые друг другу, как чужды я и этот «воротило».

Мне сообщили, что будто, прочитав мою книжку «Фома Гордеев», Бугров оценил меня так:

— Это — вредный сочинитель, книжка против нашего сословия написана. Таких — в Сибирь ссылать, подальше, на самый край...

Но моя вражда к Бугрову возникла за несколько лет раньше этой оценки; ее воспитал ряд таких фактов: человек этот брал у бедняков родителей дочь, жил с нею, пока она не надоедала ему, а потом выдавал ее замуж за одного из сотен своих служащих или рабочих, снабжая приданым в три, пять тысяч рублей, и обязательно строил молодоженам маленький, в три окна, домик, ярко окрашенный, крытый железом. В Сейме, где у Бугрова была огромная паровая мельница, такие домики торчали на всех улицах. Новенькие, уютные, с цветами и кисейными занавесками на окнах, с зелеными или голубыми ставнями, они нахально дразнили людей яркостью своих красок и как бы нарочито подчеркнутым однообразием форм. Вероятно, эти домики, возбуждая воображение и жадность, очень способствовали развитию торговли девичьим телом.

Забава миллионера была широко известна, — на окраинах города и в деревнях девицы и парни распевали унылую песню:

Наверно, ты Бугрова любишь,
Бугрову сердце отдала;
Бугрову ты верна не будешь,
А мне — по гроб страдать дала.

На одной из таких «испробованных девиц» женился мой знакомый машинист, тридцатилетний вдовец, охотник по птице и птицелов, автор очень хорошего рассказа о жизни пернатых хищников, напечатанного, кажется, в журнале «Природа и охота».

Хороший, честный человек, он так объяснял мотивы женитьбы.

— Жалко девушку, обижена, а — хорошая девушка. Не скрою: за ней четыре тысячи приданого и домик. Это — меня подкупает. Буду жить тихо, учиться начну, писать...

Через несколько месяцев он начал пить, а на масленице был избит в пьяной драке и вскоре помер. Незадолго перед этим он прислал мне рукопись рассказа о хитростях лисы в ее охоте за лесной птицей, — помню, рассказ был начат так:

«Ярко и празднично одет осенний лес, а дышит он уныньем и гнилью».

Ко мне пришла женщина, возбужденная почти до безумия, и сказала: ее близкий друг заболел в далекой ссылке, у Полярного круга. Она должна немедленно ехать к нему, нужны деньги. Я знал, что речь идет о человеке недюжинном, но у меня не было крупной суммы, нужной на поездку к нему.

Я пошел к чудаковатому богачу Митрофану Рукавишникову; этот маленький, горбатый человечек жил, — как Дезэссент, герой романа Гюйсманса, — выдуманной жизнью, считая ее очень утонченной и красивой: он ложился спать утром, вставал вечером, к нему ночами приходили друзья: директор гимназии, учитель института благородных девиц, чиновник ведомства уделов, они всю ночь пили, ели, играли в карты, а иногда, приглашая местных красавиц «свободной жизни», устраивали маленькие оргии.

В полумраке кабинета, тесно уставленного мебелью из рога техасских быков, в глубоком кресле, сидел, окутав ноги пледом, горбун с лицом подростка; испуганно глядя на меня темными глазами, он молча выслушал просьбу дать мне денег взаем и молча протянул двадцать пять рублей. Мне было нужно в сорок раз больше. Я молча ушел.

Дня три бегал по городу, отыскивая деньги, и, случайно встретив Зарубина, спросил: не поможет ли он мне?

— А ты проси у Бугрова, этот даст! Едем к нему, он на бирже в сей час.

Поехали. В шумной толпе купечества я тотчас увидел крупную фигуру Бугрова, он стоял прислонясь спиной к стене, его теснила толпа возбужденных людей и вперевой кричала что-то, а он изредка, спокойно и лениво говорил:

— Нет.

И слово это в его устах напоминало возглас «цыц!», которым укрощают лай надоевших собак.

— Вот — самый этот Горький, — сказал Зарубин, бесцеремонно растолкав купечество.

С лица, измятого старостью, на меня недоверчиво и скользко взглянули маленькие, усталые глазки, веко одного из них было парализовано и отвисло, обнажая белок, расписанный красными жилками, из угла глаза, от переносицы, непрерывно стекала слеза. Зрачки показались мне мутными, но вдруг в них вспыхнули зелененькие искры, осветив на секунду это мордовское лицо умильной усмешкой. И, пожимая руку мою пухлой, но крепкой рукою, Бугров сказал:

— Честь городу нашему... Чайку попить не желаете ли со мною?

В «Биржевой» гостинице, где все пред ним склонилось до земли и даже канарейки на окнах почтительно перестали петь, — Бугров крепко сел на стул, спросив официанта:

— Чайку, брат, дашь?

Зарубина остановил какой-то толстый, красноносый человек с солдатскими усами, старик кричал на него:

— Полиция — боишься, а совести — не боишься!

— Все воюет языком неумным старец наш, — сказал Бугров, вздыхая, отер слезу с лица синим платком и, проткнув меня острыми лучами глаз, спросил:

— Слышал я, что самоуном дошли вы до мастерства вашего, минуя школы и гимназии? Так. Городу нашему лестно... И будто бедность большую испытать пришлось? И в ночлежном доме моем живали?

Я сказал, что, будучи мальчишкой, мне случалось по пятницам бывать у него на дворе, — в этот день он, в «поминок» по отце, давал нищим по два фунта пшеничного хлеба и по серебряному гривеннику.

— Это ничего не доказует, — сказал он, двигая серенькими волосами редких бровей. — За гривенником и не бедные люди приходили от жадности своей. А вот что в ночлежном жили вы, — это мне слишком удивительно. Потому что я привык думать: из этого дома, как из омота, никуда нет путей.

— Человек — вынослив.

— Очень правильно, но давайте прибавим: когда знает, чего хочет.

Говорил он солидно, как и подобало человеку его положения, слова подбирал осторожно, — должно быть, осторожность эта и делала его речь вычурной, тяжелой. Зубы у него мелкие, плотно составлены в одну полоску желтой кости. Нижняя губа толста и выворочена, как у негра.

— Откуда же вы купечество знаете? — спросил он, а выслушав мой ответ, сказал:

— Не все в книге вашей верно, многое же очень строго сказано, однако Маякин — примечательное лицо. Изволили знать такого? Я вокруг себя подобного не видал, а — чувствую: таков человек должен быть. Насквозь русский и душой и разумом. Политического ума...

И, широко улыбаясь, он прибавил весело:

— Очень поучительно подсказываете вы купцу, как ему жить и думать надобно, о-очень!

Подошел Зарубин, сердито шлепнулся на стул и спросил не то — меня, не то — Бугрова:

— 'Дал денег?

Вопрос его так смутил меня, что я едва не выругался и, должно быть, сильно покраснел. Заметив мое смущение, Бугров тотчас шутливо спросил:

— Кто — кому?

Я в кратких словах объяснил мою нужду, но Зарубин вмешался, говоря:

— Это он не для себя ищет денег, он живет скудно...

— Для кого же, — можно узнать? — обратился ко мне Бугров.

Я был раздражен, выдумывать не хотелось, и я сказал правду, ожидая отказа.

Но миллионер, почесывая скулу, смахивая пальцем слезу со щек, внимательно выслушал меня, вынул бумажник и, считая деньги, спросил:

— А — хватит суммы этой? Путь — дальний, и всякие случаи неудобные возможны...

Поблагодарив его, я предложил дать расписку, — он любезно усмехнулся:

— Разве что из интереса к почерку вашему возьму...

А посмотрев на расписку, заметил:

— Пишете как будто уставом, по-старообрядчески, каждая буква — отдельно стоит. Очень интересно пишете...

— По псалтырю учился.

— Оно и видно. Может — возьмете расписочку назад?

Я отказался и, торопясь передать деньги, ушел. Пожимая мне руку с преувеличенной любезностью, Бугров сказал:

— Будемте знакомы. Иной раз позвольте лошадь прислать за вами, — вы далеко живете. Весьма прошу посетить меня.

Спустя несколько дней, утром около восьми часов, он прислал за мною лошадь, и вот я сижу с ним в маленькой комнатке, ее окно выходит во двор, застроенный каменными складами, загроможденный якорями, железным ломом, лыком, рогожей, мешками муки. На столе шумно кипит маленький самовар, стоит блюдо горячих калачей, ваза зернистой икры и сахарница с разноцветными кубиками фруктового — «постного» — сахара.

— Рафинада — не употребляю, — усмехаясь, сказал Бугров. — Не оттого, что будто рафинад собачьей кровью моют и делают с ним разные... мапулярии, что ли, зовется это, поученому?

— Манипуляции?

— Похоже. Нет, постный сахар — вкуснее и зубам легче...

В комнате было пусто, — два стула, на которых сидели мы, маленький базарный стол и еще столик и стул в углу, у окна. Стены оклеены дешевыми обоями, мутно-голубого цвета, около двери в раме за стеклом — расписание рейсов пассажирских пароходов. Блестел недавно выкрашенный рыжий пол, все вылощено, скучно чисто, от этой чистоты веяло холодом, и было в ней что-то «нежилое». Воздух густо насыщен церковным запахом ладана, лампадного масла, в нем кружится большая синяя муха и назойливо жужжит. В углу — икона богоматери в жемчужном окладе, на венчике — три красные камня; перед нею — лампада синего стекла. Колеблется сиротливо голубой огонек, и как будто по иконе текут капельки пота или слез. Иногда муха садится на ризу и ползает по ней черным шариком.

Бугров — в сюртуке тонкого сукна, сюртук длинен, наглухо, до горла застегнут, похож на подрясник. Смакуя душистый чай, Бугров спрашивает:

— Так, значит, приходилось вам в ночлежном доме жить?

Голос его звучит сочувственно, точно речь идет о смертельной болезни, которую я счастливо перенес.

— Трудно поверить, — раздумчиво отирая слезу со щеки, продолжает он. — Босьяк наш — осенний лист. И даже того бесполезнее, ибо — лист осенний удобряет землю...

И, в тон жужжанию мухи, рассказывает:

— У нас тут, на берегу, подрядчик есть, артель грузчиков держит, Сумароков по фамилии; так он — знаменитого лица потомок, в Екатериныны времена его дед большую значительность имел, а внук — личность дерзкая, живет вроде атамана разбойников, пьянствуя с рабочими своими, и прикрывает их воровство. Ведь вот какая превратность! А вы — наоборот. Трудно понять, на каких весах судьба взвешивает людей... Возьмите икорки еще.

Не спеша жуя калач, громко чмокая, и скользким взглядом щупает меня.

— Книг я не читаю, а ваши сочинения — прочитал, по-советовали. Очень удивительных людей встречали вы. Например: в одну сторону идет Маякин, в другую — «проходимец» этот, — как его?

— Промтов.

— Да. Одни, души не щадя, стараются для России, для всех людей нашего государства, а другой — расковыривает

всю жизнь похабным языком, грязным шилом умишка своего. А вы и о том и о другом рассказываете... не умею выразить как, как будто о чужих вам, не русских людях, но как будто и родственно, а? Не совсем понимаю это...

Я спросил: читал ли он рассказ «Мой спутник»?

— Читал. Весьма занятно.

Он откинулся на спинку стула, стирая пот с лица большим платком с цветной каймой, потом — взмахнул им, как флагом.

— Ну, это, конечно, человек дикий, не русский. А этот, «проходимец» — правда? Маякин же, говорите, не совсем правда?

Качая головой с желто-седыми волосами, плотно примасленными к черепу, он негромко сказал:

— Есть в этом опасность. Государство наше, говорят, дом, который требует ремонта, перестроить надо-де его. Так-с. Ну, а какой же силой? Сила-то где, по-вашему? Как же всех людей включить в это дело, когда одни свободно пасутся, как скот на подножном корму, и ничего боле не желают? А как же Маякин-то? Хозяин-то? Он, души не жалея, делу государственному жертвует всей силой и совестью, а другим — наплевать на него, а?

Значительный этот разговор был прерван мухой — она слепо налетела на слабый огонек лампы, взныла и, погасив его, упала в масло. Бугров встал, вышел за дверь и крикнул:

— Эй!

Явилась миловидная девушка, одетая, как монахиня, в темное, поклонилась нам, прижав руки к животу, и, положив на стол несколько телеграмм, молча стала опрашивать лампадку. Потом, с таким же поклоном, не поднимая глаз, исчезла, перебирая пальцами кожаную лестовку, висевшую на поясе у нее.

— Дела доспели, извините, — сказал Бугров, скользая глазами по квадратным бумажкам телеграмм. Вынул из кармана огрызок карандаша, наморщив нос, поставил на бумагах какие-то знаки и небрежно бросил их на стол, говоря:

— Пойдемте отсюда...

Привел меня в большой зал с окнами на берег Волги; на крашеном полу лежали чистые половики, небеленого холста, по стенам стояли стулья. У одной из них — кожаный диван. Скучно пусто, и все тот же церковный масляный запах. А в стекла окон непрерывно стучится буйный, железный гул трудового дня, на реке свистят пароходы...

— Хороша картинка? — спросил Бугров, указывая на стену, — там висела копия Сурикова «Боярыня Морозова», а против ее, на другой стене, — превосходное старое полотно —

цветы, написанные удивительно тонко и благородно. Медная пластинка внизу рамы говорила, что это работа Розы Бонёр.

— Вам эта больше нравится? — улыбаясь, спросил старик. — Я ее в Париже купил; иду по улице, вижу — в окне картина и на ней цифра — десять тысяч. Что такое? — думаю. Пригляделся — цветы и боле ничего. Искусно, однако же и цена. Три тысячи целковых ведь. Послал знакомого спросить: почему так дорого? Тот спросил — редкость, говорит. Опять пошел, посмотрел. Нет, думаю, дудки! А наутро говорю приятелю-то: «Поди-ка возьми ее мне».

Он засмеялся.

— Каприз, конечно. Но — так она мне понравилась — нельзя оставить...

Все вокруг блестело холодной нежилою чистотой, вызывая мысль о скучной, одиноким жизни.

— Вы меня извините, — надо на биржу идти, — сказал Бугров. — Не удалось нам кончить интересную нашу беседу, очень жалею. Позвольте обеспокоить вас вдругорядь... До свиданья!

Он часто присылал за мною лошадь, и я охотно ездил к нему пить утренний чай с калачами, икрой и «постным» сахаром. Мне нравилось слушать его осторожно щупающие речи, следить за цепким взглядом умных глаз, догадываться — чем живет этот человек вне интересов своего купеческого дела и в чем, кроме денег, сила его влияния?

Мне казалось, что он хочет что-то вытянуть из меня, о чем-то выспросить, но он, видимо, не умел сделать это или неясно понимал, чего хочет.

Часто возвращался к скучному вопросу:

— Как же это случилось, что вы, странствуя по путям опасным и даже гибельным, все-таки вышли на дорогу полезного труда?

Это раздражало меня. Я говорил ему о Слепушкине, Сурикове, Кулибине и других русских самоучках.

— Скажите, какое обилие! — нехотя удивлялся он, задумчиво почесывая скулу, безуспешно пытаясь прищурить большой глаз. И, прищуривая здоровый, назойливо спрашивал:

— Ведь в жизни без основания, без привязки к делу, — большой соблазн должен быть, как же это не соблазнились вы? В дело-то как вросли, а?

Но наконец он все-таки поймал мысль, которая тревожила его:

— Видите ли, что интересно: вот мы живем сыто и богато,

а под нами водятся люди особых свойств, подкапывают нашу жизнь. Люди — злые, как вы рассказываете о них в книжках ваших, люди — без жалости. Ведь ежели начнет этих людей снизу-то горбом выпирать, — покатится вся наша жизнь сверху вниз...

Говорил он улыбаясь, но глаза его, позеленев, смотрели на меня сухо и пронзительно. Сознывая бесполезность моих слов, я довольно резко сказал, что жизнь насковозь несправедлива, а потому — непрочна и что — рано или поздно — люди изменят не только формы, но и основания своих взаимоотношений.

— Непрочна! — повторил он, как бы не расслышав слова — несправедлива. — Это — верно, непрочна. Знаки непрочности ее весьма заметны стали.

И — замолчал. Посидев минуту, две, я стал прощаться, убежденный, что знакомство наше пресеклось и уж больше не буду я пить чай у Бугрова с горячими калачами и зернистой икрой. Он молча и сухо пожал руку мне, но в прихожей неожиданно заговорил, вполголоса, напряженно, глядя в угол, где сгустился сумрак:

— А ведь человек — страшен! Ой, страшен человек! Иной раз — опамятуешься от суеты дней, и вдруг — сотрясается душа, бессловесно подумаешь — о господи! Неужто все — или многие — люди в таких же облаках темных живут, как ты сам? И кружит их вихорь жизни так же, как тебя? Жутко помыслить, что встречный на улице, чужой тебе человек проникает в душу твою и смятение твоё понятно ему...

Говорил он нараспев, и странно было мне слушать это признание.

— Человек — словно зерно под жерновом, и каждое зерно хочет избежать участи своей, — ведь вот оно, главное-то, около чего все кружатся и образуют вихорь жизни...

Он замолчал, усмехаясь, а я сказал первое, что пришло в голову:

— С такими мыслями — вам трудно жить.

Он чмокнул губами.

Вскоре он снова прислал за мною лошадь, и, беседуя с ним, я почувствовал, что ему ничего не нужно от меня, а — просто — скучно человеку и он забавляется возможностью беседовать с кем-то иного круга, иных мыслей. Держался он со мною все менее церемонно и даже начал говорить отеческим тоном. Зная, что я сидел в тюрьме, он заметил:

— Это — зря! Ваше дело — рассказывать, а не развязывать...

— Что значит — развязывать?

— То и значит: революция — развязка всех узлов, которые законами связаны и людей скрепляют для дела. Или вы — судья, или — подсудимый...

Когда я сказал ему о назревающей неизбежности конституции, он, широко улыбаясь, ответил:

— Да ведь при конституции мы, кулечество, вам, беспокойным, еще туже, чем теперь, гайки подвинтим.

Но о политике он беседовал неохотно и пренебрежительно, тоном игрока в шахматы об игре в шашки.

— Конечно, — всякая шашка хочет в дамки пролезть, а все другие шашки от этого проигрывают. Дело — пустенькое. В шахматах — там суть игры — мат королю!

Несколько раз он беседовал с царем Николаем.

— Не горяч уголек. Десяток слов скажет — семь не нужны, а три — не его. Отец тоже не великого ума был, а все-таки — мужик солидный, крепкого запаха, хозяин! А этот — ласков, глаза бабьи...

Он прибавил зазорное слово и вздохнул, говоря:

— Не по земле они ходят, цари, не знают они, как на улице живут. Живут, скворцы в скворешнях, во дворцах своих, но даже тараканов клевать не умеют — и выходят из моды. Не страшны стали. А царь — до той минуты владыка, покуда страшен.

Говорил он небрежным тоном, ленивенькими словами, безуспешно пытаясь поймать ложкой чайнику в стакане чая.

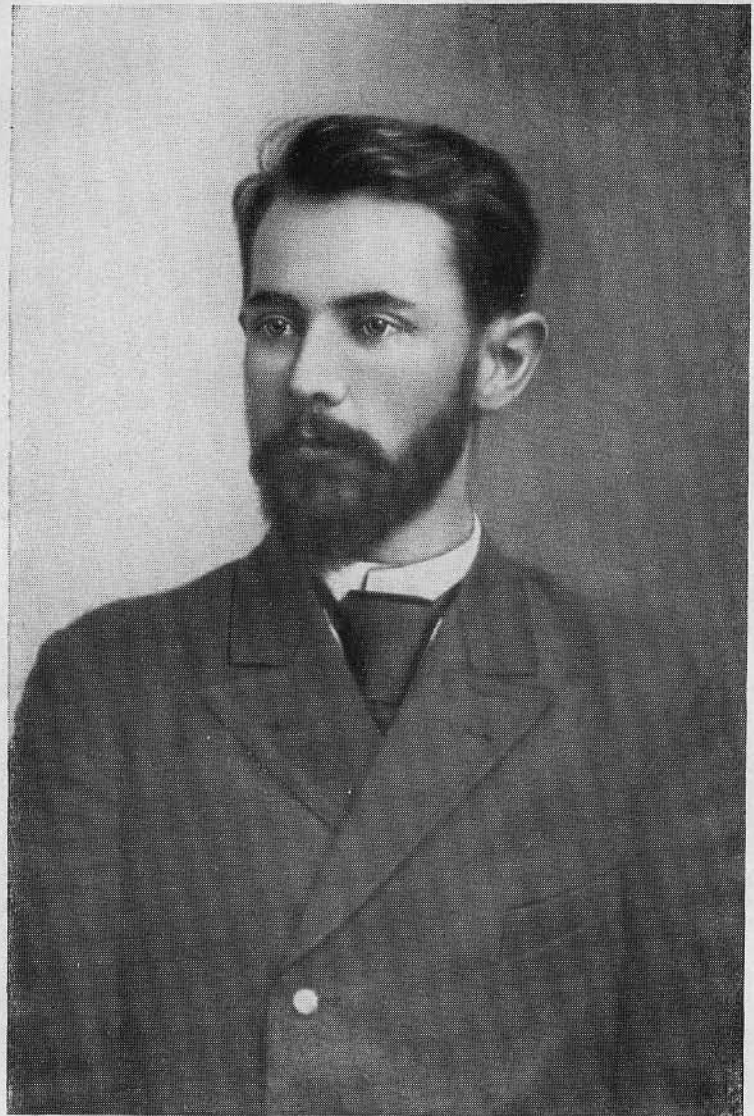
Но вдруг, отбросив ложку, приподнял брови, широко открыл зеленые болотные глаза.

— Вот над этим подумать стоит, господин Горький, — чем будем жить, когда страх пропадет, а? Пропадает страшок пред царем. Когда приезжал к нам, в Нижний, отец Николая, так горожане молебны служили благодарственные богу за то, что царя увидеть довелось. Да. А когда этот, в девяносто шестом, на выставку приехал, так дворник мой, Михайло, говорит: «Не велик у нас царек! И лицом неказист и роста недостойного для столь большого государства. Иностранцы-то, глядя на него, поди-ко, думают: «Ну, какая там Россия, при таком неприглядном царе!» Вот как. А он, Михайло, в охране царской был. И никого тогда не обрадовал царев наезд, — как будто все одно подумали: «Ох, не велик царек у нас!»

Он взглянул в угол на умирающий, сапфировый огонек лампы, встал, подошел к двери и, приоткрыв ее, крикнул:

— Лампаду оправьте, эй!

Бесшумно, как всегда, вошла, низко кланяясь, темная де-



Л. Б. Красин. Иркутск, конец 90-х годов.



Сергей Есенин.

вица, встала на стул, оправляя лампаду, Бугров смотрел на ее стройные ноги в черных чулках и ворчал:

— Что это у вас в этой горнице лампада всегда плохо горит?

Девушка исчезла, уллыла, точно обрывок черной тучи.

— Вот и о боге — тоже, — заговорил Бугров. — Даже в нашем быту, где бога любят и берегут больше, чем у вас, никониан, — даже у нас, в лесах, покачнулся бог. Величие его будто бы сократилось. Любовности нет к нему, и как бы в забвение облакается. Отходит от людей. Фокусы везде, фокусами заслоняют чудо жизни, созданной им. Вот послушайте случай.

Вдумчиво, крепкими, тяжелыми словами, он рассказал:

В глухое лесное село Заволжья учитель привез фонограф и в праздник в школе стал показывать его мужикам. Когда со стола, из маленького деревянного ящика, человеческий голос запел знакомую всем песню, мужики встали, грозно нахмурясь, а старик, уважаемый всем селом, крикнул:

— Заткни его, так твою мать!

Учитель остановил аппарат, тогда мужики, осмотрев ящик и цилиндр, решили:

— Сжечь дьяволу игрушку!

Но учитель предусмотрительно запасся двумя валиками церковных песнопений. Он с трудом уговорил мужиков послушать еще, и вот ящик громко запел «Херувимскую». Это изумило слушателей до ужаса, старик же надел шапку и ушел, толкая всех, как слепой; за ним, как стадо за пастухом, молча ушли и мужики.

— Старик этот, — строго рассказывал Бугров, глядя в лицо мне прищуренными глазами, — придя домой, сказал своим: «Ну, конечно. Собирайте меня, умереть хочу». Надел смертную рубаху, лег под образа и на восьмой день помер — уморил себя голодом. А село с той поры обзавелось бесшабашными какими-то людьми. Орут, не понять — что, о конце мира, антихристе, о черте в ящике. Многие — пьянствовать начали.

Постучав по столу пухлым пальцем, он продолжал с тревогой и горечью:

— Бог дал человеку лошадь для работы, а тут по улице бежит вагон — кем движим? Неизвестно. Я ученых спрашивал: «Это что значит — электричество?» — «Сила, говорят, а какая — неведомо». Даже — ученые. А каково мужику видеть это? Ведь ему не скажешь, что бог вагоны по улицам гоняет. А что не от бога, то — от кого? То-то. Да тут еще телефоны и всякое другое. У меня артельщик — умный парень,

грамотей — до сего дня, к телефону подходя, — крестится, а поговорив, руки мылом моет — вон как. Всё — фокусы. Польза в них есть, я — не против этого, я только спрашиваю: как понять это мужику, лесному-то человеку? Зверя он тонко понимает, рыбу, птицу, пчелу, но — если деревянный ящик молитвы поет, значит — зачем церковь, поп и все прочее? Как будто не надобно церковь. И — где в этом бог? Это он, что ли, ангела в ящик посадить изволил? Вопрос.

Откусив кусочек фруктового сахара, Бугров жадно выпил чай, вытер усы и продолжал, убедительно, тихо:

— Наступило время опасное, больших тревог души время. Вот вы говорите — революция, воскресение всех сил земли. Какие силы-то, какие, откуда они? Народ этого не понимает. Вы забегаете вперед да вперед и все дальше, а мужик отстает все больше. Вот о чем подумай...

И вдруг предложил, почти весело:

— Поедемте со мною в Городец, разгуляемся?

Как земля, всякий человек облечен своей атмосферой, невидимым облаком истечений его энергий, незримым дымом горения его души.

Бугрова окружала атмосфера озабоченной скуки, но порою эта скука превращалась в медленный вихрь темных тревог. Он плутал, кружился по пустым своим комнатам, как пленный зверь, давно укрощенный усталостью, останавливался перед картиной Розы Бонёр и, касаясь тупым, желтым пальцем полотна говорил задумчиво:

— На земле-то, в садах у нас, будто и не бывает таких затейных цветов. Хороши. Не видал таких...

Казалось, что он живет, как человек, глазам которого надоело смотреть на мир и они слепнут, но иногда все вокруг его освещалось новым светом, и в такие минуты старик был неизбежно интересен.

— Вот говорите — Маякин — лицо выдуманное. А Яшка Башкиров доказывает, что Маякин — это он, Башкиров. Врет. Он — хитер, да не так умен. Это я к тому, что цветы можно выдумать, а человека — нельзя. Сам себя он может выдумать, и это будет — горе его. Вы же сочинить не можете человека. Значит — похожих на Маякина вы видели. И ежели имеются, живут люди, похожие на него, — хорошо!

Он нередко возвращался к этой теме.

— В театрах показывают купцов чудаками, с насмешкой. Глупость. Вы взяли Маякина серьезно, как человека, достойного внимания. За это вам — честь.

И время от времени все спрашивал:

— Так, значит, вы в ночлежном доме живали? До чего это не похоже на правду.

Однажды он спросил:

— А что вы — различие между людьми видите? Примерно — различие между мною и матросом с баржи?

— Не велико, Николай Александрович.

— Вот и мне тоже кажется: не велико для вас различие между людьми. Так ли это? По-моему, очень тонко надо различать, — кто каков. Надобно подсказывать человеку, что в нем его, что — чужое. А вы — как в присутствии по воинской повинности: годен — негоден. Для чего же годен-то? Для драки?

Пристукивая ребром ладони по столу, он сказал:

— В человеке — одна годность: к работе. Любит, умеет работать — годен. Не умеет? Прочь его. В этом вся премудрость, с этим безо всяких конституций можно прожить.

— Дай-ко мне ты власть, — говорил он, прищутив здоровый глаз до тонкости ножевого лезвия, — я бы весь народ разбередил, ахнули бы и немцы и англичане. Я бы кресты да ордена за работу давал — столярам, машинистам, трудовым, черным людям. Успел в своем деле — вот тебе честь и слава. Соревнуй дальше. А что, по ходу дела, на голову наступил кому-нибудь — это ничего. Не в пустыне живем, не толкнув — не пройдешь. Когда всю землю поднимем да в работу толкнем — тогда жить просторнее будет. Народ у нас хороший, с таким народом горы можно опрокинуть, Кавказы распахать. Только одно помнить надо: ведь вы сына вашего в позывной час плоти его сами к распутной бабе не поведете — нет? Так и народ нельзя сразу в суету нашу башкой окунать — захлебнется он, задохнется в едком дыме нашем. Осторожно надо. Для мужика разум вроде распутной бабы — фокусы знает, а душу не ласкает. У мужика в соседях леший живет, под печью — домовый, а мы его, мужика, телефоном по башке. Примите в расчет вот что: трудно понять, кое место — правда, кое — выдумка? Когда выдумка-то издаля идет, из древности, — так она ведь тоже силу правды имеет. Так что — пожалуй, леший, домовый — боле правда, чем телефон, фокус сего дня...

Встал, взглянул в окно и проворчал:

— Экое дурачье!

Постучал кулаком по переплету рамы, а потом, укоризненно качая головою, погрозил кому-то пальцем... И, засунув руки в карманы, стоя у окна, предложил:

— Желаете — расскажу случай, может пригодится вам?

Жила в Муроме девица необыкновенно красива, до удара в душу. Сирота жила у дяди, а дядя — приказчик на пристани, ворюшка, скряга, многодетен и вдов; племянница у него за няньку, за кухарку и за дворника. Было ей уже двадцать лет, и, по силе ее красоты, сватались к ней даже весьма денежные люди, ну — дядя не выдавал ее, невыгодно ему было даровой работницы лишиться. Влюбился в нее чинуша один — спился, пропал. Говорили — поп старался захоронить ее, ему от этого тоже ничего не прибыло, кроме вреда и горя. Была она боголюбива, вся радость у нее — в церковь ходить да книги церковные читать. Любила цветы, — прекрасные цветы развела и в горницах и в палисаднике. Скромная, тихая, как монашка, и умильной приятности глаза.

Помолчав, почесав скулу, он странно мигнул здоровым глазом и повторил:

— О таких глазах в сказках говорится хорошо. И вот увидел ее хозяин дяди, купец, старик изрядно распутной жизни, увидел и — тотчас обезумел, ошарашило его. Целую зиму охаживал — не поддается, даже как бы не понимает ничего. И никакими деньгами невозможно взять ее. Тогда он подстроил так, чтобы дядя послал ее в Москву, по делам, а в Москве уговорил девицу ехать с ним в «Яр». И как приехала она в идольское капище это, присмотрелась маленько, — сразу как бы нагими увидела всех и себя самое. Говорит старику: «Поняла я, чего вы хотите, и на все согласна, дайте только хоть месяц вот так великолепно пожить». Тот, конечно, обрадовался и предлагает ей все что угодно, а сейчас — едем в баню. «Сейчас, говорит она, не могу я, завтра, говорит, суббота, схожу к вечерней, ко всенощной, а после — пожалуйте». И вот — прошло с той поры боле пяти лет, и теперь она самая дорогая распутница по Москве...

Он медленно откатнулся от стены, сел на стул, задумчиво и тихо говоря:

— Конечно, случай не из редких, если забыть, какова девушка была. Однако — поглядите, как силен соблазн фокусов. Совекупите случай этот с тем, что раньше говорено, и подумайте: живет душа в плену темном великой скуки, и вдруг ей покажут такое... Вот он, рай! А это не рай, — это пыль. И не на жизнь, а на час. Воротиться же от фокусов к домовому, к лешему — охоты нет и немислимо. И похоронена душа в земной пыли.

Он много знал таких похорон, все они были однообразны, и рассказывал он их всегда скучно, всегда так, как будто думал о другом, более значительном и глубоком. Смотрел в окна.

Стекла их снаружи покрыты пылью, закопчены дымом пароходов, сквозь их муть видна темная вода Волги, заставленной пристанями, баржами. Всюду на берегу — горы товаров, ящики, бочки, мешки, машины. Шипят и свистят пароходы, в воздухе — облака дыма, на камнях набережной — тучи пыли, сора, лязг и грохот железа, крики людей, дребезжат телеги, непрерывно идет жизнь, гудит большая работа.

А один из людей, которые, создав эту суетливую, муравьиную жизнь, — из года в год расширяют и углубляют ее напряжение, — смотрит на свою работу сквозь грязное стекло равнодушным взглядом чужого человека и задумчиво повторяет:

— Не сразу... не вдруг...

О работе он говорил много, интересно, и всегда в его речах о ней звучало что-то церковное, сектантское. Мне казалось, что к труду он относится почти религиозно, с твердой верой в его внутреннюю силу, которая со временем свяжет всех людей в одно необоримое целое, в единую, разумную энергию, — цель ее: претворить нашу грязную землю в райский сад.

Это совпадало с моим отношением к труду; для меня труд — область, где воображение мое беспредельно, я верю, что все тайны и трагедии нашей жизни разрешатся только трудом и только он осуществит соблазнительную мечту о равенстве людей, о справедливой жизни.

Но скоро я убедился, что Бугров не «фанатик дела», он говорит о труде догматически, как человек, которому необходимо с достоинством заполнить глубокую пустоту своей жизни, насытить ненасытную жадность душевной скуки. Он был слишком крупен и здоров для пьянства, игры в карты, был уже стар для разврата и всякого хлама, которым люди его стада заполняют зияние своей душевной пустоты.

Однажды в вагоне, по дороге в Москву, ко мне подошел кондуктор и сказал, что Бугров просит меня к нему в купе. Мне нужно было видеть его, я пошел.

Он сидел, расстегнув куртку, закинув голову, и смотрел в потолок на вентилятор.

— Здорово. Садитесь. Вы что-то писали мне о босяках, не помню я...

Дмитрий Сироткин, пароходовладелец, старообрядец, кажется «австрийского согласия», впоследствии — епископ, нижегородский городской голова, издатель журнала «Церковь», умница и честолюбец, бойкий, широкий человек, предложил мне устроить для безработных дневное пристанище — это было не-

обходимо того ради, чтоб защитить их от эксплуатации трантирщигов. Зимой из ночлежного дома выгоняли людей в 6 часов утра, когда на улицах еще темно и делать нечего, «босьяки» и безработные шли в «шалманы» — грязные трактиры, соблазнялись там чаем, водкой, напивали и поедали за зиму рублей на шестьдесят. Весною, когда начиналась работа на Оне и Волге, трантирщики распорядились закупленной рабочей силою, как им было угодно, выжимая зимние долги. Мы сняли помещение, где люди могли сидеть в тепле, давали им порцию чая за две копейки, фунт хлеба, организовали маленькую библиотеку, поставили пианино и устраивали в праздничные дни концерты, литературные чтения. Наше пристанище помещалось в доме с колоннами, его прозвали «Столбы», оно с утра до вечера было набито людьми, а «босьяки» чувствовали себя подлинными хозяевами его, сами строго следили за чистотой, порядком.

Разумеется, все это стоило немалых денег, и я должен был просить их у Бугрова.

— Пустяковина все это, — сказал он, вздохнув. — На что годен этот народ? Негодники все, негодяи. Вон они даже часов не могут завести у себя.

Я удивился.

— Каких часов?

— В ночлежном у них часов нет, времени не знают. Испортились часы там...

— Так вы велите починить их или купите новые.

Бугров рассердился, заворчал:

— Все я да я. А сами они — не могут?

Я сказал ему, что будет очень странно, если люди, у которых нет рубах и часто не хватает копейки на хлеб, будут, издыхая с голода, конить деньги на покупку стальных мозеровских часов.

Это очень рассмешило его, открыв рот и зажмурив глаза, он минуты две колыхался, всхлипывая, хлопая руками по коленям, а успокоясь, весело заговорил:

— Ох, глупость я сморозил! Ну, знаете, это со мной бывает, — вдруг вижу я себя бедным и становлюсь расчетлив, скуп. Другие из нашего брата фальшиво прибегают, зная, что бедному — легче, душе свободнее, с бедного меньше спрашивают и люди и бог. У меня — не то: я начисто забываю, что богат, пароходы имею, мельницы, деньги, забываю, что впрягла меня судьба в большой воз. В душе я не скуп, деньгами не обольщен, просят — даю.

Крепко вытер платком мокрый глаз и продолжал задумчиво:

— А бывает, хочется мне в бедном трактире посидеть и чаю со ржаным хлебом попить, так чтоб и крошки все были съедены. Это бы можно понять, если б я когда-то бедность испытал, но я родился богат. Богат, а — есть охота милостыню попросить, самому понять, как туго бедность живет. Этого фокуса я не понимаю, и вам, наверное, не понять. Эдакое, слышал я, только у беременных баб бывает...

Отвалясь на спинку дивана и закрыв глаза, он тихо бормотал:

— Капризен человек... чуден! Вот Гордей Чернов бросил все свое богатство и дело на ходу, — в монастырь сбежал, да еще на Афон, в самую строгость. Кириллов, Степа, благочестиво и мудро жил, скромн и учен, до шести десятков дожил, — закутил, поставил себя на дыбы, как молодой гуляка, на позор и смех людям отдал. «Все, говорит, неправда, все — фальшь и зло, богатые — звери, бедные — дураки, царь — злодей, честная жизнь — в отказе от себя». Да. Вот — Зарубин тоже. Савва Морозов, большого ума человек, Николай Мешков — пермяк, с вами, революционерами, якшаются. Да — мало ли. Как будто люди всю жизнь плутали в темноте, чужими дорогами и вдруг — видят: вот она где, прямая наша тропа. А — куда тропа эта ведет, однако?

Он замолчал, тоскливо вздохнув. За окном, в лунном сумраке, стремительно бежали деревья. Железный грохот поезда, раздирая тишину полей, гнал куда-то темные избы деревень. Испуганно катилась и пряталась в деревьях луна, вдруг выкатывалась в поле и медленно плыла над ним, усталая.

Перекрестясь, Бугров сказал угрюмо:

— У нас, в России, особая совесть, она вроде как бешеная. Испугалась, обезумела, сбежала в леса, овраги, в трущобы, там и спряталась. Идет человек своим путем, а она выскокит зверем — цап его за душу. И — каюк! Вся жизнь — прахом, хинью... Худое, хорошее — все в один костер...

Он снова перекрестился, зажмурясь. Я стал прощаться с ним.

— Спасибо, что зашли. Вот что — приходите-ка завтра, в час, к Тестову в трактир, пообедаем, Савву позовите — ладно?

Когда Савва Морозов и я пришли к Тестову, Бугров уже сидел в отдельном кабинете у накрытого стола, два официанта в белом, как покойники в саванах, почтительно и молча суетились, расставляя тарелки с закуской. Бугров говорил одному из них, называя его по имени и отчеству:

— Дашь мне вино это рейнское — как его?
— Знаю-с.
— Здорово, Русь, — приветствовал он нас, а Морозов, пожимая ему руку, говорил:
— Пухнешь ты, Бугров, все больше, скоро тебе умирать...
— Не задержу...
— Отказал бы мне миллионы-то свои...
— Надо подумать...
— Я бы им нашел место...

Согласно кивнув головою, Бугров сказал:

— Ты — найдешь, честолюбец. Ну-тко, садитесь.

Савва был настроен нервно и раздраженно; наклонив над тарелкой умное татарское лицо, он торопливо, дробной речью, резкими словами стал передавать рассказ какого-то астраханского промышленника о том, как на Каспии истребляют сельдь, закапывая в песок берегов миллионные избытки улова.

— А из этого можно бы приготовить прекрасный удобрительный тук, рыбу чешую превратить в клей.

— Все ты знаешь, — вздохнув, сказал Бугров.

— А вот такие, как ты, сидят идолами на своих миллионах и ничего не хотят знать о нуждах земли, которая позволяет им сосать ее. У нас химическая промышленность не развита, работников для этого дела нет, нам необходимо устроить исследовательский институт химии, специальные факультеты химии нужны... А вы, дикари...

— Ну, начал ругаться, — примирительно и ласково сказал Бугров. — Ты — ешь, добрее будешь...

— Есть — выучились, а когда работать начнем?

Бугров попробовал вино, громко чмокнул и заговорил, глядя в бокал:

— Очень много ты, Савва, требуешь от людей, они от тебя меньше хотят. Не мешал бы ты им жить.

— Если б им не мешать, они бы и посейчас на четырех лапах ходили...

— Никогда мне этого не понять! — с досадой воскликнул Бугров. — Помыслили праздные люди: откуда человек? Решили, от обезьяны. И — радуются.

С удивлением и горечью он спросил:

— Неужто ты веришь в эту глупость? Да — ведь если б это и правда была, так ее надо скрыть от людей.

Савва взглянул на него прищурясь и — не ответил.

— По-моему, человека не тем надо дразнить, что он был скот, а тем, что был он лучше того, каков есть...

Морозов усмехнулся, грубо отвечая:

— Что ж, — помолодеет старуха, когда ты напомнишь ей, что она девкой была?

Ели нехотя, пили мало, тяжелое раздражение Морозова действовало подавляюще. Когда принесли кофе, Бугров участливо спросил:

— Ты что, Савва? Али плохо живешь? На фабрике неладно?

Круто повернувшись к нему, Морозов заговорил тоном старшего:

— У нас — везде неладно: на фабриках, на мельницах, а особенно — в мозгах!

И начал говорить о пагубном для страны консерватизме аграриев, о хищничестве банков, о том, что промышленники некультурны и не понимают своего значения, о законности требований рабочих и неизбежности революции.

— Разгорится она преждевременно, сил для нее — нет, и будет — чепуха!

— Не знаю, что будет, — задумчиво сказал Бугров. — Жандарм нижегородский, генерал, дурачок, тоже недавно пугал меня. Дескать — в Сормове, на Выксе и у меня на Сейме — шевелятся рабочие. Что ж, Савва Тимофеев, ты сам говоришь — что законно. Скажем правду — рабочий у нас плохо живет, а — рабочий хороший.

— Ну, не так уж, — устало проворчал Морозов.

— Нет — так. Народ у нас — хороший. С огнем в душе. Его дешево не купишь, пустяками не соблазнишь... У него, брат, есть эдакая девичья мечта о хорошей жизни, о правде. Ты — не усмехайся, — девичья. Я вот иной раз у себя на даче, на Сейме, беседую с ними, по вечерам, в праздники. Спросишь: «Что, ребята, трудно жить?» — «Трудновато». — «Ну, а как, по-вашему, легче-то можно?» И я тебе скажу — очень умно понимают они жизнь. Может, не своим умом, а — научены, книжки у них появились, листочки из Сормова... Вот — Горький хорошо знает эти дела. Деньги берет у меня на листочки. Я — даю...

— Не хвастайся, — сказал Морозов.

— Нимало! — спокойно возразил старик. — Против меня это, но я — даю! Конечно — гроши. Но, ежели и ничтожные цифры в этом деле заметны, — что было бы, если б мы с тобой все капиталы пустили в дело это?

— Вот пусти-ка...

— А — что? Соблазн в этом есть. Это будет озорство, а в озорстве — всегда соблазн есть.

И, постукивая кулаком по колену Морозова, наклонясь на стуле, точно для прыжка, он продолжал:

— Конечно — озорство, когда человек отказывается от себя самого, это я понимаю. Но — ведь отказываются, полагая, что тут — святость, праведность. Я таких знаю. И, может, даже глупости некоторых — завидую. Вот Горький рассказывал, что даже князь один, Кропоткин, что ли... Эх, разве не соблазн — сбросить с себя хомут...

— Чепуха все это, Николай Александров, — сказал Савва.

Я внимательно наблюдал за Бугровым. Он мог выпить много и не бывал пьян, а тут он выпил лишь один бокал. Но лицо его болезненно разгорелось, болотные глазки, ярко позеленев, возбужденно блестели. И, как бы задыхаясь, он говорил торопливо:

— Издревле человек чувствовал, что жизнь — не прочна, издавна хорошие люди бежали ее. Ты сам знаешь — богатство не велика сладость, а больше — обуза и плен. Все мы — рабы дела нашего. Я трачу душу, чтоб нажить три тысячи в день, а рабочий — тридцати копейкам рад. Мелет нас машина, в пыль, мелет до смерти. Все — работают. На кого же? Для чего? Вот что непонятно — на кого работаем? Я работу люблю. А иной раз вздумается, как спичку в темноте ночи зажгешь, — какой все-таки смысл в работе? Ну — я богат. Покорно благодарю. А — еще что? И на душе — отвратно...

Вздохнув, он повторил иным словом:

— Отвратительно.

Морозов встал, подошел к окну, говоря с усмешкой:

— Слышал я эти речи и от тебя и от других...

— Святость, может, просто — слабость, да она душе сладка...

Тяжелый разговор оборвался, оба молчали. Он вызвал у меня странное ощущение: как будто в рот и в мозг мне патоки налили. У меня не было причин сомневаться в искренности Бугрова, но я не ожидал услышать из его уст сказанное им. Да, он и до этого дня казался мне человеком, жизнь которого лишена внутреннего смысла, идет скучно, темным путем, покорно подчиняясь внешним толчкам привычных забот и отношений. Но все-таки я думал, что человеческий труд высоко оценен и осмыслен удельным князем нижегородским.

Было так странно знать, что человек этот живет трудом многих тысяч людей, и в то же время слышать, что труд этот — не нужен ему, бессмыслен в его глазах.

Невольно подумалось:

«Так жить и чувствовать могут, вероятно, только русские люди...»

Однажды я встретил его в маленькой деревушке среди заволжских лесов. Я шел на Китеж-озеро, остановился в деревне ночевать и узнал, что «ждут Бугрова», — он едет куда-то в скиты.

Я сидел на завалине избы, у околицы; был вечер, уже пригнали стадо, со двора доносился приторный запах парного молока. В раскаленном небе запада медленно плавилась темно-синяя туча, напоминая формой своей вырванное с корнем дерево. В опаловом небе над деревней плавали два коршуна, из леса притекал густой запах хвои и грибов, предо мною вокруг березы гудели жуки. Усталые люди медленно возились на улице и во дворах. Околдованная лесною тишиной, замирала полусонная, сказочная жизнь неведомых людей.

Когда стемнело — в улицу деревни въехала коляска, запряженная парой крупных, вороных лошадей, в коляске развалился Бугров, окруженный какими-то свертками, ящиками...

— Вы как здесь? — спросил он меня.

И тотчас предложил:

— Айда со мною. Хороших девиц увидите. Тут, недалеко, скиток есть, приют для сирот, рукодельям девицы обучаются...

Кучер напоил лошадей у колодца, и мы поехали, сопровождаемые молчаливыми поклонами мужиков. Кланялись в пояс, как в церкви пред образом глубоко чтимого святого. Старики и старухи бормотали:

— Милостивец... Кормилец... Дай тебе господи...

И мычание коров тоже казалось насыщено благодарным умилением.

Проехав деревню бойкой рысью, лошади осторожно своротили в лес и пошли темной, избитой дорогой, смешивая запах своего пота с душистым запахом смолы и цветов.

— Хороши здесь леса, сухие, комара нет, — говорил Бугров благодушно и обмахивал лицо платком. — Любопытный вы человек, вишь, куда забрались. Много чего будет у вас вспомнить на старости лет, — вы и теперь со старика знаете. А вот наш брат одно знает: где, что да почему продается...

Он был настроен весело, шутил с кучером, рассказывал мне о жизни лесных деревень.

Выехали на маленькую поляну, две черных стены леса сошлись под углом, в углу, на бархатном фоне мягкой тьмы притаилась изба в пять окон и рядом с нею двор, крытый новым тесом. Окна избы освещал жирный, желтый огонь, как будто внутри ее жарко горел костер. У ворот стоял большой, лохматый мужик с длинной жердью, похожей на копье, и все это напоминало какую-то сказку. Захлебываясь, лаяли собаки, женский голос испуганно кричал:

— Иван, уйми собак-то, а, господи...

— Засуетилась, — ворчал Бугров, сдвинув брови. — Господ помнит. Много еще страха пред господами живет в народе...

Судорожно изгибаясь, часто кивая головою, у ворот стояла маленькая старушка, темная, как земля, она, взвизгивая, хватала руку Бугрова:

— Батюшка... принесли ангелы...

Ангелы, отфыркиваясь, били копытами по мягкой земле и бряцали сбруей.

На крыльцо выплыла дородная женщина, одетая в сарафан, и низко поклонилась, прижав руки ко грудям, за нею, посмеиваясь и шурша ситцами, толпились девочки разных возрастов.

— Величайте, дуры, — густо крикнула женщина.

Девочки, стиснутые в плотный ком, нестройно запели:

Светел месяц в небеси, — светел!..

— Не надо, — сказал Бугров, махнув рукой, — который раз говорю тебе, Ефимья, — не надо этого! Здорово, девицы!

Ему ответил хор веселых возгласов, и волною скатился со ступеней крыльца к животу Бугрова десяток подростков.

Женщина что-то бормотала; он, глядя головки детей, сказал:

— Ну, ладно, ладно. Тише, мыши! Гостинцев привез... ну, ну. Задавите вы меня. Вот — знакомый мой... вот он опишет вас, озорство ваше...

Легонько толкая детей вперед, он поднимался на крыльцо, а женщина вскрикивала:

— Тише, вам говорят!

Вдруг, как-то неестественно взмахнув руками, зашипела старуха, и тотчас дети онемели, пошли в избу стройно, бесшумно.

Большая горница, куда мы вошли, освещалась двумя лампами на стенах, третья, под красным бумажным абажуром, стояла на длинном столе среди чайной посуды, тарелок с

медом, земляничкой, лепешками. Нас встретила в дверях высокая, красивая девица, держа в руках медный таз с водою, другая, похожая на нее, как сестра, вытянув руки, повесила на них длинное расшитое полотенце.

Балагурия весело, Бугров вымыл руки, вытер мокрым полотенцем лицо, положил в таз две золотых монеты, подошел к стене, где стояло штучи четыре пальцев, причесал пред маленьким зеркалом волосы на голове, бороду и, глядя в угол, на огонь лампы пред образами в большом ките с золотыми «виноградками», закинув голову, трижды, истово перекрестился.

— Еще здравствуйте!

Девочки ответили ему бойко и громко, — тотчас же в дверях встала, содрогаясь, старуха, потрясла зменной головою, исчезла, подобно тени.

— Ну, как, девушки, Наталья-то, озорничает? — спрашивал Бугров, садясь за стол в передний, почетный угол.

Дети жалась к нему смело и непринужденно. Все они были румяны, здоровы, и почти все милостивы. А та, что подавала воду, резко выделялась стройностью фигуры и строгой красотой загорелого лица. Особенно хороши были ее темные глаза, окрыленные густыми бровями; они как будто взлетали вверх, смелым взмахом.

— Вот, — указывая на нее пальцем, сказал мне Бугров, — эта первая греховодница, нестерпимо озорует. Я ее в скиты отправлю, в глушь лесную на Иргиз, там — медведи стадами ходят...

Но, вздохнув, почесывая скулу, он задумчиво продолжал:

— Ее бы в Москву свезти, учить ее надо, необычен голос у ней. А родитель, лоцман, вдовец, не соглашается: «Не дам, говорит, чадо свое никонианам на забаву...»

Огромный, волосатый мужик, тяжело топая, надув щеки, внес ярко начищенный ведерный самовар, грохнул его на стол так, что вся посуда, вздрогнув, задрезжалась, изумленно вытаращил глаза, сунул руки в шапку рыжих волос и, как бы насильно, низко склонил голову.

Пришла Евфимья, груди у нее выдавались, как два арбуза, она наложила на них коробок с конфетами, придерживая их двойным подбородком; за нею три девочки несли тарелки с пряниками и орехами.

Бугров, разглядывая девиц, стал светлее, моложе, он негромко говорил мне:

— Вон та, курносенькая, голубые глаза, особо интересна. С лица будто — веселая, а на удивление богомольна и ред-

кая мастерица. Воздух она вышила шелками, ангела с пальмом — удивительно. До умиления боголепно... С иконы взяла, но — краски свои...

Так он рассказывал почти о всех воспитанницах своих, находя в каждой то или иное ценное качество. Девочки держались свободно и оживленно, было видно, что приезд Бугрова — праздник для них, а дородная Евфимия не страшна им. Она, сидя на конце стола, сосредоточенно и непрерывно жевала пряники, конфеты, потом, тяжело вздохнув, разливала чай и снова, молча, не спеша, ела землянику с медом, растерев ее на тарелке в кашу. Работала она, не обращая внимания на девиц и гостей, видимо никого и ничего не слыша, поглощенная своим делом. Девочки шумели все резвее, но каждый раз, когда в дверях мелькала темная, искаженная судорогами старуха, — в обширной, гулкой комнате становилось тише, веяло холодом.

После чая красавица Наталья, взяв гусли, запела:

Был у Христа младенца сад.

Пела она неверно, на церковный, унылый мотив, очевидно не зная музыки, написанной на эти слова. Она придавала им характер мрачный, даже мстительный, пела, глядя в угол, ее лежащие глаза сверкали сурово. Но голос ее, низкий и обширный, был поистине красив, странно богат оттенками. Забавно было видеть, как высокие ноты заставляют ее приподниматься на стуле, а низкие — опускать голову и прятать ноги под стул. Гусли были настроены плохо, но певица, должно быть, не слышала этого, смуглые руки ее щипали струны резко и сильно.

Бугров слушал, сидя неподвижно, приоткрыв рот. Парализованное веко отвисло еще более, и непрерывной, влажной полоской из глаза текла слеза. Смотрел он в черный квадрат окна, оно упиралось во тьму ночи, его, как и два других, украшали расшитые полотенца, окна казались ниотами, в которых вставлены закоптевшие иконы. Если внимательно и долго смотреть в эту черноту, из нее возникают огромные лица без глаз.

В комнате стало душно, бревенчатые, чисто выскобленные стены дышали запахом мыла и пакли, а над столом поднимался тонкий аромат меда, земляники, жирный запах сдобного теста. Девушки примолкли, опьянев от обильной еды, пенie подруги ублаживало их, одна уже заснула, сладко всхрапывая, положив голову на плечо подруги. Монументом

сидела Евфимия, щеки ее блестели, точно смазанные маслом, и так же блестела желтая кожа голых до локтей, круглых рук.

А девушка, упорно глядя в угол, дергала струны и все пела сердитым голосом грустные и нежные слова:

Кольцо души-деви-и-и-цы
Я в мор-ре ур-ронил...

— Ну, — спасибо! — вдруг и как-то тревожно, слишком громко сказал Бугров.

В двери закачалась старуха, прошипев:

— Шпаты!

— Идите, девоньки, спокойной ночи! Ефимья — работы покажи.

Провожая детей, он целовал их головы, а когда к нему подошла Наталья, сказал, положив ладонь на голову ей:

— Хорошо поешь... Все лучше ты поешь. Характер у тебя — плохой, а душа... Ну, иди с богом...

Она улыбулась, — дрогнули ее брови, — и плавно, легко пошла к двери, а старик, глядя вслед ей, почесал скулу и как-то жалобно, по-ребячьи обиженно, сказал:

— Вишь, какая... да-а...

Евфимия внесла охапку аккуратно сложенных тряпок и разложила их на пальцы, на стол под лампой.

— Поглядите-ко, — предложил Бугров, не отрывая глаз от двери.

Я стал рассматривать вышивки для подушек, туфель, рубах, воздуха, полотенца. Все это было сделано очень ярко, тонко, повторяя заставки и концовки старопечатных книг, а иногда рисунки — премии к мылу Брокера. Но одна вышивка удивила меня силой и странностью рисунка: на сером куске шелка был искусно вышит цветок фиалки и большой черный паук.

— Это одна покойница вышила, — нелепо и небрежно сказала Евфимия.

— Чего это? — спросил Бугров подходя.

— Варина работа...

— А... Да, умерла девунька. Горбатенькая была. Чахотка ее съела. Чертей видела, одного даже вышила шерстями, сожгли вышивку. Сирота. Отец без вести пропал, утонул, что ли. Ну, Ефимья, спать укладывай нас...

Спать мы легли на поляне, под окнами избы. Бугров — в телеге, пышно набитой сеном, я — положив на траву толстый войлок. Раздеваясь, старик ворчал:

— Глупа Ефимья, а другой, поумнее, — нет. Тут бы

настоящую учительшу надо, образованную, да — отцы, матери не согласны. Никонианка будет, еретица. Благочестие наше не в ладах с разумом живет, прости господи. Да еще — старушка эта... не хочет умереть. Все сроки пережила. Вредная старушка. Для страха детям приставлена. А может, ради худой славы моей... Эх...

Он встал на колени и, глядя на звезды, шевеля губами, начал истово креститься, широко размахивая рукою, плотно прижимая пальцы ко лбу, груди и плечам. Тяжело вздыхал. Потом грузно свернулся на бок, укутался одеялом и крикнул:

— Хорошо. Цыганом бы пожить. А вы — не молитесь богу? Этого я не могу понять. А чего не понимаю, того и нет для меня, так что, думается мне, есть и у вас свой бог... должен быть. Иначе — опереться не на что. Ну, спим...

В непоколебимой тишине леса гукнул сыч, угрюмо и напрасно. Лес стоял плотной, черной стеною, и казалось, что это из него исходит тьма. Сквозь сыроватую мглу, в темном, маленьком небе над нами тускло светился золотой посев звезд.

— Да, — заговорил Бугров, — вот девицы эти вырастут, будут капусту квасить, огурцы, грибы солить, — к чему им рукоделье? Есть в этом какая-то обидная глупость. Много глупости в жизни нашей, а?

— Много.

— То-то и есть. А слышали вы — про меня рассказывают, будто я к разврату склонил многих девиц?

— Слышал.

— Верите?

— Вероятно, это так...

— Не потаю греха, бывали такие случаи. В этом деле человек бестолковее скота. И — жаднее. Вы как думаете?

Я сказал, что, на мой взгляд, у нас смотрят на отношения полов уродливо. Половая жизнь рассматривается церковью как блуд, грех. Оскорбительна для женщины разрешительная молитва на сороковой день после родов, оскорбительна, но женщина не понимает этого. И привел пример: однажды я слышал, как моя знакомая, умница и филантропка, упрекала мужа:

— Степан Тимофеевич — побойся бога. Только что ты мне груди щупал, а теперь, не помыв рук, крестись...

— О, то ли еще бывает! — угрюмо сказал Бугров. — Жен бьют за то, что в среду и пятницу, в постные дни, допускают мужей до себя. Грех. А у меня приятель каждый четверг и субботу плетью жену хлестал за это — во грех ввела. А он — здоровенный мужик и спит с женою в одной

кровати, — как она его не допустит. Да, да, глупа наша жизнь...

Он замолчал, и стали слышны непонятные шорохи ночной жизни, — хрустели, ломаясь, сухие ветки, шуршала хвоя, и казалось, кто-то сдержанно вздыхает. Как будто со всех сторон подкрадывалось незримое — живое.

— Спите?

— Нет.

— Глупа жизнь. Страшна путанностью своей, темен смысл ее... А все-таки — хороша?

— Хороша.

— Очень. Только вот умирать надо.

Через минуту, две он добавил тихонько:

— Скоро... Умирать...

И — замолчал, должно быть уснул.

Утром я простился с ним, уходя на Китеж-озеро, и больше уже не встречал Н. А. Бугрова.

Он умер, кажется, в десятом году и торжественно, как и следовало, похоронен в своем городе...

В 96 году, в Нижнем, на заседании одной из секций Всероссийского торгово-промышленного съезда обсуждались вопросы таможенной политики. Встал, возражая кому-то, Дмитрий Иванович Менделеев и, тряхнув львиной головой, раздраженно заявил, что с его взглядами был солидарен сам Александр III. Слова знаменитого химика вызвали смущенное молчание. Но вот из рядов лысин и седин вынырнула круглая, гладко остриженная голова, выпрямился коренастый человек с лицом татарина и, поблескивая острыми глазами, звонко, отчетливо, с ядовитой вежливостью сказал, что выводы ученого, подкрепляемые именем царя, не только теряют свою убедительность, но и вообще компрометируют науку.

В то время это были слова дерзкие. Человек произнес их, сел, и от него во все стороны зала разлилась, одобрительно и протестующе, волна негромких, ворчливых возгласов.

Я спросил:

— Кто это?

— Савва Морозов.

...Через несколько дней в ярмарочном комитете всероссийское купечество разговаривало об отказе Витте в ходатайстве комитета о расширении срока кредитов государственного банка. Ходатайство было вызвано тем, что в этот год Нижегородская ярмарка была открыта вместе с выставкой, на два месяца раньше обычного. Представители промышленности говорили жалобно и вяло, смущенные отказом.

— Беру слово! — заявил Савва Морозов, привстав и опираясь руками о стол. Выпрямился и звонко заговорил, рисуя широкими мазками ловко подобранных слов значение русской промышленности для России и Европы. В памяти моей осталось несколько фраз, сильно подчеркнутых оратором.

— У нас много заботятся о хлебе, но мало о железе, а теперь государство надо строить на железных балках... Наше

соломенное царство — не живуче... Когда чиновники говорят о положении фабрично-заводского дела, о положении рабочих, — вы все знаете, что это — «положение во гроб»...

В конце речи он предложил возобновить ходатайство о кредитах и четко продиктовал текст новой телеграммы Витте, — слова ее показались мне резкими, задорными. Купечество оживленно, с улыбочками и хихикая, постановило: телеграмму отправить. На другой день Витте ответил, что ходатайство комитета удовлетворено.

Дважды мелькнув предо мною, татарское лицо Морозова вызвало у меня противоречивое впечатление: черты лица казались мягкими, намекали на добродушие, но в звонком голосе и остром взгляде пронизательных глаз чувствовалось пренебрежение к людям и привычка властно командовать ими.

Года через четыре я встретил Савву Морозова за кулисами Художественного театра, — театр спешно готовился открыть сезон в новом помещении, в Камергерском переулке.

Стоя на сцене с рулеткой в руках, в сюртуке, выпачканном известью, Морозов, пиная ногой какую-то раму, досадно говорил столярам:

— Разве это работа?

Меня познакомили с ним, и я обратился к нему с просьбой дать мне ситцу на тысячу детей, — я устраивал в Нижегородском манеже елку для ребятишек окраин города.

— Сделаем! — охотно отозвался Савва. — Четыре тысячи аршин — довольно? А — сластей надо? Можно и сластей дать. Обедали? Я — с утра ничего не ел. Хотите со мною? Через десять минут.

Глаза его блестели весело, ласково, крепкое тело перекачивалось по сцене легко, непрерывно звучал командующий голос, не теряясь в гулкой суете работы, в хаосе стука топоров, в криках рабочих. Быстрота четких движений этого человека говорила о его энергии, о здоровье.

По дороге в ресторан, быстро шагая, щурясь от огня фонарей, он восхищался Станиславским:

— Гениальнейший ребенок.

— Ребенок?

— Да, да! Присмотритесь к нему и увидите, что всего меньше он — актер, а именно ребенок. Он явился в мир, чтобы играть, и гениально играет людьми для радости людей. Существо необыкновенное.

В зале ресторана, небрежно кивая татарской головой в ответ на почтительные поклоны гостей и лакеев, он прошел

в темный уголок, заказал два обеда, бутылку красного вина и тотчас заговорил:

— Я — поклонник ваш. Привлекает меня ваша актуальность. Для нас, русских, особенно важно волевое начало и все, что возбуждает его.

Мне показалось, что он несколько спешит с комплиментами. В те годы считалось обязательным говорить мне лестные слова, это было привычкой многих. Некоторое время я думал, что «нашу маслом не испортишь», но однажды мальчик, которому я подарил игрушку, сказал мне:

— Хорошая! Я ее изломаю.

— Зачем же?

— Я люблю ломать, которое мне нравится, — ответил мудрый мальчик, и мне показалось, что он — читатель, которому я нравлюсь.

Поблескивая острыми глазами, Морозов негромко говорил:

— «Мышлю, значит — существую», это неверно! Или — этого мало. Мышление — процесс, замкнутый в себе самом, он может и не перейти вовне, в мир, оставаясь бесплодным и неведомым для людей. Мы не знаем, что такое мышление в таинственной сущности своей, не знаем — где его границы? Может быть, и тарелки мыслят, мыслит растение. Я говорю: работаю, значит — существую. Для меня вполне очевидно, что только работа обогащает, расширяет, организует мир и мое сознание...

Слушая эти «марксистские» мысли, я думал: торопится этот человек развернуть предо мною свою «культурность», или же он долго молчал о том, что волнует его, устал молчать и рад случаю поговорить? Говорил он легко, гладко, но за словами чувствовалась сила нервного напряжения. Ел мало и небрежно; часто, быстрым движением потирал стриженую голову, изредка улыбался, — улыбка гасила суховатый блеск глаз и делала лицо моложе.

Заметно было, что многие из публики наблюдают Морозова насмешливо и враждебно; сквозь шум голосов, стук ножей и вилок я расслышал хриплый вопрос:

— С кем это он?

А он, прихлебывая вино, разбавленное водою, увлеченно говорил, что учение Маркса привлекает его именно своей активностью.

— У нас для многих выгодно подчеркивать кажущийся детерминизм этой теории, но очень немногие понимают Маркса как великодушного воспитателя и организатора воли.

Было несколько странно слышать такие заявления из уст

журного промышленника, но я помнил, что в России «белые вороны», «изменники интересам своего класса» — явление столь же частое, как и в других странах. У нас потомок Рюриковичей — анархист; граф — «из принципа» — пашет землю и тоже проповедует пассивный анархизм; наиболее яркими атеистами становятся богословы, а литература «кающихся дворян» усердно обнажала нищету своей сословной идеологии. К тому же я знал, что богатый пермский пароходовладелец Н. Мешков активно помогает делу революции, и вспомнил умные слова из письма Н. Лескова:

«Если на Святой Руси человек начнет удивляться, так он остолбенеет в удивлении да так, вплоть до смерти, столбом и простоят».

Недели через две Морозов приехал в Нижний, зашел ко мне, и, как это полагается на Руси, мы просидели с ним, беседуя на разные темы, далеко за полночь. Меня поразила широта интересов этого человека, и я очень позавидовал обилию его знаний. Кто-то сказал мне, что он учился за границей, избрав специальностью своей химию, писал большую работу о красящих веществах, мечтал о профессуре. Я спросил его: так ли это?

— Да, — с грустью и досадой ответил он. — Если б это удалось мне, я устроил бы исследовательский институт химии. Химия — это область чудес, в ней скрыто счастье человечества, величайшие завоевания разума будут сделаны именно в этой области.

Он увлеченно познакомил меня с теорией диссоциации материи, от него я впервые услышал об опытах Ле-Бона, Резерфорда, о интра-молекулярной энергии, — все это тогда было новинкой не для меня одного.

Я был тронут его восторженной оценкой Пушкина, он знал на память множество его стихов и говорил о нем с гордостью.

— Пушкин — мировой гений, я не знаю поэта, равного ему по широте и разнообразию творчества. Он, точно волшебник, сразу сделал русскую литературу европейской, воздвиг ее, как сказочный дворец. Достоевский, Толстой — чисто русские гении и едва ли когда-нибудь будут поняты за пределами России. Они утверждают мнение Европы о своеобразии русской «души», — дорого стоит нам и еще дороже будет стоить это «своеобразие»! Знай Европа гений Пушкина, мы показали

бы ей не такими мечтателями и дикарями, как она привыкла видеть нас.

Мы сидели на диване в маленькой комнате; вспыхивала и гасла электрическая лампочка. В окно торкалась вьюга, в белых вихрях ее тревожно махали черные ветви деревьев сада, отбиваясь от полетов метели. Взвизгивал ветер, что-то скрипело и шаркало о стену, — коренастый человек увлеченно говорил о новых течениях русской поэзии, цитировал стихи Бальмонта, Брюсова и снова восхищался мудрой ясностью стихов Пушкина, декламируя целые главы из «Онегина».

И неожиданно спросил, прищурясь:

— Видели вы человека, похожего на Маякина?

Выслушав мой ответ, он стал гладить свой круглый череп, говоря:

— Да, политиканствующий купец нарождается у нас. Я думаю, что он будет так же плохо делать политику, как плохо работает. Промышленника, который ясно понимал бы непрочность своего положения в крестьянской стране, я — не видал. Наш промышленник — слепой человек, его ослепляет неисчислимо богатство страны сырьем и рабочими руками. Он надеется на тупость безграмотного крестьянства, на малочисленность и неорганизованность рабочих и уверен, что это останется для него надолго, на сотню лет. Не спеша и не очень умело он ворочает рычагами своих миллионов и ждет, что изгнившая власть Романовых свалится в руки ему, как перезревшая девка...

Другим тоном, веселее, с острым блеском в глазах, он добавил:

— Богатый русский — глупее, чем вообще богатый человек...

Потом, прихлебывая чай и нахмурясь, он пророчески продолжал:

— Наверное, будет так, что, когда у нас вспыхнет революция, она застанет всех неподготовленными к ней и примет характер анархии. А буржуазия не найдет в себе сил для сопротивления, и ее сметут, как мусор.

— Вы так думаете?

— Да, так. Не вижу основания думать иначе, я знаю свою среду.

— Вы считаете революцию неизбежной?

— Конечно! Только этим путем и достижима европеизация России, пробуждение ее сил. Необходимо всей стране перешагнуть из будничных драм к трагедии. Это нас сделает другими людьми.

Спрыгнув с дивана, расхаживая из угла в угол тесной комнаты, сопровождая речь однообразным взмахом руки, он угрюмо, с болью, которую не мог или не хотел скрыть, говорил:

— Вы, наверное, сочтете это сентиментальным или неискренним — ваше дело! — но я люблю народ. Допустите, что я люблю его, как любят деньги...

Усмехаясь, отрицательно покачав головой, он вставил:

— Лично я — не люблю денег! Народ люблю, не так, как об этом пишете вы, литераторы, а простой, физиологической любовью, как иногда любят людей своей семьи: сестер, братьев. Талантлив наш народ, эта удивительная талантливость всегда выручала, выручает и выручит нас. Вижу, что он — ленив, вымирает от пьянства, сифилиса, а главным образом оттого, что ему нечего делать на своей богатой земле, — его не учили и не учат работать. А талантлив он — изумительно! Я знаю кое-что. Очень мало нужно русскому для того, чтоб он поумнел.

Он интересно рассказал несколько фактов анекдотически быстрого развития сознания среди молодых рабочих своей фабрики, — а я вспомнил, что у него есть несколько стипендиатов рабочих, двое учились за границей.

Верным признаком его искренности было то, что он рассказывал, не пытаясь убеждать. Русская искренность — это беседа с самим собою в присутствии другого; иногда — беспощадно откровенная беседа о себе и о своем, чаще — хитроумный диспут прокурора с адвокатом, объединенных в одном лице, причем защитник — всегда оказывается умнее обвинителя. Не думаю, чтоб так обнаженно могли говорить люди иных стран. И не очень восхищаюсь этим подобием объективизма — в таком объективизме чувствуется отсутствие уважения человека к самому себе.

Но в словах Саввы Морозова не прикрыто ничем взвизгивала та жгучая боль предчувствия неизбежной катастрофы, которую резко ощущали почти все честные люди накануне кровавых событий японской войны и 905 года. Эта боль и тревога были знакомы мне; естественно, что они возбуждали у меня симпатию к Морозову.

Но все-таки я ждал, когда он спросит:

— Вы удивляетесь, что я рассуждаю так революционно?

Он не спросил.

— Легко в России богатеть, а жить — трудно! — тихо сказал он, глядя в окно на мятеж снежной бури. И снова заговорил о революции: только она может освободить личность из

тяжелой позиции между властью и народом, между капиталом и трудом.

Между прочим, сказал:

— Я не Дон-Кихот и, конечно, не способен заниматься пропагандой социализма у себя на фабрике, но я понимаю, что только социалистически организованный рабочий может противостоять анархизму крестьянства...

Просидев до полуночи, он на другой день уехал, но с той поры каждый раз, бывая в Москве, я встречался с ним, и скоро мы стали друзьями, даже на «ты».

Внешний вид его дома на Спиридоновке напоминал мне скучный и огромный мавзолей, зачем-то построенный не на кладбище, а в улице. Дверь отворял большой, усатый человек в костюме черкеса, с кинжалом у пояса; он казался совершенно лишним или случайным среди тяжелой, московской роскоши обширного вестибюля.

Прямо из вестибюля в кабинет хозяина вела лестница с перилами по рисунку, кажется Врубеля, — вереница женщин в широких белых одеждах, танцующая, легко взлетала вверх. В кабинете Саввы — все скромно и просто, только на книжном шкафу стояла бронзовая голова Ивана Грозного, работа Антокольского. За кабинетом — спальня; обе комнаты своей неуютностью вызывали впечатление жилища холостяка.

А внизу — гостиная чудесно расписана Врубелем, холодный и пустынный зал с колоннами розоватого мрамора, огромная столовая, с буфетом, мрачным, как модель крематориума, и во всех комнатах — множество богатых вещей разнообразного характера и одинакового назначения: мешать человеку свободно двигаться.

В спальне хозяйки — устрашающее количество севрского фарфора, фарфором украшена широкая кровать, из фарфора рамы зеркал, фарфоровые вазы и фигурки на туалетном столе и по стенам, на кронштейнах. Это немножко напоминало магазин посуды. Владелица обширного собрания легко бьющихся предметов т-те Морозова, кажется, бывшая шпильница на фабрике Викулы Морозова, с напряжением, которое ей не всегда удавалось скрыть, играла роль элегантной дамы и покровительницы искусств. Она писала своим поклонникам и людям, которые ей, видимо, нравились, письма на голубоватой бумаге, рассказывая, что во сне она видит красные цветы, — в ту пору многие дамы говорили о красных цветах, их развел кто-то из поэтов, кажется — Бальмонт; под цветами подразуме-

валось нечто совершенно иное. В гостиной хозяйки висела раснецовская «Птица-Гамаюн», превосходные вышивки Поленовой-Якунчиковой, и все было «как в лучших домах».

Савва Морозов не любил бывать внизу. Я не однажды замечал, что он смотрит на пеструю роскошь комнат, иронически прищурив умные свои глаза. А порою казалось, что он ходит по жилищу своему, как во сне, и это — не очень приятный сон. Личные его потребности были весьма скромны, можно даже сказать, что по отношению к себе он был скуп, дома ходил в стоптанных туфлях, на улице я видел его в заплатанных ботинках.

Он внимательно следил за литературой и не смотрел на книгу, как на источник тем для «умного разговора». Его суждения о литературе не отличались оригинальностью, но в них всегда было что-то верное. По поводу «Скучной истории» А. П. Чехова он спрашивал:

— Почему для русского ученого характерно настроение Бутлерова или Вагнера, а не Сеченова, Менделеева, Мечникова?

Находил, что в «Мужиках» автор недостаточно объективен:

— Несправедливо писать о подгородних мужиках, как о типичных русских крестьянах. Мне кажется, что и Чехов пишет о мужиках, подчиняясь Бальзаку.

Он вообще не любил А. П. Чехова.

— Пишет он брюзгливо, старчески, от его рассказов садится в мозг пыль и плесень.

И упрямо доказывал, что пьесы Чехова надо играть как комедии, а не как лирические драмы.

Прочитав «Антоновские яблоки» Бунина, он один из первых оценил крепкий талант автора, с восторгом говоря:

— Этот будет классиком! Он сильнее всех вас, знаниевцев...

В ту пору он увлекался Художественным театром, был одним из директоров его, но говорил:

— Ясно, что этот театр сыграет решающую роль в развитии сценического искусства, он уже делает это. Но вот странность: у нас лучший в мире балет и самые скверные школы. У нас легко найти денег на театр, а наука — в загоне.

Он восторженно рассказывал о молодом физике П. Лебедеве, примирившем своими опытами со светом спор Максвелла и Кельвина.

— Вероятно, он будет такой же силой в нашей науке, как Ковы Менделеев и физиолог Павлов...

Лебедев, принужденный уйти из университета по мотивам

«неблагонадежности» политической, скоро погиб, работая в тяжелых условиях, где-то в подвале.

Не знаю, были ли у Морозова друзья из людей его круга, я его встречал только в компании студентов, серьезно занимавшихся наукой или вопросами революционного движения. Но раза два, три, наблюдая его среди купечества, я видел, что он относится к людям неприязненно, иронически, говорит с ними командующим тоном, а они, видимо, тоже не очень любили его и как будто немножко побаивались. Но слушали — внимательно.

Он как-то очень быстро и легко втянулся в дела помощи социал-демократической партии и начал давать деньги на издание «Искры».

Кто-то писал в газетах, что Савва Морозов «тратил на революцию миллионы», — разумеется, это преувеличено до размеров верблюда. Миллионов лично у Саввы не было, его годовой доход — по его словам — не достигал ста тысяч. Он давал на издание «Искры», кажется, двадцать четыре тысячи в год. Вообще же он был щедр, много давал денег политическому «Красному Кресту», на устройство побегов из ссылки, на литературу для местных организаций и в помощь разным лицам, причастным к партийной работе [социал-]демократов] большевиков.

Не избегал он и личного риска. Помню, — московская полиция выследила Баумана, он был, кажется, нелегальный; шпионы ходили за ним по пятам, измученный травлей человек терял силы, уже дважды ему пришлось ночевать на улице. Наконец решено было спрятать его у Морозова.

И вот, дня через два, идя по Садовой, я вижу: в легких санках, запряженных рысаком, мчится Савва, ловко правя лошастью, а рядом с ним, закутанный в шубу, — Бауман. Вечером я сказал Морозову:

— Рискованно было возить Баумана днем, по улицам...

Он весело усмехнулся.

— А у меня даже явилось мальчишеское желание провезти его по Тверской, по Кузнецкому и угостить обедом у Тестова. Предлагал ему, а он, видимо, подумал, что я шучу, — засмеялся.

Прищурив глаза, погладив татарский череп, Савва задумчиво сказал:

— Говорят — евреи трусливы. Чепуха! Хороший мальчик — этот Бауман. Он у меня наверху, на биллиарде спал, а внизу — Рейнбот гудит. Забавно! Две ночи напролет беседовал я с ним.

Настоящий, крепко верующий человек. Я рад, что пришлось помочь такому...

Помолчав, он предложил:

— В этих случаях надо иметь в виду меня. Мне — легко!

Он спрятал Баумана в своем имении «Горнах», где теперь, летом, живет В. И. Ленин.

В одном случае, — я хорошо знаю это, — Морозову довелось отвезти на фабрику к себе чемодан нелегальной литературы, взявшись за это, он предупредил:

— Условие: никто из рабочих не должен знать, что это я привез! Я не охоч до дешевой популярности.

В другой раз он отвез шрифт для тайной типографии в Иваново-Вознесенск.

После раскола партии он определенно встал на сторону большевиков, объясняя это так:

— Ленинское течение — волевое и вполне отвечает объективному положению дел. Видишь ли: русский активный человек, в какой бы области он ни работал, обязательно будет максималистом, человеком крайности. Я не знаю, что это: органическое свойство нации или что другое, но в этом есть логика, я ее чувствую. Очень вероятно, что, когда революция придет, Ленина и его группу вздуют, истребят, но — это уж дело второстепенное.

И снова пророчески добавил:

— Для меня несомненно, что это течение сыграет огромную роль.

Он вообще очень верно оценивал людей; после свидания с одним из большевиков он сказал:

— Это корабль большого плавания. Жаль будет, если он размотается по тюрьмам и ссылкам.

Впоследствии, устроив этого человека у себя на фабрике, он познакомился с ним ближе и, шутливо хвастаясь проницательностью своей, добавил:

— Не ошибся я, — человек отличных способностей. Такого куда кочешь сунь, он везде будет на своем месте.

Человек, о котором он говорил, ныне является одним из крупнейших политических деятелей России.

Савва внимательно следил за работой Ленина, читал его статьи и однажды забавно сказал о нем:

— Все его писания можно озаглавить: «Курс политического мордобоя» или «Философия и техника драки». Не знаешь — в шахматы играет он?

— Не знаю.

— Мыслит, как шахматист. В путанице социальных отношений разбирается так легко, как будто сам и создал ее.

Вспоминая его предвидения событий и оценки людей, я убеждаюсь в дальновзоркости его ума. Помню, в 903 году у Леонида Андреева беседовали на тему о неизбежности уступок со стороны монархии.

— Мы — накануне конституции, — убежденно доказывал кто-то. В то время это было убеждение весьма распространенное, даже я, не политик, держал пари с шестью лицами по гривеннику, что через три года мы будем жить в конституционном государстве.

Морозов, скромно сидевший в углу, сказал спокойно и негромко:

— Я не считаю правительство настолько разумным, чтоб оно поняло выгоду конституции для него. Если же обстоятельства понудят его дать эту реформу, — оно даст ее наверняка в самой уродливой форме, какую только можно выдумать. В этой форме конституция поможет организовать контрреволюционным группам и раздробит и революционную интеллигенцию и, конечно, рабочих.

Вспыхнул ожесточенный спор; выслушав многословные и обильные возражения, Савва иронически улыбнулся:

— Если мы пойдем вслед Европе даже церемониальным маршем во главе с парламентом, — все равно нам ее не догнать. Но мы ее наверное догоним, сделав революционный прыжок.

Кто-то крикнул:

— Это будет сальто-мортале, смертельный прыжок!

— Может быть, — спокойно ответил Савва.

Его революционные симпатии и речи все-таки казались загадочными, но они стали более понятны мне после одной беседы о Ницше. Рассказывая, как А. П. Чехов жил у него в пермском имени, Савва, между прочим, сказал:

— Начал Антон Павлович читать Ницше, но скоро бросил книгу: «Он, говорит, оглушает меня, как двадцать барабанщиков».

Я спросил Савву, — а как он думает о превосходном немецком пиротехнике?

— Это вполне понятное явление после Шопенгауэра и Гартмана. Ницше так же полезен для прусской политики, как был полезен для нее Бисмарк. Кто-то уже указал на их сродство. А вне отношения к немцам, Ницше — для меня — жуткий признак духовного оскудения Европы. Это — крик больного о его желании быть здоровым. Изработалась эта великолепная

машина и скрипит во всех частях. Она требует радикального ремонта, но министры ее — плохие слесари. Только в области экспериментальных наук и техники она продолжает свою работу энергично, но совершенно обессилела в творчестве социальном. Ницше пробовал создать новую идеологию, но в существе своем идеология эта уже дана в философских драмах Ренана. Книжки Ницше нечто вроде экстракта Броун-Секара, даже не тот «допинг», который дают лошадям на бегах, чтобы увеличить их резвость. Я читал эти книги с некоторым отвращением и, пожалуй, злорадством. Европа относится к нам свински, и, понимаешь, немножко приятно слышать, когда она голосом Ницше да подобных ему кричит от боли, от страха, предчувствуя тяжелые дни. Славянофильство, народничество и все другие виды сентиментального идиотизма — чужды мне. Но я вижу Россию как огромное скопление потенциальной энергии, которой пора превратиться в кинетическую. Пора. Мы — талантливы. Мне кажется, что наша энергия могла бы оживить Европу, излечить ее от усталости и дряхлости. Поэтому я и говорю: во что бы то ни стало нам нужна революция, способная поднять на ноги всю массу народа.

Мы пришли с похорон А. П. Чехова и сидели в саду Морозова, настроенные угнетенно. Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом писателя шло гало человек сто, не более; мне очень памятен два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках. Идя сзади их, я слышал, что один говорит об уме собак, другой расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен...

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околочный на толстой, белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике. Проводив гроб до какого-то бульвара, Савва предложил мне ехать к нему пить кофе, и вот, сидя в саду, мы грустно заговорили об умершем, а потом отправились на кладбище. Мы приехали туда раньше, чем пришла похоронная про-

цессия, и долго бродили среди могил. Савва философствовал:

— Все-таки — не очень остроумно, что жизнь заканчивается процессом гниения. Нечистоплотно. Хотя гниение суть тоже горение, но я предпочел бы взорваться, как динамитный патрон. Мысль о смерти не возбуждает у меня страха, а только брезгливое чувство, — момент погружения в смерть я представляю как падение в компостную яму. Последние минуты жизни должны быть наполнены ощущением засасывания тела какой-то липкой, едкой и удушливо пахучей средой.

— Но ведь ты веришь в бога?

Он тихо ответил:

— Я говорю о теле, оно не верит ни во что, кроме себя, и ничего кроме не хочет знать.

В ограду кладбища втиснулась толпа людей, священники начали церемонию погребения, потом резкий, неприятный бас угрожающе возгласил:

— Вечная память!

Мне казалось, что к женщинам Морозов относится необычно, почти враждебно, как будто общение с женщиной являлось для него необходимостью тяжелой и неприятной. «Девка» — было наиболее частым словом в его характеристиках женщин, он произносил это слово с брезгливостью сектанта. А однажды сказал:

— Чаще всего бабы любят по мотивам жалости и страха. Вообще же любовь — литература, нечто словесное, выдуманное.

Но он говорил на эту тему редко, всегда неохотно и грубо.

Я замечал, что иногда он подчиняется настроению угрюмой неприязни к людям.

— Девяносто девять человек живут только затем, чтоб убедить сотого: жизнь бессмысленна! — говорил он в такие дни.

Он упорно искал людей, которые стремились так или иначе осмыслить жизнь, но, встречаясь и беседуя с ними, Савва не находил слов, чтоб понятно рассказать себя, и люди уходили от него, унося впечатление темной спутанности.

Как-то осенью, дождливым днем, он сидел у меня в комнате гостиницы «Княжий двор», молча пил крепкий чай и назойливо стучал пальцами по столу. Дождь хлестал в окно, по стеклам текли потоки воды, было очень скучно, казалось, что вот стекла размоет, вода хлынет в комнату и потопит нас.

— Что с тобой? — спросил я.

— Сплю плохо, — неохотно ответил Савва, сморщив лицо. — Вижу дурацкие сны. Недавно видел, что меня схватили на улице какие-то люди и бросили в подвал, а там тысячи крыс, крысиный парламент какой-то. Сидят крысы на кадках, ящиках, на полках и человечески разговаривают. Но так, знаешь, что каждое отдельное слово растягивается минут на пять, и эта медленность — невыносима, мучительна. Как будто все крысы знают страшную тайну и должны сказать ее, но — не могут, боятся. Отчаянно глупый сон, а проснулся я в дикой тревоге, весь в поту.

И вдруг, вскочив, он забежал по комнате, нервно взвизгивая и скаля зубы:

— Нет, подумай! Эта бесшабашная сволочь, эти анархисты в мундирах сановников, — вот! — затеяли войну. Японцы бьют нас, как мальчишек, а они — шутки шутят, шуточки! Макаки, кое-каки и прочее... Бессмысленно, преступно...

Сразу оборвав свои крики, — точно оступился и упал, — он остановился среди комнаты, спрашивая:

— Неужели и это пройдет безнаказанно для них?

И снова сел к столу, жадно глотая остывший чай. Потом заговорил несвязно и отрывисто:

— Совершенно невероятно наше отношение к интересам России, к судьбе народа!

Говорил о том, что в Европе промышленники обладают более или менее ясным сознанием своих задач. Да, они хищники, но их работа более культурна, чем работа русских, ибо она более плодотворна технически. В России влияние промышленности на власть — это чисто физическое давление тяжести, массы, нечто слепое, неосмысленное.

— В мире творчески работают три силы: наука, техника, труд; мы же технически — нищие, наука у нас под сомнением в ее пользу, труд поставлен в каторжные условия, — невозможно жить. Немецкая фабрика — научное учреждение. Возьми все новые англосаксонские организации — Австралию, Соединенные Штаты, Гвинею, — все это создано энергией людей небольшого государства. А что делаем мы, стомиллионная масса людей? У нас превосходные работники, духоборы, убежали в Америку...

Он говорил все более сбивчиво, было ясно, что мысли его кипят, но он не в силах привести их в порядок. И незаметно для меня, как-то вдруг начал говорить о своей личной жизни.

— Мы вообще не умеем жить. Вот — я живу плохо, трудно. Это даже со стороны видят. Старик ткач, приятель моего

отца, недавно сказал мне: «Брось фабрику, Савва, брось да уйди куда-нибудь. Не в твоём характере купечествовать. Не удал ты хозяин». Это — верно! Но куда же я уйду? Хотя — есть люди, очень заинтересованные в том, чтоб я ушел или издох...

Он болезненно засмеялся.

Мне рассказывали, что, когда Савва приезжал на фабрику, мальчишки били камнями стекла в окнах комнат, где он жил, и было установлено, что мальчишкам платят за это по двугри-венному. Слышал я также, что Савва получает анонимные письма с угрозами убить его.

— Правда это?

— Ну, да, — ответил он. — Меня, видишь ли, хотят перевоспитать и немножко пугают. Я, конечно, хорошо знаю, откуда это идет. Не думай, что от революционно настроенных рабочих, но мне хотят внушить, что именно от них. Тут действуют хулиганы, способные за трешницу и не на такие пустяки. У меня письма с покаяниями таких ребят, — за покаяние, конечно, просят уплатить. Один кающийся — его я велел рассчитать — даже назвал человека, подкупившего его избить меня. В комнатах у меня делают обыски, недавно украли «Искру» и литографированный доклад фабричного инспектора, с моими пометками...

Закрыв глаза, он вздохнул:

— Одинок я очень, нет у меня никого! И есть еще одно, что меня смущает: боюсь сойти с ума. Это — знают, и этим тоже пытаются застрашать меня. Семья у нас — не очень нормальна. Сумасшествия я действительно боюсь. Это — хуже смерти...

Я попробовал разубедить его, но он сказал, махнув рукою:

— Брось. Я грамотен. Знаю.

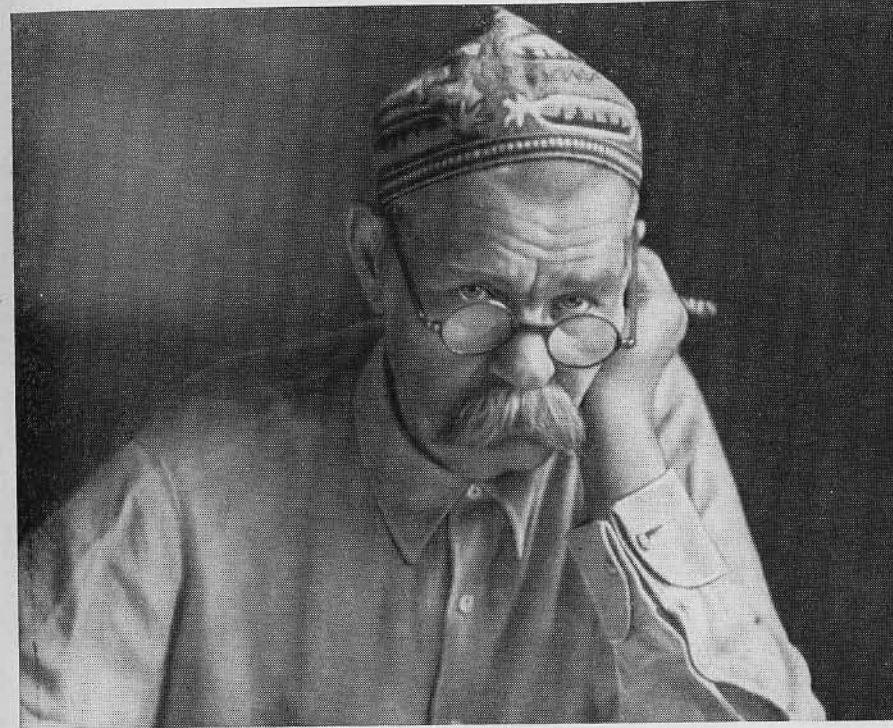
Заговорил о Леониде Андрееве:

— Он тоже боится безумия, но хочет других свести с ума. Я скромнее его. У нас и в Соединенных Штатах одно и то же: третье поколение крупных промышленников дает огромный процент нервно и психически больных, дегенератов. Ты знаешь это?

Видимо, он внимательно следил за этим явлением: перечислил мне длинный ряд русских и американских семей, отмечая с точностью и в терминах психиатра признаки и факты дегенерации.

За окном потемнело и все хлестало, гудел дождь, взвизгивал ветер.

— Поедем куда-нибудь? — предложил Савва.



А. М. Горький. Сорренто, 1930 г.



Н. Г. Гарин-Михайловский

Поехали в театр, но дорогой Морозов, остановив извозчика, сказал:

— Нет, пойду домой, лягу спать... Прощай...

И, подняв воротник пальто, нахлобучив шляпу, ушел.

Незадолго до кровавых событий 9 января 1905 года Морозов ездил к Витте с делегацией промышленников, пытался убедить министра в необходимости каких-то реформ и потом говорил мне:

— Этот пройдоха, видимо, затевает какую-то подлую игру. Ведет он себя как провокатор. Говорить с ним было, конечно, бесполезно и даже глупо. Хитрый скот.

А накануне 9 января, когда уже стало известно, что рабочие пойдут к царю, Савва предупредил:

— Возможно, что завтра в городе будет распоряжаться великий князь Владимир и будет сделана попытка погрома редакций газет и журналов. Наверное, среди интеллигенции будут аресты. Надо думать, что гапоновцы не так глупы, чтоб можно было спровоцировать их на погром, но, вероятно, полиция попытается устроить какую-нибудь пакость. Не худо было бы организовать по редакциям самооборону из рабочих, студентов, да и вообще завтра следует гулять с револьвером в кармане. У тебя есть?

У меня не было. Он вытащил из кармана браунинг, сунул его мне и поспешно ушел, но вечером явился снова, встревоженный и злой.

— Ну, брат, они решили не пускать рабочих ко дворцу, будут расстреливать. Вызвана пехота из провинции, кажется, — 144-й полк, вообще — решено устроить бойню.

Я тотчас же бросился в ближайшую редакцию газеты «Сын отечества» и застал там человек полтора, обсуждавших вопрос: что делать? Молодежь кричала, что надо идти во главе рабочих, но кто-то предложил выбрать делегацию к Святополк-Мирскому, дабы подтвердить «мирный» характер намерений рабочих и указать министру на засады, устраиваемые полицией всюду в городе. Кажется, — так, я не точно помню задание, возложенное на делегацию, хотя, неожиданно для себя, и был выбран в ее состав.

Я был занят беседой с рабочим Кузиным, деятельным «гапоновцем», — кто-то, кажется Петр Рутенберг, познакомил меня с ним за несколько дней перед этим. Кузин, оказавшийся впоследствии агентом охраны, убеждал меня в необходимости для рабочих идти с красными флагами и революционными ло-

зунгами, доказывал, что революционные организации должны взять движение в свои руки.

— Бойня все равно будет! — говорил он, улыбаясь. — Ведь ладком да мирком — ничего не достигнем, пусть рабочие убедятся в этом...

Он был тоже выбран в члены депутации, куда вошли Н. Ф. Анненский, В. И. Семевский, Н. Кареев, А. В. Пешехонов, В. А. Мякотин, И. Гессен, Кедрин и я. Поехали на четырех извозчиках, — я — в паре с Кузиным.

— Флажки надо выкинуть, флажки, а так, просто гулять — какой толк? — мечтательно и настойчиво повторял Кузин.

Был он человек тощий, с маленькой, вертлявой головкой; красненький, мокрый нос казался нарывом на его лисьем лице, глазки его мигали тревожно, губы заискивающе улыбались, и весь он — в явном разладе с назойливой революционностью своих речей.

Лениво падал мелкий снег. На Невском — необычно пустынно, хотя было не позднее десяти часов вечера: ворота домов заперты, всюду молча жмутся тяжелые туши дворников. Тяготило предчувствие неизбежной трагедии, и казалось, что фонари горят менее ярко, чем всегда.

— Полицейских-то на постах — нет, — заметил Кузин, вздохнув.

Приехали на Фонтанку к товарищу министра Рыдзевскому, он встретил нас, сунув руки в карманы, не поклонясь, не пригласив стариков депутации сесть, молча, с неподвижным лицом выслушал горячую речь взволнованного до слез Н. Ф. Анненского и холодно ответил, что правительство знает, что нужно ему делать, и не допустит вмешательства частных лиц в его распоряжения. Кажется, он добавил, что нам нужно было попытаться влиять на рабочих, дабы они не затевали демонстрации, а о каком-либо влиянии на правительство — не может быть речи.

Кто-то сказал:

— Мы — не частные лица, мы люди, уполномоченные соображением интеллигенции...

Рыдзевский, не дослушав, повернулся боком и поднял руку к лицу, как будто желая прикрыть зевок.

Не помню, почему не поехали к Святополку, кажется, он не захотел принять депутацию. Решили ехать к Витте; дорогой на Петроградскую сторону Кузин спрашивал меня: правда ли, что Рыдзевский — внук Александра II?

— Не все ли равно, чей он внук?

Кузин не ответил, но на Троицком мосту тихо сказал:

— Пожалуй — правда. Принял он нас по-царски. Гордо...

Витте не было дома. Часа полтора сидели в библиотеке, ожидая его, наконец он явился и любезно пригласил нас в кабинет.

Сидя за массивным столом, на котором возвышался большой фотографический портрет Александра III, Витте методически прихлебывал из большого стакана какую-то мутно-опаловую жидкость и снисходительно слушал речи Мякотина, Анненского, ощупывая бойкими глазами каждого из нас по очереди. Голова Витте показалась мне несоразмерно маленькой по сравнению с тяжелым его телом быка, лоб несоразмерно велик сравнительно с черепом, во всем облике этого человека было что-то нескладное, недоделанное. Курносое, маленькое лицо освещали рысьи глазки, было что-то отгалкивающее в их цепком взгляде. Он шевелил толстым пальцем, искоса любуясь блеском бриллианта в перстне.

Он заговорил тоном сожаления, пожимая плечами, приподнимая жидкие брови, улыбаясь скользкой улыбкой, — это делало его еще более неприятным. Голос звучал гнусавенько, слова сыпались обильно и легко, мне послышалось в них что-то хвастливое, и как будто он жаловался, но смысла слов я не мог уловить, и почти ничего не оставили они в моей памяти. Помню только, что, когда он внушительно сказал: «Мнение правящих сфер непримиримо расходится с вашим, господа...» — я почувствовал в этой фразе что-то наглое, ироническое и грубо прервал его:

— Вот мы и предлагаем вам довести до сведения сфер, что, если завтра прольется кровь, — они дорого заплатят за это.

Он искоса мельком взглянул на меня и продолжал сыпать пыль слов. Потом предложил нам перейти в библиотеку на время, пока он переговорит с князем Святополком. Мы ушли, я слышал, что он говорит по телефону, но у меня осталось странное впечатление, что он звонил своему швейцару и беседовал с ним.

Не знаю, каков был ответ Святополка — или швейцара, — я не входил в кабинет на приглашение Витте и не спрашивал об этом членов депутации. Я вообще чувствовал себя не на своем месте в этой депутации. К тому же меня очень интересовал Кузин, — я увидел, что он очарованно смотрит на коллекцию орденов в витрине; согнувшись над нею, почти касаясь пуговицей носа стекла ее, он смотрел на ордена, из рта его тянулась нить слюны и капала на стекло. Когда я окликнул

его, он с трудом выпрямил спину и, улыбаясь масляной, пьяной улыбкой, сказал, вздохнув:

— Сколько... накопил, черт...

Шмыгнул мокрым носом и крепко вытер лицо рукавом пиджака. Все это было неопишимо противно. Назад, в редакцию, я уже не мог ехать с Кузиным.

В редакцию мы возвратились около трех часов утра, доложили о бесполезности наших визитов, не рассказывая о их униженности; удрученная публика начала расходиться. Мне пришлось в голову, что необходимо составить отчет о нашем путешествии по министрам, я предложил это, публика согласилась со мною, и мне предложили к утру написать отчет.

Дома дверь отпер мне Савва Морозов, сердито спросив:

— Где это ты увяз?

Я наскоро рассказал ему.

— Напрасно ты путаешься в такие дела, — хмуро заметил он.

— Не мог же я отказаться, если выбрали!

— Н-ну... А я думал, тебя арестовали.

Обняв меня за талию, он сказал:

— У меня есть предчувствие, что завтра тебе и многим свернут головы. Как ты думаешь?

Я сказал, что не чувствую себя настолько остроумным, чтоб ответить на такой вопрос, и сел писать отчет, а он пошел к себе в гостиницу, предупредив меня:

— Ты завтра один не выходи на улицу, вместе пойдем. Я зайду за тобой в восемь часов...

Но в шесть за мной пришел мой добрый знакомый Леонтий Бенуа, и мы с ним отправились на Выборгскую сторону; там, среди рабочих, были товарищи, нижегородцы Антон Войткевич, большевик, и его жена Иваницкая. Насколько я знаю, первый красный флаг и первый крик «Долой самодержавие» раздался 9 января среди толпы выборгцев на Сампсониевском мосту. С флагом шел Войткевич, этот флаг я принужден был сжечь вместе с некоторыми заметками моими во время обыска у меня в Риге.

Лозунг рабочие поддержали слабо, недружно, он даже вывал сердитые окрики:

— Долой флаг! Убрать! Товарищи, не надо раздражать полицию! Мирно...

Длинный, лысый человек, размахивая шапкой, кричал около меня:

— Не поддавайтесь на провокацию-у-у!

Эту толпу расстреляли почти в упор, у Троицкого моста.

После трех залпов откуда-то со стороны Петропавловской крепости выскочили драгуны и начали рубить людей шашками. Особенно старался молодой, голубоглазый драгун со светлыми усиками, ему очень хотелось достать шашкой голову красавца Бенуа; длинноволосый бронец с тонким лицом, он несколько напоминал еврея, и, должно быть, это разжигало воинственный пыл убийцы. Бенуа поднимал с земли раненного в ногу рабочего, а драгун кружился над ним и, взвизгивая, как женщина, пронзительно, тонко, взмахивал шашкой. Но лошадь его брыкалась, не слушая узды, ее колотил толстой палкой по задним ногам рыжий рабочий, — точно дрова рубя. Драгун ударил его шашкой по лицу и наискось рассек лицо от глаза до подбородка. Помню неестественно расширенный глаз рабочего, и до сего дня режет мне память визг драгуна, прыгает предо мною лицо убийцы, красное от холода или возбуждения, с оскалом стиснутых зубов и усиками дыбом на приподнятой губе. Замахиваясь тусклой полоской стали, он взвизгивал, а ударив человека — кричал и плевал, не разжимая зубов. Утомясь, качаясь на танцующем коне, он дважды вытер шашку о его круп, как повар вытирает нож о свой передник.

Странно было видеть равнодушные солдат; серой полосой своих тел заграждая вход на мост, они, только что убив, искалечив десятки людей, качались, притопывая ногами, как будто танцуя, и, держа ружья к ноге, смотрели, как драгуны рубят, с таким же вниманием, как, вероятно, смотрели бы на ледоход или на фокусы наездников в цирке.

Потом я очутился на Полицейском мосту, тут небольшая толпа слушала истерические возгласы кудрявого студента, он стоял на перилах моста, держась одною рукой за что-то и широко размахивая сжатым кулаком другой. Десяток драгун явился как-то незаметно, поразительно быстро раздавил, разбил людей, а один конник, подскакав к студенту, ткнул его шашкой в живот, а когда студент согнулся, ударом по голове сбросил за перила, на лед Мойки.

Выход из Гороховой на площадь был заткнут матросами гвардейского экипажа, их офицера собрались группой на тротуаре, матросы тоже стояли «вольно», разбивши фронт на кучки. Один из них, ширококорый, могучий, как цирковый борец, грубо крикнул нам:

— Куда лезете?

Но посторонился и пропустил нас, сказав вслед:

— Там вам...

Точно большая собака дважды твякнула.

Мы подошли к Александровскому скверу в ту минуту, ко-

гда горнист трубил боевой сигнал, и тотчас же солдаты, преграждавшие выход к Зимнему дворцу, начали стрелять в густую, плотную толпу. С каждым залпом люди падали кучами, некоторые — головой вперед, как будто в ноги кланяясь убицам. Крепко въелись в память бессильные взмахи рук падавших людей.

У меня тоже явилось трусливое желание лечь на землю, и я едва сдерживал его, а Бенуа тащил меня за руку вперед и, точно пьяный, рыдающим голосом кричал:

— Эй, сволочь, бей, убивай...

Близко от солдат, среди неподвижных тел, полз на четвереньках какой-то подросток, рыжеусый офицер не спеша подошел к нему и ударил шашкой, подросток припал к земле, вытянулся, и от его головы растеклось красное сияние.

Толпа закружила нас и понесла на Невский. Бенуа куда-то исчез. А я попал на Певческий мост, он был совершенно забит массой людей, бежавших по левой набережной Мойки, в направлении к Марсову полю, откуда встречу густо лилась другая толпа. С Дворцовой площади по мосту стреляли, а по набережной гнал людей отряд драгун. Когда он втиснулся на мост, безоружные люди со свистом и ревом стиснули его, и один за другим всадники, сорванные с лошадей, исчезли в черном месиве. У дома, где умер Пушкин, маленькая барышня пыталась приклеить отрубленный кусок своей щеки, он висел на полоске кожи, из щеки обильно лилась кровь, барышня, всхлипывая, шевелила красными пальцами и спрашивала бегущих мимо ее:

— Нет ли у вас чистого платка?

Чернобородый рабочий, по-видимому металлист, темными руками приподнял ее, как ребенка, и понес, а кто-то сзади меня крикнул:

— Неси в Петропавловскую больницу, всего ближе...

Толпа была настроена неопределенно, в общем — угрюмо, но порою среди ее раздавались оживленные возгласы и даже смех. Иные шагали не спеша, рассеянно оглядываясь по сторонам, как бы не зная, куда идут, другие бежали, озабоченно толкая попутчиков; я мало слышал восклицаний злобы и гнева. Помню: обогнал меня, прихрамывая, старичок в бабьей, ватной кофте, оглянулся и, подмигнув мне веселым глазом, спросил:

— Хорошо угостили?

На голове у него торчала порыжевшая, трепаная шапка, а в пальцах правой руки он держал небольшой булыжник.

Дома мне отпер дверь опять-таки Савва Морозов с револьвером в руке; я спросил его:

— Что это ты вооружился?

— Прибегают какие-то люди, спрашивают: где Гапон? Черт их знает, кто они.

Это было странно: я видел Гапона только издали, на собраниях рабочих и не был знаком с ним. Квартира моя была набита ошеломленными людьми, я отказался рассказывать о том, что видел, мне нужно было дописать отчет о визите к министрам. И вместо отчета написал что-то вроде обвинительного акта, заключив его требованием предать суду Рыдзевского, Святополка-Мирского, Витте и Николая II за массовое и предумышленное убийство русских граждан.

Теперь этот документ не кажется мне актом мудрости, но в тот час я не нашел иной формы для выражения кровавых и мрачных впечатлений подлейшего из всех подлых дней царствования жалкого царя.

Только что успел дописать, как Савва, играя роль швейцара и телохранителя, сказал угрюмо:

— Гапон прибежал.

В комнату сунулся небольшой человечек с лицом цыгана, барышника бракованными лошадьми, сбросив с плеч на пол пальто, слишком широкое и длинное для его тощей фигуры, и хрипло спросил:

— Рутенберг — здесь?

И заметался по комнате, как обожженный, ноги его шагали, точно вывихнутые, волосы на голове грубо обрезаны, торчали клочьями, как неровно оборванные, лицо мертвенно-синее, и широко открытые глаза — остеклели, подобно глазам покойника. Бегая, он бормотал:

— Дайте пить! Вина. Все погибло. Нет, нет! Сейчас я напишу им.

Потом бессвязно заговорил о Фуллоне, ругая его.

Выпив, как воду, два чайных стакана вина, он требовательно заявил:

— Меня нужно сейчас же спрятать, — куда вы меня спрячете?

Савва сердито предложил ему сначала привести себя в лучший порядок, взял ножницы со стола у меня и, усадив попа на стул, брезгливо морщась, начал подстригать волосы и бороду Гапона более аккуратно. Он оказался плохим парикмахером, а ножницы — тупыми. Гапон дергал головою, вскрикивая:

— Осторожнее, — что вы?

— Потерпите, — нелюбезно ворчал Савва.

Явился Петр Рутенберг, учитель и друг попа, принужденный через два года удавить его, поговорил с ним и сел писать

от лица Гапона воззвание к рабочим, — это воззвание начиналось словами:

«Братья, спянные кровью».

Поп послал Н. П. Апешова к рабочим с какой-то запиской, пришел Ф. Д. Батюшков и еще какие-то удрученные люди, они заявили, что Гапон — убит и что сейчас по Невскому полиция провезла его труп, — «труп» в это время мылся в уборной. Явился еще кто-то и сказал, что Гапон жив, его ищет полиция, обещано вознаграждение за арест попа.

Батюшков предложил отвести Гапона в Вольно-Экономическое общество, где собралась интеллигенция, — не помню мотивов этого предложения. Савва, усмехаясь, сказал:

— Да, да, пускай посмотрят...

Он был настроен раздраженно, говорил угрюмо и смотрел на Гапона с явной неприязнью. Гапон сначала отказывался ехать, но его убедили, тогда он попросил загримировать ему лицо, и Морозов повез его к режиссеру Художественного театра Асафу Тихомирову, гримировать.

Тихомиров не очень понял трагизм момента, из его рук поп вышел похожим на парикмахера или приказчика модного магазина. В этом виде я и отвез его в Вольно-Экономическое общество, где заявил с хор, что Гапон — жив, вот он! И показал его публике.

В Вольно-Экономическом обществе представители рабочих разных заводов и фабрик рассказывали о событиях дня; узнав, что Гапон тут, они пожелали видеть его, но поп отказался от свидания с ними и тотчас же уехал с Батюшковым, который дня через два отправил его в Финляндию.

А я пошел домой во тьме, по улицам, густо засеянным военными патрулями, преследуемый жирным запахом крови. Горд давила морозная тишина, изредка в ней сухо хлопали выстрелы, каждый такой звук, лишенный эха, напоминал о человеке, который, бессильно взмахнув руками, падает на землю.

Дома медленно ходил по комнате Савва, сунув руки в карманы, серый, похудевший, глаза у него провалились в темные ямы глазниц, круглое лицо татарина странно обострилось.

— Царь — болван, — грубо и брюзгливо говорил он. — Он позабыл, что люди, которых с его согласия расстреливали сегодня, полтора года тому назад стояли на коленях пред его дворцом и пели «Боже, царя храни...».

— Не те люди...

Он упрямо тряхнул головой:

— Те же самые, русские люди. Стоило ему сегодня выйти на балкон и сказать толпе несколько ласковых слов, дать ей

два, три обещания, — исполнить их необязательно, — и эти люди снова пропели бы ему «Боже, царя храни». И даже могли бы разбить куриную башку этого попа об Александровскую колонну... Это затянуло бы агонию монархии на некоторое время.

Он сел рядом со мною и, похлопывая себя по колену ладонью, сказал:

— Революция обеспечена! Года пропаганды не дали бы того, что достигнуто в один день.

— Жалко людей, — сказал я.

— Ах, вот что? — Он снова вскочил и забегал по комнате. — Конечно, конечно! Однако — это другое дело. Тогда не надо говорить им: вставайте! Тогда убеждай их — пусть они терпеливо лежат и гниют. Да, да!

Я лежал на диване; остановясь предо мною, Савва крепко сказал:

— Позволив убивать себя сегодня, люди приобрели право убивать завтра. Они, конечно, воспользуются этим правом. Я не знаю, когда жизнь перестанут строить на крови, но в наших условиях гуманность — ложь! Чепуха.

И снова присел ко мне, спрашивая:

— А куда сунули попа? Ух, противная фигура! Свиной пасти не доверил бы я этому вождю людей. Но если даже такой, — он брезгливо сморщился, проглотив какое-то слово, — может двигать тысячами людей, значит: дело Романовых и монархии — дохлое дело! Дохлое... Ну, я пойду! Прощай.

Он взял меня за руки и поднял с дивана, сердечно говоря: — Вероятно, тебя арестуют за эту бумагу, и мы не увидимся долго. А я скоро поеду за границу, надо мне лечиться. Мы крепко обнялись. Я сказал:

— Ночевал бы здесь. Смотри, — подстрелят...

— Потеря будет невелика, — тихо сказал он, уходя.

На другой день вечером я должен был уехать в Ригу и там тотчас же по приезде был арестован. Савва немедленно начал хлопотать о моем освобождении и добился этого, через месяц меня освободили под залог, предав суду. Но Морозов уже уехал за границу раньше, чем я вышел из Петропавловской крепости, я больше не видал его.

За границей он убил себя, лежа в постели, выстрелом из револьвера в сердце.

За несколько дней до смерти Саввы его видел Л. Б. Красин. Возвращаясь из Лондона, с Третьего съезда партии, он заехал к Морозову в Виши; там, в маленькой санатории, Савва встретил его очень радостно и сердечно, но Красин сразу

заметил, что Савва находится в состоянии болезненной тревоги.

— Рассказывайте скорее, как идут дела. Скорее, я не хочу, чтоб вас видели здесь...

— Кто?

— Вообще... Жена и вообще...

На глазах его сверкали слезы, он вызывал впечатление человека, который только что пережил что-то тяжелое, глубоко потрясен и ждет новых тревог.

Это был хороший друг, сердечно близкий мне человек, я очень любил его.

Но когда я прочитал телеграмму о его смерти и пережил час острой боли, я невольно подумал, что из угла, в который условия затискали этого человека, был только один выход — в смерть. Он был недостаточно силен для того, чтобы уйти в дело революции, но он шел путем, опасным для людей его семьи и его круга. Его пугали неизбежностью безумия, и, может быть, некоторые были искренно убеждены, что он действительно сходит с ума.

После смерти Саввы Морозова среди рабочих его фабрики возникла легенда: Савва не помер, вместо его похоронили другого, а он «отказался от богатства и тайно ходит по фабрикам, поучая рабочих уму-разуму».

Легенда эта жила долго, вплоть до революции...

МИТЯ ПАВЛОВ

Где-то в Ельце умер от тифа Митя Павлов, земляк мой, рабочий из Сормова.

В 905 году, во дни Московского восстания, он привез из Петербурга большую коробку капсюлей гремучей ртути и пятнадцать аршин бикфордова шнура, обмотав его вокруг груди. От пота шнур разбух или слишком туго был обмотан вокруг ребер, но — войдя в комнату ко мне, Митя свалился на пол, лицо его посинело, глаза выкатились, как это бывает у людей, умирающих от асфиксии.

— Вы с ума сошли, Митя? Ведь вы могли дорогой упасть в обморок — понимаете, что тогда было бы с вами?

Задыхаясь, он ответил виновато:

— Пропал бы шнур и капсюли тоже...

М. М. Тихвинский, растирая грудь его, тоже ворчливо ругался, а Митя, щурясь, спрашивал:

— Сколько будет бомб? Разобьют нас? Пресня держится?

Потом, лежа на диване, указав глазами на Тихвинского, который рассматривал капсюли, спросил шепотом:

— Это он здесь бомбы делает? Профессор? Из рабочих? Да — ну-у?

И вдруг беспокойно осведомился:

— А не взорвет он вас?

О себе же, о той опасности, которую он только что чудом избежал, — ни слова,

Иногда мне кажется, что русская мысль больна страхом перед самой же собой; стремясь быть внеразумной, она не любит разума, боится его.

Хитрейший змий В. В. Розанов горестно вздыхает в «Уединенном»:

«О мои грустные опыты! И зачем я захотел все знать? Теперь уже я не умру спокойно, как надеялся».

У Л. Толстого в «Дневнике юности» 51 г. 4. V сурово сказано:

«Сознание — величайшее моральное зло, которое только может постичь человека».

Так же говорит Достоевский:

«...слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь... много сознания и даже всякое сознание — болезнь. Я стою на этом».

Реалист А. Ф. Писемский кричал в письме к Мельникову-Печерскому:

«Черт бы побрал привычку мыслить, эту чесотку души!»

Л. Андреев говорил:

«В разуме есть что-то от шпиона, от провокатора».

И — догадывался:

«Весьма вероятно, что разум — замаскированная, старая ведьма, — совесть».

Можно набрать у русских писателей несколько десятков таких афоризмов — все они резко свидетельствуют о недоверии к силе разума. Это крайне характерно для людей страны, жизнь которой построена наименее разумно.

Любопытно, что и П. Ф. Николаев, автор книги «Активный прогресс», человек, казалось бы, чуждый этой линии мысли, писал мне в 1906 году:

«Знание увеличивает требования, требования возбуждают неудовлетворенность, неудовлетворенный человек —

несчастен, вот почему он и социально ценен и симпатичен лично».

Совершенно непонятная и какая-то буддийская мысль.

Впрочем, и Монтень печально вздыхал:

«К чему вооружаемся мы тщетным знанием? О, сколь сладостно и мягко изголовье для избранных — незнание и простота сердца».

Он объяснял долголетие дикарей их незнанием наук и религии, не зная, что все это — в зародыше — есть у них. Эпикурец Монтень жил в эпоху религиозных войн. Он был весело мудр и находил, что каннибализм дикарей не так отвратителен, как пытки инквизиции.

Через триста лет Лев Толстой сказал о нем:

«Монтень — пошл».

Лев Толстой мыслил церковно и по форме и по содержанию. Не думаю, что догматизм был приятен ему, и едва ли процесс мысли давал Толстому то наслаждение, которое, несомненно, испытывали такие философы, как, например, Шопенгауэр, любясь развитием своей мысли. На мой взгляд — для Льва Николаевича мышление было проклятой обязанностью, и мне кажется, что он всегда помнил слова Тертуллиана, — слова, которыми выражено отчаяние фанатика, уязвленного сомнением:

«Мысль есть зло».

Не лежат ли — для догматиков — истоки страха перед мыслью и ненависти к ней — в библии. VI, 1—4?

«Азazel же научил людей делать мечи и ножи... научил их разным искусствам... объяснил течение звезд и луны. И настало великое безбожие и разврат на земле, и скривились пути человеческие»...

Все это припомнилось мне после вчерашней, неожиданной беседы с А. Блоком. Я вышел вместе с ним из «Всемирной литературы», он спросил меня: что я думаю по поводу его «Крушения гуманизма»?

Несколько дней тому назад он читал на эту тему нечто вроде доклада, маленькую статью. Статья показалась мне неясной, но полной трагических предчувствий. Блок, читая, напоминал ребенка сказки, заблудившегося в лесу: он чувствует приближение чудовищ из тьмы и лепечет встречу им какие-то заклинания, ожидая, что это испугает их. Когда он перелистывал рукопись, пальцы его дрожали. Я не понял: печалит его факт падения гуманизма или радуется? В прозе он

не так гибок и талантлив, как в стихах, но — это человек, чувствующий очень глубоко и разрушительно. В общем: человек «декаданса». Верования Блока кажутся мне неясными и для него самого; слова не проникают в глубину мысли, разрушающей этого человека вместе со всем тем, что он называет «разрушением гуманизма».

Некоторые мысли доклада показались мне недостаточно продуманными, например.

«Цивилизовать массу и невозможно и не нужно». «Открытия уступают место изобретениям».

XIX и XX века именно потому так чудовищно богаты изобретениями, что это эпоха обильнейших и величайших открытий науки. Говорить же о невозможности и ненужности цивилизации для русского народа — это, очевидно, «скифство», — и это я понимаю как уступку органической антигосударственности русской массы. И зачем Блоку «скифство»?

Как только мог осторожно, я сказал ему об этом. Говорить с ним — трудно: мне кажется, что он презирает всех, кому чужд и непонятен его мир, а мне этот мир — непонятен. Последнее время я дважды в неделю сижу рядом с ним на редакционных собраниях «Всемирной литературы» и нередко спорю, говоря о несовершенствах переводов с точки зрения духа русского языка. Это — не сближает. Как почти все в редакции, он относится к работе формально и равнодушно.

Он сказал, что ему приятно видеть, как я освобождаюсь «от интеллигентской привычки решать проблемы социального бытия».

— Я всегда чувствовал, что это у вас не настоящее. Уже в «Городке Окурове» заметно, что вас волнуют «детские вопросы» — самые глубокие и страшные!

Он — ошибается, но я не возражал, пусть думает так, если это приятно или нужно ему.

— Почему вы не пишете об этих вопросах? — настойчиво попытывался он.

Я сказал, что вопросы о смысле бытия, о смерти, о любви — вопросы строго личные, интимные, вопросы только для меня. Я не люблю выносить их на улицу, а если, изредка, невольно делаю это — всегда неумело, неуклюже.

— Говорить о себе — тонкое искусство, я не обладаю им.

Зашли в Летний сад, сели на скамью. Глаза Блока почти безумны. По блеску их, по дрожи его холодного, но измученного лица я видел, что он жадно хочет говорить, спра-

шивать. Растирая ногою солнечный узор на земле, он упрекнул меня:

— Вы прячетесь. Прячете ваши мысли о духе, об истине. Зачем?

И, раньше чем я успел ответить, он заговорил о русской интеллигенции надоевшими словами осуждения, эти слова особенно неуместны теперь, после революции.

Я сказал, что, по моему мнению, отрицательное отношение к интеллигенции есть именно чисто «интеллигентское» отношение. Его не мог выработать ни мужик, знающий интеллигента только в лице самоотверженного земского врача или преподобного сельского учителя; его не мог выработать рабочий, обязанный интеллигенту своим политическим воспитанием. Это отношение ошибочно и вредно, не говоря о том, что оно вычеркивает уважение интеллигенции к себе, к своей исторической и культурной работе. Всегда, ныне и присно наша интеллигенция играла, играет и еще будет играть роль ломовой лошади истории. Неустанной работой своей она подняла пролетариат на высоту революции, небывалой по широте и глубине задач, поставленных ею к немедленному решению.

Он, кажется, не слушал меня, угрюмо глядя в землю, но когда я замолчал, он снова начал говорить о колебаниях интеллигенции в ее отношении к «большевизму» и, между прочим, очень верно сказал:

— Вызвав из тьмы дух разрушения, нечестно говорить: это сделано не нами, а вот теми. Большевизм — неизбежный вывод всей работы интеллигенции на кафедрах, в редакциях, в подполье...

С ним ласково поздоровалась миловидная дама, он отнесся к ней сухо, почти пренебрежительно, она отошла, смущенно улыбаясь. Глядя вслед ей, на маленькие, неуверенно шагавшие ноги, Блок спросил:

— Что думаете вы о бессмертии, о возможности бессмертия?

Спросил настойчиво, глаза его смотрели упрямо. Я сказал, что, может быть, прав Ламенн: так как количество материи во вселенной ограничено, то следует допустить, что комбинации ее повторяются в бесконечности времени бесконечное количество раз. С этой точки зрения возможно, что через несколько миллионов лет, в хмурый вечер петербургской весны, Блок и Горький снова будут говорить о бессмертии, сидя на скамье, в Летнем саду.

Он спросил:

— Это вы — несерьезно?

Его настойчивость и удивляла и несколько раздражала меня, хотя я чувствовал, что он спрашивает не из простого любопытства, а как будто из желания погасить, подавить некую тревожную, тяжелую мысль.

— У меня нет причин считать взгляд Ламеннэ менее серьезным, чем все иные взгляды на этот вопрос.

— Ну, а вы, вы лично, как думаете?

Он даже топнул ногою. До этого вечера он казался мне **сдержанным, неразговорчивым.**

— Лично мне — больше нравится представлять человека аппаратом, который претворяет в себе так называемую «мертвую материю» в психическую энергию и когда-то, в неизмеримо отдаленном будущем, превратит весь «мир» в чистую психику.

— Не понимаю, — панпсихизм, что ли?

— Нет. Ибо ничего, кроме мысли, не будет, все исчезнет, претворенное в чистую мысль; будет существовать только она, воплощая в себе все мышление человечества от первых проблесков до момента последнего взрыва мысли.

— Не понимаю, — повторил Блок, качнув головою.

Я предложил ему представить мир как непрерывный процесс диссоциации материи. Материя, распадаясь, постоянно выделяет такие виды энергии, как свет, электромагнитные волны, волны Герца и так далее, сюда же, конечно, относятся явления радиоактивности. Мысль — результат диссоциации атомов мозга, мозг создается из элементов «мертвой», неорганической материи. В мозговом веществе человека эта материя непрерывно превращается в психическую энергию. Я разрешаю себе думать, что когда-то вся «материя», поглощенная человеком, претворится мозгом его в единую энергию — психическую. Она в себе самой найдет гармонию и замрет в самосозерцании — в созерцании скрытых в ней, безгранично разнообразных творческих возможностей.

— Мрачная фантазия, — сказал Блок и усмехнулся. — Приятно вспомнить, что закон сохранения вещества против нее.

— А мне приятно думать, что законы, создаваемые в лабораториях, не всегда совпадают с неведомыми нам законами вселенной. Убежден, что, если б время от времени мы могли взвешивать нашу планету, мы увидели бы, что вес ее последовательно уменьшается.

— Все это — скучно, — сказал Блок, качая головою. — Дело — проще; дело в том, что мы стали слишком умны для того, чтоб верить в бога, и недостаточно сильны, чтоб

верить только в себя. Как опора жизни и веры, существуют только бог и я. Человечество? Но — разве можно верить в разумность человечества после этой войны и накануне неизбежных, еще более жестоких войн? Нет, эта ваша фантазия... жутко! Но я думаю, что вы несерьезно говорили.

Он вздохнул:

— Если б мы могли совершенно перестать думать хоть на десять лет. Погасить этот обманчивый, болотный огонек, влекущий нас все глубже в ночь мира, и прислушаться к мировой гармонии сердцем. Мозг, мозг... Это — ненадежный орган, он уродливо велик, уродливо развит. Опухоль, как зоб...

Помолчал, крепко сжав губы, потом сказал тихо:

— Остановить бы движение, пусть прекратится время...

— Оно прекратится, если придать всем видам движения одну и ту же скорость.

Блок взглянул на меня искоса, подняв брови, и быстро, неясно заговорил какими-то бредовыми словами, я перестал понимать его. Странное впечатление: казалось, что он срывает с себя изношенные лохмотья.

Неожиданно встал, протянул руку и ушел к трамваю. Походка его на первый взгляд кажется твердой, но, присмотревшись, видишь, что он нерешительно качается на ногах. И как бы хорошо ни был он одет, — хочешь видеть его одетым иначе, не так, как все. Гумилев даже в каком-то меховом костюме лопаря или самоеда кажется одетым, как все. А Блок требует одеяний необычных.

Только что записал беседу с Блоком — пришел матрос Балтфлота В. «за книжечками поинтересней». Он очень любит науку, ждет от нее разрешения всей «путаницы жизни» и всегда говорит о ней с радостью и верой. Сегодня он, между прочим, сообщил потрясающую новость:

— Знаете, говорят, будто один выученный американец устроил машинку замечательной простоты: труба, колесо и ручка. Повернешь ручку, и — все видно: анализ, тригонометрия, критика и вообще смысл всех историй жизни. Покажет машинка и — свистит!

Мне эта машинка тем особенно нравится, что — свистит.

В ресторане «Пекарь» барышня с Невского рассказывала мне:

— Это у вас книжечка того Блока, известного? Я его тоже знала, впрочем — только один раз. Как-то осенью,

очень поздно и, знаете, слякоть, туман, уже на думских часах около полуночи, я страшно устала и собиралась идти домой, — вдруг на углу Итальянской меня пригласил прилично одетый, красивый такой, очень гордое лицо, я даже подумала: иностранец. Пошли пешком, — тут, недалеко, по Караванной, десять, комнаты для свиданий. Иду я, разговариваю, а он — молчит, и мне было неприятно даже, необыкновенно как-то, я не люблю невежливых. Пришли, я попросила чаю; позвонил он, а слуга — не идет, тогда он сам пошел в коридор, а я так, знаете, устала, озябла и уснула, сидя на диване. Потом вдруг проснулась, вижу: он сидит напротив, держит голову в руках, облокотясь на стол, и смотрит на меня так строго — ужасные глаза! Но мне — от стыда — даже не страшно было, только подумала: «Ах, боже мой, должно быть, музыкант!» Он — кудрявый. «Ах, извините, говорю, я сейчас разденусь».

А он улыбнулся вежливо и отвечает: «Не надо, не беспокойтесь». Пересел на диван ко мне, посадил меня на колени и говорит, глядя волосы: «Ну, подремлите еще». И — представьте ж себе — я опять заснула, — скандал! Понимаю, конечно, что это нехорошо, но — не могу. Он так нежно покачивает меня и так уютно с ним, открою глаза, улыбнусь, и он улыбнется. Кажется, я даже и совсем спала, когда он встряхнул меня осторожно и сказал: «Ну, прощайте, мне надо идти». И кладет на стол двадцать пять рублей. «Послушайте, говорю, как же это?» Конечно, очень сконфузилась, извиняюсь, — так смешно все это вышло, необыкновенно как-то. А он засмеялся тихонько, пожал мне руку и — даже поцеловал. Ушел, а когда я уходила, слуга говорит: «Знаешь, кто с тобой был? Блок, поэт — смотри». И показал мне портрет в журнале, — вижу: верно — это он самый. «Боже мой, думаю, как глупо вышло».

И действительно, на ее курносом, задорном лице, в плутоватых глазах бездомной собачонки мелькнуло отражение сердечной печали и обиды. Отдал барышние все деньги, какие были со мной, и с того часа почувствовал Блока очень понятным и близким.

Нравится мне его строгое лицо и голова флорентинца эпохи Возрождения.

А. Н. Алексин умер так же легко и просто, как жил. Мне рассказали, что часа за два до смерти своей он пришел к себе в санаторию настроенный бодро, весело и, как всегда, начал шутить с больными, поддразнивать их. Вероятно, он говорил им то же самое, что говорил мне двадцать семь лет тому назад, в начале нашей крепкой дружбы.

Он часто повторял:

— Наиболее деятельным союзником болезни является уныние больного.

Он старался побороть это уныние, внушая больному бодрость грубовато-добродушным издевательством над страхом смерти, и всегда достигал желаемого: больной в своей борьбе за жизнь чувствовал в этом докторе умного и верного союзника.

В свой последний день он вышутил больных за то, что, боясь весенней свежести, сидели закрыв дверь в парк, сам открыл дверь, сел обедать с больными, а когда ветер притворил дверь, он, выругавшись, хотел встать со стула и почувствовал, что у него отнялась нога.

— Это, кажется, кондрашка, — сказал он и лишился сознания.

Все, кто знал Александра Алексина, согласятся, что это был человек интересный и, по-русски, разнообразно талантливый. К медицине он относился несколько скептически; возможно, что именно поэтому он так удачно лечил. Это был идеальный русский земский врач, «мастер на все руки», хирург и гинеколог, окулист и «спец» по туберкулезу. Его интуиция в деле распознавания болезней была поразительна. Помню — московская купчиха привезла в Ялту сына, девятилетнего мальчика. У него болела голова, он страдал рвотой, часто под влиянием боли кружился на одном месте, на его

мучнисто-бледном личике тускло светились серые глаза с расширенными очень жутко зрачками. Три доктора — Бородулин, старик Штангеев, автор солидной книги «Лечение легочных болезней», и еще кто-то — определили менингит. Алексин не согласился с их диагнозом.

Его плотная, несколько тяжелая медвежья фигура, грубоватое лицо, прямой, пристальный взгляд умных, насмешливых глаз и малословная, резковатая речь всегда возбуждали в людях доверие к нему, женщины же особенно легко подчинялись влиянию его воли, как бы сразу чувствуя его духовное и физическое здоровье. Мать больного мальчика, узнав, что Алексин не согласился с диагнозом коллег, привела к нему мальчика, это было при мне:

— Я верю вам, лечите его.

Он угрюмо предупредил, что хотя и не согласен с товарищами в определении болезни, но не понимает ее. Мать плакала, кричала, пыталась даже встать на колени, у нее были совершенно безумные глаза, дрожало лицо, она щелкала зубами. Мы, подняв ее с пола, положили на диван, Алексин дал ей вина с водой, наговорил ей попутно грубостей, — он часто грубил, чтоб скрыть свое волнение, — потом сказал:

— Ну, не кричите! Прошу понять: врачи не делают ни чудес, ни фокусов.

Помню, как неприятно поразило меня его дальнейшее поведение, он обращался с мальчиком так, что напомнил мне описания шаманства: громко шмыгая носом, — его привычка в затруднительных случаях, в моменты смущения, — сидя в кресле, отчаянно дыша дымом папиросы, он заставил больного бегать по столовой, потом, зажав его в коленях, начал говорить с ним о каких-то детских пустяках, пощекотал под мышками, заставив мальчугана визжать. Мать спросила о чем-то, он грубо ответил:

— Это не ваше дело.

Он увел мальчугана в кабинет к себе, вызвал там у него обильную рвоту, и мальчуган, давась, изрыгнул целый ком глистов.

— Гришка, — орал Алексин, испачканный, возбужденный до смешного, расталкивая стулья, — убирай!

А мальчик, извиваясь на коленях матери, стонал в приступах рвоты и все извергал глисты, — отвратительно было видеть обилие их.

Вечером, когда мы пили вино, я спросил:

— Как ты узнал, что это глисты?

— Да я не узнал, а — попробовал, — сказал он, усмехаясь.

Был страшно обрадован и рассказал мне, что известный гинеколог Снегирев предложил ему проводить в Москву, в клинику на операцию, даму, у которой он констатировал внематочную беременность.

— Еду я с ней и, знаешь, не верю в эту беременность, а она как на смерть собралась. Я и говорю ей: «А я вот не верю в вашу болезнь». В то время я был молодой еще, практиковал всего пятый год, однако она, вижу, слушает меня с надеждой. «Дайте, говорю, осмотреть вас». Согласилась. Остановились в Курске в гостинице, стал я осматривать ее и нечаянно прорвал нарыв на матке. Вот испугался! «Ну, думаю, убил бабу». А она, вижу, превосходно чувствует себя. Пролежала четверо суток, поехали дальше. Привез я ее не в клинику, а к мужу, он мне — полторы тысячи гонорария отвалил. Пили, конечно, с ним дня три по всем кабакам. Снегирев обиделся: «Вы, говорит, дерзки, молодой человек, могли убить ее». Ну, конечно, мог...

Таких случаев не мало было в его практике, вообще крайне удачной. Профессор Бобров, хирург, несколько раз приглашал его на консультации, и Алексин помогал ему даже на операциях.

— Ваш приятель — удивительно счастливый врач, — говорил мне Бобров, — у него совершенно исключительная интуиция, не знаю врача, у которого так тонко было бы развито чутье особенностей индивидуальности каждого больного.

Так же высоко оценивал талантливость Алексина дерматолог Ш., сифилидолог Тарновский.

— Пора бы вам, батенька, на кафедру, в университет, лентяй вы, да-с!

А. П. Чехов очень уважал Алексина как человека, но, должно быть, чувствуя, что этот человек не любит его, говорил:

— Ему слонов лечить, а не людей.

Видел я, как этот грубый вологодский мужик плакал от радости. В амбулаторию к нему гречанка принесла трехлетнюю девочку с огромным нарывом на шее, девочка умирала, лицо у нее было синее, глаза, синенькие и жалобные, закатывались, дыхание короткое, жадно хватающее воздух. Выхватив ребенка из рук матери, Алексин погрозил ей кулаком, крича:

— Ты бы, дура, еще подождала прийти, у-у! — И не-

позволительно обругал всех греков, включая древних, а потом начал орать:

— Софья — стол!

Огромная, уродливая, старая, — великолепная душа, — Софья Витютнева живо приготовила все потребное для операции, и Алексин тотчас же, рыча, дико ругаясь, начал резать шею ребенка. Тут был действительно потрясающий момент: когда облитая обильным гноем и кровью грудка девочки высоко поднялась, вздохнув свободно, и мертвенная синеватость лица стала исчезать, и полузакрытые глазки ее вдруг открылись, заблестели радостью возвращения к жизни, — из дерзких, насмешливых глаз ее спасителя полились слезы, он крикнул, не скрывая восторга:

— Софья, вытри мне морду, видишь — пот!

Она, улыбаясь, вытерла глаза и щеки его рукавом халата, отвернувшись, чтоб скрыть свои слезы, а доктор, накладывая повязку, бормотал:

— Что? Мигаешь? Ага-а То-то...

Потом, вымыв руки, одною рукой сунул гречанке три рубля, а другою, дергая ее за ухо, сказал:

— Следя за ребенком, следи, блоха!

Через несколько дней я зашел к нему в больницу, он держал веселую, черноволосенькую, синеглазую девочку на коленях у себя, играя с нею; он хвастливо, с гордостью сказал:

— Вот она! Видишь — какая?

А идя со мною по набережной Ялты в сад, он говорил:

— Дать жизнь ребенку — это и дурак может, а вот вырвать человечка из лап смерти — это может только наука.

Я несколько раз присутствовал при его операциях, он делал их всегда, исключая случай с девочкой, хладнокровно и даже с некоторой щеголеватостью мастера, уверенного в своем искусстве.

— Хуже всего переносят боль греки, затем наши крестьяне, терпеливее — татары, — говорил он.

Был он добр, хорошо, по-мужицки, незатейливо умен, очень терпимо относился к людям и небрежно к себе. Любил музыку, хорошо знал и понимал ее, играл на пианино и, обладая хорошим голосом, нередко с успехом пел в «благотворительных» концертах. Книг читал мало, даже и по своей специальности, а в часы отдыха любил читать ноты; ляжет на диван, почему-то сняв один ботинок с ноги, возьмет Бетховена, Моцарта, Баха или какую русскую оперу и читает, молча или напевая с закрытым ртом. Его очень любили женщины, он щедро платил им тем же, и на протяжении двад-

цати с лишним лет моей с ним дружбы ни один из его романов не окончился драмой. У него была очень развита здоровая брезгливость к излишествам лирики и «психологии».

— Избыток хотя бы и драгоценных камней — уже пошлость, — говорил он.

Но в то же время он обладал тонко разработанным чутьем эстетики сексуализма, и, когда говорил о любимой женщине, я всегда чувствовал, что он говорит о партнерше, с которой ему предречено спеть дуэт во славу радости жизни.

Его первой женой была очень известная в свое время концертная певица контральто Якубовская, она умерла после родов, он говорил о ней всегда с печалью и морщась при воспоминании о той глубокой боли, которую причинила ему смерть, похитив женщину.

— Я, знаешь, решил идти на сцену, но, когда она умерла, сказал себе: нет, буду лечить людей.

Он лечил композитора Калининкова, безнадежно больного.

— Умрет, черт возьми, — говорил он, крепко потирая лоб. — Невыносимо досадно, а спасти — нельзя. Знал бы ты, какой это талант... Если б я встретил его месяца на три раньше, можно бы протянуть несколько лет. А теперь ткань легких расплзается у него, как гнилая тряпка.

Был он сын сельского попа Вологодской губернии, в университет пошел против воли отца.

— Говорю ему: «Отец, я хочу в университет, учиться». — «Прокляну!» — «Серьезно?» — «Как бог свят — прокляну!» — «Что же — проклинай». Не проклял, хотя был мужик твердого характера.

Был у него слуга Григорий, черноволосый тамбовский мужик, очень умный и влюбленный в доктора, как нянька в ребенка. Часто вечерами он приходил в кабинет Алексина и спрашивал, стоя в дверях:

— Можно с вами поговорить?

— Иди, садись, черт.

Григорий садился на диван у ног Алексина и заводил философическую беседу:

— Не понимаю, я, Александр Николаевич, какой у бога расчет детей морить? Экономии не вижу я в этом...

Вспоминается Александр Васильевич Панов, один из тех людей, которые всю жизнь свою, все силы затратили скромно и бесшумно на то, чтоб подготовить социально-геологический переворот в России. Я знал его, когда он одиноко и беспомощно валялся в маленькой, до потолка набитой книгами комнате, задыхаясь в водянке, развившейся на почве туберкулеза. Всю жизнь Панова, — как многих, подобных ему, — гоняли из города в город, из тюрьмы в тюрьму, но где бы он ни оставался, хотя ненадолго, он немедленно обрастал книгами. Казалось, книги падали к нему с небес, высккивали из-под земли, и в большинстве это были те «изъятые из обращения» книги, в которых наиболее ярко блестела свободная и тем самым всегда революционная мысль. Этот костер книг, вытесняя из комнаты воздух, которого легким Панова и без того не хватало, привлекал к поднадзорному, окруженному шпионами человеку десятки юношей и девиц, «взыскующих света истины». Они являлись к нему по ночам, иногда — перелезая через забор, проникая в комнату его через окно, сидели у него до утра, а он, похлопывая ладонью по страницам, задыхаясь, кашляя, сиповатым голосом учил их читать между строк. Распухшие ноги его были обвязаны влажными тряпками, кожа на них лопалась, сочилась водою, он полулежал на койке, едва двигая руками, его синеватое, отечное лицо уже казалось мертвым, но на нем упрямо, неугасимо горели глаза аскета и святого.

Книга для него была священным фетишем, он относился к ней ревниво, бережно, и когда один из мальчиков-читателей потерял какую-то редкую книгу, Панов, взволнованный утратой, сокрушенно сказал ему:

— Как же это, а? Эх, вы! Поймите: ведь через тридцать-сорок лет вы умрете, а эта книга — вечная, вечная!

Он обладал высшей степенью неизбежной для проповедника

веры в монументальную вечность книжных истин и, казалось, физически, пальцами ощущал гранит и бронзу слов: «Мысль и свобода — прежде всего!»

Страстная нетерпимость пророка соединялась в нем с удивительной нежностью к молодежи и вообще к людям. Возбуждая интеллект на борьбу с тяготением инстинкта к покою, он бывал суров, беспощаден, но это не мешало ему быть удивительно терпимым к ошибкам и заблуждениям слабовольных.

К нему проник некто Веткин, белобрысый робкий юноша, но после нескольких бесед с ним сказал:

— Я больше к вам не приду, я — шпион, служу в жандармском управлении; я обязан ходить к вам, но — не могу, сил нет...

Панов очень удивился, забормотал:

— Как же это? Зачем это вы? И совсем не похожи вы на шпиона...

Потом — решил:

— Нет, вы все-таки ходите ко мне, а то — как же вы откажетесь? Это может повредить вам, а ко мне приставят другого, хуже вас. Нет, уж вы ходите и учитесь понемножку, потом будете порядочным человеком служить народу...

Шпион расплакался, ушел и вскоре исчез из города.

— Ужасно рано умираю я, — жаловался Панов. — Так досадно. Безобразие...

Было совершенно ясно, что эта жалоба выражает не предсмертную тоску, а лишь обиду человека, который хорошо знает, что его работа необходима, но — вот, надо умирать. Нелепо.

Жандармский полковник Попов говорил о нем водочному заводчику Долгову:

— Мы знаем, что это — вреднейший человек и его надо ликвидировать, но — болен он и вообще — руки не поднимаются на него. Впрочем, надеемся, что скоро умрет.

Панов очень скоро оправдал надежду полковника.

В первый раз я услышал имя Леонида Красина из уст Н. Г. Гарина-Михайловского; это было в Самаре в 95—6 годах. Убеждая меня в чем-то, в чем я не мог убедиться, Гарин пригрозил:

— Вас надо познакомить с Леонидом Красиным, он бы с вас в один месяц все анархические шишки сточил, он бы вас отшлифовал!

Угроза эта вызвала в памяти моей образ Павла Скворцова, нижегородца, одного из первых марксистов, фанатика книги, не симпатичного мне. В течение десяти лет я встретил на путях моих не мало апостолов, и мне уже казалось, что все они требуют одного: чтоб личный опыт мой я, как можно скорее и с явным ущербом для опыта, уложил в предлагаемые ими формы.

Зимой 1903 года я жил в курорте Сестрорецк, один в огромной комнате; она во время сезона служила, кажется, «пневматическим ингалятором», ее освещали два окна, выходявшие в парк, окна были высокие и шире дверей, но мелкие переплеты их рам напоминали о тюремных решетках. Труба парового отопления каждое утро шипящим голосом спрашивала:

— Не хотите ли рыбы?

Кроме меня, в курорте жила А. Г. Достоевская, банщик Прохоров рассказал мне, что это вдова кавказского генерала Грибоедова, казненного за измену царю Николаю I, почему она и живет под чужой фамилией.

Я был предупрежден, что ко мне придет «Никитич», недавно кооптированный в члены ЦК, но, когда увидал в окне, что по дорожке парка идет элегантно одетый человек в котелке, в рыжих перчатках, в щегольских ботинках без галош, я не мог подумать, что это он и есть «Никитич».

— Леонид Красин, — назвал он себя, пожимая мою руку

очень сильной и жесткой рукой рабочего человека. Рука возбуждала доверие, но костюм и необычное, характерное лицо все-таки смущали, — время было «зубатовское», хотя и на ущербе. Вспоминались слова Гарина, Павел Скворцов, десятки знакомых мне активных работников партии, всегда несколько растрепанных, усталых, раздраженных. Этот не казался одетым для конспирации «баринном», костюм сидел на нем так ловко, как будто Красин родился в таком костюме. От всех партийцев, кого я знал, он резко отличался — разумеется не только внешним лоском и спокойной точностью речи, но и еще чем-то, чего я не умею определить. Он представил вполне убедительные доказательства своей «подлинности», да, это — «Никитич», он же Леонид Красин. О «Никитиче» я уже знал, что это один из энергичнейших практиков партии и талантливых организаторов ее.

Он сел к столу и тотчас же заговорил, что, по мысли Ленина, необходимо создать кадр профессиональных революционеров, интеллигентов и рабочих.

— Так сказать — мастеров, инженеров, наконец — художников этого дела, — пояснил он, улыбаясь очень хорошей улыбкой, которая удивительно изменила его сухоощавое лицо, сделав его мягче, но не умаляя его энергии.

Затем он сообщил о намерении партии создать общерусский политический орган социал-демократии.

— На все это нужны деньги. Так вот, мы решили просить вас: не можете ли вы использовать ваши, кажется, приятельские отношения с Саввой Морозовым? Конечно, — наивно просить у капиталиста денег на борьбу против него, но — «чем черт не шутит, когда бог спит!» Что такое этот Савва?

Внимательно выслушав характеристику Морозова, постукивая пальцами по столу, он спросил:

— Так, значит, попробуете? И даже имеете надежду на успех? Чудесно.

Эту часть беседы он кончил быстро, и все вышло у него так округленно, законченно, что уже нечего было добавить, не о чем спросить. Затем, с увлечением юноши, он начал рассказывать о борьбе Ленина с экономистами, ревизионистами и закончил памятным пророчеством:

— Вероятно — расколется. Ленина это не пугает. Он говорит, что разногласия организаторов и вождей — верный признак роста революционного настроения масс. Как будто — он прав, но как будто — несколько торопится. Но пока он еще не ошибался, забегая вперед.

Прохоров принес самовар, за чаем Красин начал говорить о литературе, удивляя меня широкой начитанностью, говорил о театре, восхищаясь В. Ф. Комиссаржевской, Московским Художественным. Когда я сказал, что пьесы Чехова следовало бы ставить не как лирические драмы, а как лирические комедии, он расхохотался.

— Но ведь это был бы почти скандал! — вскричал он, но затем полусогласился:

— Может быть, вы правы, пожалуй, как комедии они более отвечали бы слагающейся социальной обстановке и настроению молодежи. Панихиды — не ко времени, хотя и красивы.

Рассказал, посмеиваясь, о своем посещении Льва Толстого.

— Тогда я был солдат и только что, так сказать, внюхался в Маркса.

Рассказывал он живо, прекрасно, с веселым юмором, в память мою крепко врезалось сердитое лицо Толстого и колочий взгляд его глаз.

Через три часа Леонид Борисович ушел к поезду в Петербург, сказав мне на прощанье:

— Вы тут — точно муха на лысине, сыщикам очень удобно следить за теми, кто у вас бывает. Предупреждаю: за мной хвостов нет. Я — человек без тени, как Питер Шлемиль.

Свидание с Морозовым состоялось через три дня. Аккуратно и внимательно читая «Искру» и вообще партийную литературу, Савва был знаком с позицией Ленина, одобрял ее, и, когда я предупредил его, с кем он будет говорить, он сказал ничего не обещающее слово:

— Поговорим.

Чтобы последующее не удивило читателя так, как тогда оно удивило меня, я нахожу нужным сказать здесь несколько слов о Савве Морозове. Я познакомился с ним в 1901 году, и за два года между нами образовались отношения дружбы, мы даже говорили на «ты», к чему я вообще не склонен. Морозов был исключительный человек по широте образования, по уму, социальной прозорливости и резко революционному настроению. Настроение это возникло у него медленно и постепенно, но и за семь лет пред этим он не скрывал своего «радикализма».

В 96 году, в Нижнем, на заседании одной из секций Всероссийского торгово-промышленного съезда обсуждались вопросы таможенной политики. Встал, возражая кому-то, Дмитрий Иванович Менделеев и, потрянув львиной головой, раздраженно заявил, что с его взглядами был солидарен сам Александр III. Слова знаменитого химика вызвали смущенное молчание.

Но вот из рядов лысин и седин вынырнула круглая, гладко остриженная голова, выпрямился коренастый человек с лицом татарина и, поблескивая острыми глазками, звонко, отчетливо, с ядовитой вежливостью сказал, что выводы ученого, подкрепляемые именем царя, не только теряют свою убедительность, но и вообще компрометируют науку. В то время это были слова дерзкие. Человек произнес их, сел, и от него во все стороны зала разлилась, одобрительно и протестующе, волна негромких, ворчливых возгласов.

Я спросил: кто это?

— Савва Морозов.

...Через несколько дней в ярмарочном комитете всероссийского купечества разговаривало об отказе Витте в ходатайстве комитета о расширении срока кредитов государственного банка. Ходатайство было вызвано тем, что в этот год нижегородская ярмарка была открыта вместе с выставкой, на два месяца раньше обычного. Представители промышленности говорили жалобно и вяло, смущенные отказом.

— Беру слово! — заявил Савва Морозов, привстав и опираясь руками о стол. Выпрямился и звонко заговорил, рисуя широкими мазками ловко подобранных слов значение русской промышленности для России и Европы. В памяти моей осталось несколько фраз, сильно подчеркнутых оратором:

— У нас много заботятся о хлебе, но мало о железе, а теперь государство надо строить на железных балках... Наше соломенное царство не живуче... Когда чиновники говорят о положении фабрично-заводского дела, о положении рабочих, вы все знаете, что это — «положение во гроб»...

В конце речи он предложил возобновить ходатайство о кредите и четко продиктовал текст новой телеграммы Витте, — слова ее показались мне резкими, задорными. Купечество оживленно, с улыбочками и хихикая, постановило: телеграмму отправить. На другой день Витте ответил, что ходатайство комитета удовлетворено.

Дважды мелькнув предо мною, татарское лицо Морозова вызвало у меня противоречивое впечатление: черты лица казались мягкими, намекали на добродушие, но в звонком голосе и остром взгляде пронизательных глаз чувствовалось пренебрежение к людям и привычка властно командовать ими. Не преувеличивая, можно сказать, что он почти ненавидел людей своего сословия, о тех, которые «либеральничали» в 1901—5 годах, он говорил:

— Щенки. Играют

Он вообще говорил о промышленниках с иронией, и, кажется,

ся, друзей среди них у него не было. Может быть, лучше всего говорит о нем тот факт, что рабочие Орехова-Зуева не поверили в его смерть, а объяснили ее так: Савва бросил все свои дела, «пошел в революционеры» и под чужим именем ходит по России, занимаясь пропагандой. Это говорилось даже в 1914 году.

А некто Марк Азадовский в книжке «Беседы собирателя», изданной в 24 году Восточносибирским отделом географического общества, сообщает, что в 15 году им записана на реке Лене такая легенда:

«Во время войны с японцами Савва Морозов пожертвовал миллион аршин полотна на солдат. Пожертвовал он их великому князю. Вот сколько-то времени прошло, заходит Савва Морозов в лавку купить там что-то и видит: его полотно продают. Значит, смошейничали. Он возьми да и скажи об этом великому князю. Тот в обиду принял. Велит арестовать за эти слова Савву Морозова. Как Савву Морозова арестовали, тут заводы остановились, работы нету — что тут будешь делать. Устроили рабочие забастовку и пошли к царю просить, чтоб Савву Морозова освободили. А царь их всех перестрелял. 9 января это было».

Для того, чтоб после 1906 года в памяти рабочих удержалась такая легенда, необходимо, чтоб личность ее героя очень много говорила социальному чутью людей труда.

Деловая беседа фабриканта с профессиональным революционером, разжигавшим классовую вражду, была так же интересна, как и коротка. Вначале Леонид заговорил пространно и в «популярной» форме, но Морозов, взглянув на него острыми глазами, тихо произнес:

— Это я читал, знаю-с. С этим я согласен. Ленин — человек зоркий-с.

И красноречиво посмотрел на свои скверненькие, капризные часы из никеля, они у него всегда отставали или забегали вперед на двенадцать минут. Затем произошло приблизительно следующее:

— В какой же сумме нуждается? — спросил Савва.

— Давайте больше.

Савва быстро заговорил, — о деньгах он всегда говорил быстро, не скрывая желаний скорее кончить разговор.

— Личный мой доход ежегодно в среднем шестьдесят тысяч, бывает, конечно, и больше, до ста. Но треть обыкновенно идет на разные мелочи, стипендии и прочее такое. Двадцать тысяч в год — довольно-с?

— Двадцать четыре — лучше! — сказал Красин.

— По две в месяц? Хорошо-с

Леонид усмехнулся, взглянув на меня, и спросил: нельзя ли получить сразу за несколько месяцев?

— Именно?

— За пять, примерно?

— Подумаем.

И, широко улыбаясь, пошутил:

— Вы с Горького больше берите, а то он извозчика нанимает за двугривенный, а на чай извозчику полтинник дает.

Я сказал, что фабрикант Морозов лакеям на чай дает по гривеннику и потом пять лет вздыхает по ночам от жадности, вспоминая, в каком году монета была чеканена.

Беседа приняла веселый характер, особенно оживлен и остроумен был Леонид. Было видно, что он очень нравится Морозову, Савва посмеивался, потирая руки. И неожиданно спросил:

— Вы — какой специальности? Не юрист ведь?

— Электротехник.

— Так-с.

Красин рассказал о своей постройке электростанции в Баку.

— Видел. Значит, это — ваша? А не могли бы вы у меня в Орехове-Зуеве установку освещения посмотреть?

В нескольких словах они договорились съездить в Орехово, а, кажется, с весны 1904 года Красин уже работал там. Затем они отправились к поезду, оставив меня в некотором разочаровании. Прощаясь, Красин успел шепнуть мне:

— С головой мужик!

Я воображал, что их деловая беседа будет похожа на игру шахматистов, что они немножко похитрят друг с другом, поспорят, порисуются остротой ума. Но все вышло как-то слишком просто, быстро и не дало мне, литератору, ничего интересного. Сидели друг против друга двое резко различных людей, один среднего роста, плотный, с лицом благообразного татарина, с маленькими, невеселыми и умными глазами, химик по специальности, фабрикант, влюбленный в поэзию Пушкина, читающий на память множество его стихов и почти всего «Евгения Онегина». Другой — тонкий, сухощавый, лицо, по первому взгляду, как будто «суздальское», с хитрецей, но, всмотревшись, убеждаешься, что этот резко очерченный рот, хрящеватый нос, выпуклый лоб, разрезанный глубокой складкой, — все это знаменует человека, по-русски обаятельного, но не по-русски энергичного.

Савва, из озорства, с незнакомыми людьми притворялся простаком, нарочно употребляя «слово-ер-с», но с Красиным он скоро оставил эту манеру. А Леонид говорил четко, ясно, затрачивая на каждую фразу именно столько слов, сколько она требует для полной точности, но все-таки речь его была красочна, исполнена неожиданных оборотов, умело взятых поговорок. Я заметил, что Савва, любивший русский язык, слушает речь Красина с наслаждением.

Сближение с Красиным весьма заметно повлияло на него, подняв его настроение, обычно невеселое, скептическое, а часто и угрюмое. Месяца через три он говорил мне о Леониде:

— Хорош. Прежде всего — идеальный работник. Сам любит работу и других умеет заставить. И — умен. Во все стороны умен. Глазок хозяйский есть: сразу видит цену дела.

Другой раз он сказал:

— Если найдется человек тридцать таких, как этот, они создадут партию крепче немецкой.

— Одни? Без рабочих?

— Зачем? Рабочие с ними пойдут...

Он говорил:

— Хоть я и не народник, но очень верую в силу вождей.

И каламбурил:

— Без вожжей гоголевская тройка разнесет экипаж вместе со всеми ненужными и нужными седоками.

Красин в свою очередь говорил о Савве тоже хвалебно.

— Европейец, — говорил он. — Рожца монгольская, а — европейец!

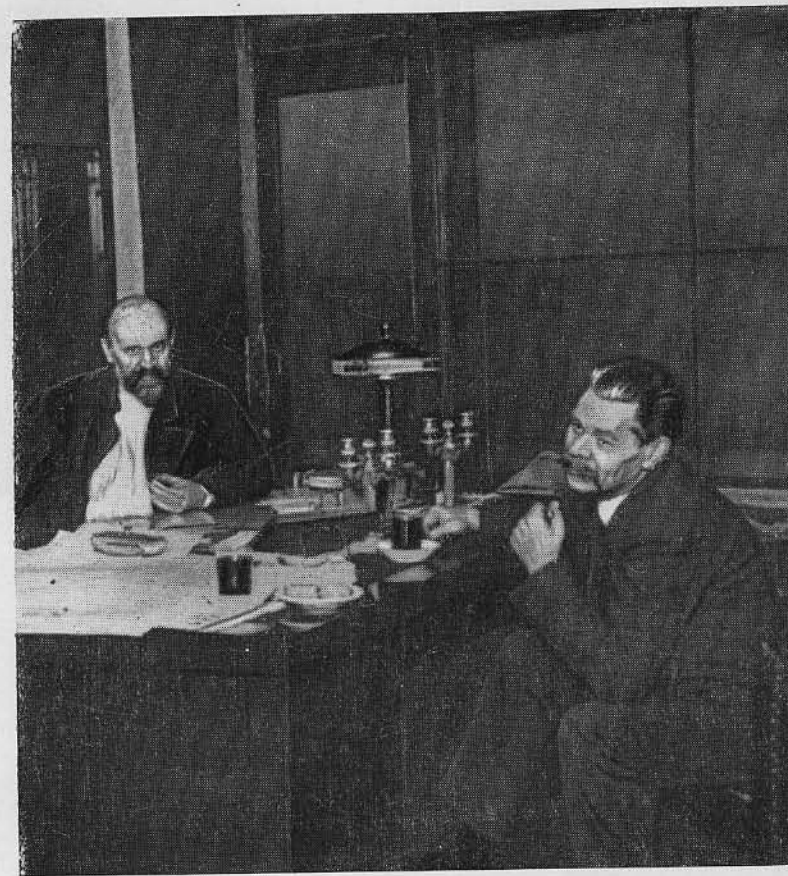
Усмехаясь, он прибавил:

— Европейец по-русски, так сказать. Я готов думать, что это — новый тип, и тип с хорошим будущим.

В 1905 году, когда, при помощи Саввы, в Петербурге организовывалась «Новая жизнь», а в Москве «Борьба», Красин восхищался:

— Интереснейший человек Савва! Таких вот хорошо иметь не только друзьями, но и врагами. Такой враг — хороший учитель.

Но, расхваливая Морозова, Леонид в сущности себя хвалил, разумеется, не сознавая этого. Его влияние на Савву для меня несомненно, я видел, как Савва, подчиняясь обаянию личности Л. Б., расцвет, становится все бодрее, живей и все более беззаботно рискует своим положением. Это особенно ярко выразилось, когда Морозов, спрятав у себя на Спиридоновке Баумана, которого шпионы преследовали по пятам, возил его, наряженного в дорожную шубу, в Петровский парк, на прогулку. Обая-



И. И. Скворцов-Степанов и А. М. Горький
в редакции газеты «Известия», 1928 г.

Н. П. и А. А. Семеновы.



А. А. Семенов.

ние Красина вообще было неотразимо, его личная значительность сразу постигалась самыми разнообразными людьми.

После слуха о его аресте на квартире Леонида Андреева, вместе с другими членами ЦК, В. Ф. Комиссаржевская говорила мне:

— Моя первая встреча с ним была в Баку. Он пришел просить, чтоб я устроила спектакль в пользу чего-то или кого-то. Очень хорошо помню странное впечатление: щеголеватый мужчина, ловкий, веселый, сразу видно, что привык ухаживать за дамами и даже несколько слишком развязан в этом отношении. Но и развязан как-то особенно, не шокируя, не раздражая. Ничего таинственного в нем нет, громких слов не говорит, но заставил меня вспомнить героев всех революционных романов, прочитанных мною в юности. Никак не могла подумать, что это революционер, но совершенно ясно почувствовала, что пришел большой человек, большой и по-новому новый. Потом, когда мне сказали, что он был в ссылке, сидел в тюрьмах, я и в это не сразу поверила.

— Чудовищно энергичен, — говорил о Леониде в 20 году известный электротехник-профессор. — И — удивительно организованы внешние проявления его энергии и в слове и в деле.

И так всегда, все видели, что Леонид Красин, «Никитич», «Винтер», «Зимин», — исключительный человек.

— Не знаю товарища, который был бы так надежно наш, как «Никитич», — сказал о нем мой земляк «выборжец» П. А. Скороходов во дни наступления Юденича на Петербург, как раз в тот день, когда отряды Юденича, наступая на Тосно, грозили отрезать Петербург от Москвы.

В тот день многие в Петербурге растерялись, подчиняясь панике, а Леонид, стоя у окна в моей квартире на Кронверкском и слушая, как бухает пушка броненосца, ворчал:

— В Гавани, вероятно, крыши сносит с домов и все стекла в окнах к черту летят. Раззор!

Кто-то спросил его:

— Отразим?

— Конечно, прогоним. Дураки — убегут, а убытки останутся.

И удивленно передернул плечами:

— Чего лезут, черт их побери? Ведь и слепому ясно, что дело их — дохлое.

Затем пожаловался:

— Ну, и накурено у вас! Дышать нечем!

Он возбуждал к себе в людях настолько глубокую симпа-

тию, что иногда она принимала характер романтический. Я знаю, что по его слову люди благодарно и весело шли на самые рискованные предприятия.

Знаменитый «Камо», «Черт»-Богомоллов, Грожан, убитый в Москве черной сотней, один из тех рабочих, с которыми Леонид устраивал подпольную типографию в 1904 году в Москве, кажется, на Лесной улице, — все, кого я знал и кто знал Красина, говорили о нем, как о человеке почти легендарном.

И, может быть, лучше всех сказал о нем мой друг, доктор Алексин, человек, относившийся к революции равнодушно, к революционерам — скептически, находя, что «от них пахнет непрожеванными книгами», — сам он никаких книг не «жевал». Однажды я сидел с доктором у Леонида Андреева, в Грузии, а Красин приехал туда за мною по какому-то делу. Андреев был плохо настроен и как-то неловко, неуместно заговорил, что он не может верить в благотворное воздействие революции на людей. Красин тоже был не в духе, озабочен; послушав пессимистические изъяснения хозяина, он спросил:

— Если вы утверждаете, что мыться не стоит, и зачем же мыло варить? А ведь вы написали «Василия Фивейского», «Красный смех» и еще немало вещей, революционное значение которых — вне спора.

И, как это нередко бывало с Леонидом Борисовичем, он вдруг вспыхнул, засверкал красивыми глазами и произнес одну из тех речей, которые, если и не могут убедить противника, то совершенно обезоруживают его. Все знают, как великолепно мог говорить Красин, когда бывал «в ударе». И во время его речи доктор Алексин шепотом сказал мне:

— Вот от этого пахнет историей.

В Куоккале и на Капри, в Берлине, где Красин, работая у Сименса-Шукнерта или у Сименса-Гальске за триста марок в месяц, едва перебивался с семьей, в моей квартире, в доме, где теперь ВЦИК, в Петербурге, работая по установке освещения на военных судах, везде, где «Никитич» встречался со мной, он вызывал у меня впечатление человека несокрушимой, неисчерпаемой энергии. Известно, что он не сразу пошел работать с советской властью, у него, как у многих в 17—18 годах, были колебания.

— Не сладят, — говорил он мне. — Но, разумеется, эта революция даст еще больше бойцов для будущей, несравнимо больше, чем дали пятый, шестой год. Третья революция будет окончательной и разразится скоро. А сейчас будет, кажется, только анархия, мужицкий бунт.

Но он скоро убедился, что «сладят», и тотчас же встал на

работу. И тотчас же предложил мне организовать «Комиссию по улучшению быта ученых».

— Если буржуазия умела — хотя и не очень ловко — пользоваться силами квалифицированной интеллигенции, тем более должны уметь делать это мы, — говорил он. — Ильич совершенно согласен со мною, необходимо дать ученым все, что только мы можем дать в этих дьявольски трудных условиях.

Еще раньше этого, весной 17 года, он способствовал возникновению «Ассоциации по развитию и распространению положительных наук», в члены которой, вместе с такими учеными, как академики Марков, Федоров, Стеклов, как Лев Чугаев, Заболотный, Филипченко, Петровский, Костычев и другие, вошли также и капиталисты — Нобель, Улеман и еще кто-то. Целью «Ассоциации» было организовать в России ряд научно-исследовательских институтов.

По инициативе Красина же учреждена в Петербурге «Экспертная комиссия», на обязанности которой возложен был отбор вещей, имевших художественную, историческую или высокую материальную ценность, в петербургских складах и на бесхозяйственных квартирах, подвергавшихся разграблению хулиганами и ворами. Эта комиссия сохранила для Эрмитажа и других музеев Петербурга сотни высокоценных предметов искусства.

На мой взгляд, для большинства людей дело — ярмо. И даже для многих, зараженных жадностью к наживе, дело все-таки — хомут, а они — волы и рабы. Но есть художники нашего, земного дела, для них работа — наслаждение. Леонид Красин был из тех редких людей, которые глубоко чувствуют поэзию труда, для них вся жизнь — искусство.

В 90 или 91 году, в Н.-Новгороде у адвоката Щеглова Павел Скворцов, один из первых проповедников Маркса, читал свой доклад на тему об экономическом развитии России. Читал Скворцов невнятно и сердито, простудно кашлял, задыхался дымом папиросы. Слушали его люди новые для меня и крайне интересные: человек пять либеральных адвокатов, И. И. Сведенцов, старый, угрюмый народоволец-беллетрист, много писавший под псевдонимом Иванович; благожелательный барин-революционер А. И. Иванчин-Писарев; Аполлон Карелин, длинноволосый, как поэт Фофанов; Н. Н. Фрелих, красавец, о котором я знал, что он тоже революционер. Было и еще несколько таких же солидных людей, с громкими именами, с героическим прошлым.

Когда Скворцов кончил читать, на него почти все закричали, но особенно яростно — брат казненного Степана Ширяева, Петр, человек бородатый, с лицом алкоголика. Грубо кричал Сведенцов, ему вторил Егор Васильевич Барамзин, тяжело переживавший в то время свой отход от народничества к марксизму. Скворцов огрызнулся во все стороны, размахивая длинным камышовым мундштуком, но сочувствующих ему в гостиной не было, его не слушали, забивали криками, уже оскорбляли. Сведенцов, сказав что-то очень сильное, проклинаящее, парадно отошел в угол, в облако синего дыма, а навстречу ему из угла поднялся плотный человек, седоватый, с красным лицом и в костюме более небрежном, чем на всех остальных; не то чтоб он был бедно одет, но именно небрежно, как человек, не чувствующий нужды украшать себя извне.

— Я протестую, господа, — сказал он неожиданно молодым голосом; глаза у него тоже были очень молодые, ясные; помню, я подумал: «Вот удивительные глаза».

Откровенно подпернув брюки, что вышло у него вовсе не смешно, он выдвинулся из дыма и горячо, но не сердито, а как-

то особенно неоспоримо и внушительно стал говорить об уважении к человеку и свободе человеческой мысли. Мне очень понравилась необыкновенная ясность его речи, умелый подбор простых, но веских слов, они ложились в память, как слова песни.

— Человеческая мысль, стремясь разрешить загадки жизни, имеет право ошибаться, — сказал он между прочим.

Эти слова прились мне так по душе, что я впоследствии попросил Николая Федоровича написать их на оттиске его статьи «О катедер-социалистах».

Расхаживая «на поисках истины» из квартиры в квартиру «неблагонадежных» людей, я несколько раз встречал Н. Ф. у Н. И. Дрягина, где собирались воспитанные Анненским известнейшие статистики: Кисляков, Константинов, остроносый Шмит, маленький М. А. Плотников и много других людей.

Каждая встреча с Николаем Федоровичем вызывала у меня удивление перед этим человеком и углубляла уважение к нему. Удивляла меня бодрость его духа, его вера в добрые силы жизни, его рыцарское отношение к человеку.

Во время столкновения двух миропониманий, непримиримых по сущности своей, были люди, переживавшие свой личный раскол глубоко и тяжело, но встречалось немало любителей новизны, которые слишком торопливо натягивали европейский костюм марксизма на русский зипун народничества. Не один раз случалось мне наблюдать, с какой удивительной чуткостью, как бережно относился Н. Ф. к первым и с каким безжалостным остроумием обнажал он суетливую поспешность вторых.

В речах своих он был юношески горяч, великолепно владел острым словом, метко, как художник, попадал им в цель; он умел высмеять противника, даже немножко уязвить его, но я не помню случая, когда бы его слово обидно задело человека. Всегда бывало так, что противник вместе с другими искренно смеялся над тем, как Н. Ф., поймав его на противоречиях, ставил в тупик. Помню, возражая Барамзину, он так и начал:

— Рыбу ловят на червей, человек — на противоречиях.

Он был по-русски красноречив, и особенно подкупало меня блестящее умение, с которым он владел афоризмом, этой характерной особенностью подлинной русской речи. Точно фольклорист, он знал бесчисленное количество пословиц, поговорок и

артистически вплетал их в свою яркую речь, однако не перегружая ее. Не знаю, это ли называется «талантом оратора», но слушать его было наслаждением. Помню, что по поводу какой-то статьи М. Меньшикова о Льве Толстом или о князе Вяземском, толстовце, он сказал:

— Верблюд, рассказывая о коне, неизбежно изобразит его горбатым.

Два человека были для меня в ту пору «настоящими» — В. Г. Короленко, который всегда знал, что надобно делать, и говорил о трудных делах жизни со спокойствием стойка, и Н. Ф. Анненский, чья духовная бодрость действовала благотворно на меня, переживавшего в ту пору весьма тяжелые дни. Конечно, эта бодрость заражала всех, кто знал его, но мне она была действительно «лекарством по недугу».

В лице Н. Ф. я видел человека, который счастлив тем, что он живет, и тем, что умеет наслаждаться делом, которое он делает.

Через десять лет я видел Н. Ф. в Петербурге, на демонстрации 4 марта. Как раз в тот момент, когда казаки и полиция со свирепостью, которая вначале показалась мне наигранной и театральной, — так неестественно внезапно была она, — так вот в минуту, когда пьяное воинство бросилось в толпу демонстрантов, тесно сгрудившуюся на паперти и на крыльях между колонн Казанского собора, я увидел характерную фигуру Николая Федоровича.

Он один бежал от монумента Баркляя де Толли встречу публики, стремительно спасавшейся от избияния, бежал к паперти, где уже сверкали шашки, шлепали нагайки, мелькал красный флаг и откуда раздавался оглушительный, тысячеустый вой, рев, стон. Казаки, ловко повертывая лошадей в людском потоке, гикали, сбивали бежавших с ног, хлестали нагайками по головам. Пешая полиция била шашками плащмя. Полицейские были, кажется, трезвы, а казаки — пьяны, это я знаю совершенно точно, видел, как легко стаскивали их за ноги с лошадей и выбивали палками из седел. Николая Федоровича я, конечно, тотчас потерял из глаз.

Вечером он пришел в Дом литераторов с разбитым и опухшим лицом. Битых людей в тот день я видел немало, и хотя это грустно, а надо сказать правду: очень многие из них оценивали синяки и царапины свои несколько высоко, как, примерно, солдаты — георгиевский крест. В этой повышенной оценке чувствовалось нечто смешное и конфузившее, ибо ведь шишка

от удара на затылке человека не всегда свидетельство мужества его.

У Н. Ф. был очень большой синяк под глазом и, если не ошибаюсь, была разбита губа. Но казалось, что он забыл об этом или вообще не заметил. Все другие тоже как будто не замечали этого, а когда Н. Г. Гарин-Михайловский сказал что-то сочувственное, он услышал, должно быть, не очень любезный ответ, потому что смутился и, покраснев, отошел.

Н. Ф. очень оживлен, мягко улыбался, дружелюбно командовал. Сказал краткую речь о необходимости гласного протеста против действий полиции; стоявшая рядом со мной Капитолина Назарьева «единогласно» откликнулась:

— Всех и вышлют из Петербурга.

— Не знаете куда? — спросил Н. Ф. и усадил кого-то писать протест.

Но, должно быть, вспомнив пословицу «Без спора скоро, да не крепко», несколько голосов заговорило о литературных недостатках протеста. Тогда Н. Ф. сказал очень серьезно:

— Прошу, господа, подписывайте в порядке алфавита! — и, помнится, подписался первым.

Е. А. Соловьев-Андреевич, человек, который не любил говорить о людях хорошо, сказал:

— Есть в Анненском что-то неотразимое, импонирующее, — и, покусав губу, пьяную, как всегда, добавил, вздохнув: — Поистине «рыцарь без страха и упрека». При этом — веселый рыцарь.

9 января 1905 года я с утра был на улицах, видел, как рубили и расстреливали людей, видел жалкую фигуру раздавленного «вождя» и «героя дня» Гапона, видел «больших» людей нашиж в мучительном сознании ими своего бессилия. Все было жутко, все подавляло в этот проклятый, но поучительный день.

И одним из самых жутких впечатлений моих этого дня был Николай Федорович Анненский в слезах. Я увидел его в вестибюле Публичной библиотеки, забежав туда зачем-то. Анненского вели под руки, — не помню, кто, кажется, Т. А. Кроль и еще кто-то. Я вот сейчас вижу перед собою его хорошее лицо, невыразимо измученное, в судорогах и мокрое от слез. Рыдал он, кажется, беззвучно, но показалось мне, что он оглушительно кричит.

Наверху, в зале библиотеки, истерически шумели, точно на

погибающем пароходе. Николай Федорович, поддерживаемый под руки, медленно, как очень древний человек, спускался с лестницы, ноги его подгибались, и он плакал.

Я много видел слез отчаяния и скорби, но мне думается, что слезы Н. Ф. Анненского в день 9 января — самые страшные и сжигающие душу человеческие слезы.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

В седьмом или восьмом году, на Капри, Стефан Жеромский рассказал мне и болгарскому писателю Петко Тодорову историю о мальчике, жмудине или мазуре, крестьянине, который, каким-то случаем, попал в Краков и заплутался в нем. Он долго кружился по улицам города и все не мог выбраться на простор поля, привычный ему. А когда, наконец, почувствовал, что город не хочет выпустить его, встал на колени, помолился и прыгнул с моста в Вислу, надеясь, что уж река вынесет его на желанный простор. Утонуть ему не дали, он помер оттого, что разбился.

Незатейливый рассказ этот напомнила мне смерть Сергея Есенина. Впервые я увидел Есенина в 1914 году, где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком 15—17 лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь, мы, трое, шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду. Не помню, о чем говорили, вероятно, о войне; она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге.

Такие чистенькие мальчики — жильцы тихих городов, Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их приказчиками в торговых рядах, подмастерьями столяров, танцорами и певцами в трактирных хорах, а в самой лучшей позиции — детьми небогатых купцов, сторонников «древлего благочестия».

Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял, ночью,

на Симеоновском и видел, как он, сквозь зубы, плюет на черный бархат реки, стиснутой гранитом.

Через шесть, семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А. Н. Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слепящем ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывая и пренебрежительно, то вдруг неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что, в общем, он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он — человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее — серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабаника. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит, что именно забыто им?

Его сопровождали Айседора Дункан и Кусиков.

— Тоже поэт, — сказал о нем Есенин, тихо и с хрипотой.

Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал: «Ее гениальное тело сжигает нас пламенем славы».

Но я не люблю, не понимаю пляски от разума, и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню — было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно и она, полуодетая, бежит, чтоб согреться, выскользнуть из холода.

У Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием ее тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости.

Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая ко груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка.

Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом, являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно. Тут нет ничего предвзятого, придуманного вот сейчас; нет, я говорю о впечатлении того тяжелого дня, когда, глядя на эту женщи-

ну, я думал: как может она почувствовать смысл таких вздохов поэта:

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать!

Что могут сказать ей такие горестные его усмешки!

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе —
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.

Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и краем глаза поглядывал на нее, морщился. Может быть, именно в эти минуты у него сложились в строку стиха слова страдания:

Излюбили тебя, измызгали...

И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу, как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-таки давит. Несклько раз он встряхнул головой, как лысый человек, когда кожу его черепа щекочет муха.

Потом Дункан, утомленная, припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне думается: не в эту ли минуту вспыхнули в нем и жестоко и жалостно отчаянные слова:

Что ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?
...Дорогая, я плачу,
Прости... прости...

Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными.

Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!
Что ты? Смерть?

Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно ис-

кренно, с невероятной силой прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника:

Я хочу видеть этого человека!

И великолепно был передан страх:

Где он? Где? Неужели его нет?

Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно равновесна. Казалось, что он мечет их, одно — под ноги себе, другое — далеко, третье — в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще все: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза — все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час.

Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный:

Вы с ума сошли?

— громко и гневно, затем тише, но еще горячей:

Вы с ума сошли?

И наконец совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:

Вы с ума сошли?

Кто сказал вам, что мы уничтожены?

Неопишимо хорошо спросил он:

Неужели под душой так же падаешь, как под ношею?

И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадежно, прощально:

Дорогие мои...
Хор-рошие...

Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он — я думаю — и не нуждался в них.

Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят.

— Если вы не устали...

— Я не устаю от стихов, — сказал он и недоверчиво спросил:

— А вам нравится о собаке?

Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.

— Да, я очень люблю всякое зверье, — молвил Есенин задумчиво и тихо, а на мой вопрос, знает ли он «Рай животных» Клоделя, не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки:

Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

— на его глазах тоже сверкнули слезы.

После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей»¹, любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком. И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего-brandenburgского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта.

А он как-то тревожно заскучал. Приласкав Дункан, как, вероятно, он ласкал рязанских девиц, похлопав ее по спине, он предложил поехать:

— Куда-нибудь в шум, — сказал он.

Решили: вечером ехать в Луна-парк.

Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин.

— Очень хороши рошен, — растроганно говорила она. — Такой — ух! Не бывает...

Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладонью по спине, закричал:

— Не смей целовать чужих!

Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб назвать окружающих людей чужими.

Безобразное великолепие Луна-парка оживило Есенина, он, посмеиваясь, бегал от одной диковины к другой, смотрел, как развлекаются почтенные немцы, стараясь попасть мячом в рот уродливой картонной маски, как упрямо они влезают по качающейся под ногами лестнице и тяжело падают на площадке, которая волнообразно вздымается. Было неисчислимо

¹ Слова С. Н. Сергеева-Ценского. (Прим. М. Горького.)

много столь же незатейливых развлечений, было много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая музыка, которую можно бы назвать «музыкой для толстых».

— Настроили — много, а ведь ничего особенного не придумали, — сказал Есенин и сейчас же прибавил: — Я не хаю.

Затем, наскоро, заговорил, что глагол «хаять» лучше, чем «порицать».

— Короткие слова всегда лучше многосложных, — сказал он.

Торопливость, с которой Есенин осматривал увеселения, была подозрительна и внушала мысль: человек хочет все видеть для того, чтоб поскорей забыть. Остановясь перед круглым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пестрое, он спросил меня неожиданно и тоже торопливо:

— Вы думаете — мои стихи — нужны? И вообще искусство, то есть поэзия, — нужна?

Вопрос был уместен как нельзя больше, — Луна-парк забавно живет и без Шиллера.

Но ответа на свой вопрос Есенин не стал ждать, предложив:

— Пойдемте вино пить.

На огромной террасе ресторана, густо усаженной веселыми людьми, он снова заскучал, стал рассеянным, капризным. Вино ему не понравилось:

— Кислое и пахнет жженым пером. Спросите красного, французского.

Но и красное он пил неохотно, как бы по обязанности. Минуты три сосредоточенно смотрел вдаль; там, высоко в воздухе, на фоне черных туч, шла женщина по канату, натянутому через пруд. Ее освещали бенгальским огнем, над нею и как будто вслед ей летели ракеты, угасая в тучах и отражаясь в воде пруда. Это было почти красиво, но Есенин пробормотал:

— Всё хотят как страшнее. Впрочем, я люблю цирк. А — вы?

Он не вызывал впечатления человека забалованного, рисующегося, нет, казалось, что он попал в это сомнительное веселое место по обязанности или «из приличия», как неверующие посещают церковь. Пришел и нетерпеливо ждет, скоро ли кончится служба, ничем не задевающая его души, служба чуждому богу.

Изредка в мире нашем являются люди, которых я назвал бы веселыми праведниками.

Я думаю, что родоначальником их следует признать не Христа, который, по свидетельству евангелий, был все-таки немножко педантом; родоначальник веселых праведников, вероятно, Франциск Ассизский: великий художник любви к жизни, он любил не для того, чтоб поучать любви, а потому, что, обладая совершеннейшим искусством и счастьем восторженной любви, не мог не делиться этим счастьем с людьми.

Я говорю именно о счастье любви, а не о силе сострадания, заставившей Анри Дюнана создать международную организацию «Красного креста» и создающей такие характеры, как прославленный доктор Гааз, практик-гуманист, живший в тяжелую эпоху царя Николая Первого.

Но — жизнь такова, что чистому состраданию уже нет места в ней, и, кажется, в наше время оно существует только как маска стыда.

Веселые праведники — люди не очень крупные. А может быть, они кажутся не крупными потому, что с точки зрения здравого смысла их плохо видно на темном фоне жестоких социальных отношений. Они существуют вопреки здравому смыслу, бытие этих людей совершенно ничем не оправдано, кроме их воли быть такими, каковы они есть.

Мне повезло встретить человека шесть веселых праведников; наиболее яркий из них — Яков Львович Тейгель, бывший судебный следователь в Самаре, некрещеный еврей.

Тот факт, что судебный следователь — еврей, служил для Якова Львовича источником бесчисленных невзгод, ибо христианское начальство смотрело на него как на пятно, затемняющее чистейший блеск судебного ведомства, и всячески старалось выбить его из позиции, которую он занял, ка-

жется, еще в «эпоху великих реформ». Тейтель — здравствует, о своей войне с министерством юстиции он сам рассказал в книге «Воспоминаний», изданной им. Да, он еще благополучно здравствует, недавно праздновали его семидесяти- или восьмидесятилетний юбилей. Но он следует примеру А. В. Пешехонова и В. А. Мякотина, которые — как я слышал — «не присчитывают, а отсчитывают» года своей жизни. Вполне солидный возраст Тейтеля нимало не мешает ему делать привычное дело, которому он посвятил всю свою жизнь: он все так же неутомимо и весело любит людей и так же усердно помогает им жить, как делал это в Самаре в 95—96 годах.

Там, в его квартире, еженедельно собирались все наиболее живые, интересные люди города, впрочем — не очень богатого такими людьми. У него бывали все, начиная с председателя окружного суда Анненкова, потомка декабриста, великого умника и «джентльмена», включая марксистов, сотрудников «Самарского вестника» и сотрудников враждебной «Вестнику» «Самарской газеты» — враждебной, кажется, не столь «идеологически», как по силе конкуренции. Бывали адвокаты-либералы и молодые люди неопределенного рода занятий, но очень преступных мыслей и намерений. Странно было встречать таких людей «вольными» гостями судебного следователя, тем более странно, что они отнюдь не скрывали ни мыслей, ни намерений своих.

Когда появлялся новый гость, хозяева не знакомили его со своими друзьями, и новичок никого не беспокоил, все было уверено, что плохой человек не придет к Якову Тейтелю. Царила безграничная свобода слова. Тейтель сам был пламенным полемистом и, случалось, даже топал ногами на совопросника. Красный весь, седые, курчавые волосы яростно дыбятся, белые усы грозно ощетинились, даже пуговицы на мундире шевелятся. Но это никого не пугало, потому что прекрасные глаза Якова Львовича сияли веселой и любовной улыбкой.

Самоотверженно гостеприимные хозяева Яков Львович и Екатерина Дмитриевна, супруга его, ставили на огромный стол огромное блюдо мяса, зажаренного с картофелем, публика насыщалась, пила пиво, а иногда густо-лиловое, должно быть кавказское, вино, обладавшее привкусом марганцево-кислого калия; на белом это вино оставляло несмываемые пятна, но на головы почти не действовало.

Покушав, гости начинали словесный бой. Впрочем, бой начинался и во время процесса насыщения.

У Тейтеля я и познакомился с Николаем Георгиевичем Михайловским-Гаринным.

Подошел ко мне человек в мундире инженера путей сообщения, заглянул в глаза и заговорил быстро, бесцеремонно.

— Это вы — Горький, да? Недурно пишете. А как Хламида — плохо. Это ведь тоже вы, Хламида?

Я сам знал, что Иегудиил Хламида пишет плохо, очень огорчился этим, и поэтому инженер не понравился мне. А он привил меня:

— Фельетонист вы слабый. Фельетонист должен быть немножко сатириком, — а у вас этого нет. Юмор есть, но грубоватый, и владеете вы им неумело.

Очень неприятно, когда вот так наскочит на вас незнакомый человек и начнет говорить правду в глаза вам. И — хоть бы ошибся в чем-нибудь, но — не ошибается, все верно.

Стоял он вплоть ко мне и говорил так быстро, как будто хотел сказать очень много и опасался, что не успеет. Он был ростом ниже меня, и я хорошо видел его тонкое лицо, украшенное холеной бородкой, красивый лоб под седоватыми волосами и удивительно молодые глаза; смотрели они не совсем понятно, как будто ласково, но в то же время вызывающе, задорно.

— Вам не нравится, как я говорю? — спросил он и, точно утверждая свое право говорить неприятности мне, назвал себя: — Я — Гарин. Читали что-нибудь?

Я читал в «Русской мысли» его скептические «Очерки современной деревни» и слышал о жизни автора среди крестьян несколько забавных анекдотов. Сурово встреченные народнической критикой, «Очерки» весьма понравились мне, а рассказы о Гарине рисовали его человеком «с фантазией».

— Очерки — не искусство, даже не беллетристика, — сказал он, явно думая, о чем-то другом, — это было видно по рассеянному взгляду его юношеских глаз.

Я спросил: правда ли, что он однажды засеял сорок десятин маком?

— Почему же непременно — сорок? — как будто возмущился Николай Георгиевич и, прихмутив красивые брови, озабоченно пересчитал: — Сорок грехов долой, если убьешь паука, сорок сороков церковей в Москве, сорок дней после родов женщину в церковь не пускают, сорокоуст, сороковой медведь — самый опасный. Черт знает откуда эта сорочья болтовня? Как вы думаете?

Но, видимо, ему было не очень интересно знать, как я думаю, потому что тотчас же, хлопнув меня по плечу маленькой, крепкой рукой, он сказал с восхищением:

— Но если б вы, батенька, видели этот мак, когда он зацвел!

Затем Гарин, отскочив от меня, устремился в словесное побоище, разгоревшееся за столом.

Эта встреча не вызвала у меня симпатии к Н. Г., мне чудилось в нем нечто искусственное. Зачем это он исчислял сороки? И не скоро привык я к его барственной щеголеватости, к «демократизму», в котором мне сначала чудилось тоже что-то показное.

Был он строен, красив, двигался быстро, но изящно, чувствовалось, что эта быстрота не от нервной расшатанности, а от избытка энергии. Говорил как будто небрежно, но на самом деле очень ловко и своеобразно построенными фразами. Замечательно искусно владел вводными предложениями, которые терпеть не мог А. П. Чехов. Однако я никогда не замечал у Н. Г. свойственной адвокатам привычки любоваться своим красноречием. В его речах всегда было «словам — тесно, мыслям — просторно».

Должно быть, с первой встречи он часто вызывал впечатление не очень выгодное для себя. Драматург Косоротов жаловался на него:

— Мне с ним хотелось о литературе побеседовать, а он меня угостил лекцией о культуре корнеплодов, потом говорил что-то о спорынье.

А Леонид Андреев на вопрос: как понравился ему Гарин? — ответил:

— Очень милый, умный, интересный, очень! Но — инженер. Это — плохо, Алексеюшка, когда человек — инженер. Я боюсь инженера, опасный человек! И не заметишь, как он приладит тебе какое-нибудь лишнее колесико, а ты вдруг покачишься по чужим рельсам. Гарин этот очень склонен ставить людей на свои рельсы, да, да! Напористый, толкается...

Николай Георгиевич строил ветку железной дороги от Самары на Сергиевские серные воды, и эта постройка сопряжена была у него со множеством различных анекдотов.

Понадобился ему локомотив какой-то особенной конструкции, и он заявил министерству путей сообщения о необхо-

димости купить локомотив в Германии. Но министр путей или Витте, запретив покупку, предложил заказать локомотив в Сормове или на коломенских заводах. Не помню, путем каких сложных и смелых ухищрений Гарин купил локомотив все-таки за границей и контрабандно пригнал его в Самару; это, должно быть, сохранило несколько тысяч денег и несколько недель времени, более дорогого, чем деньги.

Но он юношески восторженно хвастался не тем, что сэкономил время и деньги, а именно тем, что исхитрился пригнать контрабандно локомотив.

— Вот это — подвиг! — восклицал он. — Не правда ли?

Казалось, что «подвиг» был вызван не столько силою деловой необходимости, сколько желанием преодолеть поставленное препятствие и даже проще: желанием созорничать. Как во всяком талантливом русском человеке, склонность к озорству была очень заметна в характере Н. Г.

Добр он был тоже по-русски. Деньги разбрасывал так, как будто они его отягощали и он брезговал разноцветными бумажками, на которые люди обменивают силы свои. Первым браком он был женат на богатой женщине, кажется дочери генерала Черевина, личного друга Александра Третьего. Но ее миллионное состояние он в краткий срок истратил на сельскохозяйственные опыты и в 95—96 годах жил личным заработком. Жил широко, угощая знакомых изысканными завтраками и обедами, дорогим вином. Сам ел и пил так мало, что нельзя было понять: чем же питается его неукротимая энергия? Любил делать подарки и вообще любил делать приятное людям, но не для того, чтоб расположить их в свою пользу, нет, этого он легко достигал обаянием своей талантливости и «динамичности». Принимая жизнь как праздник, он бессознательно заботился, чтоб и окружающие его так же принимали ее.

Невольным участником одного из анекдотов, походя создававшихся Гариним, оказался и я. Как-то утром, в воскресенье, я сидел в редакции «Самарской газеты», любуясь моим фельетоном, который был вытоптан цензором, как овсяное поле лошадь. Вошел сторож, еще совершенно трезвый, и сказал:

— Вам часы привезли из Сызрани.

В Сызрани я не был, часов не покупал, о чем и заявил сторожу. Он ушел, пробормотал что-то за дверь и снова явился.

— Еврей говорит: вам часы.

— Позови.

Вошел старенький еврей в стареньком пальто и невероятной формы шляпе, недоверчиво осмотрел меня и положил на стол предо мною листок отрывного календаря, на листке неразборчивым почерком Гарина было написано: «Пешкову-Горькому» и еще что-то, чего нельзя было понять.

— Это вам дал инженер Гарин?

— А я знаю? Я же не спрашиваю, как зовут покупателя, — сказал старик.

Протянув руку, я предложил ему:

— Покажите часы.

Но он отшатнулся от стола и, глядя на меня, как на пьяного, спросил:

— Может, есть другой Пешков-Горьков — нет?

— Нет. Давайте часы и уходите.

— Ну, хорошо, хорошо, — сказал еврей и, пожав плечами, ушел, а часов не дал мне. Через минуту сторож и ломовой извозчик внесли большой, но не тяжелый ящик, поставили его на пол, а старик предложил мне:

— Распишите на записку, что получили.

— Это что такое? — осведомился я, показывая на ящик; еврей равнодушно ответил:

— Вы знаете: часы.

— Стенные?

— Ну да. Десять часов.

— Десять штук часов?

— Пусть будет штук.

Хотя все это было смешно, но я сердился, потому что и еврейские анекдоты не всегда хороши. Они особенно плохи, когда не понимаешь их или когда приходится самому играть в анекдоте роль глупую. Я спросил старика: что значит все это?

— Подумайте, кто же едет из Самары в Сызрань покупать часы?

Но еврей тоже почему-то осерчал.

— А какое мне дело думать? — спросил он. — Мне сказали: сделай! И я сделал. «Самарская газета»? Верно. Пешков-Горьков? И это верно. И распишитесь на записку. Что вы от меня хотите?

Я уже ничего не хотел. А старик, видимо, думал, что его втянули в какую-то темную историю, у него дрожали руки, и он ломал пальцами поля своей шляпы. Он так смотрел на меня, что я почувствовал себя виноватым в чем-то пред ним. Отпустив его, я попросил сторожа убрать ящик в конструкторскую.

Дней через пять явился Николай Георгиевич, запыленный, усталый, но все-таки бодрый. И тужурка инженера на нем — как его вторая кожа. Я спросил:

— Это вы прислали мне часы?

— Ах, да! Я, я. А — что?

И, с любопытством глядя на меня, он тоже спросил:

— Что вы думаете делать с ними? Мне они совершенно не нужны.

Затем я услышал следующее: гуляя на закате солнца в Сызрани, по берегу Волги, Николай Георгиевич Гарин-Михайловский увидел мальчика-еврея, который удил рыбу.

— И все, знаете, батенька, удивительно неудачно. Ерши клюют жадно, но из трех два срываются. В чем дело? Оказалось, он ловит не на крючок, а на медную булавку.

Разумеется, мальчик оказался красавцем и необыкновенного ума. Человек далекий от наивности и не очень добродушный, Гарин чрезвычайно часто встречал людей «необыкновенного ума». Видишь то, что сильно хочешь видеть.

— И уже изведавший горечь жизни, — продолжал он рассказывать. — Живет у деда, часовщика, учится мастерству, ему одиннадцать лет. Он и дед — кажется, единственные евреи в городе. Ну и так далее. Пошел с ним к деду. Магазин скверненький, старик чинит горелки ламп, притирает самоварные краны. Пыль, грязь, нищета. У меня бывают припадки... сентиментальности. Предложить денег? Неловко. Ну, я и купил весь его товар, а мальчишке дал денег. Вчера послал ему книг.

И совершенно серьезно Н. Г. сказал:

— Если вам эти часы некуда девать, я, пожалуй, прищлю за ними. Можно отдать рабочим на ветке.

Он рассказал все это, как всегда, — торопливо, но несколько смущенно и, говоря, все как-то отмахивался коротким, резким жестом правой руки.

Иногда он печатал в «Самарской газете» небольшие рассказы. Один из них — «Гений» — подлинная история еврея Либермана, который самостоятельно додумался до дифференциального исчисления. Именно так: полуграмотный чухоточный еврей, двенадцать лет оперируя с цифрами, открыл дифференциальное исчисление, и когда узнал, что это уже сделано задолго до него, то, пораженный горем, умер от легочного кровоизлияния на перроне станции Самара.

Написан был рассказ не очень искусно, но Н. Г. поведал в редакции на словах историю Либермана с поразительным драматизмом. Он вообще рассказывал превосходно и, нередко, лучше, чем писал. Как литератор он работал в условиях совершенно неподходящих, и удивительно, что он мог, при его непоседливости, написать такие вещи, как «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», «Клотильда», «Бабушка».

Когда «Самарская газета» попросила его написать рассказ о математике Либермане, он после долгих увещаний сказал, что напишет в вагоне, по дороге куда-то на Урал. Начало рассказа, написанное на телеграфных бланках, привез в редакцию извозчик с вокзала Самары. Ночью была получена длиннейшая телеграмма с поправками к началу, а через день или два еще телеграмма: «Присланное — не печатать, дам другой вариант». Но другого варианта он не прислал, а конец рассказа прибыл, кажется, из Екатеринбургa.

Писал он так неразборчиво, что рукопись нужно было расшифровывать, а это, конечно, несколько изменяло рассказ. Затем рукопись переписывалась знаками, доступными пониманию наборщиков. Вполне естественно, что, читая рассказ в газете, Н. Г. сказал, сморщив лицо:

— Черт знает чего я тут наплел!

Кажется, о рассказе «Бабушка» он сообщил:

— Это написано в одну ночь, на почтовой станции. Какие-то купцы пьянствовали, гоготали, как гуси, а я писал.

Я видел черновики его книг о Маньчжурии и «Корейских сказок»; это была куча разнообразных бумажек, бланки «Отдела службы тяги и движения» какой-то железной дороги, линованные страницы, вырванные из конторской книги, афиша концерта и даже две китайские визитные карточки; все это исписано полусловами, намеками на буквы.

— Как же вы читаете это?

— Ба! — сказал он. — Очень просто, ведь это мною написано.

И бойко начал читать одну из милых сказок Корен. Но мне показалось, что читает он не по рукописи, а «по памяти».

Я думаю, что к себе, литератору, он относился недоверчиво и несправедливо. Кто-то похвалил «Детство Тёмы».

— Пустяки, — сказал он, вздохнув. — О детях все хорошо пишут, о них трудно написать плохо.

И, как всегда, тотчас же уклонился в сторону:

— А вот мастерам живописи трудно написать портрет ребенка, у них дети — куклы. Даже «Инфанта» Ван-Дейка — кукла.

С. С. Гусев, талантливый фельетонист «Слово-Глаголь», попенял ему:

← Грешно, что вы так мало пишете!

— Должно быть, потому, что я больше инженер, чем литератор, — сказал он и невесело усмехнулся. — Инженер я тоже, кажется, не той специальности, мне нужно бы строить не по горизонталям, а по вертикальным линиям. Нужно было взяться за архитектуру.

Но о своей работе путейца он рассказывал прекрасно, с великим жаром, как поэт.

И так же отлично, увлеченно рассказывал темы своих литературных работ. Помню две: на пароходе между Нижним и Казанью он говорил, что хочет писать большой роман на тему легенды о Цин Гиу-гонге, китайском дьяволе, который пожелал делать добро людям; в русской литературе легенду эту использовал старинный романист Рафаил Зотов. Герой Гарина, хороший, очень богатый фабрикант, которому скучно стало жить, тоже захотел делать добро людям. Добродушный мечтатель, он вообразил себя Робертом Оуэном, наделал очень много смешного и, затравленный людьми здравого смысла, умер в настроении Тимона Афинского.

В другой раз, ночью, сидя у меня в Петербурге, он совершенно изумительно рассказал мне случай, который ему хотелось изобразить:

— На трех страницах, не больше!

Рассказ, насколько я его помню, таков: лесной сторож, человек углубленный в себя, подавленный одинокой жизнью и только чувствующий зверя в человеке, идет к ночи в свою сторожку. Обогнал бродягу, пошли вместе. Вялая и осторожная беседа людей, взаимно не верящих друг другу. Собирается гроза, в природе напряжение, над землей мечется ветер, деревья прячутся друг за друга, жуткий шорох. Вдруг сторож почувствовал, что бродягу соблазняет желание убить его. Он старается идти сзади попутчика, но тот, явно не желая этого, шагает рядом. Оба замолчали. И сторож думает: все равно, что бы он ни делал — бродяга убьет его, — судьба! Пришли в сторожку, лесник накормил бродягу, поел сам, помолился и лег, а нож, которым резал хлеб, оставил на столе да еще перед тем, как лечь, осмотрел ружье, стоявшее в углу у печки. Разыгралась гроза. Гром в лесу гудит особенно жутко и молнии страшнее. Хлещет ливень, сторожка дрожит, как будто

сорвалась с земли и плывет. Бродяга посмотрел на нож, на ружье, встал и надел шапку.

— Куда? — спросил лесник.

— Уйду я, ну ты к черту.

— Зачем?

— Знаю! Убить меня хочешь ты.

Сторож схватил его, говорит:

— Полно, брат! Я ведь думал: ты меня убить хочешь. Не уходи!

— Уйду! Уж коли оба думали об этом, значит: одному не жить.

И ушел бродяга. А сторож, оставшись один, сел на лавку, заплакал скупыми, мужицкими слезами.

Помолчав, Гарин спросил:

— А может быть, не надо, чтобы плакал? Хотя он говорил мне: заплакал я горько. Я спрашиваю: «О чем?» — «Не знаю, Николай Егорович, — сказал он, — горестно стало». Может быть, сделать так, чтобы бродяга не уходил, а сказал бы что-нибудь, например: «Вот, братец ты мой, каковы мы люди!» Или просто: легли бы они спать?

Было видно, что эта тема очень волнует его и что он остро чувствует темную глубину ее. Рассказал он очень тихо, почти шепотом, быстренькими словами; чувствовалось, что он прекрасно видит лесника, бродягу, синий блеск молнии в черных деревьях, слышит гром, и вой, и шорох. И странно было, что этот изящный человек, с таким тонким лицом и руками женщины, веселый, энергичный, носит в себе такие тяжелые темы. Не похоже это на него, общий тон его книг — легкий, праздничный. Н. Г. Гарин улыбался людям, видел себя работником, нужным миру, и обладал бодрой, подкупающей самоуверенностью человека, который знает, что он добьется всего, чего хочет. Встречаясь с ним нередко, хотя всегда «наскоро», ибо он вечно куда-то спешил, я помню его только бодрым, но не помню задумчивым, усталым, озабоченным.

А о литературе он почти всегда говорил нерешительно, стесненно, пониженным тоном. И когда, спустя много времени, я спросил его:

— Написали о леснике?

Он сказал:

— Нет, это не моя тема. Это — для Чехова, тут нужен его лирический юмор.

Я думаю, что он считал себя марксистом, потому что был инженером. Его привлекала активность учения Маркса, и когда при нем говорили о детерминизме Марксовой философии

экономики, — одно время говорить об этом было очень модно, — Гарин яростно спорил против этого, так же яростно, как, впоследствии, спорил против афоризма Э. Бернштейна: «Конечная цель — ничто, движение — всё».

— Это — декадентщина! — кричал он. — На земном шаре нельзя построить бесконечной дороги.

Марксов план реорганизации мира восхищал его своей широтой, будущее он представлял себе как грандиозную коллективную работу, исполняемую всей массой человечества, освобожденного от крепких пут классовой государственности.

Он был по натуре поэт, это чувствовалось каждый раз, когда он говорил о том, что любит, во что верит. Но он был поэтом труда, человеком с определенным уклоном к практике, к делу. Нередко приходилось слышать от него чрезвычайно оригинальные и смелые утверждения. Так, например, он был уверен, что сифилис следует лечить прививкой тифа, и утверждал, что ему известен не один случай, когда сифилитики излечивались, переболев тифом. Он даже написал об этом: именно так излечился один из героев его книги «Студенты». Тут он едва ли не оказался пророком, ибо прогрессивный паралич уже начинают лечить прививкой плазмодия лихорадки и ученые медики всё более часто говорят о возможности «паратерапии».

Любил Гарин говорить о «паразитоводстве», но, кажется, тогда уже был найден и применялся в Соединенных Штатах паразит, убивающий картофельного жучка.

Вообще Н. Г. был разносторонне, по-русски даровит и по-русски же разбрасывался во все стороны. Однако всегда было удивительно интересно слушать его речи о предохранении ботвы корнеплодов от вредителей, о способах борьбы с гниением шпал, о баббите, автоматических тормозах, — обо всем он говорил увлекательно,

Савва Мамонтов, строитель Северной дороги, будучи на Капри уже после смерти Н. Г., вспомнил о нем такими словами:

— Талантлив был, во все стороны талантлив! Даже инженерскую тужурку свою талантливо носил.

А Мамонтов хорошо чувствовал талантливых людей, всю жизнь прожил среди них, многих таких, как Федор Шаляпин, Врубель, Виктор Васнецов, — и не только этих, — поставил на ноги, да и сам был исключительно, завидно даровит.

Возвратясь из Маньчжурии и Кореи, Гарин был приглашен в Аничков дворец к вдовствующей царице, Николай Второй пожелал выслушать его рассказ о путешествии.

— Это провинциалы! — недоуменно пожимая плечами, говорил Гарин после приема во дворце.

И рассказал о своем визите приблизительно так:

— Не скрою: я шел к ним, очень подтянувшись и даже несколько робея. Личное знакомство с царем ста тридцати миллионов народа — это не совсем обыкновенное знакомство. Невольно думалось: такой человек должен что-то значить, должен импонировать. И вдруг: сидит симпатичный пехотный офицер, курит, мило улыбается, изредка ставит вопросы, но всё не о том, что должно бы интересовать царя, в царствование которого построен действительно великий Сибирский путь и Россия выезжает на берега Тихого океана, где ее встречают вовсе не друзья и — не радостно. Может быть, я рассуждаю наивно, царь не должен беседовать о таких вопросах с маленьким человеком? Но тогда — зачем же звать его к себе? А если позвал, то умеи отнестись серьезно, и не спрашивай: любят ли нас корейцы? Что ответишь? Я тоже спросил и неудачно: «Вы кого подразумеваете?» Забыл, что меня предупредили: спрашивать я не могу, должен только отвечать. Но ведь как же не спросить, если сам он спрашивает и скупое и глупо, а дамы — молчат? Старая царица удивленно поднимает то одну, то другую бровь. Молодая, рядом с ней, точно компаньонка, сидит в застывшей позе, глаза каменные, лицо — обиженное. Внешне она напомнила мне одну девицу, которая, прожив до тридцати четырех лет, обиделась на природу за то, что природа навязала женщине обязанность родить детей. А — ни детей, ни даже простенького романа у девицы не было. И сходство царицы с нею тоже как-то мешало, стесняло меня. В общем, было очень скучно.

Он и рассказал все это очень торопливо и точно досадуя, что приходится рассказывать неинтересное.

Через несколько дней его официально известили, что царь дал ему орден, кажется Владимира, но ордена он не получил, потому что вскоре был административно выслан из Петербурга за то, что вместе с другими литераторами подписал протест против избияния студентов и публики, демонстрировавшей у Казанского собора.

Над ним посмеялись:

— Ускользнул орден-то, Николай Георгиевич?

— Черт бы их подрал, — возмущался он, — у меня тут серьезное дело, и вот — надо ехать! Нет, собразите, как это глупо! Ты нам не нравишься, поэтому не живи и не работай в нашем городе! Но ведь в другом-то городе я останусь таким же, каков есты!

Через несколько минут он говорил уже о необходимости лесонасаждения в Самарской губернии, для того чтоб преградить движение песков с востока.

У него всегда были в голове широкие проекты, и, пожалуй, чаще всего он говорил:

— Надо бороться.

Бороться надобно было с обмелением Волги, популярностью «Биржевых ведомостей» в провинции, с распространением оврагов, вообще — бороться!

— С самодержавием, — подсказал ему рабочий Петров, гапоновец, а Н. Г. весело спросил его:

— Вы недовольны тем, что ваш враг — глуп, хотите поумнее, посильнее?

Слепой Шелгунов, старый революционер, один из первых рабочих-эсдеков, осведомился:

— Это — кто сказал? Хорошо сказал.

Было это в Куоккале, летом 1905 года. Н. Г. Гарин привез мне для передачи Л. Б. Красину в кассу партии 15 или 25 тысяч рублей и попал в компанию очень пеструю, скромно говоря. В одной комнате дачи заседали с П. М. Рутенбергом два еще не разоблаченных провокатора — Евно Азеф и Татаров. В другой — меньшевик Салтыков беседовал с В. Л. Бенуа о передаче транспортной техники «Освобождения» петербургскому комитету и, если не ошибаюсь, при этом присутствовал тоже еще не разоблаченный Доброскок — Николай Золотые Очки. В саду гулял мой сосед по даче пианист Осип Габрилович с И. Е. Репиным; Петров, Шелгунов и Гарин сидели на ступеньках террасы. Гарин, как всегда, торопился, поглядывал на часы и вместе с Шелгуновым поучал неверию Петрова, все еще веровавшего в Гапона. Потом Гарин пришел ко мне, в комнату, из которой был выход к воротам дачи.

Мимо нас проследовали к поезду массивный, толстогубый, со свинными глазками Азеф, в темно-синем костюме, дородный, длинноволосый Татаров, похожий на переодетого соборного дьякона, вслед за ними ушли хмурый, сухонький Салтыков, скромный Бенуа. Помню, Рутенберг, подмигнув на своих провокаторов, похвастался мне:

— Наши-то солиднее ваших.

— Сколько у вас бывает народа, — сказал Гарин и вздохнул. — Интересно живете!

— Вам ли завидовать?

— А — что я? Я вот езжу туда-сюда, как будто кучер

дьявола, а жизнь проходит, скоро — шестьдесят лет, а что я сделал?

— «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры» — целая эпопея!

— Вы очень любезны, — усмехнулся он. — Но ведь вы знаете, что все эти книжки можно бы и не писать.

— Очевидно — нельзя было не писать.

— Нет, можно. Да и вообще теперь время не для книжек...

Кажется, впервые я видел его усталым и как бы в некотором унынии, но это потому, что он был нездоров, его лихорадило.

— Вас, батенька, скоро посадят, — вдруг сказал он. — Это мое предчувствие. А меня закопают — тоже предчувствие.

Но через несколько минут, за чаем, он снова был самим собой и говорил:

— Счастливейшая страна Россия! Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! Никогда, никому не завидовал, но завидую людям будущего, тем, кто будет жить лет через тридцать, сорок после нас. Ну-с, до свидания! Я — пошел.

Это было последнее наше свидание. Он так и умер «на ходу», — участвовал в каком-то заседании по литературным делам, сказал горячую речь, вышел в соседнюю комнату, прилег на диван, и паралич сердца оборвал жизнь этого талантливого, неистощимо бодрого человека.

МИХАИЛ ВИЛОНОВ

Один из хороших советских поэтов, Дмитрий Семеновский, в стихотворении своем «Слава злобе», напечатанном, если не ошибаюсь, в одном из номеров «Прожектора» за прошлый год, сказал:

Мне тяжело, когда, подобя
Людей зверям, слепая кровь
Темнит их взор. Но слава — злобе,
Воинствующей за любовь!

Если бы это четверостишие говорило не о злобе, а о более глубоком и творческом чувстве, чем она, — о ненависти, — я мог бы взять его эпиграфом к моему воспоминанию о Михаиле Вилонове. Был такой Человек; думаю, что те из товарищей, которые встречались с ним, четко помнят его.

Он был создан природой крепко, надолго, для великой работы. Монументальная, стройная фигура его была почти классически красива.

— Какой красивый человек! — восхищались каприйские рыбаки, когда Вилонов, голый, грелся на солнце, на берегу моря.

Правильно круглый череп покрыт темным бархатом густых, коротко остриженных волос, смуглое лицо хорошо освещено большими глазами, белки — синеваты, зрачки — цвета спелой вишни; взгляд этих глаз сначала показался мне угрюм и недоверчив. Лицо его нельзя было назвать красивым: черты слишком крупны и резки, но — увидав такое лицо однажды, не забываешь никогда. На бритых щеках зловец горел матовый румянец туберкулеза.

Вилонов был рабочий, большевик; несколько раз сидел в тюрьме; после 1906 года тюремщики, где-то на Урале, избил его и, бросив в карцер, облили нагого, израненного круто посоленной водой. Восемь дней он купался в рассоле, валяясь

на грязном, холодном асфальте; этим и было разрушено его могучее здоровье.

В первые дни знакомства он вызвал у меня впечатление человека мрачного, угнетенного болезнью, очень самолюбивого, зачитавшегося книг не по силе его уму и подавленного книжностью. Мне рассказывали легенды о его партийной работе в 1905—6 годах, о его бесстрашии, нечеловеческой выносливости, и я подумал, что человеку этому естественно было устать и что живет он по инерции, автоматически, как многие жили в ту пору.

Ошибиться было легко: я так много видел людей нервно истерзанных, озлобленных до бешенства, до отчаяния, почти до безумия, — побежденных и смертельно уставших людей. Были и такие побежденные, которые, казалось, завидуют «торжеству победителей» гораздо сильнее, чем ненавидят их. Люди этого типа, помня поговорку «победителей не судят», с явным и злым пристрастием несчастливых игроков судили своих товарищей, тоже побежденных, но оказавшихся не способными сложить оружие.

Вилонов на первых же выступлениях своих по организации преподавания в Каприйской школе обнаружил удивительную страстность, прямоту мысли и непоколебимую уверенность в правильности отрицательного отношения Владимира Ильича к школе. Говорил он глуховатым голосом человека с большими легкими, иногда вскрикивая несколько истерически, но я заметил, что он кричит книжные слова лишь тогда, когда у него не хватает своих.

Меня, привыкшего слышать личные выпады и едкие колкости нервных людей, Вилонов очень радостно удивил сочетанием в нем пламенной страстности с совершенным беззлобием.

— Ну, а чего же злиться? — спросил он меня в ответ на мое замечание. — Это уж пусть либералы злятся, меньшевики, журналисты и вообще разные торговцы старой рухлядью.

Помолчал и довольно сурово прибавил:

— Революционный пролетариат должен жить не злостью, а — ненавистью.

Затем, хлопая ладонью по колену своему, сказал с явным недоумением:

— Тут, у вас, какая-то чертова путаница: идея воспитания профессиональных революционеров — идея Ленина, а его — нет здесь! Против этой идеи могут спорить только шляпы и сапоги, а ведь тут...

Не договорив, он ушел.

Разговориться с ним трудно мне было, первые дни он не очень ладил со мной, смотрел на меня недоверчиво, как на некое пятно неопределенных очертаний. Но как-то само собою случилось, что однажды, кончив занятия в школе, он остался обедать у меня, а после обеда, сидя на террасе, заговорил с добродушной суровостью:

— Пишете вы — не плохо, читать вас я люблю, а — не совсем понимаю. Зачем это возитесь вы с каким-то человеком, пишете его с большой буквы даже? Я эту штуку «Человек» в тюрьме читал, досадно было. Человек с большой буквы, а тут — тюрьма, жандармы, партийная склона! Человека-то нет еще. Да и быть не может — разве вы не видите?

Когда я сказал ему, что для меня вот он, Вилонов, уже Человек с большой буквы, он, нахмурился, отмахнулся рукой и протянул:

— Ну-у, что там? Таких, как я, — сотни, мы — чернорабочий народ в революции, у нас еще не все... в порядке. А отдельные фигуры, вроде Ленина, Бебеля, — не опора для вашего оптимизма. Нет, не опора.

Он отрицательно покачал бархатной головой, закрыл глаза и потише, отрывисто произнес:

— Мастеров, практиков, художников революции, как Ленин, Бебель, да еще двое, трое... и — всё тут! А человека — нет еще. Нельзя быть человеком. И жить ему негде, не на чем. Почвы нет. Он явится тогда, когда Ленин и вообще мы — расчистим ему место. Да.

Встал и начал шагать по террасе, возбужденно жестикулируя. Оказалось, что он весьма склонен философствовать о будущем, и я бы сказал, что у него было развито чувство осязания будущего. Он видел, нащупывал, — хотя как бы сквозь туман, сквозь темноту, — какие-то своеобразные формы общественности, каких-то особенно оригинальных людей. Помню, я не очень понимал его да, кажется, и не очень внимательно слушал: меня в нем интересовало не это. Но я понимал, что его представления независимы от социалистов-утопистов и что он видит в будущем человечество сильных, человечество героев, развившееся до степени космической силы. Впоследствии я не один раз наблюдал романтизм революционеров-рабочих, — романтизм, который как будто конфузит их и о котором они разрешают себе говорить лишь в минуты исключительные.

Меня особенно заинтересовали его слова о злости и ненависти, он часто, в разных формах, повторял эти слова, и чувствовалось, что за ними скрыта основная тема, вокруг которой вьются все мысли этого большого человека, молодого, сильного, но уже осужденного на смерть идиотами и скотами.

Я чувствовал, что Вилонов — человек как-то своеобразно ненавидящий. Ненависть была как бы его органическим свойством, он насквозь пропитан ею, с нею родился, это чувство дышало в каждом его слове. Совершенно лишённая признаков «словесности», театральности, фанатизма, она была удивительно дальнозоркой, острой и тоже совершенно лишена мотивов личной обиды, личной мести. Меня удивила именно чистота этого чувства, его спокойствие, завершенность, полное отсутствие в нем мотивов, посторонних общей идее, вдохновлявшей ненависть. А удивило это меня потому, что после 1905 — 6 годов я увидел очень много революционеров, которые были таковыми Христа ради, из авантюризма, по «увлечениям молодости», по мести за карьеру, испорченную случайным арестом, из романтизма, даже из страха пред революцией и еще по многим мотивам, весьма личным, очень далеким от идеи революционного социализма, видел наконец и революционеров, бывших таковыми «скуки ради».

Вилонов, человек безукоризненно правдивый в своем отношении к людям, прямодушный до резкости, говорил:

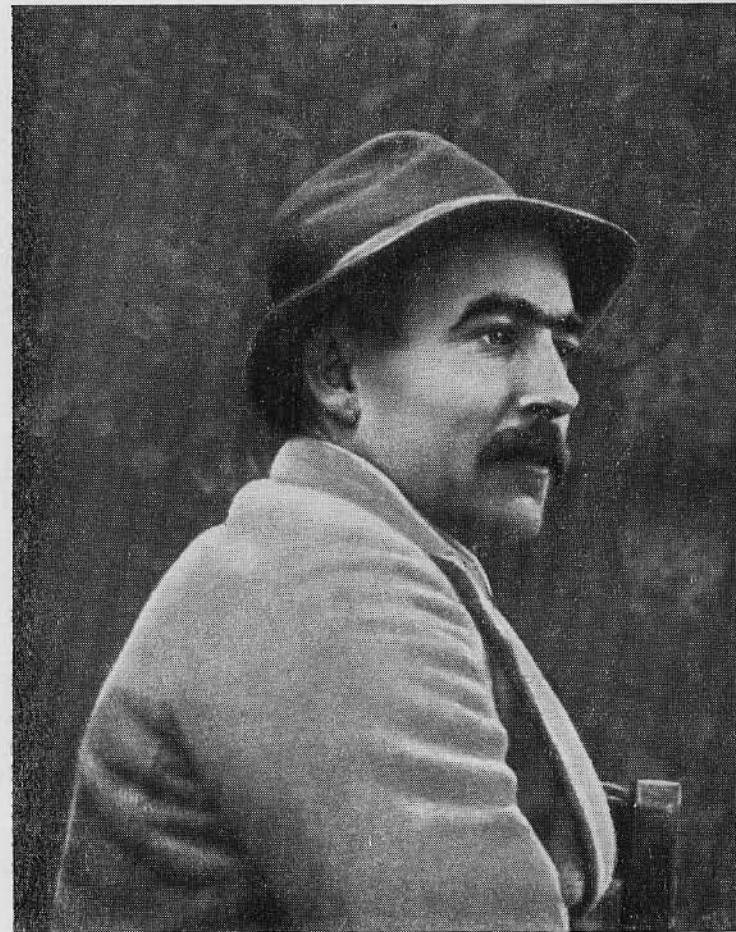
— Вы, может, думаете, что побои имели какое-то значение для меня? Никакого. Здоровья, конечно, жаль. Но не могу же я винить палку за то, что меня ударили ею. Меня били не один раз. И ведь все равно, кто бьет: отец, мать или чужие. Бить человека — это в порядке жизни. Да и — что мне побои? Вот я какой!

Забыв о своем туберкулезе, он медленно поднял руку на уровень головы и опустил ее до колена, указывая на свое стройное тело.

— Когда тюремщики топтали меня ногами, я, конечно, чувствовал и боль и обиду, но, право же, гораздо больше — страх: что, если б на моем месте оказался другой товарищ, не такой крепкий, как я?

И, покашливая, задыхаясь, он продолжал потише, нахмурив густые брови:

— Ведь они всякого могут растоптать, попади им в злую минуту Ленин, они и его... Вот где ужас! Главное-то и непростительное преступление классового общества в том, что оно



И. Вольнов.



С. А. Тер-Петросян (Камо).

воспитало в людях страсть к мучительству, какое-то бешенство. С наслаждением мучают, сукины дети, это я очень знаю! Вот наслаждение-то и есть преступность, которую уж никак, никто не оправдает. В природе такой гадости — нет! Кошка мышью играет, так она, кошка, — зверь и никаких подлостей лицемерных, вроде гуманизма, не выдумала.

Он долго говорил на эту тему, рассказывал об истязаниях в Орловском центре, о страшных драмах на Амурской колесной дороге и заставил меня почувствовать, что ему знаком лишь один страх — страх за жизнь товарища.

А к себе он относился так, как будто не понимал, насколько опасно болен, хотя однажды сказал очень спокойно:

— Ну, меня ненадолго хватит.

В праздничный день школа поехала осматривать Неаполитанский музей, Вилонов остался, пришел ко мне и сердито попросил:

— Дайте почитать что-нибудь легкое. Плохо чувствую себя, душит, и голова чугунная.

Взял «Простое сердце» Флобера и ушел читать в сад.

Дул горячий, раздражающий нервы ветер из Африки — сирокко. Над морем опаловое небо, как бы пропыленное знойной пылью; море цвета снятого молока и кипит, рычит, бухая в камень острова высокой волной. Яростно трещали цикады, сухо шумел жесткий лист олив, — в такие дни юг Италии особенно богат различными драмами.

Вечером я сидел на берегу, в серых, горячих камнях; за островом Искней опускалось солнце, окрасив море в неестественный, лиловатый цвет. Волна била в камни, брызги ее сверкали радужно. Медленно, тяжелыми шагами подошел Вилонов, сел рядом со мной, положил на колени мне книгу.

— Прочитали?

— Ну да.

— Понравилось?

Он снял шляпу с бархатной своей головы, тщательно укрепил ее в трещине камня, чтобы ветром не сдуло. Покашлял, вытер пот с лица и спросил:

— Ведь, если я скажу: хорошо, а — не нравится, так вы мне не поверите?

Я ответил, что не очень тороплюсь верить, но хотел бы понять, а он согнулся, зачерпнул ковшом широкой ладони горсть мелкой гальки и долго молчал, бросая отшлифованные камешки в брызги воды. Потом ворчливо заговорил:

— Не люблю жалостной литературы! В каких людях она рассчитывает пробудить жалость и прочие добрые чувства? Он «чувства добрые лирой пробуждал», а его застрелили. Командующие классы властвуют посредством насилия, — на кой черт нужны им добрые чувства? Что же — это мы, что ли, должны заразиться жалостью к несчастным и всяким униженным? Слезой грязи не смоешь. Тем более не смоешь крови. А задача — смыть с людей кровь и грязь.

Взяв книгу из моих рук, он поднял ее, как бы показывая ее кому-то вдали, в пустоте.

— Это — хорошо! Как он мог написать глупую кухарку столь... убедительно? Даже странно, как будто видишь ее. Интересный фокус.

Пересыпая гальку с ладони на ладонь, он продолжал задумчиво и тихо:

— Как-то... обидно видеть, что книги лучше людей, а ведь это верно: лучше! Как можно, будучи явным буржуем, написать «Углекопов», «Разгром» или «Девяносто третий год»? Непонятно.

Бросил камешком в книгу на колене моем и спросил:

— Знаете, что тут хорошо? Ненависть автора, правда ненависти. Вот так и надо: спокойно, решительно, без оглядки! Когда говорят или пишут о святой, великой и еще какой-то там правде, я понимаю это только как правду ненависти. Никакой другой правды не может быть. Всякая другая — ложь. Вот Ленин это понимает.

Помолчав, он прибавил:

— Пожалуй, он один и понимает.

Вилонов бросил гальку, встал, встряхнулся:

— Уйдемте отсюда, тут — оглохнешь, да и сыро.

Доброй, медленно шагая в гору, спросил:

— А что, есть какая-нибудь формула ненависти?

— Не знаю.

— Я где-то прочитал, что чувство ненависти стремится в корне уничтожить не только все, что ее возбуждает, но даже и самую мысль о возможности существования таких возбудителей. Там как-то мудрено было сказано...

Он задыхался, но когда я сказал, что вредно ему говорить, поднимаясь в гору, он не обратил внимания на мои слова, продолжая:

— Классовая ненависть — самая могучая творческая сила. Читали вы «Государство будущего»? По-моему, Бебель в этой книжке недалеко смотрит. Это — ремонт, а не новая постройка.

И, остановясь, сказал с усмешкой:

— Надо отдохнуть. Эдакий идиотский ветер!

В другой раз он засиделся со мною до поздней ночи; весь день ожесточенно спорил, возбуждение его разрешилось кровохарканием, и он был несколько угнетен этим. Сидели мы на маленьком дворике, залитом цементом, на каменных ступенях лестницы в сад, разбитый по горе, среди скал.

Вилонов снова говорил на свою тему о единой правде — правде ненависти, но говорил как будто не для меня, а для того, чтоб еще раз послушать свои мысли. Потом надолго задумался, замолчал, отмахиваясь от комаров веткой акации, и наконец предложил:

— Вот я расскажу вам одну историю, может быть пригодится, напишете когда-нибудь.

Пересел ступени на две выше меня, прислонился плечом к стене и рассказал:

— Где-то на Урале, — помнится, на Сергино-Уфалейских заводах, — была семья рабочих: отец-старовер, два сына и две дочери, одна — замужем за конторщиком — жила с отцом, другая отбилась от семьи и работала в заводской школе помощницей учительницы. Она ввела старшего брата в кружок рабочих, а старший скоро потянул за собой и младшего. Через некоторое время среди рабочих появились листки, затем последовал обыск в школе; отец доглядел, что старший сын прячет что-то в бане, на чердаке, нашел спрятанное, прочитал, позвал сына. «Ты — что? Против царя?» Тот ответил честно. «Ну, — сказал отец, — я тебе приказываю: брось это!» — «А если не брошу?» — «А если не бросишь, так я вот эти бумаги сам начальству объявлю, понял? И сестре скажи, чтобы не смела пакостничать, голову оторвуй!» Сын был тоже неподатлив характером, угроза отца не испугала его. Сестру ненадолго арестовали, а выпустив, запретили ей учительствовать и отдали, конечно, под надзор полиции, принудив ее жить в доме отца. Отец, старшая сестра, зять стали всячески травить ее, дважды жестоко избили, братья вступились за нее, и в доме началась жизнь ада. В январе, накануне своих именин, дочь — ее звали Татьяна — внезапно умерла. Старик отказался похоронить ее в одной ограде с матерью, заявив: «Я не знаю, отчего она сдохла, может сама на себя руки наложила». Братья были уверены, что старшая сестра, с благословения отца, отравила Татьяну, но доказательств этому не было, да братья и

не решались искать их. Отец очень приблизил к себе старшую сестру и зятя, братьев всячески стесняли, следили за каждым их шагом. Старший, не стерпев, ушел из дому, а младший был еще несовершеннолетен, и хотя вспыльчив, но характером нетверд. Отец и зять в несколько месяцев забили его до идиотизма и немоты, — во время побоев парень перекусил себе язык, рана заросла плохо, и парень стал говорить так, что его уже трудно было понимать. А старший брат начал пьянствовать, буяннить, с завода его рассчитали, он ушел куда-то и пропал без вести.

Как сейчас перед собою вижу маленький дворик виллы Спинола, с пальмой посредине его; беспощадно ярко светит луна, придавая цементу двора блеск оксидированного серебра; шумят, качаются деревья в саду над головами нашими. Темно-серая стена поросла мхами, покрыта вьющимися розами, к ней прижался большой круглоголовый человек с суровым, спокойным лицом. Он — в синей сатиновой рубашке, и сатин светится, как шелк.

Рассказывал Вилонов бесстрастно, без лишних слов, покашливал и отирал рот платком, оставляя на нем темные пятна крови.

— Вот как отстаивают они себя, свое, — сказал он, вздохнув со свистом, обрывая с ветки акации ее мелкий лист, подбрасывая его на ветер. — Я, конечно, старика понимаю, что ж? Дед, отец его всю жизнь работали, сам он лет сорок работал, дом хороший, в два этажа, садишко, огород, две коровы, свиньи и вообще — хозяйство, будь оно проклято! По бревнышку, по кирпичику, по копейке создавалось, да! И, кроме его, никакой иной правды человек не знает, да и узнал бы, так не принял ее. А дети, сразу трое, пошли против этой правды, грозят разрушить ее, говорят о какой-то отдаленной, неведомой, непонятной. Ну, конечно, злые враги, и щадить их — нечего. Да, я старичка понимаю! Но, будь я на месте старшего брата, я бы за сестренку да за младшего горячо заплатил отцу. Тоже — не пощадил бы.

Вилонов крепко постучал кулаком по колену.

— Много я, товарищ, таких историй знаю и слышал. Ну, не таких уж... страшеньких, поскромнее, а суть-то — одна! Может быть, скромные-то истории еще злее по скрытым чувствам, по ядовитым думам в бессонные ночи. Иной раз даже как будто жалко людей: до какого озлобления доведены, и — ведь чем? Только жадностью к делу рук своих да к меновому знаку — копейке. А тут вы, писатели, под-сказываете: жале! Задумаешься над книгой: а может, яё

доглядел чего-то, не понял, не дочувствовал? Потом — встряхнешься: нет, одна только правда есть — правда ненависти к старому миру. Одна...

Он тяжело встал, опираясь рукою в камень стены.

— Спать пора. Пойду.

И, пожимая широкой ладонью руку мою, сказал мне простодушный, хороший комплимент:

— Слушаете вы хорошо. И спрашиваете тоже хорошо.

Ушел, сопровождаемый своей тенью, очень темной и густой в эту светлую ночь.

Его разногласия с организаторами школы все обострялись, и через несколько дней он и еще, кажется, двое товарищей, — из которых один был агент полиции, — уехали в Париж к Владимиру Ильичу.

Из этой поездки Вилонов возвратился на Капри уже почти совсем без сил, но еще более твердым ленинцем. Его пришлось отправить в Давос, где он вскоре и умер.

Долго, как видите, берег я память о нем, все хотелось написать как-то особенно хорошо. Но — очень трудно писать о людях такого типа, да и не привыкло перо русского литератора изображать настоящих героев.

Но вот к пятидесятилетию работы «Правды» я счел за лучшее всяких поздравлений — рассказать ее неутомимым работникам о Человеке, который, на мой взгляд, так хорошо понимал и чувствовал правду ненависти.

Впервые я видел его в 1900 или 1901 году. На квартире московского либерала была организована платная вечеринка в пользу арестованных и ссыльных. Читали, пели, кто-то очень долго играл на скрипке; затем начали рассуждать. В. А. Гольцев, редактор «Русской мысли», стоя в углу, за трельяжем цветов, взял слово и тоже очень долго говорил жалобное о положении интеллигенции.

— Каковы же задачи дня? — спросил он.

Из другого угла ему ответили:

— Ясно — организация рабочего класса, борьба против самодержавия.

Меня очень удивило то, что прямота и даже грубоватость ответа необыкновенно соединялась с интонацией юноши, а человеку, который сказал это, было, вероятно, за тридцать, был он уже лысоватый, высоколобый, лицо в густой бороде.

Таким прямодушным, честнейшим юношей он остался для меня на всю его прекрасную и трудную жизнь борца, непоколебимого большевика. Встречался я с ним не часто, но каждый раз он возобновлял у меня первое впечатление — прямодушия, бодрости, глубокой веры в свое дело. В 1905 году, когда в Москве издавалась газета большевиков «Борьба», мы встречались почти ежедневно, и меня удивляло, даже несколько сместило, то самозабвение, с которым он и Н. А. Рожков бегали по улицам Москвы, особенно часто мелькая на площади около манежа, а из дверей манежа, еще более часто, постреливали в прохожих скучающие казаки.

Ушел И. И. Скворцов-Степанов, но для молодежи остался прекрасный пример жизни и работы революционера.

Да, прекрасные люди, идеальные товарищи уходят из жизни, но должен сознаться, что хотя лично я провожаю их с глубокой грустью, но над грустью этой все-таки преобладает радостное изумление пред их духовной стойкостью, духовной

красотой. Великое дело сделано ими, и хороших наследников себе, продолжателей этого дела, воспитали они. Смерть каждого из них как бы освещает историческое значение каждого из оставшихся товарищей, освещает их работу новым, все более ярким огнем. Смерть каждого из них, вместе с грустью об ушедшем из жизни, всегда возбуждает одно и то же пламенное желание сказать живущим борцам:

«Ближе друг ко другу, товарищи: крепче дружба — больше силы!»

О Викторине Арефьеве я могу сказать немного. Он редко бывал в Красновидове; являлся обычно к ночи или ночью, приходя пешком с пристани «Лобышки». М. А. Ромась, весьма строгий конспиратор, побеседовав с ним, отправлял его ко мне, на чердак, там Арефьев спал и сидел, не выходя на улицу села, целый день, а ночью исчезал, спускаясь к Богородску в лодке с рыбаком Изотом или уходя на «Лобышки». Ромась сообщил мне, что Арефьев выслан из Саратова или должен был уехать оттуда, избегая ареста, — не помню точно. Вероятнее — последнее, потому что Арефьев обычно являлся в Красновидово или из Казани или из Саратова, и я думаю, что он служил связью между народовольцами этих городов.

Помню, что при первой встрече он мне определенно не понравился, — говорил со мной докторально, заносчиво и щеголял своей начитанностью. В следующий раз я примирился с этим, поняв, что за щегольство мною принято естественное желание человека, много знающего, поделиться радостью знания. Особенно возбудил мою симпатию его интерес к фольклору, он отлично знал поволжские говоры, у него были интересные записи песен пензенских татар, запевок «Дубинушки» и целое исследование о саратовской «Матане», предшественнице современной «частушки». Мне кажется, что эта работа его печаталась в «Саратовском дневнике», редакции Сараханова, в 91 или 92 годах. Лет десять спустя в кружке Мережковских искали рифму к слову «дьявол», нашел, кажется, Сологуб: «плавал». И мне вспомнилась запись Арефьева:

Милый мой по Волге плавал,
Утонул, паршивый дьявол!

К запискам своим он относился небрежно. Однажды забыл их в лодке Изота, в другой раз его тетрадь оказалась под моей

койкой. Был он человек живой, размашисто открытый, богатый словом, с широким полем зрения и умением тонко, точно наблюдать.

Как-то, будучи в Казани, я встретил его у геолога Северцева или Сибирцева, и мы решили идти в Красновидово пешком. Вышли на утренней заре. В памяти моей очень светло и выпукло лежат сорок пять верст этого пути в непрерывной беседе с человеком, которому и природа и люди говорили больше, чем в ту пору я умел видеть и слышать. Он обладал небольшим голосом, отличным слухом и безошибочно передавал мелодии народных песен. Лицо у него было четкое, из тех, какие — увидав один раз — долго не забываешь и хочешь видеть еще. Лицо его хорошо освещали очень яркие и умные глаза; особенно ярко блестели они, когда Арефьев смеялся. Смеяться — любил, это — верный признак хорошего человека.

Года через два — если не ошибаюсь — я встретился с ним в Нижнем у И. И. Сведенцова, мрачного народовольца, автора очень скучных рассказов. Это была последняя встреча. Он, кажется, имел какое-то отношение к «народоправцам». Это я заключаю по тому, что он очень подробно рассказал мне о провале типографии Ромася в Смоленске. И в этот раз он вызвал у меня впечатление человека крепкого, решительно идущего к своей цели, влюбленного в песни, навсегда преданного народу своему и готового на всякий бой, на любую работу ради лучшего будущего.

Лет за 20 до сего года, когда я жил на острове Капри, явились ко мне гости из Якутска — Алексей Семенов, полурусский, полуякут, с женою Наташей, китайкой из-под Шанхая¹.

Алексей — человек среднего роста, крепенький, круглолицый, с глазами северянина, в них сияло неугасимое любопытство, пронизательность исследователя и чувство «радости бытия»; Наташа — кругленькая, бойкая и веселая, казалась подростком, а в китайских глазах ее светилась та же радость жить, что и в глазах мужа.

Семенов рассказал, что он сирота, жил — кажется — в Троицко-Савске «мальчиком» при магазине фирмы «Кунст и Альберс»², в свободное время занялся «от скуки» изучением «эсперанто», но, изучив его, стал сомневаться в том, что есть люди, которые говорят на таком языке. Сомнение — поучительно, не сомневаясь — не убедисься. Алексей Семенов убедился в том, что эсперанто существует, очень своеобразным способом: он послал в Лондон, фирме, торгующей дичью, телеграмму на эсперанто, предложив поставлять англичанам мороженых рябчиков. Рябчиков у него, конечно, не было, но англичане ответили ему тоже на эсперанто, значит — язык этот существует и, зная его, можно путешествовать по Европе³. Затем Семенов женится на китайке, тоже сироте, которая до одиннадцатилетнего возраста говорила по-русски всего девять слов: «Мама, пойдем гулять, пусть тебя волки съедят, сукин сын».

¹ Семеновы были на Капри у А. М. Горького в начале марта 1912 года. Тогда же, в конце марта — начале апреля, Горький встретился с Семеновыми в Париже.

² Семенов был служащим торговой фирмы «Коковин и Басов», а не «Кунст и Альберс».

³ В № 14 газеты «Якутская жизнь» от 3 апреля 1908 года Семенов печатает объявление: «В магазине Коковина и Басова продаются учебники международного языка «эсперанто».

Через некоторое время Семенова переводят приказчиком в Якутск, там он знакомится с нижегородским маляром Упрыжкиным и евреем извозчиком Браиловским. Оба — уголовные, нижегородец, кажется, был сослан за кощунство и богохульство. Браиловский — не помню за что. Втроем они начинают развивать культурную работу в Якутске: организуют кружок любителей драматического искусства, Упрыжкин — декоратор, плотник и вообще человек «на все руки», Браиловский — суфлер, он же свозит и развозит актрис на репетиции и спектакли, примиряет капризных, утешает обиженных. Семенов дает театру средства, помогает ему и непосредственно, своим трудом. В городе живут политические ссыльные, но все это идет мимо людей, у которых другие настроения и цели, более высокие.

Зоркий глаз Семенова открывает в окрестностях Якутска огнеупорную глину, тройка «культуртрегеров» делает кирпич, он идет на перекладку печей в казенных зданиях города: зимою при двух топках в день простой кирпич быстро перегорал. Устроили первую в Якутске оранжерею, нашли около города литографский камень, который некуда использовать. Семенов организует экспедицию для изучения кратчайшего пути от Якутска к берегам Охотского моря, он, вообще, неутомимо работает, пытаясь изучить суровый край, который самозабвенно полюбил и любит.

Накопив достаточное количество денег, он осуществляет давнюю мечту свою — познакомиться с Россией и Европой. Добрался с женою до Москвы, Петербурга, и там его поражают вагоны трамвая. Если обить их изнутри звериными шкурами для тепла, поставить на полозья, запрячь в них оленей — можно устроить весьма удобное и быстрое сообщение между Якутском — Иркутском. Расстояние — пустыковое: 4000 верст с небольшим. Он ведет переговоры с городским головой Петербурга об уступке Якутску старых вагонов трамвая. Его, разумеется, высмеивают.

Вооруженный только «эсперанто» и прочитав несколько книг по истории культуры, он, с женою, объехал все главные города Западной Европы, побывал во всех музеях, осмотрел ряд промышленных предприятий и крайне удивил меня емкостью своей памяти, своеобразием оценок. Он — русский оптимист, он считает $2 \times 2 = 5$. Это — правильный, смелый счет, с поправкой на скепсис — на сомнение — он даст как раз 4, как убеждает в этом вся наша текущая действительность, творимая энергией рабочей массы. Известно, что пессимисты считают $2 \times 2 = 3$ и что ошибочность этой манеры считать до-

казана всей историей роста культуры, а особенно неопровержимо доказывается двенадцатилетней работой строительства нового мира в Союзе Социалистических Советов.

Алексей Семенов за восемь лет до 17-го года сосчитал правильно; беседа со мною на Капри, он сказал очень просто и вполне уверенно:

— Здесь везде, в Европе, нужно делать революцию, как начали у нас. Только они все — очень вялые, это, я думаю, климат мешают им. И слишком удобно все, это — тоже, должно быть, мешает. Я думаю — мы их обгоним. А вы как думаете?

Когда «мы их обогнали», Алексей Семенов был избран наркомфином в Якутске. Из всех бумажных денег, которые выпускались в оборот на безграничном пространстве Союза Советов, самые оригинальные деньги выпустил Алексей: он взял разноцветные этикетки для бутылок вина, своею рукой написал на «Мадере» 1 р., на «Кагоре» — 3 р., «Портвейн» — 10 р., «Херес» — 25, приложил печать наркомфина, и якуты, тунгусы очень хорошо принимали эти деньги, как заработную плату и как цену продуктов. Когда Советская власть погасила эти своеобразные квитанции, Семенов прислал мне образцы их. Если б у него не оказалось под руками винных этикеток, он, вероятно, выпустил бы деньги не на простой, а на клозетной бумаге.

Он — один из самых бескорыстных людей, встреченных мною за всю мою жизнь. К деньгам и вещам у него органическое презрение, он любит только книги, а больше их — работу. В то время, когда он исполнял работу наркомфина, жена его Наташа — мы прозвали ее «Ходя» — действовала на фронтах, была в пулеметной команде, исполняла поручения разведчика, курьера и т. д.

В 20 году Семенов прислал ее ко мне с образцами свинцового блеска и письмом, в котором, извещая, что нашел месторождение свинца и начал разрабатывать руду с помощью семнадцати тунгусов, сообщал, что о его находке узнали японцы и предлагают ему за пуд руды пуд дробин. Это внушило ему уверенность, что руда очень богата, и он предлагает показать ее кому-нибудь из ВСНХ. «Подробности расскажет Наташа», — писал он¹.

Наташа ничего не могла рассказать: по одежде ее путешест-

¹ Речь идет о письме Семенова от 20 октября 1920 года (находится в Архиве А. М. Горького).

вовали стада вшей, температура у нее была выше 40°, она стояла на ногах, покачиваясь, улыбалась и бормотала:

— Не сяду, не могу, это, кажется, тиф...

Так и оказалось. Мы отправили ее в больницу, откуда она выскочила обритой, как мальчишка, сухонькой, но все такой же неутомимо веселой, какой она была всегда. Мне очень жаль, что я не могу напечатать интереснейших писем Семенова о постройке им города Томмота на берегу Алдана, — он мечтал создать там «Город-сад». Письма эти остались у меня в Сорренто. Но вот его последнее письмо от 23 июля текущего года:

«Дорогой Алексей Максимович.

По настоянию Наташи, моего жизнерадостного спутника на жизненном пути, я начинаю учиться печатать, чтобы удобнее было читать мои письма, и вижу, что это не плохо, тем более, что процесс работы мне нравится. Впрочем, мне нравится всякая работа, как нравится всякая погода: и зной, и холод, и снег, и дождь, и ветер, и тишь. Все по-своему хорошо.

Мечтатель я, как пишете Вы в своем обращении к Наташе, — это верно, но там, где мне предоставлялась свобода, некоторые мечты мои превращались в реальность. Без капитала, когда основным фундаментом была лишь заработная плата, мне удалось организовать несколько предприятий: издание газет, типографию, сплав по рр. Юдоме, Мае и Алдану в 1912—1914 годах, транспортные экспедиции на Темтон (приток Алдана), свинцовые рудники и пр. Выпуск денег за время моего наркомфинства, налаживание дороги с Лены на Алдан (через Саняхтат), организация нелегальной бесплатной почты, во время действия которой не потерялось ни одного письма, — все это было реальностью, но требовало не холодного чиновника, а мечтателя. Вот в таком смысле я понимаю и Ваше определение. Не в осудительном, а в поощрительном¹.

Пишу Вам из замечательного места — с пристани Укулан на Алдане, заложеной мною 12 июня 1925 г., в бытность

¹ Еще раньше — 11 февраля 1927 года — А. А. Семенов писал А. М. Горькому: «Я знаю, что я не беспочвенный мечтатель. Десятилетним парнишкой я, бессильный вытащить соху из земли, быстро использовал приспособление: привязал кушак к рогаю и, когда надо вытаскивать засуну голову под кушак, расставлю ноги и, натужась, одолею. Был учителем школы грамоты за 105 р. в год на всем своем, был ямщиком, а потом служащим конторы и бухгалтером. Издавал газеты, убыточные пока, чтобы приучить население к печатному слову, организовывал экспедиции, искал дешевые пути от Великого океана (4 года сплавлял грузы по Юдоме — притоку Маи). Прошлое служит порукой, что мои скромные начинания разрастутся».

членом правления местного треста «Алданзолото». На другом, левом берегу Алдана красуется город Томмот, в основании которого (15 июня 1925 же года мы начали рубить просеки для визирки при планировке города) я принимал деятельное участие, выдвинув свой план взамен архитектурского, не практичного. Я сейчас люблюсь естественным бульваром из столетних сосен и лиственниц, оставленных по кайме берега. Каждый аршин бульвара пришлось отвоевывать. Обычно мы сначала вырубим, а потом садим тощие кустики. Когда я слышу похвалу: «А какой-то не дурак составлял план Томмота», то порой скромность готова уступить место самодовольству и того и гляди опубликую, что составитель-то я. Впрочем, некоторые жители знают. На днях на перевозе один из старателей ласково спросил: «Что же, так твою растак, строитель города, в пять лет раз тебя видим?»

Зиму 1927/28 и лето 1928 г. я и Наташа посвятили себя свинцовым рудникам. Проживали по 19 рублей с копейками в месяц, посадив себя на конину, гречневую кашу и капусту, сами таскали себе дрова из леса (служащие и рабочие у нас получали дрова готовые, а мы уменьшали себестоимость свинца). Когда в 1927 году в Кремле А. И. Рыков спросил меня: «Когда вы поедете к Ал. Макс. в Сорренто?», я ответил, что замедление в получении визы из Рима заставляет меня ехать не в Сорренто, а на Верхоянский хребет. «Что там будете делать?» — «Хочу конкурировать с англичанами, добывая свинец». Желание одолеть англичан хотя бы только на Верхоянском хребте побудило меня заключить договор на поставку свинца Якуттору по цене на 10% дешевле привозного. Чтобы добиться этого, и я и Наташа превратились в дервишей. Однако нашему сподвижничеству скоро наступил конец. Инженеры уговорили Якутское правительство расторгнуть договор об аренде, не выяснив вопроса о возможности существования государственного предприятия там, где работало маленькое кустарное. Результаты сказались через три месяца — Ендыбальские рудники закрылись, т. к. приехавшие оказались не подготовленными к работе в условиях Робинзона. Истрачено несколько десятков тысяч рублей на проезд и дискредитирование государственного хозяйства.

Теперь организуется свинцовое дело в другом месте, с затратой уже миллионов. Искренно желаю, чтобы не постигла его участь Ендыбальского.

Мне не нашлось места для службы в учреждениях ЯАССР, и я обратился в концессию «Лена Гольфильдс» с просьбой о работе. Оттуда запросили меня об условиях. Я сообщил, что

сумма 150 руб. в месяц вполне удовлетворит мои запросы. Концессия назначила 200 р. На днях я приехал сюда, проехав из Якутска вниз по Лене и вверх по Алдану месяц, и буду сдавать о-ву «Союззолото» грузы, которые доставляются с верховьев Лены концессионными пароходами, проходя водой 4000 клм.

Я уже увлекся новым делом: изучаю графики уровня воды в Алдане за четыре года (как начали ходить пароходы) для рационализации маневрирования судов, вешаю грузы, помогаю грузчикам петь песни на отдыхах после запалок, выполняю поручения команды пароходов, пою им песни, рассказываю о том, что видел, вообще живу хорошо. Половины жалования, оставляемой себе, хватает на содержание и почтовые расходы, а других расходов у меня нет. При надобности могу опять перейти на сухари и воду и чувствовать себя хорошо.

Теперь (мне скоро будет 50) я прихожу к сознанию, что только снижение своих потребностей до минимума может охранить меня от унижений. Материальные затруднения, являющиеся в большинстве случаев следствием повышенных требований к жизни, налагают на дух человека путы. Это избитая истина, но я только теперь почувствовал весь ужас ее. Надо сознаться, дураком был раньше в этом вопросе. Жестокая историческая необходимость заставляет нас терпеть обречение на безработицу тысяч людей. Эту историческую необходимость я понимаю. Сейчас переживаются большие пертурбации в деревне. Крепкие мужики полагают, что в результате проводимых мероприятий все сельчане превратятся в таких, которые не платят сельхоз. налога и не могут нести косвенного обложения. Переломный момент проходит с кряхтением, но раз это неизбежно, то надо перестраиваться для завоевания новой, необычной для людей старого уклада, жизни.

Здесь я должен прожить до осени, пока не будут доставлены и сданы все грузы, идущие по Алдану. Возможно, что уеду в Якутск на пароходе или верхом напрямик, т. е. сделав вместо 1900 километров только 430. В крайности пройду пешком, т. к. ходить люблю и притом это дешево. К сожалению, местность пока пустынная и сухарей надо брать на всю дорогу. За это время я думаю пособрать сведения о жизни Алдана. Теперь экзотика периода зарождения, которой я был свидетелем, прошла и началась пора повседневной, размеренной, основательной работы. Освещение отдельных сторон ее, полагаю, принесло бы пользу, т. к. о некоторых отраслях Алданского дела, напр. с вопросом о дорогах к Алдану, я осведомлен, по-видимому, лучше многих.

Я очень просил бы снабдить меня удостоверением на право получения от «Союззолото» и др. организаций и учреждений сведений справочного характера. Я, как «предприниматель», лишен избирательных прав¹. Это нисколько не удручает меня, т. к. я знаю, что лишение — лишь бумажная сторона дела: в прошлом я был тоже «предпринимателем» и в то же время наркомом финансов и членом ЯЦИКа. Но какой-нибудь казенный человек на самом законном основании может не дать сведений мне, как человеку неполноправному.

В 1927 году я рассказывал А. И. Рыкову о моей последней идее-фикс — проекте создания на среднем Алдане сельскохозяйственной базы для Алданского золотого района. Передайте ему, что дело двинулось. Появились первые колонисты, которые пока зависят от тунгусских обществ (пускать на участки будут с 1930 или 1931 года). Почти всем колонистам я дал подряды заготовить дрова для концессионных пароходов. Я помогаю чем могу и им и другим, напр. некоторым из пароходской команды, которые тоже хотят переселиться. Дороговизна здесь, в Томмоте, ужасная: картофель 12—14 руб. пуд, яйца — 2.50—3 р. десяток, молоко 1 рубль бутылка. А рядом (по здешнему рядом — в 500—700 верстах) роскошные места для пашен, хорошие луга, и все это пустует. Наш долг — удешевить продукты, удешевить, усилить добычу золота. А как медленно это делается!

Как много работы и как хорошо жить, даже и неполноправному!²

Алек. Семенов.
Город Томмот, Алданского округа,
Якутской республики (через Амур),
Укулан, А. А. С-ву.
23 июля 1929 г.»

Когда Алексей Семенов был у меня на Капри, там жили два писателя — украинец Михайло Коцюбинский и поляк Стефан Жеромский.

— Хотел бы я иметь таких людей, как этот, у себя в Польше, — сказал Жеромский после того, как посмотрел на Семенова и послушал его. Помню, меня очень удивили эти слова талантливого литератора и человека, который страстно

¹ Вскоре А. А. Семенов был восстановлен в правах.

² Горьким в письме Семенова сделан один пропуск и несколько незначительных сокращений.

любил свою родину, мучительно горевал о ее судьбе, ярко видел все недостатки и пороки ее интеллигенции, но все-таки сохранил в себе болезненный национальный гонор и не однажды убеждал меня в том, что поляки — самое талантливое племя из всех славянских племен.

Коцюбинский, говоря о Семенове, вспомнил Крашенинникова, Дежнева, Щапова и других северян. У меня к людям, подобным Семенову, с юности горит, не угасая, чувство глубокого уважения и — не скрою — зависти. Хорошо они умеют жить. Это — потому, что радостно и неутомимо умеют работать.

Иван Егорович Владимиров — Иван Вольнов, крестьянин, сельский учитель — появился на острове Капри в 1909 или 1910 году. До этого он жил где-то около Генуи, кажется в Кави-ди-Лаванья, а туда приехал из сибирской ссылки. Сослан был как член партии социалистов-революционеров, организатор аграрного движения в Малоархангельском уезде Орловской губернии, — до ссылки сидел несколько месяцев в прославленном садической жестокостью Орловском «централ», каторжной тюрьме. Там тюремные надзиратели несколько раз избивали его, а однажды, избив до потери сознания и бросив в карцер, облили соленой водой; раствор этот разъел ссадины и раны, оставив на коже глубокие рубцы.

В ссылке, в глухой сибирской деревне, он работал батраком у зажиточных крестьян, заслужил их симпатии, и они, по собственному почину, организовали ему побег. Для тех времен это не было исключительным случаем, и говорит это не о великодушии мужиков, а только о том, что они понимали: есть люди, которые делают революцию в интересах крестьянства. Сам Иван рассказывал о побеге приблизительно так:

— Мужики там были — хорошие, грамотные, я довольно плотно вкрепился в их жизнь, работал, пропагандировал и о побеге — не думал. Но как-то ночью приходят двое — и обрадовали: «Приехал урядник с бумагой, говорит, что тебя требуют назад, в Россию, там еще что-то открылось за тобой, и тебе, за грехи, добавить надобно. А мы тебя считаем человеком хорошим, так ты беги! Урядника напоили, спит, проснется — еще напоим. Про тебя ему сказано, что ты на охоту вчера ушел. Лошадь — запряжена, вот он отвезет тебя; доедешь до своих». Я сообразил, что начальство зря в Москву не потребует, а если потребовало — значит, или каторгой угостит, или повесит. Вешалка мне грозила; я был организатором боевой дружины, участвовал в эксах; получая на юге литературу из Греции, был

выслежен шпионами, пришлось стрелять, одного, кажется, ухлупал. Вообще — повесить меня было за что, ну и — кроме того — шея есть. Расцеловался с приятелями и — айда! Тихонько, черепахой, прополз по России; потолкался кое-где за границей, вот — метнуло сюда.

Его спросили, как понравилась Европа. Он отвечал осторожно: «А не знаю еще! Пестро очень в глазах, и толпеж в голове. Ну, конечно, сразу видишь: здесь настроено, накоплено больше, чем у нас. Землю холят — замечательно!»

В то время ему было, вероятно, лет 25—27; крепкий такой был он, двигался осторожно, тяжеловато, как человек, который еще не совсем овладел своей силой и она его несколько стесняет. Над его невысоким, но широким лбом — плотная шапка темных, туго спутанных волос, на круглом, безбородом лице — карие глаза с золотистой искрой в зрачках, взгляд — пристальный, требовательный и недоверчивый. Маленькие темные усы, губы очень яркие и пухлые; физиономисты говорят, что такие губы — признак повышенной чувственности.

Нерешительную улыбку этих очень юношеских губ сопровождал невеселый блеск глаз, затененных густыми ресницами, и на краткий момент круглое, грубоватое лицо Вольнова казалось необычным, даже — загадочным. Говорил он вдумчиво и скупое, немножко ворчливо, а по складу речи, по манере ее часто казался старше своего возраста; а вообще же от его речей веяло свежестью чувства, прямодушием, простотой. И чувствовалось, что, относясь к людям не очень доверчиво, он и к себе самому относится так же, в нем как бы что-то надломлено, скрипит и, говоря, он всегда прислушивается к этому скрипу.

В первые недели его жизни на Капри сложность и неопределенность психики Вольнова вызвали в русской колонии острова весьма острое, но не очень дружелюбное внимание к нему. В то время на Капри жила небольшая группа литераторов: Николай Олигер, Алексей Золотарев, Борис Тимофеев, очень талантливый юноша, изуродованный ревматизмом, который потом и убил его, жил стихотворец с четырехэтажной фамилией Любич-Ярмонович-Лозина-Лозинский, человек нервно раздербанный и одержимый стремлением всячески подчеркнуть себя; он задорно подчеркивал свое дворянское происхождение, вражду к революции, к реализму в литературе и был похож на музыканта, которого заставили играть на инструменте, неприятном ему. Стихи свои он подписывал псевдонимом Любяр, читал их с пафосом, но в то же время с иронической улыбкой и любил говорить: «Жизнь — дурная привычка». Говорил —

и много — о Шопенгауэре, о Генрике Ибсене, причем казалось, что он раздувает угли, покрытые пеплом и золой. Молодежь слушала его весьма охотно и почти никогда не спорила против его поношенных парадоксов. В конце концов казалось, что он говорит не от себя, а по внушению извне.

Почти ежегодно приезжал Иван Бунин; мелькали Новиков-Прибой, Саша Черный, Илья Сургучев и еще многие. Собралось человек десять живописцев. Все это была молодежь говорливая, не очень стеснявшаяся в формах выражения своих ощущений и настроений, склонная «углублять психологию», разрешать «трагическую загадку бытия» и «проблему личности». Все были молоды, жили весело; все были очень бедны, но жизнь тогда была дешевой и кисленькое каприйское вино тоже дешево.

Ивана «загадка бытия», должно быть, не интересовала, так же как и «проблема личности в ее отношении к обществу». Он внимательно слушал все, что говорили, но был не очень словоохотлив. По скупым его рассказам было ясно, что он — человек весьма наблюдательный, способный включить пережитое в твердую и точную форму. Как уроженец области коренных «великороссов», он отлично владел афоризмом. Иногда в его речах звучали слова из лексикона его земляка Н. С. Лескова: толпеж, галдеж, угнездился, блезир, скудость, мниться — и много других. Но — спрошенный, любит ли он Лескова, — Вольнов ответил:

— Рассказа два-три читал. «Леди Макбет» — очень хорошо, а другие — не помню. Да и — не понравилось, хитрит он и сочиняет на смех кому-то.

Подумав, он добавил:

— Может быть — себе самому. Есть такие, что утешаются смехом над своим и чужим горем.

Вольнов сторонился людей, смотрел на них искоса, исподлобья, веселью не верил и как-то, после пирушки в маленьком кабаке, идя домой, сказал, вздохнув:

— Все какие-то мореные, без вина — не веселятся, хороших песен — не знают. Про революцию говорят, как пасынки про мачеху.

Это было сказано и верно и неверно: веселились и трезвые, потому что веселила молодость, красота моря, буйная сила плодородной земли. О революции вспоминали действительно не очень охотно, но среди этих людей активных революционеров почти не было. Жили интересами искусств и прежде всего литературы: все пробовали писать, читали друг другу рукописи, критиковали, спорили. Иван слушал споры молча, но всегда

с таким напряжением, что круглое лицо его каменело, глаза, округляясь, выкатывались, в зрачках разгорался сердитый рыжий огонек; иногда он тихонько фыркал носом и, взмахивая рукою, точно муху отгонял от лица. Часто он уходил в самом разгаре споров о «смысле бытия». Бывало — спросишь его:

— Вы что всё молчите?

— Я мало читал, не все понимаю, о чем говорят, что пишут, — отвечал он. — Стихоплет этот похож на курицу, которая притворяется петухом. Вообще тут все какие-то блаженные, «иже во святых».

Первое время жизни на Капри природа юга Италии интересовала его больше, чем русская литература, и о природе он говорил с завистью, с удивлением, которое часто казалось очень похожим на возмущение.

— Вот бы сюда согнать орловских, а то — сибирских мужиков, посмотрели бы они на землю, на работу! Смотрите, черти, здесь на голые камни земля корзинками потаскана, ее лопатами пашут, а она круглый год апельсины родит, оливки, бобы! А у вас, там, земля: летом — чугунная сковорода, зимой — саван, под ним — одурь, болота, овраги, черт ее знает что!

И неожиданно он заключал:

— А вы, черти, в бога верите, в какой-то божий разум!

На эту тему он рассуждал часто и так решительно, так озлобленно, что казалось: он сам чувствует бога как силу действительно существующую, но бессмысленную и всегда, во всем враждебную мужику. Рассматривая голубые цветы каменоломки на серых, известковых скалах острова, он с негодованием ворчал:

— Вишь ты, как прет, черт ее дери! Куда ни ткнишь, — везде растет что-нибудь! На железе расти может. Молочай кустами вырос, а — зачем он? Как насмешка все это.

И вздыхал, встряхивая кудлатой головою:

— Наши темные черти работать здесь долго не привыкли бы! Передохли бы с катуги. Круглый год работать не под силу им. Привыкли полгода на печи дрыхнуть.

Кажется, раза два он ездил в приморский городок Аллясио за Генуей; там жил Виктор Чернов, человек настолько известный, что вспоминать о нем неприятно.

Ко мне он приходил чаще всего поздно вечером, а то — ночью «на огонек»; придет, сядет и, вздохнув, спросит:

— Не помешаю? Вы — работайте, я посижу молча.

Было ясно, что он тоскует, что ему трудно жить. Минуты через две он рассказывал, зажав руки в коленях, поначиваясь, встряхивая головой так, точно на ней была слишком тяжелая

шапка, рассказывал о курных избах орловских деревень, о мужиках, которые уходят в Донбасс, в шахтеры, а возвращаются оттуда, надорвав силы, уже не мужиками, не рабочими.

— Пьяницы, драчуны, жен калечат, ребятишек бьют — беда! Кричат бабам: «Ради вас, сволочей, раньше смерти под землей живем!» Детей в школу не пускают: «Парнишка выучится, на мою же шею сядет учителем!» Это мне в глаза говорили.

Можно было думать, что плодотворные силы южной природы, изодряя его зависть и озлобление, делают Ивана пессимистом, мизантропом, но когда один из молодых литераторов стал назойливо доказывать ему наличие разума в природе, он угрюмо и твердо сказал:

— Ну, это вы — бросьте! Сегодня у вас — разум, а завтра будет — бог! А в бога верят только человеконенавистники, дворяне. Вот — Бунин в бога верит. Это — злая вера.

Его спросили:

— А вы во что верите?

— Ни во что, — ответил он; затем, потише, добавил: — В будущее верю. В человеческий разум. Другого — нет.

Рассказывал, как мужики громили усадьбу князя Куракина.

— Князь — хилый такой старичок, а злой, пес, был. Притащили его к речке и давай окунать в воду; орут: «Чистоту любишь? Мы тя выстираем, выполощем». В доме, во дворе, ломают всё, как свиньи, в щепки дробят! Я кричу: «Да — сукины дети — зачем? Ведь это все — ваше!» Никакого внимания! Треск, скрип, грохот. Столы, стулья топорами рубят; бабы из-за пледа разодрались, — отняли у них плед и тоже изрубили. Как будто в вещах и скрыто все людское горе. Такое было неистовство, что — и страшно и смешно. Старик один — тихий такой старичок был — нашел где-то дворянскую фуражку и, знаете, серьезно так — мочится в нее. Я, увидев это, даже задрожал: от крепостного права сорок лет прошло, а он, видно, вспомнил что-то, старичок! Девицы сняли зеркало со стены, отнесли в пруд и утопили, да не просто: пришли да бросили, а сели в лодку, выехали на середину пруда и там — бросили.

Он засмеялся и, встряхнув голову, махнув рукой, продолжал:

— Потом оказалось, что и сам я тоже какой-то шкафик жиденький ногами растоптал, уж не знаю, чем он помешал мне. Опомнился, когда мне в ухо заорал кто-то: «Круши, Иван Егоров!» Зараза!

И — снова помолчал:

— Пьяница один, шахтер, бесшабашный человек, взял кутенка, сунул за пазуху и пошел прочь. Догнали: «Покажи — что украл? Подай сюда!» И — кутенком — по роже его! В кровь избили. В день погрома — никто не воровал, а потом, ночью, на телегах ездили осколки и всякую рвань собирать. Воспитана в народе великая злоба. Это я и на себе испытал, когда меня в орловской тюрьме били. Хотите — верьте, хотите — нет, а когда били меня, ногами топтали, разумеется — больно было, но кажется мне, что я и в тот час думал: «Ладно, учите, годится!»

Он снова негромко и ненадолго засмеялся. Но стоило ему засмеяться, и тогда невольно думалось, что его обычная сумрачность только — личина, а под нею зачем-то прячется жизнерадостный и очень простой, очень милый человек.

Смеялся он не часто, но помногу и — смеялся весь, встряхивая голову, закрыв глаза, притопывая ногами, хлопая руками по бедрам, по коленям. Его смешила иногда самая простая шутка, неловкое движение, неправильно произнесенное слово, и вообще смех его был не требователен. Очень трудно было объединить этот молодой, даже почти детский смех с тяжелым грузом страшного, что нес в памяти своей этот человек.

Ему советовали:

— Вам бы, Иван Егоров, надобно писать об этом!

— Хочется, да не знаю, как взяться! — сказал он. — Даже — пробовал. Не выходит ничего. Дайте-ко мне книг.

Книг он брал много, больше всего беллетристику; читал придирчиво и очень тонко замечал ошибки авторов в описании быта.

— За плохим охотятся умело, — говорил он, и в этих словах чувствовался оттенок личной обиды.

Большинство людей, с которыми он столкнулся на Капри, знали деревню как дачники, судили о ней под углом испытанных ими бытовых неудобств и эстетических эмоций, которые вызывала в них природа деревни. Мужик, которого они более или менее знали, — это «дачевладелец», хозяин тех изб, в которых они снимали комнаты, к этому мужику они относились в лучшем случае снисходительно. А вообще мужик, в массе его, оценивался по старой народнической литературе, но умилительное их отношение к мужику было уже почти стерто тревожной мыслью Глеба Успенского, мрачными рассказами Бунина и скептицизмом таких рассказов Чехова, как «Мужики», «В овраге», «Новая дача». Все, что говорилось о мужике, можно было свести к такой оценке его: это — ненадежная личность; в 1902 году он начал бунтовать и тотчас же встал на колени

пред харьковским губернатором Оболенским; в 1905—1906 годах он разорял культурные «дворянские гнезда», жег библиотеки, отрезал хвосты живым лошадям, а — по Бунину — содрал кожу с живого быка и пустил его бегать по полям. Эта политически ненадежная личность была в то же время страшной личностью. Иван Вольнов довольно быстро разобрался в смысле неласковых суждений о мужике. Как-то ночью, за бугылкой вина, вцепившись крепкими пальцами в жесткие свои волосы, сердито глядя в стакан, он сказал:

— Осудили деревню без всякого снисхождения. Никаких обстоятельств, смягчающих грехи его, не найдено. Видно, что рады избавиться от обязанности думать о нем и что можно перенести свои симпатии на рабочего. А симпатии-то плутонические.

— Платонические?

— Знакомый мой, студент-филолог, Платона — Плутоном называл и всех философов — плутонами, а философию — плутней.

Чем больше он читал и слушал о деревне, о мужике, тем более ясно звучало в его речах чувство личной боли и обиды.

— Чтобы знать деревню, надобно родиться в ней, надобно — вместо материна молока жеваный хлебный мякиш из грязной тряпочки сосать, надобно в шесть лет от роду видеть, как мужик топчет ногами жену, а после того сидит в огороде над лужей, плачет, сморкается в нее и орет, на смех соседям: «Иди, так твою и эдак, бей меня, я тебя бил, валяй ты меня!» А в небе жаворонки поют, так что и эстетике место оставлено. А то: муж да жена поставили гроб со своим трехлетним дитей на церковной паперти и сидят, ждут, когда поп церковь отпрет. Март месяц, сиверко дует, снег идет, на улице не то что собаки — воробья нет. Денег у них — шесть гривен без семишника, а поп требует рубль. И во всем селе ни единого сукина сына, кто бы сорок две копейки дал! А не дают, потому что в копейках этих нуждаются «умники», отец ребенка — «забастовщик», мать — с кулаками не в ладах, грамотница, умная. Или. Описывают имущество за недоимки, баба просит: «Позвольте в останний раз самовар согреть?» Разрешили: «Грей, и мы чаю попьем!» Она вынесла самовар в сени, да обухом топора и порушила его, в комок смяла! Урядник командует мужу: «Дай ей трешку, курве!» Муж — дал. Он бьет, а его настраивают: «Так ее!»

Иван был способен часами рассказывать о таких «картинках быта», и слушателю казалось, что этот орловский мужик торопится рассказать о своей жизни все ужасное и горестибé

для того, чтоб другим, чужим, ничего не осталось, для того, чтоб перегнуть их в изображении страшной жизни деревни, перегнуть и лишить их права говорить и писать о том, что он знает лучше их.

— Вам надо писать, Иван Егорович!

— Да, надо бы! Только тут встречается вопрос: как быть с правдой? Всю ее как будто стыдно писать, выходит сплошной вопль и жалоба, а — кому жаловаться? Ведь — некому! И — на донос похоже: вот, дескать, какие звери живут на земле! Ну, а если — звери, стало быть — ничего, дави их, это — не грех! Дави...

Вопрос об отношении к правде очень тревожил его и долго мешал ему взяться за работу литератора.

— С правдой я не в ладах, — говорил он, натужно усмехаясь и встряхивая тяжелой головой. И повторил: — Стыдно писать про нее, и никак не могу понять чего-то... Ненавижу я ее, как Клещ в «На дне», а иной раз люблюсь ею, — кажется, что в ужасе ее скрыта какая-то умная сила.

— Этого я у вас — не понимаю.

— Да я и сам не понимаю, — угрюмо сказал он и, помолчав, заговорил снова: — Вот — Бунин, ему — легко, не о своих пишет. Он вышивает золотом по черному, ну и — себе приятно и людям — удовольствие. И — поучительно: читают люди — думают: «Вот какие черти-звери в Орловской губернии живут! Стоит ли о таких чертях заботиться?» — Иван Бунин был автором, который наиболее увлекал и волновал Вольнова.

— Золотое перо, — говорил он, вздыхая, и, смущаясь тем, что похвалил врага, он добавлял:

— А видно, что лаптей — не носил, сена — не косил, земли — не пахал, шапкой пахарю махал.

И — снова хвалил:

— Замечательный писатель! Вот бы эдак-то научиться! — вздыхал он и, закрыв глаза, встряхивая шапкой спутанных волос, читал на память, точно стихи:

— «О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этой мертвой деревне, молча стоявшей на краю ее, в этих бледных равнинах за нею, в этих жнивьях и копнах на их просторе, в этот синий степной вечер, молчаливый, как могила!»

Особенно понравилась, но и наиболее возмутила его «Деревня» Бунина.

— В печенки въелась, — сознался он, усмехаясь. — Написал «Суходол», пропел панихиду дворянству, опомнился —

«Деревню» написал. Вышло так: мы, дворяне, плохи, ну, а вы — еще хуже! Отомстил нашим за своих.

Он читал на память почти целые страницы, читал всегда вполголоса и медленно, прислушиваясь к суховатому и строгому звучанию слов бунинской речи. Прочитает и, помолчав, скажет:

— Просто как! А за сердце берет!

Особенно восхищался он рассказом «Захар Воробьев».

— Это — на сто лет! — говорил он. — Революцию сделаем, республика будет, а рассказ этот — не выдохнется, в школах будут читать, чтоб дети знали, до чего просто при царях хорошие мужики погибали.

Лично Бунина он не любил. Он, даже и захмелев, относился к людям сдержанно, высказывая свои антипатии и симпатии очень редко, скупо, в двух-трех осторожных словах. Я не помню, чтоб он о Бунине как о человеке говорил худо или хорошо. Он просто замалчивал существование Бунина как человека и даже как будто прятался от него. Только однажды, после какой-то встречи и беседы с Буниным, сказал:

— Он, конечно, считает мужиков неизлечимыми уродами. Мы для него — Азия, на четвереньках живем. Попробовал бы, помог мужику встать на задние ноги! А он вместо того о прошлом дворянстве скучает.

И, взяв с полки «Суходол», он прочитал:

— «Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники: предки наши были и стольниками, и воеводами, и «мужами именитыми», ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И, называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя или было убито, спилось, опустилось и просто потерялось где-то — бесцельно и бесплодно! Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам воображать даже то, что было полвека тому назад».

— Слышите? А как раз полвека-то назад — крепостное право было. «Суходол» у него вроде юбилейного плача.

Иван так и оставил за этой книгой подзаголовок «юбилейный вопль», «юбилейная панихида».

Я был уверен, что Вольнов начнет писать «под Бунина».

Он уже работал над «Повестью о днях моей жизни», просиживал над нею ночи, стал молчаливее, осунулся и ходил, глядя в землю, точно боясь споткнуться, рассыпаться. Часто спрашивал, как надобно писать о том или о другом, но советы слушал исподлобья и, чувствовалось, не верил им. Его спрашивали:

— Как идет работа?

Он отмалчивался, но как-то раз сказал:

— Трудновато. Приходится в одно время и пни корчевать и кружева плести.

Но уже ясно было, что советам он не верит из боязни заговорить чужими словами.

Когда он принес первые главы повести, меня очень неприятно удивила его напряженная, крикливая манера читать; он кричал как будто из окна в толпу или стоя на телеге. Но оказалось, что так крикливо, коротенькими, резкими фразами повесть была написана, фразы эти сливались в сплошной вопль и рычание, чтение имело характер спутанной речи, которая одновременно обвиняла и защищала. Диалоги он торопливо и невнятно бормотал, а описания — выкрикивал, даже как будто выпевал. Лицо у него налилось кровью. Кто-то из слушателей посоветовал:

— Не читайте бегом!

Эти слова очень верно определяли общее впечатление, — действительно казалось, что чтец не сидит, а именно бежит, перепрыгивая через какие-то ямы и кочки, торопясь достигнуть цели.

Видно было, что и писал он «бегом», спеша рассказать как можно больше тяжелого и страшного. Одна за другою, но бесвязно, необъясненно следовали сцены драк, избияния баб, детей, лошадей, мужик перегрызал горло живому петуху, ревнивая баба вывертывала сосок груди пьяной бобылки. Повесть каждой страницей кричала:

«Вот как страшно! Вот как! А еще — вот как! И — вот как!»

Кончив читать, Иван смял рукопись, сунул ее в карман и, отирая пот с лица, сказал:

— Ну, знаю, что плохо! Сам слышал, — ни к черту не годится!

Борис Тимофеев подтвердил эту самокритику:

— Да, это ты — набухал сгоряча! Всю свою губернию дегтем и кровью вымазал.

— Не стоит говорить, — согласился Иван, приглаживая волосы, рука его дрожала.

Ночью, на берегу моря, сидя в камнях, посеребрянных лу-

ною, в необыкновенной, тоже как бы окаменевшей тишине, которая возможна только над равниной спокойной, тяжелой воды, Иван рассказывал:

— Я — не писал, а — спорил. Сам понимаю, что этого не надо было делать. Но хотелось показать, что я знаю страшного и подлого больше, чем знают Бунин, Чехов и всякие Родионовы¹. Вот в чем ошибка. Желаете правды? Вот вам — правда! У меня ее больше, чем у вас, и моя — тяжелее! Вы ее издали видите, а я родился в ней, жил, буду жить!

Он очень долго и горячо говорил о том, что Тургенев, Григорович, Толстой изображали крепостных мужиков мягко, осторожно.

— Когда я читал их, так — оглядывался: разве это наши крестьяне — орловские, тульские, калужские? Места — наши, а мужик — не наш! У нас таких тихоньких — нет, я таких — не знаю, не видел. Я знаю страшного мужика, он живет в грязи, в тоске, он — дикий и несчастный. Значит — что же? При крепостном праве — мужик лучше, благообразнее был?

Покуривая тоненькие итальянские папироски одну за другою, бросая окурки на застывшую воду, он говорил о «Подлипцах» Решетникова:

— Они — где-то у черта на куличках, от моей совести — далеко! А вот от моей деревни до Москвы триста верст. В Москве — университет, консерватория, Третьяковская галерея, Художественный театр и черт ее знает что еще! А у меня в деревне — домовые, ведьмы, коновал лошадей портит, рожениц сквозь хомут пропихивают... понимаете?

После этой ночи он стал несколько доверчивее, откровенней, снова принялся работать над повестью и начал больше читать. Прочитал «Мужиков» Бальзака, «Землю» Золя, романы Ренэ Базена, Эстонье — французы успокоили его:

— Пишут деловитее наших, — сказал он.

Он легко находил общее между иностранной и русской литературой; прочитав «Последнего барона» Лемонье, он заметил:

— Это — тоже «Суходол».

Почти никогда не говорил о политике, о партийных программах, революционная литература не интересовала его.

— После прочитаю, — говорил он и все более углублялся в работу писателя.

Эсеровская закваска его напоминала о себе не часто, но

¹ Родионов — земский начальник в Боровичах, Новгородской губернии, автор напумевшей книги «Наше преступление». В этой книге он изобразил крестьян и рабочих-керамистов очень мрачными красками. (Прим. М. Горького.)

очень определенно. Как-то завязался разговор на тему о необходимости «выварить мужика в фабричном котле», он нахмурился и проворчал:

— Котлов-то нет. Да и строить их никому неохота, кроме иностранцев, а они — гости, которые легко становятся хозяевами...

В другой раз захмелевшая компания, вспомнив об Азефе, начала подтрунивать над партией, боевую славу которой создал провокатор. Вольнов, послушав насмешки минуточку-две, сердито заявил:

— Глупо говорите! Азеф — мерзавец, но он предавал людей, а вот люди, которые предали и предадут революцию, то есть, значит, весь народ, они — гораздо хуже Азефа!

И сквозь зубы произнес странные слова:

— Бывало, что и отцы детей жандармам выдавали. Думаете — не было этого? Было...

Как-то незаметно для всех он женился на одной из эмигранток, от нее у него — сын, Илья; теперь это очень серьезный юноша, отличных способностей. Жил Иван на берегу моря в обломке старинной, сторожевой башни, стена ее опускалась прямо в море, и во время прилива волны бухали по стене с такой силой, что все дрожало в маленькой квадратной комнате с каменным полом.

В Россию Вольнов вернулся в 1917 году, весной. Его возвращение домой, в деревню, хорошо изображено им в повести, которую он писал в 1928 году, живя в Сорренто. Не знаю, кончил ли он эту повесть; судя по началу, она могла быть лучшим из всего, что ему удалось написать. Я встретился с ним в Москве в 1920 году, он приехал из Орла, где сидел в тюрьме. Безобидно и шутливо он рассказал, что местная власть не терпит его, сажала в тюрьму уже три раза и очень хотела бы расстрелять.

— Они меня арестуют, а мужики тихим манером — телеграмму Ильичу: выручай! Ильич выручит, а начальство еще злее сердится на меня. Начальство по всему уезду — знакомое: кое-кто в пятом году эсерствовал, потом оказался мироедом, вышел на отруба, землишки зацапал десятин полсотни. Один начальник — сиделец винной лавки, другой был прасолом, в одной волости командует учитель, которого я знал псаломщиком, черносотенцем, наши ребята в шестом году хотели башку сломать ему. Вообще там все, кто похитрее, перекрасились, а мужик остался при своих тараканах. В Малоархангельске среди

чекистов оказался ученичок мой, солдат, сын мельника, так он мне прямо заявил: «Иван Егоров, не шуми. Враг разбит, революция кончена, теперь надобно порядок восстанавливать!» — «Как же, говорю, враг разбит, если ты командуешь? Как же революция кончена, если везде торчит ваша черная братия?»

Посмеиваясь и как будто не сожалея, он сказал:

— Все рукописи, записки мои арестовали и не отдают, должно быть сожгли, черти!

Настроен он был хорошо: очень бодро, активно; трезво разбирался в событиях.

— Теперь — главное дело мужика на ноги ставить! Я там, у себя, организовал артель по совместной обработке земли, общественные огороды и еще кое-что... Бедные мужики значение совместного труда отлично понимают.

Он похвалил мужиков и еще за что-то и тотчас же, как бы выполняя некую обязанность, обругал их за пьянство, за жадность.

— Привыкли в своих избах гнить, как покойники в могилах.

Был он с делегацией мужиков своего края у М. И. Калинина, был у Ленина. О Калинине кратко сказал:

— Староста — хорош! Мужикам очень понравился.

А на вопрос: какое впечатление вызвал Ленин, он ответил:

— От всякого интеллигента барином пахнет, а от него — нет!

О времени между 1917 и 1920 годами мне он ничего не рассказал, а на расспросы хмуро ответил:

— Зря болтался в разных местах.

После я узнал, что в 1918 году он дважды ездил в Сибирь за хлебом для Москвы, во вторую поездку очутился в Кунгуре среди анархистов, а затем — в Самаре, когда она была занята эсеровской «народной армией». Должно быть, именно в Самаре он близко наблюдал тех «вождей» партии эсеров, которые изображены им в повести «Встреча». Наша критика не обратила должного внимания на эту искреннюю и очень жуткую повесть, а она — один из наиболее ярких документов гражданской войны. Мне кажется, что здесь вполне уместно будет напомнить для характеристики Ивана Вольнова его предисловие к этой повести:

«Вам, мои единомышленники, далекие, неведомые братья мои, и вам, с кем об руку боролся я, посвящаю я эту повесть, которую официальные архиереи от эсерства назовут бесстыдной и гадкой. Вам, кто в течение девяти ярчайших в русской исто-

рии лет не находит себе пристанища в стране своей, кто всем сердцем и всеми помыслами предан революции, но влачит жизнь жалкого обывателя. Надо опомниться и осознать ошибки. Я не зову вас перекрашиваться, — это самое бесчестное и постыдное, что только можно сделать, ибо **мы не сумеем искренно перекраситься: мы из другого теста**, — я только призываю вас к мужеству осознания ошибок. Все~~х~~ перекрасившихся я мыслю нечестными и слабыми: в дни гонений на партию они испугались ответственности за ошибки и преступления ее и, играючи, перелетели в чужой лагерь. Так же легко и безболезненно они продадут и новых хозяев своих, если к тому представится случай. Такова психология трусов, стяжателей и честолюбцев. Некоторые из фигур моей повести как бы утрированы. Да, мне хотелось ярче оттенить их слабость, никчемность или ничтожество. Я как бы сгустил краски. Но в жизни они были еще слабей и противнее. Я хочу, чтобы вы, читая эту повесть, хоть в малой мере были искренни с собой и почувствовали, что мы почти слепы, что наши маленькие ущемленные самолюбьица натерли бельма на наших глазах, что Россия не отталкивала нас от себя, а **наши самолюбьица превратили нас во внутренних и внешних изгоев**».

В этих строчках особенно глубокое значение имеют слова: «Мы не сумеем искренно перекраситься, мы — из другого теста».

В 1928 году, зимою, в Сорренто, я спросил Вольнова:

— Настроение героя «Встречи», бывшего учителя Ивана Недоуздова, это — ваше настроение тех дней?

Он ответил, не задумываясь:

— Я считаю это настроение типичным для многих молодых эсеров в то время. В Самаре, а особенно после отступления из нее, очень многие партийцы рабочие и крестьяне поняли, в какую трущобу крови и грязи завел их Центральный комитет партии. Были самоубийства, дезертирство, переходы к большевикам. В Недоуздове есть кое-что мое — презрение и ненависть к вождям. Мое же настроение более определенно выражено в словах Недоуздова Португалову и потом в сознании Португалова, когда он говорит: «Мы проиграли». Эти слова говорил я, когда приехал в Самару, увидел вождей и познакомился с настроением «народной» армии. Развелось в ней много бандитов. Большинство, конечно, обманутые мужики, они уже чувствовали, что обмануты, что вожди партии снюхались с царским офицерем, а офицерье ведет крестьянство на расстрел, на гибель в своих хозяйских интересах. Страшные разыгрывались сцены...

Он рассказывал это сквозь зубы, глядя в пол, шаркая подошвой по кафлям пола.

— Слова Недоуздкива о непробудном пьянстве Наполеончика с партийными проститутками, — это о Викторе Чернове. Я сам ездил за город приглашать его на одно из важных партийных заседаний, он отказался, был пьян, окружен девками. Меня это так ошарашило, что я теперь не понимаю, как не догадался избить или застрелить его.

За все время моего знакомства с Иваном это был единственный раз, когда его «прорвало». С глубоким отвращением и остро наточенной ненавистью он рассказывал о Чернове и других людях, которым он верил, кого считал искренними революционерами, и было ясно, что поведение партийных вождей в гражданской войне было ударом, который разрушил все верования Вольнова. «Герои» оказались морально ниже любого из «толпы» — вот к чему сводилась его угрюмая и презрительная речь и вот что было, видимо, наиболее тяжелым моментом драмы, которую пережил Иван Вольнов, человек искренний и простодушный.

Сцена «Встречи», на которую он ссылался, в главном ее смысле такова: Недоуздкив говорит:

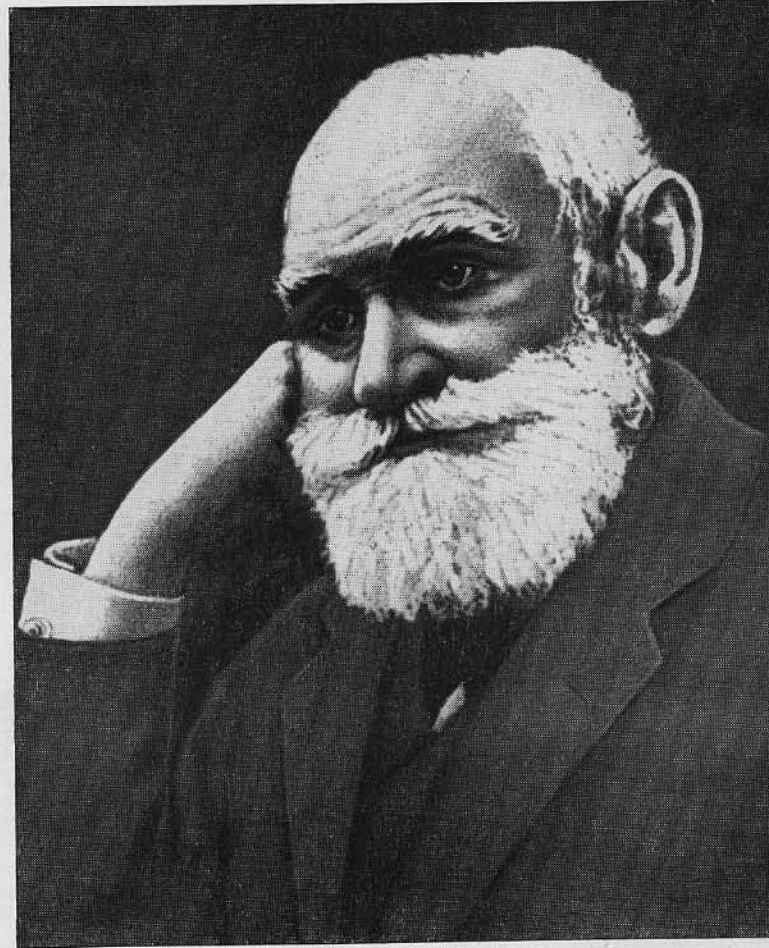
«— Все у меня оборвалось в душе, Португалов! Все.

Недоуздкив болезненно рассмеялся, хватаясь за голову.

— Ах вы, петрушки, социал-спасители!.. А эти самарские трюки Наполеончика, — какой ужас, какая гадость! Это непробудное пьянство, эти шатанья с партийными...¹ по кафе и вертепам!.. А за Волгой лилась кровь... Охрипшими с перепоя голосами вы убеждали молодежь идти спасать Россию. И молодежь верила и умирала. Ах, проклятые, проклятые, подлые обманщики!..

— Ах, бросьте свое донкихотство! — сквозь стиснутые зубы проговорил Португалов. — Есть другой выход.. — Он был бледен, хрустел пальцами. — Ставка на демократию кончена. Мы проиграли. Но мы должны быть с народом. Не с царской сволочью, а с мужиками и рабочими. Мы должны предупредить Каппеля. Мы арестуем главнокомандующего и Сольского с его тупоголовыми министрами, открываем фронт и вместе с большевиками бьем по Каппелю. Других путей нет. Или — или. Или служба черному Дидерихсу, или переход к красным, с которыми народ...»

Живя в Сорренто в 1928 году, Иван писал повесть, читал



И. П. Павлов.

¹ В тексте повести очень резкое и едва ли справедливое слово. (Прим. М. Горького.)



А. М. Горький. Горки, 1936 г.

начало ее, и мне казалось, что эта повесть будет наиболее зрелым произведением его. Начиналась она сценой возвращения эмигранта-революционера в деревню, его встречей на станции со своим отцом и торжественной встречей, которую устроила эмигранту деревня. В этом торжестве, смешном и трогательном, отец эмигранта не принимает участия, он, в стороне, спрятался под телегу и горько плачет. Из дальнейшего оказалось, что в 1906 году отец, желая спасти сына, выдал его товарищей полиции, а сын, узнав об этом, стрелял в отца и ранил его. Мне вспомнились слова Вольнова, сказанные им давно на Капри по поводу Азефа: «Бывало, что отцы выдавали детей жандармам». Повесть имела характер явно автобиографический, и я спросил Ивана: не его ли это отец? Он задумался, глядя на страницу рукописи, потом, встряхнув головою, хотел что-то сказать и — не сказал ни слова. А дня через два спросил неожиданно:

— Может быть, лучше — выкинуть отца-то?

Я посоветовал ему не делать этого.

— На мелодраму похоже, — пробормотал он, но тотчас же добавил: — Впрочем, мелодрама — тоже правда. Если — плохо, так уж — всегда правда.

И, не торопясь, взвешивая слова, рассказал:

— В тысяча девятьсот шестом году было такое — сына должны были арестовать за участие в террористическом акте: убил шпиона, и ранил стражника, и сам был ранен; отец террориста, лесник, тоже участвовал в этом акте, но никак не мог помириться с тем, что сына повесят, и сам застрелил его, а потом покаялся попу, тоже эсеру, но поп — выдал его. И отца повесили в орловской тюрьме.

Рассказав, он помолчал и тихонько добавил:

— Об эдаких делах хорошо бы забыть.

В другой раз он сердито пожаловался:

— Тяжело писать! Черт ее дери, эту правду прошлого! Из-за нее ничего не видно...

Как раньше, он все еще поругивал деревню, мужиков, но было уже ясно, что он делает это по привычке и по желанию быть объективным. Но уже и в словах и в глазах его сияла твердая вера, что бедняцкое крестьянство встает на ноги. Он говорил:

— Годка через два-три увидите, как покажет себя мужик в колхозах! Замечательно покажет! Он умный, он свои выгоды четко понимает.

В нем, несмотря на его обычную сумрачность и перегруженность знанием страшного, сохранилась душевная мягкость, даже нежность, воспитанная, должно быть, грустной природой

русской равнины. Он стыдился этих чувств, всячески гасил их, неумело пытался скрывать под личиной грубости и — не мог скрыть. Как раньше, на Капри, так и теперь, спустя почти двадцать лет, он снова на юге Италии восхищался красотой природы, ее неутомимым плодородием и негодовал:

— Одним — апельсины, виноград, оливы, а другим — еловые шишки...

Жил он напротив дома, где я живу, ежедневно бывал у меня, но иногда вдруг не являлся двое, трое суток, это значило, что он пьет. Это уже был «запой». Я слышал, что вино и убило его там, в деревне.

Жалко. Он был еще молод, очень талантлив и мог бы написать весьма ценные, яркие книги. Он не мог освободить себя из плена проклятой «правды прошлого», и эта правда долго мешала ему видеть, как мощно и продуктивно работает энергия людей, которые вырвались из-под гнета старой, убийственной правды.

Он все искал, «кому жаловаться» на страшную жизнь мужика, и не мог понять, что существует и уже правильно действует единственно непобедимая сила, способная освободить крестьянство из-под тяжелой «власти земли», из рабства природы.

Он долго не верил, что сила эта — разум и воля рабочего класса и что на этот класс историей возложена обязанность вырвать всю массу крестьянства из цепких звериных лап частной собственности, уродующей жизнь всех людей. Не верил, что силища рабочего класса несет крестьянству действительное — и навеки! — освобождение от каторжной жизни.

Но жизнь, суровый наш учитель, все-таки заставила его поверить в то, что очевидно, неоспоримо, и он, талантливый писатель, горячо взялся за трудную работу организации деревни на началах коллективизма.

Как всякий честный человек, он нажил себе немало врагов, но неизмеримо больше друзей. Хоронить его собралось несколько тысяч крестьян-колхозников, и он был похоронен как настоящий революционер, с красными знаменами, пением грозного гимна, в котором все более мощно, все более уверенно звучат слова:

«Мы — свой, мы новый мир построим!»

В ноябре — декабре 1905 года, на квартире моей, в доме на углу Моховой и Воздвиженки, где еще недавно помещался ВЦИК, жила боевая дружина грузин, двенадцать человек. Организованная Л. Б. Красиным и подчиненная группе товарищей-большевиков, Комитету, который пытался руководить революционной работой рабочих Москвы, — дружина эта несла службу связи между районами и охраняла мою квартиру в часы собраний. Несколько раз ей приходилось выступать активно против «черных сотен», и однажды, накануне похорон Н. Э. Баумана, когда тысячная толпа черносотенцев намеревалась разгромить Техническое училище, где стоял гроб Николая Эрнестовича, убитого мерзавцем Михальчуком¹, хорошо вооруженная маленькая дружина грузинской молодежи рассеяла эту толпу.

К ночи, утомленные трудом и опасностями дня, дружинники собирались домой и, лежа на полу комнаты, рассказывали друг другу о пережитом за истекший день. Все это были юноши в возрасте восемнадцати — двадцати двух лет, а командовал ими товарищ Арабидзе², человек лет под тридцать, энергичный, строго требовательный и героически настроенный революционер. Если не ошибаюсь, это он застрелил в 1908 году генерала Азанчеева-Азанчевского, начальника одного из карательных отрядов в Грузии.

Арабидзе был первый человек, от кого я услышал имя Камо́ и рассказы о деятельности этого исключительно смелого работника в области революционной техники.

Рассказы были настолько удивительны и легендарны, что

¹ Михальчук — дворник одного из домов Немецкой, ныне Бауманской, улицы. За убийство Баумана был оправдан. В 1906 году судился за кражу домашних вещей и был обвинен. (Прим. М. Горького.)

² Артист грузинской драмы т. Весо Арабидзе. (Прим. М. Горького.)

даже в те героические дни с трудом верилось, чтоб человек был способен совмещать в себе так много почти сказочной смелости с неизменной удачей в работе и необыкновенную находчивость с детской простотой души. Мне тогда подумалось, что, если написать о Камо все, что я слышал, никто не поверит в реальное существование такого человека, и читатель примет образ Камо как выдумку беллетриста. И почти все, что рассказывал Арабидзе, я объяснял себе революционным романтизмом рассказчика.

Но, как нередко случается, оказалось, что действительность превышает «выдумку» своей сложностью и яркостью.

Вскоре рассказы о Камо подтвердил мне Н. М. Флеров — человек, которого я знал еще в 92 году в Тифлисе, где он работал корректором в газете «Кавказ». Тогда он был «народником», только что вернулся из сибирской ссылки, очень устал там, но познакомился с Марксом и весьма красноречиво убеждал меня и товарища моего Афанасьева в том, что —

«На нас работает история».

Как многим уставшим, эволюция нравилась ему больше революции.

Но в 905 году он явился в Москву другим человеком.

— У нас, батенька, начинается социальная революция, понимаете? Начинается и будет, потому что началась снизу, из почвы, — говорил он, сухо покашливая, осторожным голосом человека, легкие которого сжигает туберкулез. Мне было приятно видеть, что он утратил близорукость узкого рационалиста, радостно слышать горячие слова.

— Какие удивительные революционеры выходят из рабочей среды! Вот послушайте!

Он начал рассказывать об одном удивительном человеке, а я, послушав, спросил:

— Его зовут Камо?

— Вы знаете? Ага, только по рассказам...

Он крепко потер свой высокий лоб и седые редкие кудри на лысоватом черепе, подумал и сказал, напомнив мне скептика и рационалиста, каким был он за тринадцать лет до этой встречи:

— Когда о человеке говорят много — значит, это редкий человек и, может быть, та «одна ласточка», которая «не делает весны».

Но, отдав этой оговоркой дань прошлому, он подтвердил мне рассказы Арабидзе и в свою очередь рассказал:

В Баку, на вокзале, куда Флеров пришел встречать знакомую, его сильно толкнул рабочий и сказал вполголоса:

— Пожалуйста, ругай меня!

Флеров понял, что надобно ругать, и, пока он ругал, — рабочий, виновато сняв шапку, бормотал ему:

— Ты — Флеров, я тебя знаю. За мной следят. Приедет человек с повязанной щекой, в клетчатом пальто, скажи ему: «Квартира провалилась, — засада», возьми его к себе. Понял?

Затем рабочий, надев шапку, сам дерзко крикнул:

— Довольно кричать! Что ты? Я тебе ребро сломал!

Флеров засмеялся:

— Ловко сыграл? После я долго соображал: почему он не возбудил у меня никаких подозрений и я так легко подчинился ему? Вероятно, меня поразило приказывающее выражение его лица; провокатор, шпион попросил бы, не догадался приказать. Потом я встречал его еще раза два-три, а однажды он ночевал у меня, и мы долго беседовали. Теоретически он человек не очень вооруженный, знает это и очень стыдится, но читать, заниматься самообразованием у него нет времени. Да это как будто и не очень нужно ему, он революционер по всем эмоциям, революционер непоколебимый, навсегда, революционная работа для него физически необходима, как воздух и хлеб.

Года через два, на острове Капри, снова поставил передо мной фигуру Камо Леонид Красин. Мы вспоминали товарищей, и он, усмехаясь, спросил:

— А помните, в Москве вас удивило, что я на улице подмигнул щеголеватому офицеру-кавказцу? Вы, удивясь, спросили — кто это? Я назвал вам: князь Дадешкелиани, знакомый по Тифлису. Помните? Мне показалось, вы не поверили в мое знакомство с таким петухом и как будто даже заподозрили меня в озорстве. А это был Камо. Он отлично играл роль князя! Теперь он арестован в Берлине и сидит в таких условиях, что, наверное, его песня спета. Сошел с ума. Между нами — не совсем сошел, но это его едва ли спасет. Русское посольство требует его выдачи как уголовного. Если жандармам известна хотя бы половина всего, что он сделал, — повесят Камо.

Когда я рассказал все, что слышал о Камо, и спросил Красина — сколько тут правды, он, подумав, ответил:

— Возможно, что все правда. Я тоже слышал все эти рассказы о его необыкновенной находчивости и дерзости. Конечно, рабочие, желая иметь своего героя, может быть, несколько прикрашивают подвиги Камо, создают революционную легенду, понимая ее классово-воспитательное значение. Но все-таки он парень на редкость своеобразный. Иногда кажется, что он

избалован удачами и немножко озорничает, балаганит. Но это у него как будто не от легкомыслия молодости, не из хвастовства и не от романтизма, а из какого-то другого источника. Озорничает он очень серьезно, но в то же время как бы сквозь сон, не считаясь с действительностью. Был такой случай: незадолго до ареста в Берлине он шел по улице с товарищем, русской девицей, она указала ему в окне бюргерского домика на подоконнике котенка и говорит: «Смотрите, какой хороший!» Камо подпрыгнул, схватил котенка и подал спутнице: «Возьми, пожалуйста!»

Девица должна была доказывать немцам, что котенок сам прыгнул с окна. Это не единственный анекдот такого рода, и я объясняю их тем, что у Камо совершенно отсутствовал инстинкт собственности. «Возьми, пожалуйста», — это он говорил часто и тогда, когда дело касалось его собственной рубашки, его сапог, вообще вещей, лично необходимых ему.

Добрый человек? Нет. Но отличный товарищ. Мое, твое — он не различал. «Наша группа», «наша партия», «наше дело»...

Другой раз, тоже в Берлине, на очень оживленной улице какой-то лавочник вышвырнул из двери мальчишку. Камо рванулся в лавку, испуганный спутник едва удержал его, а он вырывается и кричит: «Пусти, пожалуйста, ему надо морду биты!» Возможно, что это он репетировал свою роль безумного, но это мне теперь кажется. А в то время пускать его на улицу без провожатого было невозможно: он, казалось, только за тем и выходил, чтоб впутаться в какой-нибудь скандал.

Верно, он сам рассказал мне, что во время одной экспроприации, где он должен был бросать бомбу, ему показалось, что за ним наблюдают двое сыщиков. До момента действия оставалась какая-то минута. Он подошел к сыщикам и сказал: «Убирайтесь прочь, стрелять буду!»

— Ну, что ж, ушли они? — спросил я.

— Конечно, убежали.

— А почему ты сказал им это?

— Что такое почему? Надо было сказать — сказал.

— А все-таки почему? Жалко стало?

Он рассердился, покраснел.

— Ничего не жалко! Может быть, просто бедные люди. Какое им дело? Зачем тут гуляют? Я не один бросал бомбы; ранить, убить могли.

Его поведение в этом случае дополняется и, может быть, объясняется другим: где-то в Дидубе он выследил шпиона, схватил его, прижал к стене и начал убеждать: «Ты — бедный

человек? Зачем служишь против бедных людей? Тебе товарищи богатые, да? Почему ты подлец? Хочешь — убью?»

Человек не пожелал, чтоб его убили, он оказался русским рабочим из батумской группы, приехал за литературой, но потерял адрес квартиры товарища, в которой раньше останавливался, и искал ее по памяти. Видите, какой оригинальный парень Камо?

Самый изумительный из его подвигов — гениальная симуляция, которая ввела в заблуждение премудрых берлинских психиатров. Но искусная симуляция не помогла Камо, правительство Вильгельма II все-таки выдало его жандармам царя, и, закованный в кандалы, отвезенный в Тифлис, он был помещен в психиатрическое отделение Михайловской больницы. Если я не ошибаюсь, он симулировал безумие в течение трех лет. Его бегство из больницы в Тифлисе — тоже фантастический фокус.

Лично с Камо я познакомился в 20 году, в Москве, в квартире Фортунатовой, бывшей моей квартире на углу Воздвиженки и Моховой.

Крепкий, сильный человек, с типичным лицом кавказца, с хорошим, очень внимательным и строгим взглядом мягких, темных глаз, он был одет в форму бойца Красной Армии.

По его осторожным и неуверенным движениям чувствовалось, что непривычная обстановка несколько смущает Камо. Сразу стало понятно, что расспросы о революционной работе надоели ему и что его целиком поглощает другое. Он готовился поступить в военную академию.

— Трудно понимать науку, — огорченно говорил он, шлепая, поглаживая ладонью какой-то учебник, точно лаская сердитую собаку. — Рисунков мало. Надо делать в книгах больше картинок, чтобы сразу видно было, что такое дислокация. Вы знаете, что это такое?

Я не знал, а Камо смущенно улыбнулся, сказав:

— Вот видите...

Улыбка была беспомощная и какая-то детская. Эта беспомощность была хорошо знакома мне: я в юности тоже часто испытывал ее, постигая словесную мудрость книг. Понятно было мне и то, как должно быть трудно одолевать сопротивление книги смелому практику, для которого служба революции прежде всего — дело, творчество новых фактов.

Это при первой же встрече с Камо вызвало у меня горячую симпатию к нему, а чем дальше, тем более он поражал меня глубиной и точностью его революционного чувства.

Совершенно невозможно было соединить все, что я знал о

легендарной дерзости Камо, о его сверхчеловеческой воле, изумительном самообладании, с человеком, который сидел передо мной за столом, нагруженным учебниками.

Невероятно, что, пережив такое длительное напряжение сил, он остался таким простым, милым товарищем и сохранил душевную молодость, свежесть, силу.

Он еще не изжил в себе юношу и юношески романтично был влюблен в хорошую женщину, хотя и не блиставшую красотой, да, кажется, и старше его.

О своем романе он говорил с тем лиризмом страсти, который доступен только здоровым, сильным и целомудренным юношам:

— Она замечательная! Доктор, понимаешь, и всё знает, все науки. Она приходит с работы и говорит мне: «Что такое? Не можешь понять? Так это очень просто». И верно! Очень просто! Ах, какой человек!

И, рассказывая о романе своим словами иногда смешными, он делал неожиданные паузы, трепал руками густые, курчавые волосы на голове и смотрел на меня, молча спрашивая о чем-то.

— Ну, и что же? — поощрял я его.

— Вот видишь как... — неопределенно сказал он, и нужно было долго допрашивать его, чтоб услышать наивнейший вопрос:

— А может быть, не надо жениться?

— Почему?

— Знаешь — революция, учиться надо, работать надо, враги кругом, — драться надо!

И по нахмуренным бровям, по суровому блеску глаз ясно было, что его сильно мучает вопрос: а не будет ли женитьба изменой делу революции? Было странно, немножко комично и как-то особенно трогательно, что юношеская сила и свежесть его чувства мужчины не совпадает с его могучей энергией революционера.

С такой страстью, как о своей любви к женщине, он говорил о необходимости поехать за границу, работать там.

— Просил Ильича: «Отпусти, я буду за границей полезный человек!» — «Нет, сказал, учись!» Ну, что ж? Он знает. Такой человек! Смеется, как ребенок. Ты слышал, как смеется Ильич?

Улыбнулся ясно и снова потемнел, жалуясь на трудности постижения военной науки.

Когда я расспрашивал его о прошлом, он неохотно подтверждал все необыкновенные рассказы о нем, но хмурился и мало добавлял нового, незнакомого мне.

— Глупости тоже много делал, — сказал он однажды. — Напоил одного полицейского вином, смолой башку ему намазал, бороду намазал. Знакомый был. Спрашивает меня: «Ты вчера чего в корзине носил?» — «Яйца». — «А какие бумаги под ними?» — «Никаких бумаг!» — «Врешь, говорит, я видел бумаги!» — «А что ж не обыскал?» — «Я, говорит, из бани шел». Вот глупый! Рассердился я — зачем заставляет меня врать? Повел его в духан, напился он там пьяный, намазал ему. Молодой я был, озорничал еще, — закончил он и сморщил лицо, точно отведав кислого.

Я стал уговаривать его писать воспоминания, убеждал, что они были бы крайне полезны для молодежи, не знакомой с технической работой. Он долго не соглашался, отрицательно встряхивал курчавой головой.

— Не могу. Не умею. Какой я писатель — некультурный человек.

Но согласился, когда признал, что воспоминания его — тоже служба революции, и, вероятно, как всегда в жизни своей, приняв решение, он тотчас же взялся за дело.

Писал он не очень грамотно, суховато и явно стараясь говорить больше о товарищах, меньше о себе. Когда я указал ему на это, он рассердился:

— Что, мне молиться на себя нужно? Я не поп.

— Разве попы на себя молятся?

— Ну, кто еще? Барышни молятся?

Но после этого стал писать более ярко и менее сдержанно о себе.

Был он своеобразно красив, особенной, не сразу заметной красотой.

Сидит передо мной сильный, ловкий человек в костюме бойца Красной Армии, а я вижу его рабочим, разносчиком куриных яиц, фазтонщиком, щеголем, князем Дадешкелиани, безумным человеком в кандалах, — безумным, который заставил ученых мудрецов поверить в правду его безумия.

Не помню, по какому поводу я упомянул, что у меня на Капри жил некий Триадзе, человек о трех пальцах на левой руке.

— Знаю его — меньшевик! — сказал Камо и, пожав плечами, презрительно сморщив лицо, продолжал: — Большевиком не понимаю. Что такое? На Кавказе живут, там природа такая... горы лезут в небо, реки бегут в море, князья везде сидят, все богато. Люди бедные. Почему меньшевики такие слабые люди, почему революции не хотят?

Он говорил долго, речь его звучала все более горячо, но

какая-то его мысль не находила слов. Он кончил тем, что, глубоко вздохнув, сказал:

— Много врагов у рабочего народа. Самый опасный тот, который нашим языком неправду умеет говорить.

Само собой разумеется, что больше всего хотелось мне понять, как этот человек, такой «простодушный», нашел в себе силу и умение убедить психиатров в своем будто бы безумии?

Но ему, видимо, не нравились расспросы об этом. Он пожимал плечами, неохотно, неопределенно:

— Ну, как это сказать? Надо было! Спасал себя, считал полезным революции.

И только когда я сказал, что он в своих воспоминаниях должен будет писать об этом тяжелом периоде своей жизни, что это надобно хорошо обдумать и, может быть, я оказался бы полезен ему в этом случае, — он задумался, даже закрыл глаза и, крепко сжав пальцы рук в один кулак, медленно заговорил:

— Что скажу? Они меня щупают, по ногам бьют, щекотят, ну, всё такое... Разве можно душу руками нащупать? Один заставил в зеркало смотреть; смотрю: в зеркале не моя рожа, худой кто-то, волосами оброс, глаза дикие, голова лохматая — некрасивый! Страшный даже.

Зубы оскалил. Сам подумал: «Может, это я действительно сошел с ума?» Очень страшная минута! Догадался, плюнул в зеркало. Они оба переглянулись, как жулики, знаешь. Я думаю: это им понравилось — человек сам себя забыл!

Помолчав, он продолжал тише:

— Очень много думал: выдержу или действительно сойду с ума? Вот это было нехорошо. Сам себе не верил, понимаешь? Как над обрывом висел. А за что держусь — не вижу.

И, еще помолчав, он широко усмехнулся.

— Они, конечно, свое дело знают, науку свою. А кавказцев не знают. Может, для них всякий кавказец — сумасшедший? А тут еще большевик. Это я тоже подумал тогда. Ну, как же? Давай продолжать: кто кого скорей с ума сведет? Ничего не вышло. Они остались при своем, я — тоже при своем. В Тифлисе меня уже не так пытали. Видно, думали, что немцы не могут ошибиться.

Из всего, что он рассказывал мне, это был самый длинный рассказ.

И, кажется, самый неприятный для него. Через несколько минут он неожиданно вернулся к этой теме, толкнул меня тихонько плечом, — мы сидели рядом, — и сказал вполголоса, но жестко:

— Есть такое русское слово — ярость. Знаешь? Я не пони-

мал, что это значит — ярость? А вот тогда, перед докторами, я был в ярости, — так думаю теперь. Ярость — очень хорошее слово! Страшно нравится мне. Разъярился, ярость! Верно, что был такой русский бог — Ярило?

И, услышав — да, был такой бог — олицетворение творческих сил, — он засмеялся.

Для меня Камо — один из тех революционеров, для которых будущее — реальнее настоящего. Это вовсе не значит, что они мечтатели, нет, это значит, что сила их эмоциональной классовой революционности так гармонично и крепко организована, что питает разум, служит почвой для его роста, идет как бы впереди его.

Вне революционной работы вся действительность, в которой живет их класс, кажется им чем-то подобным дурному сновидению, кошмару, а реальная действительность, в которой они живут, — это социалистическое будущее,

В 1919 году я, в качестве одного из трех членов «Комиссии помощи профессору Ивану Петровичу Павлову», пришел в Институт экспериментальной медицины, чтоб узнать о нуждах знаменитого ученого.

— Собак нужно, собак! — горячо и строго заявил он. — Положение такое, что хоть сам бегай по улицам, лови собак!

В его острых глазах как будто мелькнула веселая улыбка.

— Весьма подозреваю, что некоторые мои сотрудники так и делают: сами ловят собачек.

— Сена нужно хороший воз, — продолжал он. — Нужно бы и овса. Лошадей дайте штуки три. Пусть будут хромые, раненые, это — неважно, только были бы лошади!

Он быстро объяснил, что лошади нужны для того, чтобы получить сыворотку из их крови. В комнате было так же холодно, как на улице. Иван Петрович — в толстом пальто, на ногах — валяные ботинки, на голове — шапка.

— У вас, видимо, дров нет?

— Да, да! Дров — нет.

Он пошутил:

— Говорят: теперь не дома отапливаются печами, а печи домами. Но деревянных домов тут близко нет. Дров давайте. Если можно.

— Продукты я получаю из Дома ученых. Удвоить паек? Нет, нет! Давайте, как всем, не больше.

Требуя помощи его научной работе, — от помощи персонально ему он решительно отказался.

— Продукты надо расходовать бережно. Слышно — какой-то дурак лезет на Петербург? Вот видите: большевики-то озлобили всех...

В те дни такое бережное отношение к «продуктам» наблюдалось крайне редко. Обильны были факты иного рода: на заседании совета Дома ученых аккуратно являлся некий именитый

профессор, он приносил в платке сухие комья просяной каши, развертывал платок и, отправляя маленькие комочки каши в свой ученый рот, тяжело вздыхая, уныло покачивая умной головой, показывал собратьям своим, до чего доведен большевиками деятель науки. Он ничего не говорил и вообще ничем не выражал своей заботы о том, как и где добыть пищу для его товарищей по работе, он только показывал на каше: «Страдаю».

Таких и подобных демонстраций большевистской жестокости господа интеллигенты устраивали много. Нет спора: люди, недоедая, страдали, но едва ли стоило сопровождать страдания творчеством мелких пакостей, назначенных для самолюбования и для уязвления большевиков. Но — сопровождали.

И. П. Павлов, мне кажется, спорил с советской властью по недоразумению, потому что не имел времени серьезно подумать о значении ее работы и потому еще, что около него были враги советской власти, люди, которые отравляли его ложью, сплетнями, клеветой.

Лет шесть тому назад он памятно сказал мне:

— Я могу верить в бога, но, разумеется, предпочитаю знать. Вера есть тоже нечто, подлежащее изучению, она развивается из отвлеченных понятий, то есть из работы мозга. Изучая его работу, мы все-таки еще не знаем, как он работает. И — узнаем ли? Это вопрос. Вот мы с вами поспорили. Одно и то же вещество нашего мозга воспринимает впечатления и реагирует на них различно и даже непримиримо различно. Я ищу причину этого в биологической — органической химии, вы — в какой-то химии социальной. Мне такая незнакома...

И. П. Павлов был — и остается — одним из тех редчайших, мощно и тонко выработанных органов, непрерывной функцией которых является изучение загадок органической жизни. Он изумительно целостное существо, созданное природой как бы для познания самой себя. Высшая для человека форма самопознания является именно как познание природы посредством эксперимента в лаборатории, в клинике и борьба за власть над силами природы посредством социального эксперимента.

Свободное и успешное развитие этой работы, которая должна быть целью жизни каждого разумного человека, требует полного равенства в праве на знание, — равенства, невозможного в обществе классовом, при наличии уже бессмысленной власти капитала, ныне создающей такие рецидивы средневековой дикости и зверства, каков, например, современный фашизм, — кровавый и гнусный конец царства буржуазии.

И. П. Павлов умер, но энергия его, воплощенная в работу, долго будет жить.

ПРИМЕЧАНИЯ

В основу книги положен сборник «Литературные портреты», вышедший в 1959 году в Государственном издательстве художественной литературы в серии литературных мемуаров. В настоящий сборник дополнительно включен очерк «О единице» [А. А. Семенов].

Очерки расположены, как правило, в хронологическом порядке, по времени их написания. Исключение сделано для воспоминаний о В. И. Ленине, о С. А. Толстой и для очерка «Из воспоминаний о В. Г. Короленко», присоединенного к двум другим очеркам, посвященным Короленко.

Названия очерков, не принадлежащие Горькому, даны в квадратных скобках.

Примечания сделаны М. Г. Петровой, к очерку «О единице» — И. В. Дистлер.

При ссылках на 30-томное собрание сочинений М. Горького в примечаниях указывается только том и страница.

Имена, встречающиеся в тексте, как правило, прокомментированы в указателе имен.

В. И. ЛЕНИН

Первая редакция очерка была написана вскоре после смерти В. И. Ленина. Уже 4 февраля 1924 года Горький сообщает в письме к М. Ф. Андреевой, что закончил воспоминания о Ленине: «Писал и — обливался слезами. Так я не горевал даже о Толстом. И сейчас вот — пишу, а рука дрожит. Всех потрясла эта преждевременная смерть, всех. Екат[ерина] Павловна прислала два письма с изображением волнения Москвы, — это нечто небывалое, как видно... Только эта гнилая эмиграция изливает на Человека трупный свой яд, впрочем — яд, не способный заразить здоровую кровь... Уход Ильича — крупнейшее несчастье ее (Россия. — М. П.) за сто лет. Да, крупнейшее» (т. 29, стр. 420—421).

В 1930 году Горький переработал текст воспоминаний, значительно расширил их, полнее осветил V съезд партии, выступления В. И. Ленина на съезде, рассказал о встречах с В. И. Лениным на Капри и в Париже, о своих ошибках 1917—1918 годов. Окончательно отработанный очерк вышел в 1931 году.

В. И. Ленин сыграл огромную роль в идейном и творческом развитии родоначальника пролетарской литературы. Влияние его на Горького сказалось еще до их личного знакомства. Старый партиз Р. С. Землячка, сообщая 26 декабря 1904 года

В. И. Ленину и Н. К. Крупской о своих беседах с Горьким, писала: «Он окончательно перешел к нам и очень заботится о нашем благополучии... Он заявил мне, что относится к нему (Ленину. — М. П.) как к единственному политическому вождю...» (сб. «В. И. Ленин и А. М. Горький», М., 1958, стр. 341).

Первая встреча Горького с Лениным произошла 27 ноября 1905 года в Петербурге на заседании ЦК. В очерке Горький ошибочно относит ее ко времени V съезда партии, к 1907 году. В 1934 году в письме в Институт Маркса — Энгельса — Ленина он писал: «...я и В. А. Десницкий были вызваны из Москвы Л. Б. Красиным и рассказывали Вл. Ильичу, П. П. Румянцеву, Красину о настроении московских рабочих. Но я приехал с высокой температурой и, вследствие этого, настолько смутно помню происшедшее, что даже не решился рассказать об этом в моих воспоминаниях о Вл. Ильиче» (там же, стр. 291).

Следующая встреча В. И. Ленина и А. М. Горького произошла в Финляндии, в Гельсингфорсе (январь — февраль 1906 года). Перед V съездом Ленин и Горький виделись в Берлине (апрель 1907 года). В. А. Десницкий рассказывает в своих воспоминаниях: «Несколько дней, проведенных в Берлине, очень сблизили Горького и Ленина. Неоднократно встречались они по вечерам. Вместе были в Тиргартене, ходили по театрам» (В. А. Десницкий, М. Горький. Очерки жизни и творчества, Л., 1940, стр. 106). По свидетельству И. П. Ладыжникова, Ленин и Горький из Берлина вместе уехали на съезд (см. сб. «В. И. Ленин и А. М. Горький», М., 1958, стр. 346—347). Появление Горького, как вспоминает старый член партии Н. Н. Накоряков, «съезд встретил дружными аплодисментами и особенно горячо его приветствовала фракция большевиков во главе с В. И. Лениным...» (там же, стр. 347).

Вскоре после съезда, 3 июня 1907 года, Горький пишет М. Хилквиту: «...Ездил в Лондон на партийный съезд, прожил там три недели и возвратился оттуда полный великодушных впечатлений. Съезд был блестящий и большой — 300 репающих голосов, из этой кучи людей $\frac{2}{3}$ — рабочие. Они-то и привели меня в восторг своим настроением, своей интеллигентностью, психическим здоровьем и несокрушимой верой в дело революции. Удивительно бодрый духом, крепкий и светлый народ!» (там же). После Лондонского съезда В. И. Ленин дважды был на Капри (в апреле 1908 г. и в июне 1910 г.). Горький был в Париже у Ленина весной 1911 года и весной 1912 года. В 1929 году Горький вспоминает о парижской встрече с Лениным (ошибочно относя ее к 1910 г.) в письме к Н. К. Крупской от 11 марта: «... с Владимиром Ильичем я виделся в 10 го-

ду в Париже, — кажется, на улице Сен-Жак; впервые видел и Вас там, но Вы скоро ушли. Через день или два мы с ним встретились в Фонтен-о-Роз, в ресторане, потом гуляли. Приехал я тогда в Париж с предложением достать денег, но В. И. от моего предложения решительно отказался и не советовал мне принимать участия в этом деле, затеянном, кстати сказать, не мною. Вы знаете, как бережно относился он ко мне. В этот приезд он мне не советовал посещать ряд лиц, с которыми я хотел повидаться просто из любопытства...» (там же, стр. 274).

Вспоминая первые годы после революции, Горький писал М. Навловичу 29 декабря 1925 года: «Я слишком часто обременял его в те трудные годы различными «делами» — гидроторф, дефективные дети, аппарат для регулирования стрельбы по аэропланам и т. д., — великолепнейший Ильич неутомительно называл все мои проекты «беллетристикой и романтикой». Прищурит милый, острый и хитренький глаз и посмеивается, (выспрашивает: «Гм-гм, — опять беллетристика».

Но иногда, высмеивая, он уже знал, что это не «беллетристика». Изумительна была его способность конкретизировать, способность его «духовного зрения» видеть идеи воплощенными в жизнь» (т. 29, стр. 452).

В. И. Ленин высоко ценил Горького, считая его «крупнейшим представителем пролетарского искусства, который много для него сделал и еще больше может сделать» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 19, стр. 251). Отношение Ленина к серьезным философским и политическим ошибкам Горького, критика этих ошибок в письмах к нему показывает, как дорого было вождю пролетариата творчество Горького, как высоко оценивал он роль искусства в жизни народа.

23 января 1924 года на гроб В. И. Ленина был возложен венок от А. М. Горького с надписью: «Прощай, друг! М. Горький».

Стр. 11. ...он прочитал ее в рукописи, взятой у И. П. Ладыжникова... — По свидетельству И. П. Ладыжникова, в издательстве которого в 1907 году в Берлине повесть «Мать» впервые появилась на русском языке, он передал имевшуюся у него рукопись повести В. И. Ленину.

В России повесть была опубликована с большими цензурными сокращениями в сборниках товарищества «Знание» (1907, кн. 16—19, 1908, кн. 20—21) и после выхода подверглась цензурным гонениям. По докладу цензора 3 августа 1907 года Пе-

тербургский комитет по делам печати вынес постановление о возбуждении судебного преследования против М. Горького как автора произведения, содержащего противоправительственную пропаганду. Горький мог сообщить об этом В. И. Ленину уже после съезда, происходившего в апреле — мае 1907 года, очевидно, в апреле 1908 года, когда В. И. Ленин приезжал на Капри.

Стр. 13. ...они послали туда «бабушку»... — Имеется в виду Е. К. Брешко-Брешковская, член партии эсеров.

...мне царское посольство — устроило скандал. — Речь идет о травле, организованной агентами русского правительства при помощи буржуазной американской прессы, в результате чего Горький был выселен из отеля под ханжеским предлогом, что его брак с М. Ф. Андреевой не был зарегистрирован церковью.

Стр. 15. ...пойдете чай пить с либералами? — В одном из своих выступлений на съезде В. И. Ленин сказал: «На съезде выяснилось, что еще в ноябре 1906 г. Дан был *приватно* «на чашке чая» с Милоковым, Набоковым, с вождями эсеров и эяэсов. Об этом Дан не считал нужным доложить ни в ЦК, ни в ПК» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 15, стр. 327).

Стр. 16. ...Роза Люксембург ...сказала меньшевикам... — Эти слова, обращенные к меньшевикам, были сказаны Л. Тышко, представителем польской социал-демократии (сб. «В. И. Ленин и А. М. Горький», М., 1958, стр. 415).

Стр. 19. ...хорошо бы восстановить библиотечку «Знания»... — Имеется в виду «Дешевая библиотека» издательства «Знание», в которой в конце 1905 года А. М. Горький организовал, по предложению большевистского ЦК, особый партийный отдел. В газете «Новая жизнь» было объявлено, что ближайшее участие в редактировании этого отдела принимают В. И. Ленин, М. С. Ольминский, А. В. Луначарский и др. («Новая жизнь», № 13, 15 ноября). В «Дешевой библиотеке» вышел ряд произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, А. Бебеля, П. Лафарга, К. Каутского.

Стр. 24. Не помню, до Владимира Ильича или после его на Капри был Г. В. Плеханов. — Г. В. Плеханов был на Капри в первой половине июня 1913 года, через три года после последнего приезда на Капри В. И. Ленина.

Стр. 26. ...опубликовал свои «тезисы»... — Речь идет о знаменитых Апрельских тезисах В. И. Ленина.

Стр. 28. ... в 19 году, в Петербурге, был съезд «деревенской бедноты»... — Очевидно, речь идет о съезде комитетов деревенской бедноты Северной области, происходившем в ноябре 1918 года в Петрограде.

Стр. 31. *Помню, я был у него с тремя членами Академии наук.* — 27 января 1921 года Горький был у В. И. Ленина вместе с академиками С. Ф. Ольденбургем, В. А. Стекловым и профессором В. Н. Тонковым, входившими в делегацию объединенного совета научных и высших учебных заведений Петрограда.

Стр. 32. *Цитирую по отчету «Известий»...* — А. М. Горький цитирует доклад В. И. Ленина о партийной программе на VIII съезде партии в изложении газеты «Северная коммуна» (Петроград), 1919, 22 марта.

Стр. 34. *Опять арестовали скажите чтобы выпустили.* Подписано: *Иван Вольный.* — 12 апреля 1919 года В. И. Ленин послал телеграмму Орловскому губисполкому: «Арестован литератор Иван Вольный. Горький, его товарищ, очень просит о наибольшей осторожности, беспристрастии расследования. Нельзя ли освободить под серьезный надзор? Телеграфируйте» (сб. «В. И. Ленин и А. М. Горький», М., 1958, стр. 124). В очерке идет речь о втором аресте И. Вольнова. И. Вольнов встречался с В. И. Лениным в Швейцарии; осенью 1919 года был принят Лениным в Кремле.

Я читал его книгу... — Видимо, речь идет о книге И. Вольнова «Повесть о днях моей жизни», изданной в 1913 году.

...одному генералу, ученому, химику... — Речь идет об А. В. Сапожникове. 5 марта 1920 года Горький писал Ленину: «Еще прошу Вас: позвоните Феликсу Дзержинскому и скажите ему, чтоб он скорее выпустил химика Сапожникова. Сей последний нашел способ добывать из газовой смолы — ею смазывают трамвайные пути на закруглениях и стрелках — гомоэмulsion, продукт столь же сильного антисептического значения, как карбол» (сб. «В. И. Ленин и А. М. Горький», М., 1958, стр. 139). В телеграмме от 19 марта 1920 года В. И. Ленин сообщил А. М. Горькому, что Сапожников освобожден 9 марта (там же, стр. 141).

Стр. 40. *...одним большевиком, бывшим артиллеристом...* — Инженер-изобретатель А. М. Игнатьев; событие, о котором идет речь, имело место в 1919 году.

А. П. ЧЕХОВ

Первая часть воспоминаний (до слов «Пятый день повышена температура...») была написана вскоре после смерти А. П. Чехова, умершего 2 июля 1904 года; окончательно очерк завершен в 1923 году.

21 ноября 1904 года Горький выступил с публичным чтени-

ем своих воспоминаний на благотворительном литературном вечере в Тенишевском училище в Петербурге. Многочисленная аудитория, состоявшая преимущественно из учащейся молодежи, восторженно встретила Горького. «...Максим Горький выступил в этот вечер... — сообщила газета, — с необыкновенно яркими, задухновенными, полными юмора и крупного общественного интереса, воспоминаниями из своих встреч с Чеховым... Перед публикой, как живой, вставал образ Чехова, при одном имени которого в голосе чтеца являлось выражение какой-то особой нежности и симпатии... Ноты глубокого презрения и негодования зазвучали в голосе Горького, когда он вспомнил, как... пошлая среда чеховских героев отнеслась к своему художнику после его смерти... Неудержимыми, долго не умолкавшими аплодисментами ответила М. Горькому публика, горячо благодаря его за истинно художественный рассказ о Чехове, представляющий собою лучшее, что было сказано о Чехове после его смерти...» («Новости и биржевая газета» от 23 ноября 1904 г., № 324).

Заочное знакомство Горького и Чехова началось в октябре — ноябре 1898 года, когда Горький послал Чехову письмо и два тома своих «Очерков и рассказов». «Собственно говоря, — писал Горький, — я хотел бы объяснить Вам в искреннейшей горячей любви, кою безответно питаю к Вам со времен младых ногтей моих, я хотел бы выразить мой восторг пред удивительным талантом Вашим, тоскливым и за душу хватающим, трагическим и нежным, всегда таким красивым, тонким...» (т. 28, стр. 41).

В марте 1899 года, в Ялте, состоялась первая встреча Горького и Чехова, положившая начало дружеским взаимоотношениям писателей. Под впечатлением этой встречи А. М. Горький писал Е. П. Пешковой в марте 1899 года: «Чехов — человек на редкость. Добрый, мягкий, вдумчивый... Говорить с ним в высокой степени приятно, и давно уже я не говорил с таким удовольствием, с каким говорю с ним...» (т. 28, стр. 69).

В свою очередь, Чехов пишет 23 марта 1899 года Л. А. Авилловой: «В Ялте Горький. По внешности это босяк, но внутри это довольно изящный человек — и я очень рад» (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 18, М., 1949, стр. 117), и несколько позднее, 15 февраля 1900 года в письме А. Б. Тарховскому: «Горький очень талантлив и очень симпатичен как человек» (там же, стр. 335).

В январе 1900 года Горький печатает в «Нижегородском листке» статью «По поводу нового рассказа А. П. Чехова «В овраге», где пишет о нем, как об одном из лучших друзей

России, которого «Россия долго не забудет... долго будет учиться понимать жизнь по его писаниям, освещенным грустной улыбкой любящего сердца, по его рассказам, пропитанным глубоким знанием жизни, мудрым беспристрастием и состраданием к людям, не жалостью, а состраданием умвого и чуткого человека, который все понимает» (т. 23, стр. 314—315).

В 1902 году, когда по распоряжению царя были аннулированы выборы Горького в почетные академики, Чехов, вслед за В. Г. Короленко, в знак протеста послал в Академию наук свой отказ от звания почетного академика.

Горький тяжело переживал преждевременную смерть А. П. Чехова. «Смерть Чехова очень подавила и огорчила меня, — пишет он 7 июля 1904 года Е. П. Пешковой. — Кажется, что я никогда еще не чувствовал ни одной смерти так глубоко, как чувствую эту» (т. 28, стр. 309).

Стр. 51. *...издатель популярного журнала... оскорбил кондуктора...* — Возможно, речь идет о В. С. Миролубове. В. И. Качалов в своих воспоминаниях о Чехове приводит следующий отзыв его: «Миролубов же хороший человек, хороший — только попович... Любит церковное пение, колокола... На кондукторов очень кричит...» («Чехов в воспоминаниях современников», 2-е изд., М., 1954, стр. 419).

Стр. 52. *...Скабичевский... написал, что я умру в пьяном виде под забором...* — Речь идет о рецензии А. М. Скабичевского («Северный вестник», 1886, кн. VI) на книжку А. П. Чехова «Пестрые рассказы». Слова Скабичевского отнесены к собирательному образу «молодого писателя», начавшего свой путь, как и А. П. Чехов, в газете. О приемах критики Скабичевского Чехов писал А. С. Суворину 24 февраля 1893 года: «Зачем Скабичевский ругается? Зачем этот тон, точно судят они не о художниках и писателях, а об арестантах?» (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 16, М., 1949, стр. 31).

Стр. 55. *Дрянный студент Трофимов красиво говорит...* — Резко отрицательная оценка Трофимова не совпадает с характеристикой Чехова, видевшего в своем герое и ряд положительных черт: моральную чистоту, бескорыстие, искреннюю веру в возможность лучшей, свободной и справедливой жизни. Горький смотрит на чеховских героев с позиций пролетарского художника.

Стр. 56. *Писатель активного настроения — например Джек Лондон — невозможен в России.* — Это ошибочное суждение легко опровергнуть ссылкой на творчество самого Горького, пи-

сателя активного настроения». Кстати, Горький сейчас же оговаривается, относя и А. П. Чехова к этому типу писателя. Возбудителями воли в человеке рисует Горький В. Г. Короленко, Н. Г. Гарина-Михайловского, М. М. Коцюбинского. В одной из своих заметок Горький дал иную оценку влиянию Джексона Лондона в России: «Джек Лондон. Его волонтеризм. Рыцари. Воспитал ли он рыцарей в России? Я думаю — да. Это те, которые шли вперед и погибли на фронтах гражданской войны. А воспитал ли он авантюристов? Тоже — да. Плохое прививается легче хорошего» («Архив А. М. Горького», т. VI, М., 1957, стр. 213).

Стр. 57. *«...смысла философии всей»...* — Из стихотворения Г. Гейне «Теория» (1842).

Стр. 60. *...Толстой восхищался... кажется — «Душенькой».* — Дочь Толстого Татьяна Львовна писала Чехову 30 марта 1899 года: «Ваша «Душечка» — прелесть! Отец ее читал четыре вечера подряд вслух и говорит, что поумнел от этой вещи» (А. П. Чехов, Полн. собр. соч., т. 18, М., 1949, стр. 463).

О СТАСОВЕ

Осенью 1907 года А. М. Горький получил письмо С. А. Венгерова с предложением принять участие в сборнике, посвященном памяти В. В. Стасова, умершего 10 октября 1906 года: «Сборник имеет целью разносторонне осветить благородную личность пламенного истолкователя русского искусства. В высшей степени желательно, чтобы все те, которые приходили в столкновение со Стасовым и видели, как этот человек горел преданностью и к русскому искусству и к лучшим сторонам русской общественности, поведали бы об этом публике... Всем известно, что Вы были очень дружны с В[ладимиром] В[асильевичем]. Оп, во всяком случае, всюду — и в печати и устно — с любовью говорил о Вас» («М. Горький. Материалы и исследования», т. III, М.—Л., 1941, стр. 109).

На это предложение Горький, живший на Капри, откликнулся письмом от 9 октября 1907 года: «Я пришлю Вам небольшую заметку о В[ладимире] В[асильевиче] через неделю-две... За предложение Ваше — сердечное спасибо, — мне радостно будет вспоминать о встречах с Владимиром Васильевичем, который и в старости своей любил жизнь, людей, искусство горячей любовью юности, той редкой любовью, которую так жадно ищешь в людях, и — нет ее!» (т. 29, стр. 28).

К 22 октября 1907 года очерк о Стасове был уже написан и послан Венгеру.

Горький познакомился с В. В. Стасовым 18 августа 1904 года в Куоккала у И. Е. Репина. Об этой встрече В. В. Стасов писал родным 24 августа 1904 года: «...Пока приготавлилось все к «концерту» (очень порядочному), мы втроем (Реп., Горьк. и я) гуляли по громадному саду... и тут произошло наконец большущее мое знакомство с Горьким. Кажется, он вначале что-то чуждался меня и с какою-то гордостью и недоверчивостью относился ко мне. Кажется, он воображал себе, что я барин и чиновник, — а тех и других он не выносит. Но вскоре все переменялось... и он сделался настоящим самим собою. А сам собою он — преотличный, пречудесный» (И. С. Зильберштейн, Репин и Горький, изд-во «Искусство», 1944, стр. 40—41).

Особенно высоко ценил Стасов революционно-романтические произведения Горького. В статье «Неизлечимый» Стасов писал о поэме Горького «Человек»: «Какая ширина и объем мысли, какая красота и сила, какая поэзия картин, какая сжатость и скульптурность выражений! Эта вещь — одно из важнейших и оригинальнейших созданий всей русской литературы. В нем, как и во всех значительнейших творениях Горького, веет тот самый глубокий, великий и поэтический дух, который присутствует в совершеннейших произведениях Байрона и Виктора Гюго» («Новости и биржевая газета», 1904, № 272, 2 октября).

Стр. 62. *...одна из его родственниц постоянно сидела в тюрьмах...* — Племянница Стасова, Елена Дмитриевна Стасова, член РСДРП с 1898 года.

Н. Е. КАРОНИН-ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ

В сентябре 1911 года Общество любителей российской словесности обратилось к Горькому с просьбой дать что-либо из своих новых произведений для чтения на столетнем юбилее Общества. 22 октября Горький послал очерк «Писатель» — воспоминания о Каронине. Новое произведение Горького имело исключительный успех у слушателей, которые потребовали послать Горькому, жившему на Капри, приветствие.

В 1922—1923 годах Горький переработал очерк и под названием «Н. Е. Каронин-Петропавловский» опубликовал в книге «Воспоминания» (Берлин, 1923).

Творческий облик Н. Е. Каронина-Петропавловского, одного из видных писателей-народников, противоречив: являясь, по выражению Горького, «одним из творцов «священного писания» о русском мужике», Каронин вместе с тем был свободен от

многих народнических иллюзий, от прекраснотушной веры в общину, в крестьянский «мир», видел социальные противоречия в жизни деревни и в ряде своих произведений нарисовал глубоко правдивую картину упадка и разложения пореформенной деревни.

Именно это отталкивание от слепой народнической веры в «устой» привлекло к писателю молодого Горького, уже понявшего оторванность народнических идеалов от жизни и настойчиво искавшего новых революционных путей.

Глубоко привлекателен был для Горького и общественный облик Каронина, писателя-подвижника, неоднократно подвергавшегося аресту и тюремному заключению за революционную пропаганду среди крестьян. В 1881 году Каронин был сослан в административном порядке в Западную Сибирь на 5 лет. Лишь в 1886 году, окончательно подорвавший свое здоровье тюрьмами, ссылкой и жестокими материальными лишениями, Каронин смог переехать в Казань. К этому времени у него умер его любимый сын Борис. Горький, впервые увидевший Каронина в Казани, отмечает в очерке «Время Короленко» тяжелую душевную подавленность его. В 1887 году Каронин переехал в Нижний Новгород, где прожил до весны 1889 года. В мае 1889 года к Каронину пришел Горький с письмом от писателя-народника В. Я. Старостина-Маенкова, об этой встрече и рассказано в очерке.

Весной 1889 года Н. Е. Каронин-Петропавловский переехал в Саратов, где умер 12 мая 1892 года от туберкулеза горла.

Стр. 64. *Осенью 89 года я пришел из Царицына в Нижний...* — Выехав из Царицына ранней весной 1889 года, Горький побывал в Москве, пытаясь увидеться с Л. Н. Толстым, чтобы поговорить об организации земледельческой колонии. В Нижний Горький приехал из Москвы в конце апреля того же года.

...двух телеграфистов и одной барышни... — Телеграфист станции Крутая Д. В. Юрин, телеграфист станции Кривая Музга И. В. Ярославцев и дочь начальника станции Крутая М. Э. Басаргина (И. Груздев, Горький и его время, М., 1948, стр. 207, 213, 517—518).

Стр. 67. *Я как раз вот описываю историю одной колонии...* — Речь идет о повести «Борская колония» (напечатана в «Русской мысли» за 1890 г., кн. IV и VI). В повести рассказана подлинная история Симбирской земледельческой колонии (см. в очерке «О С. А. Толстой», стр. 143).

Стр. 68. *...Стихи я потерял в дороге между Москвой и Нижним... — В очерке «Время Короленко» Горький пишет, что «не решался показать» свой «философический труд», поэму в стихах и прозе «Песнь старого дуба», больному Каронину и показал ее В. Г. Короленко.*

...проговорил знаменитое стихотворение... — Горький имеет в виду следующие строки Ф. И. Тютчева:

Одни зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.

из стихотворения «Ночное небо так угрюмо...» (1865).

Стр. 75. *...один из честнейших писателей наших однажды громко заявил: «Я умираю оттого, что был я честен».* — Имеется в виду стихотворение Н. А. Добролюбова «Милый друг, я умираю...».

Стр. 76. *Гомилетика — учение о христианском церковном проповедничестве.*

Стр. 77. *...Н. Ильин напечатал свой, до неприличия крикливый «Дневник»... — Н. Д. Ильин в своем «Дневнике толстовца» (М., 1892) полемизировал с религиозно нравственным учением Л. Н. Толстого, ставя под сомнение личную честность и искренность Толстого. Несколько позднее автор «Дневника» попал под суд за какие-то финансовые махинации и бежал из России (см. о нем в книге: В. В. Стасов, Николай Николаевич Ге, М., 1904, стр. 331—346).*

...М. Новоселов начал кричать на Льва Николаевича в «Православном обозрении»... — Имеются в виду статьи М. А. Новоселова, печатавшиеся в начале 900-х годов в журнале православной церкви «Миссионерское обозрение». М. А. Новоселов — учитель Московской гимназии — в середине 80-х годов увлекся идеями Толстого и в конце 80-х годов организовал в Тверской губернии толстовскую земледельческую колонию. В 1891—1892 годах работал с Л. Н. Толстым по организации помощи голодающим. Однако в дальнейшем критиковал учение Толстого с позиций официальной церкви.

«Есть такая точка зрения...» «это и не жизнь...» ...есть что-то общее со скептиком Рязановым... — (В. А. Слепцов, Собр. соч. в 2-х томах, М., 1957, стр. 147 и 148). Сравнение толстовца, с «холодной душой» проповедующего то, чему он, по меткому пророчеству Каронина, завтра изменит, со «скептиком» Рязановым, утратившим веру в правильность и действенность прежних форм революционной борьбы, носит чисто внешний характер: оба они разочаровались в прежних идеалах. Известно, с

какой неприязнью Горький, глубоко чуждый толстовству, относился к отступникам типа М. А. Новоселова или Н. Д. Ильина, крикливо поносящим то, что вчера так же крикливо проповедовали. Скептицизм Рязанова можно отнести к тому типу, который Горький называл «энергическим», «чаадаевским» скептицизмом, он имеет совсем иные социальные корни. В 1922 году в статье-предисловии к «Трудному времени» Горький писал: «Базаровы и Рязановы созданы русской жизнью как бы нарочито для безудержного осуждения ею же самой себя. Эту роль они исполнили самоотверженно, разбив себе лбы и сердца, погибнув в отрицании, но по трупам их в жизнь вошли люди революционного дела, сотни героев, имена которых почтительно вписаны на страницы истории борьбы за свободу и культуру» (т. 24, стр. 224).

Стр. 78. *...прочтите Хемницерову басню «Метафизик», — в ней все ясно. — Горький неоднократно обращался к басне И. И. Хемницера «Метафизик» для разоблачения и высмеивания метафизической философии, отрывающей «мысль от деяния». В статье «О пьесах» (1933) он писал: «О том, чем занимались и занимаются философы, кратко, но вполне вразумительно рассказал баснописец Иван Хемницер в басне «Метафизик». Суть этой басни такова. Некий молодой человек, гуляя в поле и размышляя о «начале всех начал», свалился в яму, откуда своими силами вылезти не мог. Ему бросили веревку, но он тотчас же поставил вопрос: «Веревка — что такое?» Ему сказали, что философствовать о веревке как «вещи в себе» — не время, — вылезай. Но он спросил: «А время — что?» Тогда его оставили в яме, где он и по сей день рассуждает: необходима ли вселенная и если необходима, то — зачем?» (т. 26, стр. 409—410).*

М. М. КОЦЮБИНСКИЙ

Написано вскоре после смерти М. М. Коцюбинского, следовавшей 12 апреля 1913 года.

В конце мая 1913 года, посылая очерк в редакцию «Вестника Европы», А. М. Горький писал Д. Н. Овсяннику-Куликовскому: «Посылаю несколько страниц моих воспоминаний о М. М. Коцюбинском, человеке, любимом мною. Воспоминания эти предназначены для «Л[итературно]-н[аукowego] вісника» и будут напечатаны по-украински. Но, может быть, это не мешает Вам поместить их и в «Вестнике Европы», ибо наша публика знает рассказы Коцюбинского и, вероятно, ей небезынтересно будет узнать кое-что о личности автора» (т. 29, стр. 307—308).

Знакомству Горького и Коцюбинского содействовал В. Г. Короленко. 15 апреля 1909 года он писал Горькому: «По старой памяти позволяю себе рекомендовать Вашему доброму вниманию Михаила Михайловича Коцюбинского, талантливого украинского писателя и моего знакомого. По состоянию здоровья ему тоже придется жить на Капри, и он просит меня облегчить ему знакомство с Вами» (сб. «М. Горький и В. Короленко», М., 1957, стр. 58—59). М. М. Коцюбинский впервые приехал на Капри летом 1909 года, а затем приезжал еще дважды, в 1910 и 1911 годах. 2 июля 1910 года М. М. Коцюбинский пишет М. И. Жуку: «Я очень близко сошелся с Горьким, видимся почти ежедневно; когда я долго не прихожу, он заходит за мной, гуляем, вместе и ведем бесконечные беседы на литературные темы. Иногда он читает свои новые вещи или рассказывает о своих планах, о будущих трудах. Он и его семья так заботятся обо мне, так много делают для меня, что я чувствую горячую благодарность» (М. Коцюбинский, Собр. соч. в 3-х томах, т. 3, М., 1951, стр. 251).

По инициативе А. М. Горького издательство «Знание» выпустило в 1911 году 2 тома произведений М. М. Коцюбинского в переводе на русский язык.

На смерть М. М. Коцюбинского А. М. Горький откликнулся телеграммой, адресованной жене писателя: «Большого человека потеряла Украина, — долго и хорошо будет она помнить его добрую работу» (т. 29, стр. 300). Текст другой телеграммы Горького — «Смертен человек, народ бессмертен. Глубокий мой поклон народу Украины» — был написан на ленте, которую несли вместе с венками за гробом Коцюбинского (там же).

Стр. 82. *...во время борьбы Сицилии против Фердинанда Бомбы, пришел к благородному Руджиеро Сеттимо...* — В период итальянской революции 1848—1849 годов Сицилия выступала с требованием конституции и полной независимости от Неаполитанского королевства. 25 марта 1848 года Руджиеро Сеттимо был избран президентом королевства Сицилии. В сентябре 1848 года неаполитанский король Фердинанд II начал военные действия против Сицилии, подвергнув варварской бомбардировке г. Мессину (за что был прозван «королем-бомбой»). Восставшая Сицилия героически оборонялась, и лишь 25 апреля 1849 года г. Палермо был занят войсками Фердинанда II, причем Руджиеро Сеттимо последним покинул город.

Стр. 84. *...на портрете Жука...* — М. И. Жук написал два портрета М. М. Коцюбинского, в 1907 и в 1909 году. Горький

говорит о последнем, оригинал которого хранится в Государственном литературно-мемориальном музее М. М. Коцюбинского в г. Чернигове.

Стр. 85. *...о благотворной работе загубленной ныне «Просвита».* — В 1906 году на Украине возникли легальные культурнические организации «Просвита». Работу в черниговском обществе «Просвита» М. М. Коцюбинский использовал для ведения революционной пропаганды. В 1908 году он был исключен из общества за «политическую неблагонадежность».

«Самотный»... лучшее из трех ваших стихотворений в прозе... — Стихотворение «Самотный» в русском переводе известно под названием «Одиночество».

Стр. 86. *Какая верная и страшная вещь ваш «Смех».* — Рассказ «Смех» впервые напечатан в сборнике «Нова Громада», 1906, кн. II; в нем идет речь о черносотенном погроме и поставлена тема, близкая горьковским «Детям солнца», — о вине интеллигенции перед народом.

«...работа так утомляет меня...» — М. М. Коцюбинский вынужден был служить статистиком в Чернигове, в губернской земской управе. Лишь за два года до смерти он получил пожизненную стипендию от «Украинского литературного общества», а тем самым и возможность бросить службу, заниматься только литературным трудом.

[Л. А. СУЛЕРЖИЦКИЙ]

Воспоминания были написаны Горьким в конце декабря 1916 года или в январе 1917 года, вскоре после смерти Сулержицкого, последовавшей 17 декабря (ст. ст.) 1916 года. Они предназначались для 2-го февральского номера журнала «Летопись»: номер был отпечатан и сверстан, но до Февральской революции выйти в свет не успел. А после февральских событий выпускать журнал со статьями, написанными языком иносказаний и намеков и к тому же изуродованными цензурой, было нецелесообразно. Горький отказался от публикации очерка о Сулержицком из-за того, что он был лишен «сегодняшней», политической актуальности.

Горький познакомился с Л. А. Сулержицким в 1900 году. В 1901—1902 годах, живя в Крыму, они часто посещают жившего в это время в Гаспре Л. Н. Толстого. В 1901 году Сулержицкий по поручению Горького ездил в Швейцарию закупать прифронт для подпольной революционной типографии, в мае 1902 года был арестован за принадлежность к социал-демократическому кружку и вскоре сослан в Подольскую губернию.

В последующие годы Сулержицкий часто посещал Горького в Нижнем Новгороде, Москве и Петербурге. В 1911—1912 годах он, как и К. С. Станиславский, заинтересовался горьковской идеей театра импровизаций, которую пытался осуществить в творческой работе Студии. По возвращении в Россию в 1914 году Горький неоднократно посещает руководимую Сулержицким Студию Московского Художественного театра.

Стр. 90. *Окончив с трудом городское училище, он поступил в Московскую школу живописи и ваяния...* — Сулержицкий учился в Киевской гимназии, но был исключен в 1885 году, «уличенный» в недозволенном для гимназиста увлечении театром. Тринадцати лет он поступил в школу живописи художника Мурашко. В 1888 году ушел из дому, работал в деревне батраком, преподавал в сельской школе. В 1889 году переехал в Москву и поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. В 1894 году перед выпускными экзаменами был исключен из училища за произнесение революционных речей (см. воспоминания Т. Л. Сухотиной-Толстой о Л. А. Сулержицком в книге «Друзья и гости Ясной Поляны», М., 1923, стр. 100).

...работает с В. Васнецовым. — Сулержицкий помогал В. М. Васнецову в росписи Владимирского собора в Киеве, будучи учеником школы Мурашко в 1885—1888 годах.

...встретил известного «толстовца»... — Сулержицкий познакомился с Л. Н. Толстым и стал увлекаться его учением во время своего пребывания в Московском училище живописи, ваяния и зодчества благодаря знакомству с учившейся вместе с ним Т. Л. Толстой, дочерью Л. Н. Толстого, и Е. Н. Поповым, учителем, организатором земледельческих толстовских колоний.

...Касаткин свою картину «Осужденный»... — Имеется в виду картина Н. А. Касаткина «В коридоре окружного суда» (1897).

Стр. 91. *...полгода он сидит в Крутицких казармах...* — Осенью 1895 года, сдав экзамен на вольноопределяющегося, Сулержицкий отказался принять присягу и был помещен в психиатрическое отделение Московского военного госпиталя.

Стр. 92. *...жил в Крыму у ...М. Шульц, работая, как... водовоз...* — Сулержицкий жил у Е. Н. Вульф, работал водовозом в Ялтинском порту.

Стр. 92. *...после этого он плывал матросом...* — Матросом, а затем рулевым на кораблях дальнего плавания Сулержицкий плывал в 1894—1895 и 1898 годах. Плавание описано в его неизданной повести «Дневник матроса», хранящейся у Д. Л. Сулержицкого. 27 января 1902 года Л. А. Сулержицкий писал жене: «Чи-

тал Горький мой «Дневник матроса», очень хвалил и требует, чтобы обработать... Говорит, что оригинальная манера писать...» («А. М. Горький в переписке современников», «Вопросы литературы», 1958, № 3, стр. 77).

Стр. 93. *...В конце 90-х годов Сулер живет под Москвою, на Лосином острове...* — Летом 1900 года Сулержицкий жил на даче в Кучино, где по ночам печатал революционные листовки и воззвания (см. воспоминания А. А. Сац. — Архив Д. Л. Сулержицкого).

Стр. 93. *...переселение кавказских духоборов в Канаду...* — Переселение духоборов (русская христианская секта, отрицающая обрядность православной церкви и ее догматы) вызвано событиями 1894 года. За отказ от воинской повинности духоборы подверглись жестокому правительственным репрессиям и были высланы на Кавказ, в Тифлисскую губернию. Л. Н. Толстой, к которому духоборы обратились за советом как к своему единомышленнику, высказался против их переселения из России, однако, видя твердую решимость духоборов эмигрировать во что бы то ни стало, помог им организовать переезд, собрать средства на дорогу. В организации переезда принимали участие С. Л. Толстой, В. Д. Бонч-Бруевич, сопровождавший, как и Л. А. Сулержицкий, одну из партий духоборов во время переезда. Сулержицкий перевез две партии духоборов: в 1898 и 1899 годах. Точное название книги, в которой Л. А. Сулержицкий описал события, связанные с переселением духоборов, — «В Америку с духоборами» (изд-во «Посредник», М., 1905). Прочитав рукопись книги, Горький 20 марта 1903 года писал Сулержицкому: «...скажу по совести — она выше моих ожиданий. Серьезно, голубчик, это — ценная вещь. Разумеется, много в ней неумения распорядиться материалом, местами — ты просто грабишь сам себя, не разрешая воображению развернуться с той силой и яркостью, с которой оно, не сомневаюсь, могло бы развернуться» (Архив А. М. Горького).

...очерки, напечатанные в одном из сборников «Знания». — Речь идет об очерке «Путь», напечатанном в сборнике товарищества «Знание», кн. 9, СПб, 1906, в котором рассказывается о путевых впечатлениях от переезда из Москвы в Харбин во время русско-японской войны. Очерк проникнут антивоенным пафосом.

В 904 году Сулер служит санитаром в Маньчжурии... — Л. А. Сулержицкий выехал в Маньчжурию в мае 1905 года, о чем свидетельствуют путевые записи, о которых идет речь выше.

Стр. 94. *...с 6-го года Сулержицкий начал работать в Москов-*

ском *Художественном театре*... — Сулержицкий начал работать в Художественном театре с 1905 года; в качестве режиссера совместно с Гордоном Крэгом и Станиславским он поставил «Драму жизни» К. Гамсуна (1907), «Жизнь Человека» Л. Андреева (1907), «Синюю птицу» М. Метерлинка (1908), «Гамлета» Шекспира (1911). В парижском театре Режан Сулержицкий в 1911 году вместе с Е. Б. Вахтанговым ставил «Синюю птицу» по мизансценам Художественного театра.

Его работа в «Студии Художественного театра... — С 1912 года все свои силы Сулержицкий отдавал работе педагога и художественного руководителя в организованной Станиславским Студии Художественного театра: «...всеми помыслами обращенный к людям, к жизни, он был настоящей душой Студии, ее совестью на том раннем этапе нашего творческого пути», — писал ученик Студии А. Д. Дикий в своей книге «Повесть о театральной юности» (М., 1957, стр. 270). Сулержицкий не подписывал своего имени на афишах спектаклей, но его роль в создании большинства постановок Студии была очень велика.

«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться» — фраза из уничтоженной Горьким юношеской поэмы «Песнь старого дуба» (см. «Время Короленко»).

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Материалами для воспоминаний, по свидетельству Горького, послужили отрывочные заметки, которые он делал в Крыму в конце 1901 — начале 1902 года, в период частых встреч с Л. Н. Толстым в Гаспре и Олесе.

Мысль о написании очерка возникает в 1917—1918 годах, когда Горький неоднократно рассказывает о Толстом в дружеском кругу. Непосредственно работа над воспоминаниями относится, по-видимому, к первой половине 1919 года. 19 июля 1919 года в переполненной аудитории Музея города (в Аничковом дворце в Петрограде) Горький впервые выступает с публичным чтением очерка о Толстом. Об этом чтении, ошибочно относя его к 1918 году, рассказывает в своих воспоминаниях В. Познер:

«Пушкин и Толстой, — прочел Алексей Максимович, — нет ничего величественнее и дороже нам...»

Его голос осекается. Он попытался взять себя в руки и прочесть следующую фразу: «Умер Лев Толстой». Его губы двигались, но изо рта не вырывался ни один звук. Он попробовал прочесть еще раз, потом еще... И замолчал. Он плакал. Слушатели тихо, с уважением, смотрели на него, плачущего. Он вынул носовой платок, вытер глаза, щеки, большие усы и, внезапно поднявшись, исчез за кулисой... Отсутствие Горького продол-

жалось минут десять, а то и больше, но никто не поднялся с места, не заговорил, не кашлянул. Горький вернулся, снова сел к столику, потушил папиросу и возобновил чтение... Год спустя мне снова довелось услышать, как он читал те же воспоминания перед другой аудиторией. «Пушкин и Толстой, — нет ничего величественнее и дороже нам...» — прочел он и, пытаясь произнести: «Умер Лев Толстой», снова начал плакать» («Москва», 1958, № 3, стр. 190—191).

В том же 1919 году очерк вышел под названием «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом» отдельной книжкой, которая тогда же была прочитана и высоко оценена В. И. Лениным (см. стр. 37—38).

В дальнейшем Горький дважды возвращался к работе над очерком.

История знакомства Горького и Толстого восходит к 1889 году, когда молодой Пешков пытался повидать Толстого в Ясной Поляне и Москве. Увлеченный идеей устройства земледельческой колонии в толстовском духе, Пешков решил обратиться к Толстому за помощью «материальной» и «нравственной», о чем он писал Льву Николаевичу 25 апреля 1889 года (т. 28, стр. 5—6). Встретиться с Толстым не удалось, а мечты о «колонии» скоро развеялись (см. очерки «Н. Е. Каронин-Петропавловский» и «Время Короленко»).

Лишь много лет спустя, 13 января 1900 года, состоялась встреча с Толстым в Хамовниках, куда Горький, уже известный писатель, пришел вместе с В. А. Поссее. 16 января Л. Н. Толстой записал в своем дневнике: «...был Горький. Очень хорошо говорил. И он мне понравился. Настоящий человек из народа» (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 54, М., 1935, стр. 8). Через несколько дней Горький (18 или 19 января) писал Толстому: «За все, что Вы сказали мне, — спасибо Вам, сердечное спасибо, Лев Николаевич! Рад я, что видел Вас, и очень горжусь этим. Вообще я знал, что Вы относитесь к людям просто и душевно, но не ожидал, признаться, что именно так хорошо Вы отнесетесь ко мне» (т. 28, стр. 116). 9 февраля 1900 года, отвечая на письмо Горького, Толстой писал: «Я очень, очень был рад узнать Вас и рад, что полюбил Вас. Аксаков говорил, что бывают люди лучше (он говорил — умнее) своей книги и бывают хуже. Мне Ваше писанье понравилось, а Вас я нашел лучше Вашего писанья» (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 72, М., 1933, стр. 303).

В этот период Толстой относился к Горькому с неизменным интересом и симпатией. В мае 1901 года, когда Горький был арестован, Толстой, обратившись с письмом к П. Д. Святополку-

Мирскому, помог друзьям и родным Горького добиться его освобождения из тюрьмы по состоянию здоровья: «Я лично знаю и люблю Горького не только как даровитого, ценимого и в Европе писателя, но и как умного, доброго и симпатичного человека», — писал он (там же, т. 73, М., 1954, стр. 70).

Живя в Крыму в 1901—1902 годах, Горький часто навещал Толстого и беседовал с ним. Но после 1902 года личные встречи и переписка Горького с Толстым прекращаются. По мере разворачивания революционного движения в стране пропасть между социально-политическими воззрениями Горького и Толстого не могла не углубляться.

У Толстого в дневнике появляются недоброжелательные отзывы о Горьком как о талантливом, но «вредном» писателе.

С другой стороны, Горький, неизменно преклоняясь перед художественным гением Толстого, развертывает энергичную борьбу против реакционных сторон толстовского учения, против религиозно-философской проповеди общественной пассивности, непротивления злу. 5 марта 1905 года он пишет открытое письмо Л. Толстому (см. т. 28, стр. 357—361), предназначавшееся для опубликования в печати и содержащее гневное возмущение толстовской статьёй «Об общественном движении в России», в которой предлагалось отказаться от политической борьбы во имя личного религиозно-нравственного самосовершенствования и революционная деятельность объявлялась вредной и неразумной. Горький не послал своего письма Толстому и не опубликовал в печати, найдя его слишком резким, но в своих «Заметках о мецанстве» (октябрь — ноябрь 1905 г.) выступил с аналогичной критикой толстовской проповеди смирения.

В 1908 году, в связи с 80-летним юбилеем Л. Толстого, Горький задумывает издание сборника о Толстом. «Сие необходимо, — пишет он К. П. Пятницкому. — Видимо, мецанство хочет уцепиться за Толстого и фэдздать вокруг его грандиозно-пошлый кавардак» (т. 29, стр. 57). Тогда же В. И. Ленин просит Горького написать фельетон о Толстом для «Пролетария» (письмо от первой половины апреля 1908 г. — В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 47, стр. 154). Статья была написана, но рукопись, отосланная в Петербург, пропала при обыске, о чем сообщал Горький в письме С. М. Брейтбургу 7 ноября 1927 года: «Как была озаглавлена рукопись — тоже не помню. Возможно: «Большой человек», потому что речь шла о человеке, который вырос таким большим, что уже не видит и не слышит людей, а разговаривает только сам с собою и со своей тенью» (т. 30, стр. 44).

Нередко, возвращаясь в своих статьях и художественных произведениях к полемике с Толстым, Горький во многом

перекликался с ленинской оценкой Толстого, он вел борьбу «с Толстым за Толстого», с Толстым, религиозным проповедником, за Толстого, гениального художника. Этот большой спор нашел свое отражение и в очерке «Лев Толстой», о котором А. В. Луначарский писал: «Может быть, никто так хорошо не дал живого портрета Толстого, как Максим Горький, который с чуткостью большого художника сумел восстановить не елейного старца вроде «господа бога-отца», а подлинного Толстого, кипящего страстью...» (А. В. Луначарский, Классики русской литературы, М., 1937, стр. 349).

Стр. 102. ...Фет писал... — Из стихотворения А. Фета «Я пришел к тебе с приветом...» (1843).

Стр. 104. Читал ему свой рассказ «Бык»... — В воспоминаниях В. Познера передан рассказ А. М. Горького об этом утерянном произведении: «Я написал рассказ «Бык». Рассказ понравился Толстому — это была моя единственная вещь, которую он одобрил без оговорок... Я описал в этом рассказе быка, обычного деревенского племенного быка. И еще учителя, неисправимого мечтателя: ему казалось, что вся деревня состоит из одних ученых... мальчишки, девчонки, все — ученые. Ну, а деревенские ценили главным образом быка. Толстому это понравилось... А рассказ исчез, исчез, как бы в воду провалился... А черновики я не сохраняю» (В. Познер, Воспоминания о Горьком. «Москва», 1958, № 3, стр. 194—195).

Стр. 108. ...вариант сцены падения «Отца Сергия»... — Варианта сцены падения в рукописях Толстого нет. Сохранился набросок, относящийся к 1891 году, в котором, после сцены падения, отец Сергей убивает дочь купца топором. Возможно, что воспоминания Горького основываются на другом эпизоде: 8 октября 1900 года, когда Горький был в Ясной Поляне, Л. Н. Толстой рассказывал содержание «Отца Сергия». В письме к А. П. Чехову от 11 или 12 октября 1900 года Горький писал: «И когда он начал передавать содержание «Отца Сергия» — это было удивительно сильно, и я слушал рассказ, ошеломленный и красотой изложения, и простотой, и идеей. И смотрел на старика, как на водопад, как на стихийную творческую силу. Изумительно велик этот человек, и поражает он живучестью своего духа, так поражает, что думаешь — подобный ему — невозможен. Но — и жесток он! В одном месте рассказа, где он с холодной яростью бога повалил в грязь своего Сергия, предварительно измучив его, — я чуть не заревел от жалости» (т. 28, стр. 137—138).

Стр. 109. *...штундисты из Феодосии...* — Штундистами называли сектантов евангелического направления.

Стр. 112. *Вы согласны с Познышевым...* — См. «Крейцерову сонату» (1889), гл. XV и др.

Стр. 113. *...книжку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером»...* — Речь идет о брошюре ренегата Л. А. Тихомирова, изданной в 1888 году. Автор ее в прошлом (конец 1870-х — начало 1880-х годов) был членом Исполнительного комитета партии «Народная воля», участвовал в покушениях на Александра II, но затем сделался рьяным монархистом, написал упомянутую брошюру и «заслужил» прощение царского правительства.

Стр. 114. *...«Позолота-то согрется, свиная кожа останется»...* — Из сказки Г. Андерсена «Старый дом» (1848).

Стр. 121. *...его письмо «Интеллигенция, государство, народ», написанное в 905 году...* — Под этим названием в памяти Горького объединились две статьи Л. Н. Толстого: статья «Об общественном движении в России», напечатанная в феврале 1905 года в английской газете «Таймс», и статья «Обращение к русским людям. К правительству, революционерам, народу» (1906).

Стр. 122. *...«арзамасский ужас»...* — 2—3 сентября 1869 года Л. Н. Толстой был проездом в Арзамасе. Ночуя в арзамасской гостинице, он испытал беспричинные тоску, страх, ужас, о чем писал в письме к С. А. Толстой от 4 сентября 1869 года. Об «арзамасском ужасе» Толстой упоминает в неоконченном рассказе «Записки сумасшедшего» (1884).

Стр. 123. *Вот за Гёте каждое слово записывалось...* — Литературный секретарь Гёте Иоганн-Петер Эккерман в последние годы жизни Гёте вел дневник, который издал в 1837 году. В России книга вышла под названием «Разговоры Гёте, собранные Эккерманом», ч. 1—2, СПб., 1891.

Стр. 128. *...поэт Булгаков...* — Имеется в виду В. Д. Ляпунов (см. примечание к стр. 144 очерка «О С. А. Толстой»).

Он излагает им учение Лао-тце... — Л. Н. Толстой интересовался учением древнекитайского философа Лао-цзы, автора сочинения «Тао те кинг», в котором проповедуется пассивность и созерцательность. В начале 90-х годов Толстой редактировал перевод Д. П. Конисси (японец, принявший православие). После смерти Л. Н. Толстого издательство «Посредник» неоднократно выпускало изречения Лао-цзы, избранные Л. Толстым.

Стр. 129. *...у фурьеристов, учился думать, у Бугашевича...* — В 1847 году Достоевский примкнул к кружку М. В. Бугашевича-Петрашевского; вместе с членами этого тайного революционного кружка Достоевский изучает идеи утопического социализма

(в частности, Ш. Фурье) и знакомится с философией Л. Фейербаха.

Стр. 131. *Но черту Булаева постиг в Толстом... Олаф Гульбрансон...* — Имеется в виду рисунок Олафа Гульбрансона из серии «Галерея знаменитых современников» (дружеские шаржи) в немецком сатирическом журнале «Симплициссимус», выходившем в Мюнхене («Simplicissimus», 8 год издания (апрель 1903—март 1904), № 25, стр. 194). О том, что Горькому нравились портреты Толстого, подчеркивающие в нем бунтарское, «булаевское» начало, свидетельствуют воспоминания художника Л. О. Пастернака, автора ряда портретов Л. Н. Толстого и иллюстраций к романам «Война и мир» и «Воскресение». Л. О. Пастернак подарил Горькому офорт с портрета Толстого: «Портрет этот взят был мной, — пишет художник, — несколько символично, монументально и суммарно: сам стихийный, Толстой — в стремлении вперед, наперекор бушующей стихии. Писатель (Горький. — М. П.) ...в каком-то возбуждении глядя на него в упор, сжал... в кулак правую руку и характерным движением снизу вверх, изображая проталкивающую силу, сквозь стиснутые зубы протяжно произнес:

— Ух!.. Как он клином вошел во всю литературу!» («Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II, М., 1955, стр. 84).

...дворец графини Паниной... — Летом 1901 года либеральная общественная деятельница С. В. Панина, узнав о серьезной болезни Л. Н. Толстого, предоставила ему свое имение Гаспра в Крыму.

Стр. 133. *Второй раз я видел его в Ясной.* — Вторая встреча Горького с Толстым произошла в Хамовниках, 11 марта 1900 года. Горький имеет в виду свою третью встречу с Толстым 8 октября 1900 года.

«Грибы сошли, но крепко пахнет...» — Из стихотворения И. А. Бунина «Не видно птиц. Покорно чихнет...» (1889).

Стр. 134. *... у него в «Азбуке»...* — Речь идет об «Азбуке социальных наук» (1871) Н. Флеровского.

Поль Астье — персонаж романа А. Доде «Бессмертный» (1888).

Стр. 135. *Кувалда* — персонаж из рассказа М. Горького «Бывшие люди» (1897).

...у вас рыцари рождаются, все Амадисы и Зигфриды... — Амадис — герой испанского рыцарского романа XIV века; Зигфрид — герой древнегерманского эпоса «Песнь о Нибелунгах» — (XII—XIII вв.).

Стр. 135. *«Братья Земганно»* — роман Эдмона Гонкура, написанный в 1879 году.

Стр. 136. ...рассказал ему историю трех поколений знакомой мне купеческой семьи... — Речь идет о замысле, осуществленном Горьким значительно позднее в романе «Дело Артамоновых» (1925).

Стр. 137. *Богомилы* — болгарская секта, возникшая в X веке; члены ее отвергали церковное учение, обрядность и т. п.

О С. А. ТОЛСТОЙ

В 1922 году в Москве вышла книга толстовца В. Г. Черткова «Уход Толстого», в которой была тенденциозно изображена драма последних лет жизни Толстого, в частности — роль умершей в 1919 году С. А. Толстой. В защиту памяти С. А. Толстой и выступил Горький в своем очерке.

В споре между С. А. Толстой и толстовцами Горький принял сторону первой, так как видел в ней искреннего, трезвого и по-своему сильного человека, не переносившего елейной фальши толстовцев, стремившихся превратить гениального художника в основоположника новой религии, пожелавших «превратить в догму как раз самую слабую сторону его учения» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 17, стр. 210).

Еще в октябре 1900 года после встречи с Толстым в Ясной Поляне А. М. Горький писал А. П. Чехову: «Очень понравилась мне графиня. Раньше она мне не нравилась, но теперь я вижу в ней человека сильного, искреннего, вижу в ней — мать, верного стража интересов детей своих. Она много рассказывала мне о своей жизни, — не легкая жизнь, надо говорить правду! Нравится мне и то, что она говорит: «Я не выношу толстовцев, они омерзительны мне своей фальшью и лживостью». Говоря так, она не боится, что толстовцы, сидящие тут же, услышат ее слова, и это увеличивает вес и ценность ее слов» (т. 28, стр. 137).

Стр. 144. ...лекция о Толстом профессора *казанской духовной академии Гусева*... — А. Ф. Гусев опубликовал целый ряд статей и книг, в которых критиковал учение Л. Н. Толстого с позиций православной церкви.

...самородка поэта *Булгакова*. — Так же, как в очерке «Лев Толстой», Горький неправильно называет фамилию поэта. Имеется в виду Вячеслав Дмитриевич Ляпунов, крестьянин Тульской губернии. Осенью 1897 года Ляпунов принес Толстому на отзыв свои стихи, которые Л. Н. Толстой послал в редакцию «Русской мысли», сопроводив их рекомендацией молодого поэта. В январском номере «Русской мысли» за 1898 год

было помещено это письмо вместе с большим стихотворением В. Д. Ляпунова «Пахарь». Ляпунов жил в Ясной Поляне два с половиной года, сначала помогая Толстому в переписке, затем был управляющим хозяйством. Заболев туберкулезом, Ляпунов переселился в самарское имение Толстых, а в 1901 году жил в Крыму, где виделся с Горьким. Статья Ляпунова о Л. Н. Толстом, о которой идет речь в очерке, неизвестна.

...история известного «толстовца» *Буланже*... — Инженер по образованию, П. А. Буланже, чтобы избежать ответственности за растрату, скрылся, симулируя самоубийство.

Стр. 146. «*Еремик*» священник *Золотницкий*... Тридцать лет просидел в тюрьме... — Петр Федорович Золотницкий, священник Нижегородской епархии, был заключен в Суздальскую тюрьму за то, что, оставив свой приход, ушел к старообрядцам. Пробыл в тюрьме около 32 лет, с 1865 по 1897 год. Горький видел Золотницкого, когда последний был выпущен из тюрьмы, и описал этого уже потерявшего разум «узника христоробивой церкви» в рассказе «Пожары».

Стр. 147. ...автор интересного исследования в *Аполлонии Тианском*... — Имеется в виду Д. И. Писарев и его кандидатская диссертация «Исследование о Аполлонии Тианском», написанная в 1860 году и опубликованная в «Русском слове» (1861, кн. 6—8).

Стр. 148. «*Любовь и голод правят миром*». — Ставшие крылатыми слова из стихотворения Ф. Шиллера «Мудрецы» (1795).

Стр. 151. *Лев Толстой-сын*... напечатал в *неряшливом журнале Ясинского «Ежемесячные сочинения» «антитолстовский» роман*... — Роман Л. Л. Толстого «Поиски и примирение» печатался в «Ежемесячных сочинениях» в 1902 году.

...*Ясинский* поместил *неприличную* рецензию на «*Воскресенье*»... — Речь идет об анонимной рецензии «XXXIX глава «Воскресенья», помещенной в «Литературном обозрении». Крайне резкая по тону, рецензия обрушивается на Л. Н. Толстого за «поругание над церковной православной службой» («Ежемесячные сочинения», 1902, № 12, стр. 393).

Стр. 154. ...глубоко интересная статья «*Последние дни Льва Толстого*». — В 4-й книге «Красного архива» за 1923 год были опубликованы В. Максаковым материалы о пребывании Л. Н. Толстого на станции Астапово, сохранившиеся в деле Московско-Камышинского жандармского полицейского управления (см. «Красный архив», 1923, № 4, стр. 338—361).

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

К. И. Чуковский в своих воспоминаниях о Леониде Андрееве рассказывает: «В сентябре 1919 года в одну из комнат «Всемир-

ной литературы» вошел, сутулясь сильнее обычного, Горький и глухо сказал, что из Финляндии ему сейчас сообщили о смерти Леонида Андреева.

И, не справившись со слезами, умолк. Потом пошел к выходу, но повернулся и проговорил с удивлением:

— Как это ни странно, это был мой единственный друг. Да, единственный.

Потом подошел к Блоку.

— Вы знали его? Напишите о нем. Да и вы все напишите — что вспомните. И я напишу. Непременно!» (К. Чуковский, *Современники*, М., 1962, стр. 322).

Свои воспоминания Горький датировал 1919 годом. Текст воспоминаний был значительно расширен и заново отредактирован в 1922—1923 годах.

История взаимоотношений Горького и Андреева сложна и противоречива, как сложен и противоречив путь Л. Андреева, шедшего в начале 1900-х годов вместе с Горьким в рядах писателей-знабевцев, а после поражения революции 1905—1907 годов объективно оказавшегося в лагере реакции, человека, горячо любившего свою родину, но не понявшего и не принявшего Октябрьской революции 1917 года, которая принесла освобождение России.

Если в отношениях с Карониным, Короленко, Толстым и Чеховым Горькому принадлежала роль «младшего» писателя или даже ученика, то по отношению к Л. Андрееву уже сам Горький выступил в качестве литературного опекуна и наставника. Обратив внимание на первый же рассказ Андреева («Баргамот и Гараська», «Курьер», 1898, 5 апреля, № 94), Горький восторженно приветствовал новый талант, написал автору рассказа сочувственное письмо и, в известном смысле, ввел Л. Андреева в большую литературу, как некогда это сделал Короленко по отношению к самому Горькому.

О роли М. Горького в своей писательской судьбе Леонид Андреев говорил: «...пробуждением истинного интереса к литературе, сознанием важности и строгой ответственности писательского звания я обязан Максиму Горькому. Он первый обратил серьезное внимание на мою беллетристику (именно на первый напечатанный мой рассказ «Баргамот и Гараська»), написал мне и затем в течение многих лет оказывал мне неоценимую поддержку своим всегда искренним, всегда умным и строгим советом. В этом смысле знакомство с Максимом Горьким я считал для себя, как для писателя, величайшим счастьем; и если говорить о лицах, оказавших действительное влияние на мою писательскую судьбу, то я могу указать только на одного Максима

Горького, исключительно верного друга литературы и литератора» (сб. «Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей», М., 1911, стр. 31).

Десятилетняя дружба Горького и Л. Андреева была, по существу, дружбой-враждой. В 1925 году в предисловии к американскому изданию романа Л. Андреева «Сашка Жегулев» Горький объясняет причины своего расхождения с Л. Андреевым; тот антигуманистический пафос «космического пессимизма», который, по словам Горького, Л. Андреев внес в русскую литературу, отвлекая ее от «пессимизма социального», был глубоко чужд Горькому, для которого «самое чудесное, самое высокое создание на свете — Человек» (М. Горький, *Несобранные литературно-критические статьи*, М., 1941, стр. 96).

Пессимистические ноты звучали и в раннем творчестве Л. Андреева («Стена», 1901, «Бездна», 1902). «Позднее, — писал Горький в том же предисловии, — Андреев описывал жизнь, как процесс, ужасный своей беспечностью, и изображал человека, как существо, занятое главным образом размышлением о своем жалком ничтожестве перед лицом Космоса» (там же, стр. 97).

Этими глубокими социально-философскими причинами объясняется расхождение Горького и Андреева.

Стр. 156. ...*фельетонов Джемса Линч...* — Этим псевдонимом Л. Андреев подписывал в «Курьере» в разделе «Мелочи жизни» фельетоны, публицистические статьи, театральные рецензии.

Стр. 157. *Ладонь одной руки у него была пробита пулей...* — По свидетельству биографов Л. Андреева, на ладони правой руки у него было повреждено сухожилие и ладонь не сгибалась; еще в гимназические годы, катаясь на коньках, он упал на стекло. Попытка покончить с собой под колесами поезда, о которой идет речь в очерке, относится к гимназической поре Л. Андреева (см. в книге: В. В. Брусянин, Леонид Андреев. Жизнь и творчество, М., 1912, стр. 53—54).

Стр. 158. *Кто-то сказал: «Есть наслаждение в бою...»* — У А. С. Пушкина в «Пире во время чумы»: «Есть упоение в бою...»

Стр. 161. ...*я рассказал ему содержание рукописной «Исповеди» священника Аполлова...* — Речь идет о статье А. И. Аполлова «Как жить нужно? (Исповедь)», автор которой, бывший священник, порвав с церковью, пришел к религиозному учению Л. Н. Толстого. Запрещенная цензурой статья печаталась на гектографе.

Я напишу о попе... Даже первая фраза есть: «Среди людей он был одинок...» — Имеется в виду рассказ «Жизнь Василия Фивейского» (1903). Горький высоко оценил рассказ.

«Лучше этого — глубже, яснее и серьезнее — он еще не писал. Очень, очень крупная вещь!» («Архив А. М. Горького», т. IV, М., 1954, стр. 138).

Шумный успех первой книги... — Имеется в виду первый сборник рассказов Леонида Андреева, выпущенный в 1901 году издательством «Знание» (книга вышла с посвящением А. М. Пешкову); в короткое время сборник выдержал двенадцать изданий общим тиражом сорок семь тысяч экземпляров.

Стр. 163. *...яркой заплатой на ветхом рубище певца...* — См. стихотворение А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом».

Стр. 171. *Есть книжка... о гении и безумии...* — Имеется в виду книга Ц. Ломброзо «Гениальность и помешательство», издававшаяся в России в 80-х и 90-х годах.

Стр. 172. *...его приглашают «декаденты» сотрудничать в «Весах».* — «Веса» — литературно-критический журнал (выходил в 1904—1909 гг.), орган русского символизма. О своем отношении к лагерю декадентской литературы Л. Андреев позднее, в 1913 году, писал А. В. Амфитеатрову: «Я знаю наших «христиан», теософов, эстетов, плоских акмеистов, философских негодяев, как Розанов, вульгарных пессимистов... и все они глубоко враждебны мне, но не тем, что они «мистики» и «символисты» или «реалисты». Враждебны они тем, что не любят в жизни любимое мною и любят то, чего я не выношу или не люблю». («Реквием». Сборник памяти Леонида Андреева, М., 1930, стр. 260).

«Скорпион» — издательство (1900—1916), возглавлявшееся С. А. Поляковым и объединявшее писателей-символистов.

Стр. 174. *На «Собрании сочинений», которое Леонид подарил мне в 1915 году, он написал...* — На первом томе собрания сочинений (СПб., А. Ф. Маркс, 1913) Л. Андреев написал: «Начиная с курьерского «Баргамота» здесь все писалось и прошло на твоих глазах, Алексей: во многом это — история наших отношений. Мне здесь многое противно, и доволен я очень мало; как цена всей жизни — это пустяки. Пожалуй, это даже не литература. Но все печальное, что здесь сказано о жизни человеческой, пережито мною; и, конечно, я счастлив, что удалось сказать, а не в молчании исчезнуть. И, конечно, я всегда был искренен. Но какие мы старые товарищи! Крепко жму твою руку. Л. А. 1915 г.». (Книга хранится в личной библиотеке Горького.)

Стр. 180. *«Позвольте, — мы еще не решили вопроса о бытии*

бога...» — В «Воспоминаниях о Белинском» И. С. Тургенева рассказан следующий эпизод: «...поговорив часа два, три, я ослабевал, легкомыслие молодости брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде, сама жена Белинского умоляла и мужа и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти прения, напоминала ему предписание врача... но с Белинским сладить было не легко. «Мы не решили еще вопроса о существовании бога, — сказал он мне однажды с горьким упреком, — а вы хотите есть!» (И. С. Тургенев, Собр. соч. в 12-ти томах, т. 10, М., 1956, стр. 280).

Стр. 181. *...со своей невестой...* — В 1896 году Л. Н. Андреев на даче в Царцыне познакомился с Александрой Михайловной Велигорской, которая в феврале 1902 года стала его женой.

Стр. 182. *«Симфонии»* — название произведений А. Белого лирико-символического характера.

...однажды весь Комитет вместе с хозяином квартиры был арестован... — 9 февраля 1905 года Андреев предоставил свою квартиру для нелегального заседания ЦК большевиков. В квартире писателя был произведен обыск, Л. Андреев был арестован и около месяца сидел в Таганской тюрьме.

Стр. 183. *...рассказы о юноше Уфимцеве и товарищах его...* — А. Г. Уфимцев с тремя товарищами 7 марта 1898 года подложил бомбу замедленного действия под икону богородицы в курском Знаменском монастыре. Взорванная икона была заменена монахами копией. Через год А. Г. Уфимцев был арестован и затем сослан в Енисейскую губернию. Процесс А. Г. Уфимцева заинтересовал Горького, он послал ссыльному письмо и денег для устройства мастерской. В 1928 году, совершая поездку по Советскому Союзу, Горький встретился с Уфимцевым (см. об этом в очерках «По Советскому Союзу», т. 17, стр. 152—153). В андреевском Савве нашла свое выражение философия анархического разрушения, нигилистический пафос «голого человека на голой земле» — идея, глубоко враждебная Горькому; свою полемику с Л. Андреевым по поводу революционеров типа Уфимцева Горький продолжил в романе «Жизнь Клима Самгина», дав в образе Иноква свое толкование «этого характера, еще не тронутого русской литературой». Горький не оставляет своего героя — человеколюба, верящего, что придет время, когда «люди будут творить чудеса», — в тупике анархизма, а заставляет его понять ошибочность террористической тактики и признать *единозначенно* верным путем революционной борьбы путь Ленина.

Стр. 185. *...об Иуде... прочитал стихотворение...* — Стихотворение «Иуде» в сборнике А. Рославлева «В башне» (1907).

...перевод рассказа Тора Гедберга... — См. «Иуда. Повесть

Тора Гедберга», М., 1908. В статье «О современности» (1912) Горький писал, имея в виду упомянутые художественные произведения: «Мне кажется, что основная тенденция современной литературы сводится более или менее к переоценке деятельности Иуды Искарюта. Сей последний объявлен «непонятым братом», и вот какие комплименты вызывает ныне его, всем памятное, торговое дельце:

Пусть гнусы о предательстве кричат,
Их мысли тупы, на сердцах их плесень!
Постиж ли им твой царственный закат?

Из стихотворения А. Рославлева
«Иуде» — М. П.

Это называется «пероценкой ценностей» и, составляя основное занятие желтой прессы, постепенно просачивается в серьезную литературу» (М. Горький. Литературно-критические статьи, М., 1937, стр. 131—132).

Стр. 186. *...поэма Голованова...* — Драма Н. Н. Голованова «Искарюта», М., 1905.

Стр. 187. *Нельзя сказать: «они пьют вино, как верблюды»...* — Из пьесы Андреева «Черные маски» (1907). В архиве Горького сохранилась заметка: «Андреев «Черные маски». «Пьют как верблюды в пустыне». Пустыня тем ужасна, что в ней нет воды, а верблюды тем ценны, что по несколько суток могут не пить, проходя пустыней» («М. Горький, Материалы и исследования», т. I, Л., 1934, стр. 178).

Стр. 188. *...эпизод, которым он воспользовался для рассказа «Тьма».* — В письме к Л. Андрееву 1911 года Горький, объясняя причины своего расхождения с ним, пишет о рассказе «Тьма» (1907): «Обиделся я на тебя за нее, ибо этой вещью ты украл у нищей русской публики милостыню, поданную ей судьбою. Дело происходило в действительности-то не так, как ты рассказал, а — лучше, человечнее и значительнее. Девушка оказалась выше человека, который перестал быть революционером и боится сказать об этом себе и людям. Был — праздник, была победа человека над скотом, а ты сыграл в анархизм и заставил скотское, темное торжествовать победу над человеческим» (там же, стр. 145).

...знакомый, эсер... — П. М. Рутенберг.

Стр. 191. *...война, — отношение к ней еще более разъединило меня с Андреевым.* — Импералистическую войну 1914 г. Л. Андреев принял восторженно, тогда как Горький занял твердую позицию осуждения мировой бойни.

Стр. 192. *...вступил в это общество...* — Имеется в виду «Русское общество изучения жизни евреев», организованное в Петро-

граде в 1915 году группой писателей, в которую входили М. Горький и Л. Андреев. Цель общества — борьба с антисемитизмом.

Стр. 193. *А женился я на еврейке!* — Весной 1908 года Л. Андреев познакомился с Анной Ильиничной Денисевич, дочерью одесского журналиста; в том же году А. И. Денисевич стала его женой (см. воспоминания В. Беклемишевой в сборнике «Реквием», М., 1930).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. Г. КОРОЛЕНКО

Очерк написан к 65-летию юбилею со дня рождения В. Г. Короленко и прочитан на торжественном собрании общества «Культура и свобода» в Петрограде 28 июля 1918 года под председательством Горького.

К В. Г. Короленко Горький пришел в декабре 1889 года двадцатилетним юношей, с тетрадкой первых поэтических опытов. Сурово раскритиковав поэму «Песнь старого дуба», Короленко отметил способности молодого автора и внушил ему, что «писательство — не легкое дело».

Осенью 1893 года Горький опять пришел к Короленко. К этому времени он был уже автором ряда рассказов, напечатанных в газетах. Между двумя писателями, начинающим и признанным, завязываются дружеские отношения: Короленко стал литературным наставником молодого Горького. В письмах Короленко этих лет к редакторам «Русских ведомостей» и «Русского богатства» часто можно встретить упоминания о «самородке с несомненным литературным талантом», которого Короленко настойчиво стремится ввести «в большую журнальную литературу».

«Я так рад, что Вы за мной посматриваете, — писал Горький В. Г. Короленко в конце апреля 1895 года, — и не отказываетесь так хорошо и просто указать мне на мои ошибки» (сб. «Горький и Короленко», М., 1957, стр. 36).

Благодаря настоянию Короленко в журнале «Русское богатство» (1895, № 6) был помещен рассказ Горького «Челкаш».

После длительного перерыва (1895—1899) Горький встретился с Короленко в Петербурге в октябре 1899 года. По свидетельству Горького, это была их последняя встреча: Короленко с 1900 года переехал в Полтавскую губернию, а Горький вынужден был долгие годы прожить в эмиграции. 15 сентября 1909 года Горький писал М. М. Коцюбинскому на Украину: «Коли увидите Влад[имира] Галак[тионовича] — почтительно поклонитесь ему от ученика и почитателя. Недавно пришлось мне перечитать все его книги — в целях лекторских — и с каким удовольствием

сделал я это!» (т. 29, стр. 97—98). Переписка Горького и Короленко продолжалась вплоть до 1921 года.

7 октября 1925 года Горький пишет Е. С. Короленко: «Он ведь для меня был и остается самым законченным человеком из сотен, мною встреченных, и он для меня идеальный образ русского писателя... Мне горестно знать, что я мало встречался с ним, меньше, чем мог бы. У меня к нему было чувство непоколебимого доверия. Я был дружен со многими литераторами, но ни один из них не мог внушить мне того чувства уважения, которое внушил В. Г. с первой моей встречи с ним. Он был моим учителем недолго, но он *был* им, и это моя гордость по сей день» (т. 29, стр. 444).

Стр. 194. ...*Короленко, недавно отбывший политическую ссылку...* — За отказ от присяги Александру III Короленко в августе 1881 года был сослан в Якутскую область, где пробыл до сентября 1884 года; с января 1885 года до января 1896 жил в Нижнем Новгороде под надзором полиции.

...*а рассказ «Ночью» вызвал у многих резко враждебные суждения...* — Рассказ Короленко «Ночью» (1888) представляет собой своеобразную эстетическую декларацию; в нем прямолинейному рационализму и натурализму противопоставляется «романтическое начало», интерес ко всему поэтическому, необычному, фантастическому, тому, что можно увидеть «ночью» и что в какой-то степени не соответствует будничной реальности. Такое содержание противоречило кодексу ортодоксальной народнической литературы, с которой объективно полемизировал рассказ.

Стр. 195. ...*Тюлин, герой рассказа «На реке»...* — Имеется в виду рассказ В. Г. Короленко «Река играет», опубликованный в 1892 году в сборнике «Помощь голодающим». А. М. Горький неоднократно обращался к образу Тюлина, видя в нем типическое обобщение существенных черт национального русского характера. В статье «Разрушение личности» (1909) он писал: «...в девятых годах В. Г. Короленко ласковою, но сильной рукой великого художника честно и правдиво нарисовал нам мужика действительно во весь рост, дал верный очерк национального типа в лице ветлужского мужика Тюлина. Это именно национальный тип, ибо он позволяет нам понять и Мининых и всех ему подобных героев на час, всю русскую историю и ее странные перерывы» (т. 24, стр. 52). На горьковскую оценку Тюлина наложили отпечаток и его ошибочные суждения о природе «русской души», которые нашли свое отражение в ряде высказываний. Отголоски этих ошибочных суждений мы видим, в частности, в очерке «Леонид Андреев».

...*Поликушку, дядю Миная...* — Первый — герой рассказа

Л. Н. Толстого «Поликушка» (1863); второй — персонаж из «Рассказов о парашкинцах» (1879—1880) Н. Е. Каровина-Петропавловского. Сопоставление мужика народнической литературы с персонажами Л. Н. Толстого мы находим и в «Истории русской литературы» М. Горького: «Российский интеллигент, в лице Златовратского, Засодимского, Нефедова, Ивановича и отчасти Каровина, немедленно соговорил мужика, какого требовало учение Михайловского — Лаврова — Воронцова, мужика, чрезвычайно похожего по свойствам психики своей — кроткой и преисполненной романтическими надеждами — чрезвычайно похожего на мужиков Толстого, Тургенева и вообще мужиков дореформенной литературы» (М. Горький, «История русской литературы», М., 1939, стр. 224).

...*«Песнь старого дуба»...* — В статье «О том, как я учился писать» (1928) Горький вспоминал: «Ритмической прозой я написал огромную «поэму» «Песнь старого дуба». В. Г. Короленко десятком слов разрушил до основания эту деревянную вещь, в которой я, кажется, изложил свои размышления по поводу статьи «Круговорот жизни», напечатанной, если не ошибаюсь, в научном журнале «Знание», — статья говорила о теории эволюции» (т. 24, стр. 489).

«ВРЕМЯ КОРОЛЕНКО»

Вскоре после смерти В. Г. Короленко, последовавшей 25 декабря 1921 года, Горький начинает писать воспоминания о нем, которые предполагает включить в книгу «Среди интеллигенции». В 1923 году этот текст был разделен на два очерка «Время Короленко» и «В. Г. Короленко».

Стр. 201. ...*стекольщику Анатолию...* — О своем казанском товарище Анатолии Иванове Горький писал: «Изумительно талантливый юноша, он не вынес тяжелой жизни и застрелился в 90 году, 19-ти лет» (примечания М. Горького к статье «Первое преступление» М. Горького, о его первом аресте), «Былое», 1921, № 16, стр. 185. Об Анатолии см. также в статье Горького «Беседы о ремесле» (т. 25, стр. 330—335).

Стр. 202. *Меня арестовали...* — В ночь с 12 на 13 октября 1889 года Горький был арестован за «укрывательство» бывшего ссыльного С. Г. Сомова, «поднадзорного», обвиняемого в государственном преступлении («Былое», 1921, № 16, стр. 180). С ним и А. В. Чекиным, тоже «поднадзорным», Горький поселился летом 1889 года во флигеле дома Лик по Жуковской улице. 16 октября того же года освобожден из тюрьмы и отдан под негласный надзор полиции.

Стр. 201. *Из книги речей А. Ф. Кони я знал тяжелую драму...* — В 1878 году у генерала Познанского вследствие отравления умер старший сын, 16-летний Николай Познанский. Обвинялась Маргарита Жюжан — гувернантка Познанских, но была оправдана присяжными (см. об этом в книге А. Ф. Кони, Судебные речи 1868—1888 гг., СПб., 1888 — «По делу о французской подданной Маргарите Жюжан, обвиняемой в отравлении»).

...дочь его — талантливая пианистка... — О Н. И. Познанской идет речь в рассказе «Музыка» (1913), где описан подлинный эпизод на допросе у Познанского в 1889 году.

Стр. 205. *...Лет через десять... я, арестованный, сидел в Нижегородском жандармском управлении...* — Горький был арестован в ночь с 16 на 17 апреля 1901 года за «сочинение, печатание и распространение воззваний, имевших целью возбудить среди рабочих... противоправительственные волнения», а также за связи с революционными социал-демократами. 17 мая освобожден из тюрьмы под давлением общественного мнения (см. письмо Горького к В. Г. Короленко от марта 1902 г., т. 28, стр. 238—239).

Участник боя под Кушкой... — Кушка — крепость на русско-афганской границе, где произошло сражение русских войск с афганцами 18 марта 1885 года, окончившееся победой русских.

Стр. 211. *В. Г. печатал в «Волжском вестнике» статьи о делах банка...* — Речь идет о статьях В. Г. Короленко в «Волжском вестнике» (январь 1891) за подписью Н. О. о систематических хищениях в Александровском дворянском банке.

...слушается дело скопцов, — В. Г. сидит среди публики... — В феврале 1890 года Короленко присутствовал в нижегородском суде на процессе скопцов (изуверская религиозная секта). В записной книжке писателя сохранились наброски отдельных сцен и зарисовки участников процесса.

Стр. 215. *Кажется, уже вышла его книга «Голодный год».* — Книга В. Г. Короленко «В голодный год» вышла в 1893 году. Короленко работал по оказанию помощи голодающим крестьянам в Лукояновском уезде Нижегородской губернии с февраля до мая 1892 года.

«Армия спасения» — религиозно-филантропическая организация, основанная в 1865 году в Лондоне.

Стр. 216. *...роман Бурже «Ученик», Сенкевича, «Без догмата», повесть Дедлова «Сашенька»...* — Все эти произведения, включенные несколько позднее Горьким в цикл «История молодого человека XIX столетия», показывают, как «однообразно разыгрывалась буржуазной молодежью драма индивидуализма — мироощу-

щения и мирозерцания буржуазии, как неизбежно понижался тип индивидуалиста...» (т. 26, стр. 307).

Стр. 217. *Некоторые... опирались на догматику эгоизма А. Смита...* — Горький ошибочно ссылается на А. Смита, так же как и в первом издании «Мои университеты», путая его с Д. Миллем. По этому поводу он писал И. А. Груздеву: «Смита с Миллем я еще раз — и не один раз — спутаю; тут, наверное, играет одновременность впечатления...» (И. Груздев, Горький и его время, М., 1948, стр. 325). Книгу «Основания политической экономии Д. С. Милля, перевод с примечаниями Н. Г. Чернышевского» (СПб., 1860), изучали в радикальных кружках 80-х годов. Горький говорит об опошлении и вульгаризации «догматики эгоизма» Милля. («теория разумного эгоизма», по терминологии Н. Г. Чернышевского).

Стр. 221—222. *...Вольтер... был плохой человек, однако он сделал великое дело, выступив защитником несправедливо осужденного.* — Вольтер мужественно и упорно защищал жертвы церковной реакции (дела Каласа, Сирвена, де ла Барра) и добивался их реабилитации. Идеолог народничества Н. К. Михайловский написал в 1870 году статью «Вольтер-человек и Вольтер-мыслитель», основным тезисом которой являлась мысль: «деятельность эта была так блестяща, характер этот был так тускл» (Н. К. Михайловский, Собр. соч. в 6-ти томах, т. 6, 1897, стр. 10).

В. Г. КОРОЛЕНКО

Стр. 223. *Когда я вернулся в Нижний из Тифлиса...* — Горький возвратился в Нижний Новгород с Кавказа 6 октября 1892 года.

Стр. 224. *...один напечатан в газете «Кавказ».* — В тифлисской газете «Кавказ», № 242, 12 сентября 1892 года напечатан рассказ «Макар Чудра», первое печатное произведение Горького.

Стр. 226. *Сеять «разумное, доброе, вечное»...* — Из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям» (1876), широко распространенного в народнической среде.

Стр. 228. *...была арестована типография «народоправцев»...* — Народническая партия «Народное право», возникшая в 1893 году и ставившая своей целью объединение революционных сил для борьбы с самодержавием; в 1894 году была разгромлена полицией (см. очерк «О Викторине Арефьеве» и примечания к нему).

Астыревское дело. — Имеется в виду дело близкого к народолюбцам Н. М. Астырева, в 1892 году выданного провокаторшей Серебряковой.

...рассказ П. Д. Боборыкина «Поумнел»... — Герой рассказа «Поумнел» (1890), в прошлом «пострадавший за свои убеждения» и сосланный в деревню, становится губернским /предводителем дворянства, мечтает о служебной карьере; жена его в конце концов примиряется с ренегатством мужа.

Стр. 231. ...моего соседа по койке в больнице города Николаева... — Горький попал в больницу г. Николаева после того, как был избит в селе Кандыбовке 15 июля 1891 года за попытку помешать истязанию женщины (см. автобиографический рассказ «Вывод», 1895).

...к моему патрону... — Речь идет об адвокате А. И. Ланине, у которого А. М. Горький работал письмоводителем с конца 1889 до весны 1891 года и с октября 1892 по 1893 год.

Стр. 234. Ранней весной 97 года меня арестовали в Нижнем... — С 6 на 7 мая 1898 года А. М. Горький был арестован в Нижнем Новгороде и доставлен по этапу в Тифлис в связи с арестом Ф. Е. Афанасьева и других членов тифлисской социал-демократической организации, с которыми Горький был близок, живя в Тифлисе в 1891—1892 годах.

...епископа Конисского, который... произнес знаменитую речь Екатерине Второй... — Георгий Конисский, епископ белорусский, поддерживавший православие в борьбе с польской католической унией, в 1787 году в Мстиславе встретил Екатерину II хвалебной речью, начинавшейся словами: «Оставим астрономам доказывать, что земля вокруг солнца обращается...» («Слова и речи Георгия Конисского, архиепископа Могилевского», Могилев, 1892, стр. 242).

В 901 году я впервые приехал в Петербург... — Горький впервые приехал в Петербург 29 сентября 1899 года, тогда же произошла петербургская встреча писателей.

Стр. 236. Видимо, не дешево стоило ему Мултанское дело... — В 1894 году группа крестьян-удмуртов из села Старый Мултан была осуждена по обвинению в убийстве с целью принесения жертвы языческим богам. В. Г. Короленко повел страстную и упорную борьбу за оправдание невинно осужденных людей, выступив на процессе в качестве защитника мултанцев (29 мая — 4 июня 1896 г.). Всем обвиняемым был вынесен оправдательный приговор.

...его «Московский сборник». — Под этим названием в 1896 году вышел сборник статей К. П. Победоносцева.

Стр. 237. ...Поссе... понимал эту неопределенность и статьи свои подписывал псевдонимом Вильде. — Вильде (Wilde) в переводе с немецкого — дикий.

О МИХАЙЛОВСКОМ

Воспоминания о Михайловском написаны, по-видимому, в феврале 1922 г., являясь частью писавшейся тогда книги «Среди интеллигенции».

Во взаимоотношениях А. М. Горького и Н. К. Михайловского можно наметить два этапа. Первый этап тесно связан с кратким периодом «ученичества» молодого Горького у В. Г. Короленко, когда последний настойчиво рекомендовал Н. К. Михайловскому, редактору народнического журнала «Русское богатство», талантливого юношу. Н. К. Михайловский сурово отзывался о стихах Горького в письме к Н. Ф. Анненскому (1893) и просил передать свой отзыв автору (см. «М. Горький, Материалы и исследования», т. II, М.—Л. 1936, стр. 352). Летом 1895 года, когда в редакцию «Русского богатства» был послан рассказ «Челкаш», Н. К. Михайловский ответил письмом, в котором отмечал недостатки рассказа и предлагал внести в него «серьезные поправки». После исправления «Челкаш» появился в «Русском богатстве», но два других рассказа Горького, «У моря» и «Ошибка», были отвергнуты, причем Михайловский упрекал автора в «бесцельности», «растянутости, искусственности и декадентстве» (сб. «М. Горький и В. Короленко», М., 1957, стр. 34—35). Если учесть, что и А. П. Чехова народническая критика во главе с Н. К. Михайловским упрекала в «бесцельности», то станет понятен смысл этого упрека: «бесцельностью» Михайловский, верный страж народнических идеалов, называл отсутствие этих идеалов в творчестве А. П. Чехова и А. М. Горького. Эти упреки Михайловский повторил и позднее, в 1898 году, когда вышли первые книги рассказов Горького («Еще о г. Максиме Горьком и его героях», «Русское богатство», 1898, кн. 10).

Второй этап относится ко времени личного знакомства Горького и Михайловского, когда вышедшие в 1898 году два тома рассказов Горького быстро завоевывают ему популярность. Теперь «Русское богатство» стремится привлечь Горького к сотрудничеству в журнале. По-видимому, с этой целью летом 1901 года Михайловский приезжал к Горькому в Нижний Новгород. Но, несмотря на дружеское расположение Горького к Н. К. Михайловскому и Н. Ф. Анненскому, на страницах «Русского богатства» рассказы Горького больше не появлялись, и это не случайно, так как народническая программа журнала все меньше и меньше устраивала Горького, вплотную подошедшего в эти годы к революционному марксизму. Те же причины побудили Горького отказаться от участия в сборнике, которым предполагалось отметить в 1900 году сорокалетие литературной деятельности

Н. К. Михайловского, в сборнике, который Горький рассматривал как «партийное предприятие» народников.

Не разделяя народнических воззрений Н. К. Михайловского, Горький отдавал должное его таланту публициста, его гражданскому облику честного и стойкого борца за дорогую ему идею, которая одной своей стороной — любовью к народу — была безусловно близка Горькому. Личное знакомство с Н. К. Михайловским Горький в письме к В. В. Вересаеву от 12 или 13 сентября 1900 года оценил как одно из «глубоких и ценных впечатлений» (т. 28, стр. 128).

Стр. 240. *Пошел к Н. К. Михайловскому...* — Впервые приехал в Петербург 29 сентября 1899 года, Горький остановился у В. А. Поссе, при содействии которого был устроен 11 октября в редакции журнала «Жизнь» банкет в связи с приездом писателя. 9 октября Горький и Поссе поехали к Н. К. Михайловскому, чтобы пригласить его на этот банкет (см. В. А. Поссе, *Мой жизненный путь*, М.—Л., 1929, стр. 217).

...Тан написал вам письмо стихами, предлагая Стенькину участие... — Речь идет о стихотворении В. Г. Богораза-Тана «Максиму Горькому» (1899), в котором есть следующие строки:

Щеголял в цветной одежде,
Щеголял в мороз босым,
Назывался Стенькой прежде,
А теперь зовут Максим.
(В. Г. Т а н, Соч., СПб., т. 10, стр. 123.)

Я начал рассказывать ему о вечере, Поссе... — Речь идет о предстоящем вечере в связи с 10-летием со дня смерти Н. Г. Чернышевского, который устраивали студенты 17 октября 1899 года.

Стр. 241. *...план книги «Мужик»...* — Это произведение, задуманное Горьким в 1899 году, осталось незавершенным. Первые две главы напечатаны в журнале «Жизнь» за 1900 год, № 3 и 4; третья глава при жизни Горького не публиковалась (см. т. 4).

...в марксистской «Жизни»? — «Жизнь» — литературно-художественный, научный и публицистический журнал, возглавлявшийся В. А. Поссе, орган «легального марксизма».

...он заговорил о... группе людей... — Н. К. Михайловский предлагает Горькому писать роман о народовольцах.

Стр. 243. *А в следующий приезд помогал нести гроб Михайловского...* — 30 января 1904 года Горький присутствовал на похоронах Н. К. Михайловского.

Н. А. БУГРОВ

В 1919 году Горький задумал написать очерк о купце Н. А. Бугрове. Вскоре у него возник замысел сопоставить в одном очерке двух различных представителей русской буржуазии: Н. А. Бугрова и С. Т. Морозова. Однако набранный в числе других произведений для книги «Мои университеты» (изд. «Книга», Берлин, 1923) очерк «Два купца» был изъят автором из верстки; первая часть его под заглавием «Н. А. Бугров» была опубликована в «Красной нови» (1924). Вторая часть, о С. Т. Морозове, при жизни автора не публиковалась.

В 1932 году в статье «Еще раз об «Истории молодого человека XIX столетия» Горький писал: «Были и у нас даровитые выходцы из крепостной деревни: Коноваловы, Морозовы, Журавлевы, Бугровы, Мамонтовы и еще многие, однако наши литераторы гоже не изобразили этих людей в своих книгах, а ведь как интересно было бы изобразить раба, который становится рабовладельцем!» (т. 26, стр. 308).

К этой проблеме Горький неоднократно обращался в своем творчестве, создав целую галерею образов русского купечества; к ней он вернулся и в цикле своих литературных портретов.

Стр. 249. *Дезэссент* — герой романа Гюисманса «Наоборот» (1884).

САВВА МОРОЗОВ

Горький познакомился с С. Т. Морозовым, который был одним из директоров и пайщиков Художественного театра, в 1900 году в Москве; в октябре он писал А. П. Чехову: «...когда я вижу Морозова за кулисами театра, в пыли и в трепете за успех пьесы,— я ему готов простить все его фабрики,— в чем он, впрочем, не нуждается, — я его люблю, ибо он — бескорыстно любит искусство, что я почти осыжаю в его мужицкой, купеческой, стяжательной душе» (т. 28, стр. 133). В 1905 году, узнав о смерти Саввы Морозова из газетного сообщения, в котором замалчивался факт самоубийства, Горький пишет Е. П. Пешковой: «Смерть Саввы тяжело ударила меня. Жалко этого человека... Затравили его, как медведя, маленькие, злые и жадные собаки... Мне почему-то думается, что он застрелился...» (там же, стр. 366 и 367).

В творчестве Горького тема купца, «выламывающегося» из своего класса, имеет свою длительную историю, от Фомы Гордеева до Владимира Лютова из «Жизни Клима Самгина». В частности, судьба Лютова в романе во многом перекликается с

судьбой умного, талантливого и пронизательного человека, Саввы Тимофеевича Морозова, родившегося «не на той улице».

Стр. 274. ...с ядовитой вежливостью сказал... — Эта дерзкая реплика принадлежала не С. Т. Морозову, а профессору Ходскому (см. заметки Горького «С Всероссийской выставки», «Одесские новости», 1896, 1 сентября).

Стр. 285. ...идеология эта уже дана в философских драмах Ренана. — Э. Ренан в своей драме «Калибан» (1878) развивает идеи аристократического индивидуализма, сходные с ницшеанскими идеями, и, пользуясь шекспировскими образами Просперо и Калибана (из «Бури»), противопоставляет «высшую расу» — господ «низшей расе» — народным массам.

Стр. 289. Я тотчас же бросился в ближайшую редакцию газеты «Сын отечества»... — Собрание представителей интеллигенции состоялось 8 января 1905 года в редакции либеральной газеты «Наши дни».

Стр. 292. ...во время обыска у меня в Риге. — Горький был арестован в Риге 11 января 1905 года в связи с событиями 9 января: им было написано «что-то вроде обвинительного акта», как говорит Горький ниже, имея в виду воззвание «[Всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств]», которое оканчивалось словами: «...мы заявляем, что далее подобный порядок не должен быть терпим, и приглашаем всех граждан России к немедленной, упорной и дружной борьбе с самодержавием» (т. 23, стр. 336).

Стр. 295. ...принужденный через два года удавить его... — В 1906 году, когда выяснилась предательская роль Гапона, получавшего деньги от царского правительства, П. М. Рутенберг, по поручению ЦК партии эсеров, организовал суд над Гапоном и казнь его (см. очерк Горького «Поп Гапон», предназначавшийся в свое время для публикации в американской прессе, и примечания к нему в «Архиве А. М. Горького», т. VI, М., 1957).

Стр. 296. Вольно-Экономическое общество — основано в 1765 году; в конце XIX и в начале XX века объединяло либеральную и демократическую интеллигенцию.

...полтора года тому назад стояли на коленях пред его дворцом... — Очевидно, речь идет о манифестации по случаю объявления войны с Японией, буржуазной по своему составу, что отмечено в реплике Горького: «Не те люди...»

МИТА ПАВЛОВ

Очерк входит в цикл «Заметки из дневника. Воспоминания», над которым писатель работал в 1922—1923 годах.

Дмитрий Александрович Павлов, сормовский рабочий, большевик, член РСДРП с 1899 года, принадлежал к славной плеяде рабочих-революционеров, воспитанных партией, знакомство с которыми внушало Горькому твердую веру в непобедимость рабочего класса. Д. А. Павлов познакомился с Горьким в Нижнем Новгороде в начале 900-х годов: он был одним из организаторов сормовской демонстрации 1 мая 1902 года, изображенной Горьким в повести «Мать»; позднее принимал участие в Декабрьском вооруженном восстании в Москве. Умер Д. А. Павлов 1 марта 1920 года в станице Раздорской Донской области на посту военкома 3-й бригады стрелковой дивизии.

А. А. БЛОК

Воспоминания завершены в 1924 году.

А. М. Горький, возглавлявший писателей-реалистов, группировавшихся вокруг издательства «Знание», и А. А. Блок, поэт, выросший из недр русского символизма, на протяжении многих лет находились на противоположных полюсах литературной жизни. Известно, что Горький был против участия А. А. Блока в сборниках «Знания». В свою очередь, А. А. Блоку во многом был чужд реализм Горького.

Однако еще в 1907 году в статье Блока «О реалистах» наряду с ходячими в модернистской критике заявлениями об «упадке» горьковского дарования в романе «Мать» мы встречаем и понимание великого национального значения творчества Горького в целом: «...неисповедимо, по роковой силе своего таланта, по крови, по благородству стремлений, по «бесконечности идеала» (слова В. В. Розанова) и по масштабу своей душевной муки — Горький — русский писатель» (А. А. Блок, Собр. соч., т. 10, Л., 1935, стр. 35).

В годы реакции Блок одновременно с усиливающимся отталкиванием от декадентства испытывает и тяготение к Горькому: «Спасибо Горькому и даже — «Звезде» (большевистская газета. — М. П.). После эстетизмов, футуристов, аполлонизмов, библиофилов — запахло настоящим» (А. Л. Блок, Дневник 1911—1913. Л., 1928, стр. 85).

Личное сближение Горького и Блока произошло после Октябрьской революции, когда Горький привлек А. А. Блока к работе в издательстве «Всемирная литература», созданном в 1918 году и ставившем своей целью издание лучших художественных произведений мировой литературы.

30 марта 1919 года на юбилейном чествовании Горького А. А. Блок выступил с приветствием: «Судьба возложила на

Максима Горького, как на величайшего художника наших дней, великое бремя. Она поставила его посредником между народом и интеллигенцией — между двумя станами, которые оба еще не знают ни себя, ни друг друга... Позвольте пожелать Алексею Максимовичу сил, чтобы не оставлял его суровый, гневный, стихийный, но и милостивый дух музыки, которому он, как художник, верен» (А. А. Блок, Собр. соч., т. 8, Л., 1936, стр. 261).

[А. Н. АЛЕКСИН]

Узнав в 1923 году о смерти А. Н. Алексина, Горький задумал написать воспоминания о нем, которые остались незавершенными.

С Александром Николаевичем Алексиним, старшим врачом Ялтинской земской больницы, Горький познакомился в феврале 1897 года, когда, больной туберкулезом легких, приехал в Ялту. А. Н. Алексин лечил Горького во время его пребывания в Крыму и вскоре стал его близким другом. В своих письмах Горький с неизменной любовью отзывается об Алексине. «Славный это парень, — писал он А. П. Чехову в 1902 г., — как жаль, что Вы мало знаете его! Хорошая душа!» (т. 28, стр. 266).

[А. В. ПАНОВ]

Воспоминания написаны в 1924 году.

Александр Васильевич Панов — сотрудник «Самарской газеты» и других приволжских изданий, автор запрещенного «Указателя для домашних библиотек». Жил в Нижнем-Новгороде, был близок к кружку В. Г. Короленко, организовывал конспиративные библиотечки для рабочих. В письме И. А. Груздеву от августа 1933 года, отвечая на вопрос «о давлении «народнических тенденций в редакциях провинциальных газет» второй половины 90-х годов», Горький назвал А. В. Панова среди «романтиков и фанатиков народничества» (т. 30, стр. 313).

Стр. 315. *«Мысль и свобода — прежде всего!»* — перефразированные строки из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

ЛЕОНИД КРАСИН

Очерк о Л. Б. Красине написан вскоре после его смерти, последовавшей 24 ноября 1926 года.

Леонид Борисович Красин (партийные клички Никитич, Вин-

тер, Зимин и др.), участник революционного движения с 90-х годов, был одним из виднейших партийных организаторов. В 1905 году он был одним из основателей первой легальной большевистской газеты «Новая жизнь»; сыграл выдающуюся роль в подготовке и проведении вооруженного восстания в Москве; после Октябрьской революции занимал крупные хозяйственные и дипломатические посты.

Стр. 315. *...время было «зубатовское», хотя и на ущербе, —* В 1902 году С. В. Зубатов, начальник Московского охранного отделения, организовал монархические рабочие организации, пытаясь отвлечь рабочих от политической борьбы и при поддержке полиции «из рабочих же образовать группы для борьбы с социализмом». (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 7, стр. 88.) Летом 1903 года новая волна стачек сорвала провокаторские планы зубатовцев.

Стр. 316. *Питер Шлемиль* — герой произведений А. Шамиссо «Необыкновенная история Петера Шлемиля» (1814).

Стр. 319. *...рассказал о своей постройке электростанции в Баку.* — С июня 1900 года до весны 1904 года Л. Б. Красин работал помощником управляющего на строительстве Бакинской электростанции общества «Электросила» на Баилловском мысу. Используя свое положение, Л. Б. Красин принял на различные предприятия «Электросилы» большое количество революционеров, создав вокруг себя крепкое партийное ядро и развернув революционную работу.

Стр. 320. *...в Петербурге организовалась «Новая жизнь», а в Москве «Борьба»...* — «Новая жизнь» — первая легальная большевистская газета, выходившая в Петербурге с 27 октября по 3 декабря 1905 года при ближайшем участии А. М. Горького, редактировал газету В. И. Ленин. «Борьба» — легальная большевистская газета, орган Московского комитета партии, выходившая в 1905 году.

Н. Ф. АННЕНСКИЙ

В конце 1926 года Е. С. Короленко обратилась к Горькому с просьбой дать свои воспоминания о Н. Ф. Анненском в сборник, который предполагалось выпустить к 15-летию со дня смерти Анненского. В ответном письме от 24 декабря 1926 года Горький писал: «...о Николае Федоровиче я напишу и пришлю Вам дней через 10 — хорошо? ...Замечательно верно написали Вы: «Если знали, то и любили его». Знал я его — мало, но — видел, и этого достаточно было мне для того, чтоб и уважать и любить Н. Ф.» (т. 29, стр. 488).

Николай Федорович Анненский, один из наиболее крупных представителей народнической публицистики, был ближайшим сотрудником, а затем и редактором «Русского богатства». Горячий участник многих общественных начинаний (за что неоднократно подвергался арестам), Н. Ф. Анненский, хотя и оставался в рамках либерального движения интеллигенции, но заслужил уважение прогрессивной общественности своей личной честностью и благородством, тем «рыцарством», о котором говорит в очерке Горький. Горький познакомился с Н. Ф. Анненским в Нижнем-Новгороде, где последний руководил работой Нижегородского земства. С 1896 года Н. Ф. Анненский переехал в Петербург; об одной нижегородской и двух петербургских встречах с Анненским и рассказывается в очерке.

Стр. 324. *...Казненного Степана Ширяева...* — Степан Григорьевич Ширяев участвовал в покушении на Александра II в 1879 году, был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. В 1880 году приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. В 1881 году умер в тюрьме от туберкулеза.

Стр. 326. *...на демонстрации 4 марта.* — 4 марта 1901 года у Казанского собора в Петербурге произошла зверская расправа со студенческой демонстрацией, организованной в знак протеста против репрессий, примененных к студентам Киевского университета: за участие в студенческих волнениях 183 человека были отданы в солдаты.

Стр. 327. *...Капитолина Назарьева... откликнулась...* — Ошибка памяти А. М. Горького — К. В. Назарьева умерла в 1900 году.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

24 марта 1926 года, через три месяца после смерти С. Есенина, последовавшей 27 декабря 1925 года, А. М. Горький писал Р. Роллану: «...драма Сергея Есенина в высокой степени характерна. Это драма деревенского парня, романтика и лирика, влюбленного в поля и леса, в свое деревенское небо, в животных и цветы. Он явился в город, чтоб рассказать о своей восторженной любви к примитивной жизни, рассказать о простой ее красоте. Я видел Есенина в самом начале его знакомства с городом: маленького роста, изящно сложенный, со светлыми кудрями, одетый, как Ваня из «Жизни за царя», голубоглазый и чистенький, как Льюнгрин, — вот он какой был. Город встретил его с тем восхищением, как обжора встречает землянику в январе. Его стихи начали хвалить, чрезмерно и неискренно, как умеют хвалить лицемеры и завистники. Ему тогда было 18 лет, а в 20 он уже носил на кудрях своих модный котелок и стал похож

на приказчика из кондитерской. Друзья поили его вином, женщины пили кровь его. Он очень рано почувствовал, что город должен погубить его, и писал об этом прекрасными стихами» (т. 29, стр. 458—459). В этом письме звучит то сожаление о безвременно погибшем таланте, которое является основным мотивом очерка о Есенине.

Стр. 329. *Впервые я увидел Есенина в 1914 году...* — Эта встреча могла произойти с осени 1915 года по февраль 1916 года (см. заметку А. Вдовина «Первая встреча», «Вопросы литературы», 1963, № 4).

Стр. 330. *Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине...* — Встреча произошла в ноябре 1921 года.

О ГАРИНЕ-МИХАЙЛОВСКОМ

4 февраля 1927 года А. М. Горький писал Н. Д. Телешову: «...о Н. Г. Гарине напишу и пришлю Вам к марту, а вернее к 19-му апреля. Буду очень рад хорошо вспомнить о нем» (т. 30, стр. 9).

В начале 900-х годов Горький приглашает Николая Георгиевича Гарина-Михайловского сотрудничать в сборниках товарищества «Знание», которому последний был близок реалистическим колоритом своих произведений и общественно-политической позицией. Издательство «Знание» выпустило и ряд ранее написанных произведений Гарина («Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты» и др.). После смерти писателя Горький подготовил к печати незаконченную повесть Гарина «Инженеры», которая также появилась в сборниках товарищества «Знание».

Стр. 336. *...Анненкова, потомка декабриста...* — Председатель самарского окружного суда Владимир Иванович Анненков был сыном декабриста Ивана Александровича Анненкова.

...Екатерина Дмитриевна, супруга его... — Жену Я. Л. Тейтеля звали Екатерина Владимировна.

Стр. 338. *...«словам — тесно, мыслям — просторно».* — Ставшие крылатыми слова из стихотворения П. А. Некрасова «Подражанье Шиллеру», II. «Форма».

Стр. 339. *...он был женат на ...дочери генерала Черевина...* — В 1879 году Н. Г. Гарин Михайловский женился на дочери минского губернатора Надежде Валерьевне Чарыковой.

Стр. 348. *Он так и умер «на ходу»...* — 27 ноября 1906 года

Н. Г. Гарин присутствовал на редакционном совещании большевистского журнала «Вестник жизни», на котором был прочитан его драматический этюд «Подростки»; писатель принял горячее участие в споре о роли интеллигенции в революции. На этом совещании Н. Г. Гарин скончался. Употребляя выражение «на ходу», Горький имеет в виду название очерка Н. Г. Гарина «На ходу» (1893).

МИХАИЛ ВИЛОНОВ

Очерк написан в 1927 году, к 15-й годовщине со дня основания газеты «Правда».

Никифор Ефремович Вилонов (партийная кличка Михаил Заводской), рабочий-революционер, эмигрировавший в 1908 году за границу, вместе с Горьким принимал деятельное участие в организации каприйской партийной школы, созданной А. А. Богдановым, Г. А. Алексинским и А. В. Луначарским. В. И. Ленин отказался от чтения лекций в каприйской школе, так как она являлась центром фракции отзовистов, ультиматистов и богостроителей, и написал рабочим, ученикам школы, письмо, в котором объяснял свой отказ. Школа существовала около четырех месяцев. В ноябре 1909 года группа товарищей решительно порвала с богдановцами и уехала в Париж по приглашению Ленина. Горький в письме к И. А. Груздеву от 13 апреля 1933 года писал, что «в Париж к Ленину Михаил поехал по соглашению со мной» (т. 30, стр. 303).

После беседы с М. Вилоновым В. И. Ленин пишет Горькому: «Дорогой Алексей Максимович! Я был все время в полнейшем убеждении, что Вы и тов. Михаил — самые твердые фракционеры новой фракции, с которыми было бы нелепо мне пытаться поговорить по-дружески. Сегодня увидел в первый раз т. Михаила, покаялся с ним по душам и о делах и о Вас и увидел, что ошибался жестоко... Я рассматривал школу *только* как центр новой фракции. Оказалось, это неверно... Вышло так, что кроме противоречия старой и новой фракции на Капри развернулось противоречие между частью с.-д. интеллигенции и рабочими-русскими, которые вывезут социал-демократию на верный путь *во что бы то ни стало* и что бы ни произошло, вывезут вопреки всем заграничным склокам и сварам, «историям» и пр. и т. п. Такие люди, как Михаил, тому порукой» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 47, стр. 219).

На Пленуме ЦК, происходившем в начале 1910 года в Париже, большевики наметили М. Вилонова кандидатом для кооптации в Центральный Комитет. Но быстро прогрессирующий тубер-

кулез, приобретенный в царских тюрьмах и ссылках, заставил М. Вилонова поехать в Давос (Швейцария), где он провел зиму и весну и где 1 мая 1910 года скончался.

Стр. 354. Как можно, будучи явным буржуем, написать «Углекопы», «Разгром» или «Девяносто третий год»? — Вилонов имеет в виду романы: «Углекопы» («Жерминаль», 1885) и «Разгром» (1892) Э. Золя и «Девяносто третий год» (1874) В. Гюго.

И. И. СКВОРЦОВ

8 октября 1928 года умер И. И. Скворцов-Степанов, а 10 октября в газете «Известия» появилась заметка Горького.

Иван Иванович Скворцов-Степанов, видный большевик, историк, экономист, переводчик Маркса, вступил на путь революционной борьбы в 1895 году; неоднократно подвергался арестам и ссылкам. С мая 1925 года был ответственным редактором газеты «Известия», с 1926 года — директором Института В. И. Ленина при ЦК ВКП(б). На XIV съезде партии избран членом Центрального Комитета ВКП(б).

О ВИКТОРИНЕ АРЕФЬЕВЕ

Воспоминания появились в печати в 1929 году.

В 1901 году ленинская «Искра» писала по поводу смерти Викторина Севастьяновича Арефьева (этнограф, фольклорист и публицист): «Покойному было всего 27 лет от роду, а с 18 лет он уже считался поднадзорным. Он начал работать очень рано, лет с 16—17, и с тех пор непрестанно работал в пользу дорогой ему идеи до последнего дня своей жизни. Был за это три раза в ссылке: в Нижнем, в Вятке и в последний раз в Сибири, откуда вернулся в сентябре прошлого года. В первый раз он был взят за подстрекательство крестьян к бунту во время голодного года, во второй раз за то, что раскрыл и огласил деяния жандармского правления и губернатора в местной газете, и в третий раз — за принадлежность к вятской революционной организации и за печатание воззваний на земском гектографе... По возвращении из ссылки он тотчас же принялся за работу. Покойный был убежденный социалист-революционер, но человек чуждый всякой партийности, видевший во всяком революционере, к какому бы флагу и знамени он ни принадлежал, брата и борца за дороге

ему свободу и благо народа. Русская революционная партия понесла в нем несомненную утрату» («Искра», 1901, октябрь, № 9).

Стр. 360. *Он редко бывал в Красновидове...* — В июне — сентябре 1888 года Горький вместе с народником-революционером М. А. Ромасем жил в селе Красновидово под Казанью, ведя революционную пропаганду среди крестьян (см. «Мои университеты», 1923) В 1928 году в статье «Механическим гражданам СССР» Горький писал: «Железнодорожный рабочий, смазчик Михаил Ромась, уже отбывший десять лет суровой якутской ссылки, прикрываясь ненавистным ему делом лавочника, пытался поставить пропаганду среди крестьян Казанского и Симбирского Поволжья. Он говорил молодым пропагандистам Викторину Арефьеву и Павлу Ситникову: «Когда берется за революционное дело, то уже не можно брезговать никаким тяжелым трудом, и надо помнить: корень слова — дело» (т. 24, стр. 437).

Стр. 361. *...о провале типографии Ромаса в Смоленске.* — В апреле 1894 года М. А. Ромась, в кружок которого входил В. С. Арефьев, был арестован в Смоленске вместе с подпольной типографией народоуправцев.

О ЕДИНИЦЕ (А. А. СЕМЕНОВ)

В 1929 году, когда был написан очерк «О единице», А. М. Горький работал над «Рассказами о героях», которые публиковал в «Наших достижениях». Не удивительно, что он вспомнил и о Семенове.

Еще в письме от 17 декабря 1925 года Горький писал Семенову: «Преклоняюсь пред Вашей неистощимой энергией. Вы поверите в искренность этого преклонения, вспомнив, как высоко ценю я труд и поэзию труда. А Вы именно — поэт... хочется назвать Вас героем».

На протяжении двадцати четырех лет Горький получал письма от Семенова, содержавшие «отчеты» о его деятельности в Якутии. Одно из них Горький включил в свой очерк. В Архиве А. М. Горького сохранилось около шестидесяти писем Семенова к Алексею Максимовичу. Писем Горького к Семенову сохранилось, к сожалению, всего шесть, а их было, несомненно, гораздо больше. Последнее письмо Семенова, на которое он уже не получил ответа, было написано им в Москве пятого июня 1936 года, то есть за тринадцать дней до смерти Горького.

А. А. Семенов (1882—1938) родился в семье крестьянина села Тамыр, ныне Кяхтинского района Бурятской АССР. Окончил Троицко-Савское четырехклассное училище. В Якутск он приехал в 1904 году как служащий торгового дома «Коковин и Ба-

сов». Поселившись здесь, Семенов всячески старался помочь развитию производительных сил Якутии — этого заброшенного в то время края. Начал он со строительства дорог. Он публикует десятки статей в местной и центральной печати по этому вопросу, обращается к министру финансов В. Н. Коковцеву с прошением об отпуске денег для прокладки дорог в Якутии.

Существенное место в его необычно разносторонней деятельности занимают разного рода культурные начинания. Он строит в Якутске клуб приказчиков, организует театр, создает при клубе библиотеку. Особо должно быть отмечено участие Семенова в издании первой в Якутии газеты — «Якутский край» (июнь 1907), выходявший два раза в неделю на русском и якутском языках.

После наложения ряда арестов на отдельные номера газеты постановлением Якутского окружного суда от 26 января 1908 года «Якутский край» был запрещен. Однако спустя несколько дней Семенов добивается разрешения на издание газеты под названием «Якутская жизнь» Сообщая в Петроград о разрешении на выход этой газеты, якутский губернатор пишет, что газета будет выходить «под издательством и ответственным редакторством крестьянина Тамирской волости Верлнеудинского уезда. Забайкальской области, Алексея Алексеевича Семенова». Через некоторое время и «Якутская жизнь» была закрыта. Вместо нее Семенов открывает газету «Якутская мысль», а затем газету «Якутская окраина» с тем же направлением и теми же сотрудниками, из бывших и настоящих политических ссыльных», как доносил губернатор.

Особенно широкий и активный характер приняла деятельность А. А. Семенова после Великой Октябрьской социалистической революции. Вот что пишет об этом сам Семенов в письме к Горькому в мае 1934 года:

«Приехав в 1904 г. из Забайкалья в Якутск на полгода, я прожил там 30 лет. Из этих тридцати лет чуть не четверть века моей жизни прошло на виду у Вас, так как о всех главных событиях ее я сообщал Вам. О постройке небольшой группы якутских приказчиков здания клуба (теперь якутский городской театр, помните, Вы послали нам книги?), издании первой ежедневной газеты в Якутске. отправки мною первых грузов через Берингов пролив, организации якутских общественных предприятий, поисках дешевых дорог из Охотского моря в Якутию и путей от Якутска на Темтон, организации на Верхоянском хребте кустарной добычи свинца в горной метеорологической станции, печатании 30 миллионов рублей денег (когда был Якутским нар-

комом финансов), о моей помощи Бергину в открытии Алдана, постройке дорог: Саняхтатской, Иситской, Вилюйской и Чуранской, по которым и до сих пор движется основная масса алданских грузов, об организации бесплатной почты на Алдан, о закладке мною Укуланской пристани и города Томмота, проекте заселения Среднего Алдана, о пробном опыте зимнего рыболовства в устье Вилюя, где четыре старика в 2½ зимних месяца поймали более трех тысяч стерлядей, — обо всем этом Вы знали своевременно».

Весьма интересным человеком была и жена А. А. Семенова — Наталия Петровна, урожденная Угловская (1888—1943). Она родилась в Калгане, в семье мелкого служащего. Детство провела в Китае, где служил отец. Не знала до шести лет русского языка, кроме нескольких слов. По матери бабушка была монголкой. Это и дало основание Горькому считать ее китайкой. Н. П. Семенова участвовала в гражданской войне в отряде Сергея Лазо. Позднее была диккурьером, сотрудником журнала «Советская Азия», верной помощницей Семенова во всех его начинаниях.

ИВАН ВОЛЬНОВ

Очерк написан вскоре после смерти И. Е. Вольнова (умершего 9 января 1931 года в селе Куракино Орловского района) как предисловие к собранию сочинений Ивана Вольнова.

Иван Егорович Владимиров (псевдоним Вольнов) — один из многих писателей, вошедших в литературу при содействии Горького. Сын бедного крестьянина Орловской губернии, И. Вольнов с 1903 года примыкает к партии эсеров, принимает участие в террористических актах, неоднократно подвергается арестам. В 1910 году, преданный военному суду, И. Вольнов бежит за границу. «В январе 1911 года, затесавшись на Капри, — пишет И. Вольнов в своей автобиографии, — показал Максиму Горькому то, что я писал в Цюрихе. Все приставал к нему с вопросом, следует ли мне писать дальше. Просил, чтобы «честно» мне ответил. Горький ласково обходил вопрос, щадя мое самолюбие. Все, что я показал ему, было плохо. Но напечатал это в амфитеатровском «Современнике» за 1911 год... Это мои первые шаги. После этого я совсем сорвался с цепи. Думал, испишу всю итальянскую бумагу стихами в прозе. Мучил Горького, таская рукописи на просмотр. Он исправлял, заставлял переписывать и бросать в сорный ящик. Как-то он стал расспрашивать о прошлом моем. Послушал и предложил написать это и именно так, как

я рассказывал. Я год писал. Когда окончил, принес Горькому. Понравилось. Он выбросил все лишнее, остальное же составило «Повесть о днях моей жизни»... Вплоть до отъезда в Россию в 1913 году Горький возился со мной. Заставлял читать, исправлял рукописи» (Л. М. Клейнборг, Очерки народной литературы, Л., 1924, стр. 149).

О своих ошибках и заблуждениях после революции 1917 года И. Вольнов рассказал в автобиографической повести «Встреча», где дан образ революционера, в конце концов понявшего предательскую роль эсеров и признавшего, что единственный путь крестьянства — это путь, который наметила Октябрьская революция. В 1919 году И. Вольнов был арестован в Орловской губернии за прошлую связь с эсерами, но благодаря вмешательству В. И. Ленина освобожден. В очерке «В. И. Ленин» Горький приводит отзыв Ленина о книге И. Вольнова «Повесть о днях моей жизни»: «Я читал его книгу, — очень понравилось».

Стр. 381. *...возвращение... изображено им в повести, которую он писал в 1928 году...* — Речь идет о незавершенной четвертой части «Повести о днях моей жизни» — «Возвращение». 16 марта 1929 года И. Вольнов писал из Сорренто: «Два дня тому назад я читал ее (повесть. — М. П.) вслух на villa Sorito. А[лексей] М[аксимович] все время плакал и говорил, что вещь будет необычайная. «Я знаю, что увлекаюсь, и, увлекаясь, не всегда беспристрастен, тем не менее книга выйдет исключительной и нужной...» Это радует и тяжело обязывает. Книга изматывает меня. Но пишу я ее с напряжением и любовью» (Иван Вольнов, Избранное, М., 1956, стр. 613—614).

Стр. 384. *Наполеончик* — прозвище персонажа повести, Сольского, главаря партии эсеров.

КАМО

Очерк написан, по-видимому, в конце 1931 года.

31 октября 1931 года Горький писал Д. А. Хутулашвили, сестре Камо. «Рад узнать, что Госкино Грузии ставит картину «Камо», очень рад! Такие фильмы нам необходимы, их воспитательное влияние на молодежь должно быть огромно и глубоко. А для того, чтоб оно было глубоким, нужно показать Камо так просто и правдиво, таким беззаветно храбрым, спокойным и ясным, каким он был. Он был человеком без позы и был художником революции» (т. 30, стр. 230).

В том же году, в статье «О работе неумелой, небрежной, недобросовестной и т. д.» Горький критиковал книгу Алексея Оку-

лова «Камо»: «...это пошлое сочинение компрометирует фигуру Камо, революционера, который обладал почти легендарным бесстрашием, был изумительно ловок, удачлив и в то же время детски наивен» (т. 25, стр. 474). Очевидно, в это время возник у Горького замысел, вскоре осуществленный, — написать воспоминания о Камо.

Камо — партийная кличка известного революционера-большевика Семена Аршаковича Тер-Петросяна.

Стр. 387. *...убитого мерзавцем Михальчуком...* — Н. Э. Бауман был убит черносотенцем Н. Ф. Михалиным, осужденным «по совокупности» (в июне 1906 г. Н. Ф. Михалин судился за кражу) на год и шесть месяцев и помилованным по ходатайству министра юстиции И. Г. Щегловитова после пяти месяцев тюрьмы (см. «Товарищ Бауман», сборник воспоминаний и документов, 2-е изд., М., 1930). Фамилию Михальчук ошибочно называет автор воспоминаний об убийстве Баумана («Пролетарская революция», 1922, № 9, стр. 291). При переиздании воспоминаний в упомянутом выше сборнике ошибка была исправлена, но фамилия Михальчук осталась в памяти Горького.

...застрелил в 1908 году генерала Азанчеева-Азанчевского... — Речь идет об «усмирителе» Грузии генерал-майоре М. Алпханове-Аварском, который был убит революционерами в 1907 году. В террористическом акте принимал участие не сам В. Арабидзе, а один из его дружинников.

Стр. 391. *...в квартире Фортунаковой...* — Речь идет о С. В. Фортунато, матери С. В. Медведевой-Петросян, жены Камо, враче по профессии (о ней идет речь ниже); брак Камо и Медведевой был зарегистрирован 13 ноября 1920 года, причем в качестве свидетеля Камо пригласил А. М. Горького (см. об этом в воспоминаниях С. В. Медведевой-Петросян, хранящихся в Архиве А. М. Горького).

Стр. 393. *...воспоминания его...* — В статье «О работе неуемной, небрежной, недобросовестной и т. д.» Горький писал: «...Камо в 1921 году работал над своей автобиографией и написал очень много, — материал этот, вероятно, находится у его жены, Медведевой» (т. 25, стр. 475). В упомянутых выше воспоминаниях С. В. Медведева-Петросян пишет: «По инициативе Алексея Максимовича машинистка-стенографистка записала автобиографию Камо, но, к сожалению, довела ее только до 1905 года» (Архив А. М. Горького).

...некий Триадзе... — Имеется в виду меньшевик В. Д. Мгеладзе (партийная кличка Триа).

Очерк написан как отклик на смерть И. П. Павлова, последовавшую 27 февраля 1936 года.

Знакомство Горького с великим русским ученым Иваном Петровичем Павловым относится к годам, когда Горький работал в «Комиссии по улучшению быта ученых», хотя еще в 1916 году возглавляемый Горьким журнал «Летопись» вел переговоры с И. П. Павловым о статье для научного раздела. «Комиссия эта возникла по инициативе В. И. Ленина и Л. Б. Красина, — писал впоследствии Горький, — в дальнейшем Ильич и А. Б. Халатов развили ее в ЦЕКУБУ (Центральная комиссия улучшения быта ученых. — *М. П.*) — учреждение, которым рабочий класс, хозяин страны, имеет законное право гордиться перед Европами» (сб. «В. И. Ленин и А. М. Горький», М., 1958, стр. 370).

Эпизод, о котором идет речь в очерке, ошибочно отнесен Горьким к 1919 году. В «Комиссию по улучшению быта ученых» входили А. М. Горький, С. Ф. Ольденбург, А. Е. Бадаев и др. 24 января 1921 года Горький беседует с В. И. Лениным в Кремле об улучшении условий жизни и работы академика И. П. Павлова. 11 февраля 1921 года в «Известиях» публикуется Постановление Совета Народных Комиссаров, подписанное В. И. Лениным, об образовании специальной комиссии по созданию благоприятных условий для обеспечения научной работы И. П. Павлова и его сотрудников. Именно об этой комиссии, состоящей из трех членов, говорится в очерке Горького.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абдурахман-хан (1844—1901), эмир афганистанский с 1880 по 1901 год — 124.

Аввакум (1620 или 1621—1682) — протопоп — 124, 131.

Азадовский, Марк Константинович (1888—1954) — литературовед — 318.

Азанчев-Азанчевский — см. Алиханов-Аварский М.

Азеф, Евно Фишелевич (1869—1918) — провокатор, входивший в партию эсеров — 192, 347, 381, 385.

Аксаков, Сергей Тимофеевич (1791—1859) — 415.

Аксельрод, Павел Борисович (1850—1928) — один из меньшевистских лидеров — 11.

Алексин, Александр Николаевич (1863—1923) — 57, 151, 307—311, 322, 438.

Алексинский, Григорий Алексеевич (род. в 1879) — член социал-демократической фракции 2-й Государственной думы, впоследствии перешел в лагерь контрреволюции — 42, 442.

Алиханов-Аварский, Максуд (1846—1907) — временный генерал-губернатор Кутаисской губернии — 387 (Азанчев-Азанчевский), 448.

Андерсен, Ханс Кристиан (1805—1875) — 101, 114, 418.

Андреев, Вадим Леонидович (род. в 1902) — сын Л. Н. Андреева — 184—185.

Андреев, Леонид Николаевич (псевдоним — Джемс Линч, 1871—1919) — 118, 155—193, 284, 288, 300, 321, 322, 338, 414, 421—427.

Андреева, Александра Михайловна (1881—1906) — первая жена Л. Н. Андреева — 181—182, 184, 425.

Андреева, Анна Ильинична (Денисевич, 1885—1948) — вторая жена Л. Н. Андреева — 193, 427.

Андреева, Мария Федоровна (1872—1953) — вторая жена А. М. Горького, актриса и общественная деятельница — 18, 40, 398, 401.

Аниелло, Томазо (1622—1647) — итальянский рыбак, возглавивший восстание 1647 года в Неаполе — 187.

Анненский, Николай Федорович (1843—1912) — 211, 218, 242, 290, 291, 324—328, 433, 439—440.

Антокольский, Марк Матвеевич (1843—1902) — скульптор — 280.

Апухтин, Алексей Николаевич (1841—1893) — поэт — 69.

Арабидзе, Васо — командир боевой дружины грузин в 1905—1907 годах в Москве — 387—388.

Аретино, Пьетро (1492—1556) — итальянский писатель — 136.

Арефьев, Викторин Севастьянович (ок. 1875—1901) — 360—361, 443—444.

Арсеньева, Валерия Владимировна (1836—1909) — знаковая Л. Н. Толстого — 146.

Архангельский — организатор Симбирской земледельческой колонии — 143.

Архимед (ок. 287—212 до н. э.) — 32.

Арцыбашев, Михаил Петрович (1878—1927) — писатель — 173.

Астырев, Николай Михайлович (1857—1894) — писатель — 431.

Афанасьев, Федор Ермолаевич (1869—1921) — товарищ А. М. Горького, член тифлисского революционного кружка — 388, 432.

Ашешов, Николай Петрович (1866—1923) — журналист — 296.

Бадаев, Алексей Егорович (1883—1951) — революционер-большевик — 449.

Базаров, В. (псевдоним Руднева Владимира Александровича, 1874—1939) — публицист, экономист, один из представителей идеалистической философии махизма — 22.

Базен, Рене (1853—1932) — французский писатель — 380.

Байрон, Джордж (1788—1824) — 190.

Бальзак, Оноре де (1799—1850) — 133, 136, 281, 380. Бальмонт, Константин Дмитриевич (1867—1942) — поэт — 102, 172, 278, 280.

Барамзин, Егор Васильевич (1867—1920) — социал-демократ, член русской редакции газеты «Искра» — 324, 325.

Баранов, Николай Михайлович (1836—1901) — нижегородский губернатор в 1883—1897 годах — 215, 246.

Барбароса (1473—1518) — пират, положивший основание владычеству турок в Северной Африке, — 187.

Барыкова, Анна Павловна (1839—1893) — поэтесса и переводчица — 209.

Батушков, Федор Дмитриевич (1857—1920) — критик и историк литературы — 296.

Бауман, Николай Эрнестович (1873—1905) — 282, 283, 320, 387, 448.

Бах, Иоганн Себастьян (1685—1750) — 310.

Бебель, Август (1840—1913) — один из вождей германской социал-демократической партии — 11, 12, 17, 351, 354, 401.

Бедный, Демьян (псевдоним Придворова Ефима Алексеевича, 1883—1945) — 43.

Белинский, Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 180, 425.

Белый, Андрей (псевдоним Бугаева Бориса Николаевича, 1880—1934) — писатель-символист — 182, 425.

Бенуа, Василий Леонтьевич — большевик — 347.

Бенуа, Леонтий Леонтьевич (ум. в 1912) — большевик, знакомый А. М. Горького — 292, 294.

Беранже, Пьер Жан (1780—1857) — 103.

Берг, Николай Васильевич (1824—1884) — поэт и переводчик — 239.

Беринг, Эмиль (1854—1917) — немецкий бактериолог — 113.

Бернс, Роберт (1759—1796) — шотландский поэт — 163.
Бернштейн, Эдуард (1850—1932) — немецкий социал-демократ, теоретик ревизионизма — 345.
Бетховен, Людвиг ван (1770—1827) — 38, 62, 310.
Бисмарк, Отто (1815—1898) — немецкий государственный деятель — 62, 284.
Блок, Александр Александрович (1880—1921) — 181, 182, 300—306, 437—438.
Боборыкин, Петр Дмитриевич (1836—1921) — писатель — 217, 228, 432.
Бобров, Александр Алексеевич (1850—1904) — хирург — 309.
Богданов, А. (псевдоним Малиновского Александра Александровича, 1873—1928) — философ-ревизионист и экономист — 19, 21, 22, 442.
Богданович, Ангел Иванович (1860—1907) — член редакции журнала «Мир божий» — 210, 211.
Богомолов, Валериан Иванович (псевдоним Карпова Николая Николаевича, 1881—1935, «Черт») — большевик, активный участник революции 1905—1907 годов — 322.
Богораз, Владимир Германович (псевдоним — Тан, 1865—1936) — писатель, этнограф — 240, 434.
Бодлер, Шарль (1821—1868) — французский поэт — 243.
Бонёр, Роза (1822—1899) — французская художница — 254, 258.
Бонч-Бруевич, Владимир Дмитриевич (1873—1955) — общественный деятель, литературовед, историк, этнограф — 413.
Бородулин, Василий Андреевич — врач — 308.
Брейтбург, Семен Моисеевич (род. в 1897) — литературовед — 416.
Брешко-Брешковская, Екатерина Константиновна (1844—1934) — одна из основателей партии эсеров («Бабушка») — 13, 401.
Бруно, Джордано (1548—1600) — 221.
Брюсов, Валерий Яковлевич (1873—1924) — 182, 278.
Бугров, Николай Александрович (1837—1911) — 215, 244 — 273, 435.
Буланже, Павел Александрович (1865—1925) — последователь Л. Н. Толстого — 144, 421.
Булгаков — см. Лягунов В. Д.
Бунин, Иван Алексеевич (1870—1953) — 133 (стихи), 193, 281, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 419.
Буренин, Виктор Петрович (1841—1926) — публицист, сотрудник реакционной газеты «Новое время» — 151.
Буренин, Николай Евгеньевич (1874—1962) — активный участник революции 1905—1907 годов — 13.
Бурже, Поль (1852—1935) — французский писатель — 216, 430.
Бутаевич — см. Петрашевский М. В.
Бутлеров, Александр Михайлович (1828—1886) — русский ученый-химик — 281.

Вагнер, Егор Егорович (1849—1903) — русский химик — 281.
Ван-Дейк, Антонио (1599—1641) — фламандский художник — 343.
Васильев, Николай Захарович (1868—1901) — ученик, друг А. М. Горького — 223.
Васнецов, Виктор Михайлович (1848—1926) — 90, 345, 412.
Вахтангов, Евгений Багратионович (1883—1922) — 414.
Векселл, Юлиус (1838—1909) — финский писатель — 186.
Вельтман, Александр Фомич (1800—1870) — писатель — 133.
Венгеров, Семен Афанасьевич (1855—1920) — историк литературы — 405.
Вигдорчик, Павел Абрамович — врач, член русской наприйской колонии — 24.
Виланд, Кристоф Мартин (1733—1813) — немецкий писатель — 102.
Вилонов, Никифор Ефремович (1885—1910) — 349—357, 442 — 443.
Винчи, Леонардо да (1452—1519) — 98.
Витте, Сергей Юльевич (1849—1915) — председатель совета министров в 1905—1906 годах — 246, 274, 275, 289, 290, 291, 295, 339.
Витютнева, Софья Федоровна (1850 — ум ок. 1912) — фельдшерница-акушерка Ялтинской земской больницы — 310.
Владимирский, Федор Иванович (1843—1937) — арзамасский священник — 95, 178, 179, 180.
Вовчок, Марко (псевдоним Вилинской-Маркович Марии Александровны, 1834—1907) — украинская писательница — 101.
Войткевич, Антон Феликсович (1876—1951) — большевик, активный участник революции 1905—1907 годов — 292.
Вольнов, Иван (псевдоним Владимировна Ивана Егоровича, 1885—1931) — 34, 370 — 386, 402, 446 — 447.
Вольнов, Илья Иванович (род. в 1913) — сын И. Е. Вольнова — 382.
Вольтер, Франсуа (1694—1778) — 180, 221.
Воровский, Вацлав Вацлавович (1871—1923) — видный партийный деятель, литератор, советский дипломат — 13, 19.
Воронов, Михаил Алексеевич (1840—1873) — писатель-народник — 74.
Воронцов-Дашков, Илларион Иванович (1837—1916) — министр двора в 1881—1897 годах — 246.
Врубель, Михаил Александрович (1856—1910) — 90, 280, 345.
Вульф, Екатерина Николаевна — ялтинская домовладелица (М. Шульц) — 92, 412.
Вундт, Вильгельм (1832—1920) — немецкий физиолог и философ — 77.
Вяземский, Константин Алексеевич (1852—1903) — корреспондент Л. Н. Толстого, монах — 326.

Гааз, Федор Петрович (1780—1853) — врач — 335.
Габрилович, Осип Соломонович (1878—1936) — пианист — 347.
Галилей, Галилео (1564—1642) — 221.
Гальвани, Луиджи (1737—1798) — итальянский физиолог — 204.
Гапон, Георгий Аполлонович (1870—1906) — священник, провокатор, агент царской охраны — 295, 296, 297, 327, 347, 436.
Гарибальди, Джузеппе (1807—1882) — 136.
Гарин (псевдоним Михайловского Николая Георгиевича, 1852—1906) — 314, 315, 327, 335 — 348, 405, 441 — 442.
Гартман, Эдуард (1842—1906) — немецкий философ — 77, 284.
Гаршин, Всеволод Михайлович (1855—1888) — 72.
Гацисский, Александр Серафимович (1838—1893) — нижегородский общественный деятель и литератор — 197.
Гедберг, Тор Геральд (1862—1931) — шведский писатель — 186, 425.
Герц, Генрих Рудольф (1857—1894) — немецкий физик — 304.
Гессен, Иосиф Владимирович (1866—1943) — юрист, один из организаторов партии кадетов — 290.
Гёте, Вольфганг (1794—1832) — 102, 123, 418.
Гиббон, Эдуард (1737—1794) — английский историк — 135.
Гиль, Степан Казимирович (1888—1966) — шофер В. И. Ленина — 18.
Гоголь, Николай Васильевич (1809—1852) — 133, 155.
Голованов, Николай Николаевич (1867—1938) — драматург и переводчик — 186, 426.
Гольденвейзер, Александр Борисович (1875—1961) — пианист и композитор — 100, 151.
Гольцев, Виктор Александрович (1850—1906) — редактор журнала «Русская мысль» — 358.
Гомер — 61.
Гонкур, братья Эдмон (1822—1896) и Жюль (1830—1870) — французские писатели — 82, 136, 419.
Гофман, Эрнст-Теодор-Амадей (1776—1822) — немецкий писатель — 115.
Григорович, Дмитрий Васильевич (1822—1899) — 380.
Грожан, Павел Августович (1879—1905) — активный участник революции 1905 года — 322.
Груздев, Илья Александрович (1892—1960) — литературовед — 431, 442.
Гуд, Томас (1799—1845) — английский поэт — 209.
Гульбрансон, Олаф (род. в 1873) — немецкий художник — 131, 419.
Гумилев, Николай Степанович (1886—1921) — поэт — 305.
Гурович, Михаил Иванович (1859—1914) — сотрудник журнала «Начало», провокатор — 235.
Гус, Ян (1369—1415) — вождь национально-освободительного движения в Чехии — 145.

Гусев, Сергей Сергеевич («Слово — Глаголь», 1854—1922) — сотрудник «Самарской газеты» — 343.
Гюго, Виктор (1802—1885) — 135, 179, 443.
Гюисманс, Жорж (1848—1907) — французский писатель — 249, 435.

Дан (псевдоним Гурвича Федора Ильича, 1871—1947) — меньшевик — 15, 401.
Данте, Алигьери (1265—1321) — 131.
Дарвин, Чарлз (1809—1882) — 58.
Дебс, Юджин (1855—1926) — деятель рабочего движения в США — 12.
Дедлов (псевдоним Кигна Владимира Людвиговича, 1856—1908) — писатель — 216, 430.
Дейч, Лев Григорьевич (1855—1941) — меньшевик — 11.
Десницкий, Василий Алексеевич (псевдоним — Строев, 1878—1958) — историк литературы — 19, 38, 399.
Дженнер, Эдуард (1749—1823) — английский врач-эпидемиолог — 113.
Дзержинский, Феликс Эдмундович (1877—1926) — 35, 40, 402.
Дидерикс, М. К. (1874—1937) — генерал армии Колчака — 384.
Диккенс, Чарльз (1812—1870) — 94, 113, 133.
Добровейн, Исая Александрович (1894—1953) — пианист — 38.
Добролюбов, Николай Александрович (1836—1861) — 75 (один из честнейших писателей), 408.
Доде, Альфонс (1840—1897) — 134, 419.
Достоевская, Анна Григорьевна (1846—1918) — жена Ф. М. Достоевского — 314.
Достоевский, Федор Михайлович (1821—1881) — 108, 110, 123, 129, 192, 210, 277, 300, 418.
Дрягин, Николай Ионович (1865—1905) — статистик Нижегородской губернской управы — 208, 212, 325.
Дункан, Айседора (1878—1927) — танцовщица, жена С. А. Есенина — 330, 331, 333.
Дюнан, Анри (1828—1910) — швейцарский филантроп и литератор — 335.
Дюрер, Альбрехт (1471—1528) — немецкий художник — 38.

Евтушевский, Василий Андрианович (1836—1888) — методист-математик — 159.
Елеонский (псевдоним Миловского Сергея Николаевича, 1861—1911) — писатель-народник — 212.
Елпатьевский, Сергей Яковлевич (1854—1933) — писатель — 116, 211.
Есенин, Сергей Александрович (1895—1925) — 329 — 334, 440 — 441.

Желябов, Андрей Иванович (1850—1881) — революционер-народоволец — 221.
Жеромский, Стефан (1864—1925) — польский писатель — 329, 368.

Житловский, Х. И (1865—1943) — еврейский буржуазный националист, связанный с партией эсеров. — 13.

Жорес, Жан (1859—1914) — вожь французской социалистической партии — 22.

Жук, Михайло Иванович (1833—1964) — писатель и художник — 84, 410.

Забелин, Иван Егорович (1820—1908) — историк — 101.

Заболотный, Даниил Кириллович (1866—1929) — микробиолог и эпидемиолог — 323.

Зарубин, Александр Александрович — нижегородский купец — 213, 215, 245, 249, 251, 263.

Засодимский, Павел Владимирович (псевдоним — Володин, 1843—1912) — писатель-народник — 210, 429.

Землячка (партийная кличка Залкинд Розалии Самойловны, 1876—1947) — видный деятель КПСС — 398.

Зингер, Пауль (1844—1911) — видный деятель германской социал-демократии — 11.

Златовратский, Николай Николаевич (1845—1911) — писатель-народник — 210, 428.

Золотарев, Алексей Алексеевич (1878—1950) — писатель — 371.

Золя, Эмиль (1840—1902) — 165, 380, 443.

Зотов, Рафаил Михайлович (1795—1871) — писатель — 343.

Ибсен, Генрик (1828—1906) — 109, 372.

Иваницкая, Ольга Петровна (1879—1946) — активная участница революции 1905—1907 годов — 292.

Иванович — см. Сведенцов И. И.

Иванчин-Писарев, Александр Иванович (1849—1916) — литератор-народник — 211, 324.

Игнатъев, Александр Михайлович (1879—1936) — инженер-изобретатель — 402.

Ильин, Николай Дмитриевич — 77, 144, 408, 409.

Иоанн, Кронштадтский (Сергеев. Иоанн Ильич, 1829—1908) — протоиерей Андреевского собора в Кронштадте — 214, 225.

Истомина, Неонила Константиновна (ум. в 1906) — участница народнического движения, впоследствии предательница — 230.

Каблиц, Иосиф Иванович (псевдоним — Юзов, 1848—1893) — публицист-народник — 186.

Казанова, Джованни Джакомо (1725—1798) — итальянский авантюрист — 136.

Калинин, Михаил Иванович (1875—1946) — 382.

Калинников, Василий Сергеевич (1866—1900) — композитор — 311.

Калиостро, Александр (Джузеппе Бальзамо, 1743—1795) — итальянский авантюрист — 136.

Камо (партийная кличка Тер-Петросяна Семена Аршаковича, 1882—1922) — 322, 387—395, 447—448.

Каппель, Владимир Оскарович (ум. в 1920) — командующий 3-й армией Колчана — 384.

Карамзин, Николай Михайлович (1766—1826) — 101.

Карачиолло, Николино — художник — 184.

Кареев, Николай Иванович (1850—1931) — историк и публицист — 242, 290.

Карелин, Аполлон Андреевич (1863—1926) — экономист, юрист, в начале 80-х годов возглавлял нижегородскую народовольческую организацию — 211, 324.

Каронин, С. (псевдоним Петропавловского Николая Елпидифоровича, 1853—1892) — 64 — 81, 143, 200, 201, 208, 210, 406 — 409, 422, 429.

Касаткин, Николай Алексеевич (1839—1930) — художник — 90, 412.

Катков, Михаил Никифорович (1818—1887) — реакционный публицист, редактор журнала «Русский вестник» — 236

Каутский, Карл (1854—1938) — правопортунистический лидер германской социал-демократии — 12, 401.

Качалов, Василий Иванович (псевдоним Шверубовича, 1875—1948) — 404.

Каширин, Василий Иванович (1807—1887) — дед А. М. Горького — 246 (дед).

Кедрин, Евгений Иванович (1852—1921) — адвокат, член партии кадетов — 290.

Келлер, Ф. Э. (1850—1904) — генерал — 56, 285.

Кельвин, Уильям (1824—1907) — английский физик — 281.

Кисляков, Николай Михайлович (1861—?) — участник народнического кружка Н. Ф. Анненского — 212, 325.

Клодель, Поль (1868—1955) — французский писатель — 333.

Клюев, Николай Алексеевич (1887—1937) — поэт — 329.

Ключевский, Василий Осипович (1841—1911) — историк — 101, 216.

Козлов, Алексей Александрович (1831—1900) — сотрудник журнала «Вопросы философии и психологии» — 78.

Коллонтай, Александра Михайловна (1872—1952) — видный деятель КПСС, советский дипломат — 40

Кольцов, Алексей Васильевич (1808—1842) — 133.

Комиссаржевская, Вера Федоровна (1864—1910) — 316, 321.

Кони, Анатолий Федорович (1844—1927) — судебный деятель и писатель — 203, 430.

Конисси (Масурато), Даниил Павлович — профессор университетов в Токио и Киото — 418.

Конисский, Георгий Осипович (1717—1795) — епископ — 234, 432.

Конисский, Михаил Александрович (1862—?) — жандармский ротмистр — 234.

Константинов, Д. В. — участник народнического кружка Н. Ф. Анненского — 212, 325.

Конфуций (551—479 до н. э.) — древнекитайский философ — 129.

Коппе, Франсуа (1841—1908) — французский поэт — 209

Коринфский, Аполлон Аполлонович (1868—1936) — поэт — 211.

Коркунов, Николай Михайлович (1853—1904) — историк права — 216.

Короленко, Владимир Галактионович (1853—1921) — 118, 132, 135, 194—239, 326, 398, 404, 407, 408, 410, 414, 422, 427—432, 438.

Короленко, Евдокия (Авдотья) Семеновна (1855—1940) — жена В. Г. Короленко — 228, 439.

Косоротов, Александр Иванович (1868—1912) — писатель — 338.

Костомаров, Николай Иванович (1817—1885) — историк — 135.

Костычев, Сергей Павлович (1877—1931) — ученый-физиолог — 27, 323.

Коцюбинский, Михаил Михайлович (1864—1913) — 82—88, 368, 405, 409—411, 427.

Красин, Леонид Борисович (1870—1926) — 13, 297, 314—323, 347, 387, 389, 438, 439, 449.

Кроль, Николай Иванович (1823—1871) — поэт — 74.

Кроль, Т. А. — переводчик — 327.

Кропоткин, Петр Алексеевич (1842—1921) — теоретик анархизма — 99, 266.

Крупская, Надежда Константиновна (1869—1939) — 19, 399.

Крэг, Эдвард Гордон (1872—1966) — английский режиссер — 414.

Кулибин, Иван Петрович (1735—1818) — изобретатель-самоучка — 254.

Кусиков, Александр Борисович (род. в 1896) — поэт-имажинист — 330, 333.

Кущевский, Иван Афанасьевич (1847—1876) — писатель — 72, 73, 74.

Кювье, Жорж (1769—1832) — французский естествоиспытатель — 204.

Лавров, Петр Лаврович (псевдоним — Миртов, 1823—1900) — теоретик народничества — 429.

Ладыжников, Иван Павлович (1874—1945) — издатель, друг А. М. Горького — 11, 12, 399, 400.

Лазаревский, Борис Александрович (1871—1936) — писатель — 58.

Ламенне, Фелисите Робер де (1782—1854) — французский реакционный публицист и философ — 303, 304.

Ланин, Александр Иванович (1845—1906) — рязанский присяжный поверенный — 211, 223, 432.

Лао-цзы (Лао-тце, Лао-тзе, Лао-си, VI—V вв. до н. э.) — древнекитайский философ — 128, 418.

Лассаль, Фердинанд (1825—1864) — немецкий мелкобуржуазный социалист — 41.

Лафарг, Поль (1842—1911) — основатель французской рабочей партии, пропагандист марксизма — 401.

Лебедев, Петр Николаевич (1866—1912) — физик — 281.

Ле-Бон, Густав (1841—1931) — химик — 277.

Левитов, Александр Иванович (1835—1877) — писатель-народник — 74.

Лемонье, Камиль (1844—1913) — бельгийский писатель — 380.

Ленин, Владимир Ильич (1870—1924) — 9—44, 283, 315, 316, 318, 323, 350, 354, 357, 381, 382, 398—402, 415, 416, 420, 439, 442, 443, 447, 449.

Леопарди, Джакомо (1798—1837) — итальянский поэт — 190, 202.

Лесков, Николай Семенович (псевдоним — Стебницкий М., 1831—1895) — 101, 104, 130, 277, 372.

Ли хачев, Владимир Сергеевич (1849—1910) — писатель — 209.

Лозина-Лозинский, Алексей Константинович (псевдонимы — Я. Любяр и Любич-Ярмонович, 1886—1916) — поэт — 371.

Ломброзо, Чезаре (1835—1909) — итальянский криминалист — 136, 424.

Лондон, Джек (1876—1916) — 56, 404, 405.

Лоренц-Метцнер, Александр Карлович (ум. в 1918) — большевик — 24.

Лохвицкий, Александр Владимирович (1830—1884) — историк права — 216.

Луначарский, Анатолий Васильевич (1875—1933) — 21, 23, 401, 417, 442.

Лысенко, Николай Витальевич (1842—1912) — украинский композитор — 87.

Любич-Ярмонович-Лозина-Лозинский — см. Лозина-Лозинский А. К.

Люксембург, Роза (1871—1919) — 16, 17, 401.

Ляпунов, Вячеслав Дмитриевич (1873—1905) — поэт-самоучка (Булгаков) — 128, 144, 418, 420—421.

Маклаков, Василий Алексеевич (1870—1959) — адвокат, член Государственной думы — 56.

Максвелл, Джеймс Клерк (1831—1879) — английский физик — 281.

Малиновский, Р. В. (1876—1918) — провокатор — 42.

Мамин-Сибиряк (псевдоним Мамина Дмитрия Наркисовича, 1852—1912) — 210.

Мамонтов, Савва Иванович (1841—1918) — крупный промышленник, меценат — 345.

Марков, Андрей Андреевич (1856—1922) — математик — 323.

Маркс, Карл (1818—1883) — 15, 216, 242, 276, 324, 344, 388, 399, 401.

Марлинский (псевдоним Бестужева Александра Александровича, 1797—1837) — писатель — 133.

Мартов, Л. (псевдоним Цедербаума Ю. О., 1873—1923) — меньшевик — 15, 40.

Мачтет, Григорий Александрович (1852—1901) — писатель-народник — 210.

Маяковский, Владимир Владимирович (1893—1930) — 43.

Медведева-Петросян, Софья Васильевна (род. в 1874 — врач, жена Тер-Петросяна С. А. (Камо) — 391, 448.

Медведский, Константин Петрович (1867—?) — поэт и критик — 211.

Мельников, Павел Иванович (псевдоним — Андрей Печерский, 1819—1883) — писатель — 246, 300.

Мельшин, П. Ф. — см. Якубович П. Ф.

Менделеев, Дмитрий Иванович (1834—1907) — 274, 281, 316, 317.

Мендельсон-Бартольди, Феликс (1809—1847) — немецкий композитор — 100.

Меньшиков, Михаил Осипович (1859—1918) — реакционный журналист, сотрудник «Нового времени» — 144, 326.

Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1856—1941) — писатель-декадент — 211, 360.

Меринг, Франц (1846—1919) — публицист и историк, представитель левого крыла германской социал-демократии — 24.

Мечников, Илья Ильич (1845—1916) — 281.

Мешков, Николай Васильевич — пермский пароходовладелец, снабжавший деньгами партию эсеров, — 263, 277.

Миклухо-Маклай, Николай Николаевич (1846—1888) — 229.

Минин, Козьма Сухорук (ум. в 1616) — 224.

Минский, Н. (псевдоним Виленкина Николая Михайловна, 1855—1937) — поэт — 211.

Миролубов, Виктор Сергеевич (1860—1939) — издатель и редактор «Журнала для всех» — 50 (издатель), 405.

Михайловская, Надежда Валериевна (урожд. Чарькова) — жена Н. Г. Гарина-Михайловского — 339, (дочь генерала) — 441.

Михайловский, Николай Константинович (1842—1904) — теоретик народничества, публицист, литературный критик — 237, 240—243, 429, 431, 433—434.

Михалин, Николай Федотович (1876—?) — черносотенец, убийца Н. Э. Баумана — 387, 448.

Моммзен, Теодор (1817—1903) — немецкий историк — 135.

Монтень, Мишель (1533—1592) — французский философ — 301.

Мопассан, Ги де (1850—1893) — французский писатель — 136, 165.

Морозов, Викула — фабрикант — 280.

Морозов, Савва Тимофеевич (1862—1905) — 58, 181, 263, 264—266, 274—298, 315, 316, 317, 320, 435—436.

Морозова, Зинаида Григорьевна (ум. ок. 1945) — жена С. Т. Морозова — 280, 298 (жена).

Моцарт, Вольфганг Амадей (1756—1791) — 310.

Мурашко, Николай Иванович (1844—1909) — украинский живописец, организатор Киевской рисовальной школы — 412.

Мысовская, Анна Дмитриевна (1843—1912) — поэтесса и переводчица — 227.

Мякотин, Венедикт Александрович (1867—1937) — историк и публицист — 290, 291, 336.

Надсон, Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт — 209.

Назарьева, Капитолина Валерьяновна (1847—1900) — писательница — 327, 440.

Некрасов, Николай Алексеевич (1821—1877) — 129, 209, 431, 438.

Нельсон, Горацио (1758—1805) — английский адмирал — 204.

Нечаев, Сергей Геннадиевич (1847—1882) — руководитель заговорщической организации «Народная расправа» — 175.

Никитин, Дмитрий Васильевич (1874—1960) — домашний врач в семье Л. Н. Толстого в 1902—1904 гг. — 116.

Николаев, Петр Федотович (1845—1912) — писатель — 300.

Ницше, Фридрих (1844—1900) — 123, 192, 284, 285.

Новиков-Прибой, Алексей Силыч (1877—1944) — писатель — 372.

Новоселов, Михаил Александрович (1864—?) — 77, 202, 408, 409.

Нордау, Макс (псевдоним Макса Зидфельда, 1849—1923) — немецкий писатель — 136.

Оболенский, Иван Михайлович (1853—1910) — харьковский генерал-губернатор (1902—1905), известен жестоким подавлением крестьянских восстаний на Украине в 1902 году — 376.

Образцов, Василий Парменович (1851—1920) — терапевт, профессор Киевского университета — 87.

Овсянко-Куликовский, Дмитрий Николаевич (1853—1920) — историк литературы — 409.

Олигер, Николай Фридрихович (1882—1919) — писатель — 24, 58, 371.

Ольденбург, Сергей Федорович (1863—1934) — ученый-востоковед — 402, 449.

Ольминский, М. (псевдоним Александрова Михаила Степановича, 1863—1933) — видный деятель КПСС, литератор — 401.

Орлов, Александр Иванович (1837—1913) — поэт и переводчик — 202.

Остроумов, Алексей Андреевич (1853—?) — публицист — 160.

Оуэн, Роберт (1771—1858) — английский социалист-утопист — 343.

Павлов, Дмитрий Александрович (1879—1920) — 18, 299, 436—437.

Павлов, Иван Петрович (1849—1936) — 281, 396—398, 449.

Панина, Софья Владимировна (1871—1957) — либеральная общественная деятельница — 96, 131, 150, 419.

Панов, Александр Васильевич (1865—1903) — 312—313, 438.

Парвус (псевдоним Гельфанда Александра Лазаревича, 1869—1924), в 90-х и начале 900-х годов состоял в герман-

ской социал-демократической партии, затем член РСДРП, меньшевик — 12, 13.

Пастер, Луи (1822—1895) — французский физиолог — 113.

Пастернак, Леонид Осипович (1862—1945) — художник — 419.

Пастухов, Николай Иванович (1831—1911) — издатель «Московского листа», автор бульварных романов — 90.

Перовская, Софья Львовна (1853—1881) — революционерка, один из виднейших деятелей «Народной воли» — 221.

Петрашевский, Михаил Васильевич (Буташевич, 1821—1866) — 129, 418.

Петровский, Алексей Алексеевич (1873—1942) — советский ученый в области радиотехники и электротехники — 27, 321.

Пешехонов, Алексей Васильевич (1867—1933) — публицист-народник — 290, 336.

Пешкова, Екатерина Павловна (1876—1965) — жена А. М. Горького — 38, 398, 403, 404, 435.

Писарев, Дмитрий Иванович (1840—1868) — 421.

Писемский, Алексей Феофилактович (1820—1881) — писатель — 300.

Платон (427—347 до н. э.) — 376.

Плеве, Вячеслав Константинович (1846—1904) — министр внутренних дел и шеф жандармов (с 1902 года) — 116.

Плеханов, Георгий Валентинович (1856—1918) — 10, 11, 14, 17, 22, 24, 401.

Плотников, Михаил Александрович (ум. в 1903) — участник народнического кружка Н. Ф. Анненского — 212, 325.

Плутарх (46—126) — древнегреческий писатель — 61.

По, Эдгар (1809—1849) — американский писатель — 190.

Победоносцев, Константин Петрович (1827—1907) — обер-прокурор святейшего синода — 236, 246, 432.

Познер, Владимир Соломонович (род. в 1905) — французский прогрессивный писатель и публицист — 414, 417.

Поленова, Наталья Васильевна (Якуничкова, 1858—1931) — художница, жена В. Д. Поленова — 281.

Поляков, Сергей Александрович (1874—1948) — организатор издательства «Скорпион», редактор журнала «Весы» — 424.

Помяловский, Николай Герасимович (1835—1863) — писатель — 155.

Попов, Евгений Иванович (1864—1938) — писатель и переводчик — 90.

Поссе, Владимир Александрович (1864—1940) — редактор первых легальных марксистских журналов «Новое слово» и «Жизнь» — 237, 240, 241, 415, 434.

Потапенко, Игнатий Николаевич (1856—1929) — писатель — 210.

Пушкин, Александр Сергеевич (1799—1837) — 130, 159, 179, 209, 277, 278, 319, 415, 423, 424.

Пятницкий, Константин Петрович (1864—1938) — директор-распорядитель издательства «Знание» — 12, 416.

Разин, Степан Тимофеевич (ум. в 1671) — 240.

Режан, Габриэль Шарлотта (1856—1920) — французская актриса — 94, 414.

Резерфорд, Эрнест (1871—1937) — английский физик — 277.

Рейнбот, Анатолий Анатольевич (1869—1918) — московский градоначальник — 282.

Рейнгардт, Николай Викторович (1842 — ум. после 1905 г.) — редактор журнала «Волжский вестник» — 223.

Ренан, Эрнест (1823—1892) — французский философ и историк религии — 107, 257, 436.

Репин, Илья Ефимович (1844—1930) — 347, 406.

Решетников, Федор Михайлович (1841—1871) — писатель — 380.

Рибейра, Хосе (род. ок. 1591—1652) — испанский художник — 62.

Ришпен, Жан (1849—1926) — французский писатель — 209.

Робеспьер, Максимилиан (1758—1794) — 221.

Рожков, Николай Александрович (1868—1927) — историк — 358.

Розанов, Василий Васильевич (1856—1919) — реакционный публицист и критик — 109, 180, 300, 437.

Роллан, Ромен (1866—1944) — 440.

Ромась, Михаил Антонович (1859—1920) — революционер-народник — 207, 228, 360, 361, 444.

Рославлев, Александр Степанович (1883—1920) — писатель — 185, 426.

Рубенс, Петер Пауль (1577—1640) — 62.

Руссо, Жан Жак (1712—1778) — французский писатель — 109, 110.

Рутенберг, Петр Моисеевич (1878—1942) — эсер, один из организаторов убийства Гапона — 289, 295, 347, 426, 436.

Рыдзевский, Константин Николаевич (1852—1929) — товарищ министра внутренних дел, начальник полиции и отдельного корпуса жандармов в 1904—1905 годах — 290, 295.

Самокиш-Судовская, Елена Петровна (род. в 1860 или 1863—?) — художница — 329.

Сапожников, Алексей Васильевич (1868—1935) — химик — 34, 402.

Сведенцов, Иван Иванович (псевдоним — Иванович, 1842—1901) — писатель-народник — 203, 208, 324, 361, 428.

Святополк-Мирский, Петр Дмитриевич (1857—1914) — министр внутренних дел в 1904—1905 годах — 290, 291, 295, 415 — 416.

Северцев — см. Сибирцев Н. М.

Семевский, Василий Иванович (1848—1916) — историк — 290.

Семенов, Алексей Алексеевич (1882—1938) — 362 — 369, 444—446.

Семенова, Наталья Петровна (1888—1943) — жена А. А. Семенова — 362—366, 446.

Семеновский, Дмитрий Николаевич (1894—1960) — поэт — 349.

Сент-Жюст, Луи Антуан (1767—1794) — деятель французской буржуазной революции 1789 года — 211.
Сенкевич, Генрик (1846—1916) — польский писатель — 216, 433.
Сергеевич, Василий Иванович (1835—1911) — историк права — 216.
Сергеев-Ценский, Сергей Николаевич (1875—1958) — 333.
Сеттимо, Руджиеро (1778—1863) — итальянский государственный деятель, участник революции 1848 года — 82.
Сеченов, Иван Михайлович (1829—1905) — 204.
Сибирцев, Николай Михайлович (1860—1900) — профессор-почвовед — 361.
Скабичевский, Александр Михайлович (1838—1910) — литературный критик и публицист — 52, 404.
Скворцов, Павел Николаевич — нижегородский статистик, один из первых марксистов — 219, 220, 314, 315, 324.
Скворцов-Степанов, Иван Иванович (1870—1928) — 358—359, 443.
Скиталец (псевдоним Петрова Степана Гавриловича, 1869—1941) — писатель — 163.
Скороходов, П. А. — сормовский рабочий — 37, 321.
Скукин (псевдоним Потемкина Кузьмы Васильевича, род. в 1875) — начинающий поэт — 233.
Слепушкин, Федор Никифорович (1783—1848) — поэт-самоучка — 254.
Слепцов, Василий Алексеевич (1836—1878) — писатель — 77, 408.
Смит, Адам (1723—1790) — английский экономист — 216, 431.
Снегирев, Владимир Федорович (1847—1916) — врач, профессор Московского университета — 309.
Сократ (ок. 469—399 до н. э.) — 220, 221.
Соловьев, Евгений Андреевич (псевдоним — Е. Андреевич, 1866—1905) — критик и историк литературы — 121, 327.
Соловьев, Сергей Михайлович (1820—1879) — историк — 101.
Сологуб, Федор (псевдоним Тетерникова Федора Кузьмича, 1863—1927) — писатель-декадент — 360.
Сомов, Сергей Григорьевич (1842—?) — революционер, близкий народничеству — 201, 210, 429.
Спенсер, Герберт (1820—1903) — английский социолог и психолог — 77.
Средин, Александр Валентинович (1872—1934) — художник — 18.
Станиславский, Константин Сергеевич (псевдоним Алексева К. С., 1863—1938) — 275, 412, 414.
Старостин-Маненков, Василий Яковлевич (ум. в 1896) — писатель-народник — 64, 68, 208, 407.
Стасов, Владимир Васильевич (1824—1906) — 61—63, 405—406.
Стасова, Елена Дмитриевна (1873—1966) — племянница В. В. Стасова, член КПСС с 1898 года (одна из его родственниц) — 62, 406.

Стеклов, Владимир Андреевич (1863—1926) — ученый-математик — 27, 323, 402.
Стендаль, Фредерик (псевдоним Бейля, Анри, 1783—1842) — 136.
Стерн, Лоуренс (1713—1768) — английский писатель-сентименталист — 133.
Столыпин, Петр Аркадьевич (1862—1911) — председатель совета министров в годы реакции — 230.
Строганов, Сергей Григорьевич (1794—1882) — основатель училища живописи — 90.
Струве, Петр Бернгардович (1870—1944) — буржуазный экономист, представитель легального марксизма — 219, 237, 242.
Суворин, Алексей Сергеевич (1834—1912) — издатель реакционной газеты «Новое время» — 56, 404.
Сулержицкая, Ольга Ивановна (Поль, 1878—1944) — жена Л. А. Сулержицкого — 412 (жене).
Сулержицкий, Леопольд (Лев) Антонович (1872—1916) — 59, 60, 89—97, 99, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 117, 119, 121, 123, 130, 132, 139, 150, 152, 153, 411—414.
Сургучев, Илья Дмитриевич (1881—1956) — писатель — 372.
Суриков, Василий Иванович (1848—1916) — 253.
Суриков, Иван Захарович (1841—1880) — поэт-самоучка — 254.
Сухотин, Михаил Сергеевич (1850—1914) — муж Т. Л. Толстой, дочери Л. Н. Толстого — 150 (муж Татьяны Львовны).

Тан — см. Богораз В. Г.
Танеев, Сергей Иванович (1856—1915) — композитор — 119.
Тарновский, Вениамин Михайлович (1837—1906) — врач — 309.
Тейтель, Екатерина Владимировна (ум. в 1921) — жена Я. Л. Тейтеля — 336, 441.
Тейтель, Яков Львович (1851—1939) — судебный следователь в Самаре — 335, 336, 337, 441.
Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс (род. между 150 и 160, ум. в 222) — христианский богослов — 118, 301.
Тимон Афинский (V в. до н. э.) — греческий философ-мизантроп — 343.
Тимофеев, Борис Александрович (1882—1920) — писатель — 371, 379.
Тихвинский, Михаил Михайлович — участник революции 1905—1907 годов — 299.
Тихомиров, Иоасаф Александрович (1872—1908) — артист Художественного театра — 296.
Тихомиров, Лев Александрович (1850—1923) — член Исполнительного комитета партии «Народная воля», впоследствии ренегат — 113, 418.
Тихон Задонский (1724—1783) — духовный писатель — 123.

Тодоров, Петко (1879—1916) — болгарский писатель — 329.

Толстая, Александра Львовна (род. в 1884) — дочь Л. Н. Толстого — 95, 96, 114, 151, 154.

Толстая, Ольга Константиновна (1872—1951) — жена А. Л. Толстого — 108, 150.

Толстая, Софья Андреевна (1844—1919) — 110, 141—157, 199, 398, 407, 418, 420, 421.

Толстая-Сухотина, Татьяна Львовна (1864—1950) — дочь Л. Н. Толстого — 150, 405, 412.

Толстой, Алексей Константинович (1817—1875) — писатель — 79.

Толстой, Алексей Николаевич (1883—1945) — писатель — 330.

Толстой, Андрей Львович (1877—1916) — сын Л. Н. Толстого — 108, 150, 154.

Толстой, Лев Львович (1869—1945) — сын Л. Н. Толстого — 110, 151, 420.

Толстой, Лев Николаевич (1828—1910) — 37, 38, 58, 59, 60, 69, 76, 77, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98—140, 141, 143—154, 161, 179, 199, 202, 210, 238, 277, 300, 301, 326, 408, 411, 412, 414—421, 423, 429.

Толстой, Сергей Львович (1863—1947) — сын Л. Н. Толстого — 130, 150, 151.

Туган-Барановский, Михаил Иванович (1856—1919) — экономист, представитель легального марксизма — 237.

Тургенев, Иван Сергеевич (1818—1883) — 129, 204, 210, 380, 425, 429.

Тютчев, Федор Иванович (1803—1873) — поэт — 130, 157, 408.

Улеман — см. Ульман Э. Э.

Ульман, Э. Э. — владелец переплетной мастерской в Петербурге — 323.

Уральский, Фома — рабочий — 11.

Успенский, Глеб Иванович (1843—1902) — 129, 208, 211, 229, 375.

Успенский, Николай Васильевич (1837—1889) — писатель — 74.

Уфимцев, Анатолий Георгиевич (1880—1936) — изобретатель — 183, 425.

Федоров, Евграф Степанович (1853—1919) — минералог — 323.

Федотов, Павел Андреевич (1815—1852) — художник — 205.

Ферри, Энрико (1856—1929) — юрист; до 1909 года — член итальянской социалистической партии; впоследствии примкнул к фашизму — 24.

Ферсман, Александр Евгеньевич (1883—1945) — минералог и геохимик — 27.

Фет, А. (псевдоним Шеншина Афанасия Афанасьевича, 1820—1892) — 102, 129, 130, 133, 417.

Фигнер, Вера Николаевна (1852—1942) — революционерка-народница — 203.

Филипченко, Юрий Александрович (1882—1930) — биолог — 323.

Флеров, Николай Михайлович (ок. 1860—1915) — народоволец, впоследствии член РСДРП, большевик — 388, 389.

Флеровский, Н. (псевдоним Берви Василя Васильевича, 1829—1918) — публицист и социолог — 134, 419.

Флобер, Гюстав (1821—1880) — 136, 188, 359.

Фортуна, Софья Владимировна (1850—1929) — дочь В. В. Стасова, мать С. В. Медведевой-Петросян — 391, 448.

Фофанов, Константин Михайлович (1862—1911) — поэт — 209, 211, 324.

Франциск, Ассизский (1181 или 1182—1226) — основатель католического монашеского ордена францисканцев — 143, 335.

Фрелих, Николай Николаевич (1863—1905) — нижегородский адвокат, эсер — 324.

Фруг, Семен Григорьевич (1860—1916) — поэт — 212.

Фуллон, Иван Александрович — петербургский градоначальник в 1904—1905 годах — 295.

Халатов, Артемий Багратионович (1896—1938) — советский издательский работник — 43, 449.

Хемницер, Иван Иванович (1745—1784) — баснописец — 78, 409.

Хилквит, Морис (1869—1933) — основатель американской социалистической партии — 12, 399.

Чайковский, Модест Ильич (1850—1918) — брат и биограф П. И. Чайковского — 126.

Чайковский, Николай Васильевич (1850—1926) — эсер — 13.

Чарыкова, Н. В. — см. Михайловская Н. В.

Чернов, Виктор Михайлович (1876—1952) — лидер партии эсеров — 373, 385.

Черный, Саша (псевдоним Гликберга Александра Михайловича, 1880—1932) — поэт-сатириконец — 372.

Чернышевский, Николай Гаврилович (1828—1889) — 236, 237, 431, 432.

Чертков, Владимир Григорьевич (1854—1936) — последователь Л. Н. Толстого — 150, 154, 420.

Чехов, Антон Павлович (1860—1904) — 45—60, 95, 96, 104, 106, 109, 123, 124, 129, 130, 135, 136, 194, 281, 284, 285, 309, 316, 338, 344, 375, 380, 402—405, 417, 420, 422, 433, 435, 438.

Чириков, Евгений Николаевич (1864—1936) — писатель — 64.

Чугаев, Лев Александрович (1873—1922) — химик — 27, 323.

Чуковский, Корней Иванович (род. в 1882) — 421.

Шаляпин, Федор Иванович (1873—1938) — 23, 96, 182, 345.

Шекспир, Вильям (1564—1616) — 131, 147, 160, 190.
Шелгунов, Василий Андреевич (1867—1939) — один из первых рабочих-революционеров — 346.

Шеншин, А. А. — см. Фет А.

Шестов, Лев (псевдоним Шварцмана Льва Исааковича, 1866—1938) — публицист — 123, 124.

Шиллер, Фридрих (1759—1805) — 334, 421.

Ширяев, Петр Григорьевич (1853 (1866?)—1899) — революционер-народник — 324.

Ширяев, Степан Григорьевич (1856—1881) — революционер-народоволец — 324, 440.

Шопен, Фридерик (1810—1849) — 100.

Шопенгауэр, Артур (1788—1860) — немецкий философ-идеалист — 22, 78, 129, 133, 173, 284, 301, 372.

Шульц, М. — см. Вульф Е. Н.

Щапов, Афанасий Прокофьевич (1830—1876) — историк — 186.

Щеглов, Дмитрий Федорович (ум. в 1902) — педагог и историк — 216.

Щеглов, Николай Петрович (1856—?) — нижегородский адвокат, близкий революционным кругам — 219, 324.

Эдди (урожд. Мери Беккер, 1821—1910) — основательница религиозной секты в Америке («Христианское учение») — 95.

Эккерман, Иоганн Петер (1792—1854) — литературный секретарь Гёте — 59, 418.

Энгельс, Фридрих (1820—1895) — 399, 401.

Юденич, Н. Н. (1862—1933) — 321.

Юрин, Д. В. (1864—1894) — телеграфист станции Крзтой — 65 (двух телеграфистов), 68 (двое телеграфистов), 145, 407.

Якубович, Петр Филиппович (псевдоним -- Л. Мельшин, 1860—1911) — писатель-народоволец — 183, 237, 242, 243

Якубовская, Анна Антоновна (1863—1890) — артистка Большого театра, жена А. Н. Алексина — 311.

Якушкин, Павел Иванович (1820—1872) — беллетрист-этнограф — 229

Ясинский, Иероним Иеронимович (псевдоним — Максим Белинский, 1850—1931) — писатель — 151, 421.

СОДЕРЖАНИЕ

Корней Чуковский. М. Горький и «Жизнь замечательных людей»	5
В. И. Ленин	9
А. П. Чехов	45
О Стасове	61
Н. Е. Каронин-Петропавловский	64
М. М. Коцюбинский	82
[Л. А. Сулержицкий]	89
Лев Толстой	98
О С. А. Толстой	141
Леонид Андреев	155
Из воспоминаний о В. Г. Короленко	194
«Время Короленко»	199
В. Г. Короленко	223
О Михайловском	240
Н. А. Бугров	244
Савва Морозов	274
Митя Павлов	299
А. А. Блок	300
[А. Н. Алексин]	307
[А. В. Панов]	312
Леонид Красин	314
Н. Ф. Анненский	324
Сергей Есенин	329
О Гарине-Михайловском	335
Михаил Вилонов	349
И. И. Скворцов	358
О Викторине Арефьеве	360
О единиче [А. А. Семенов]	362
Иван Вольнов	373
Камò	387
Из воспоминаний о И. П. Павлове	396
Примечания	398
Указатель имен	450

Часть иллюстраций предоставлена
Музеем А. М. Горького

1 р. 08 к.

ПОРТРЕТЫ



М. Горький

М О Л О Д А Я Г В А Р Д И Я